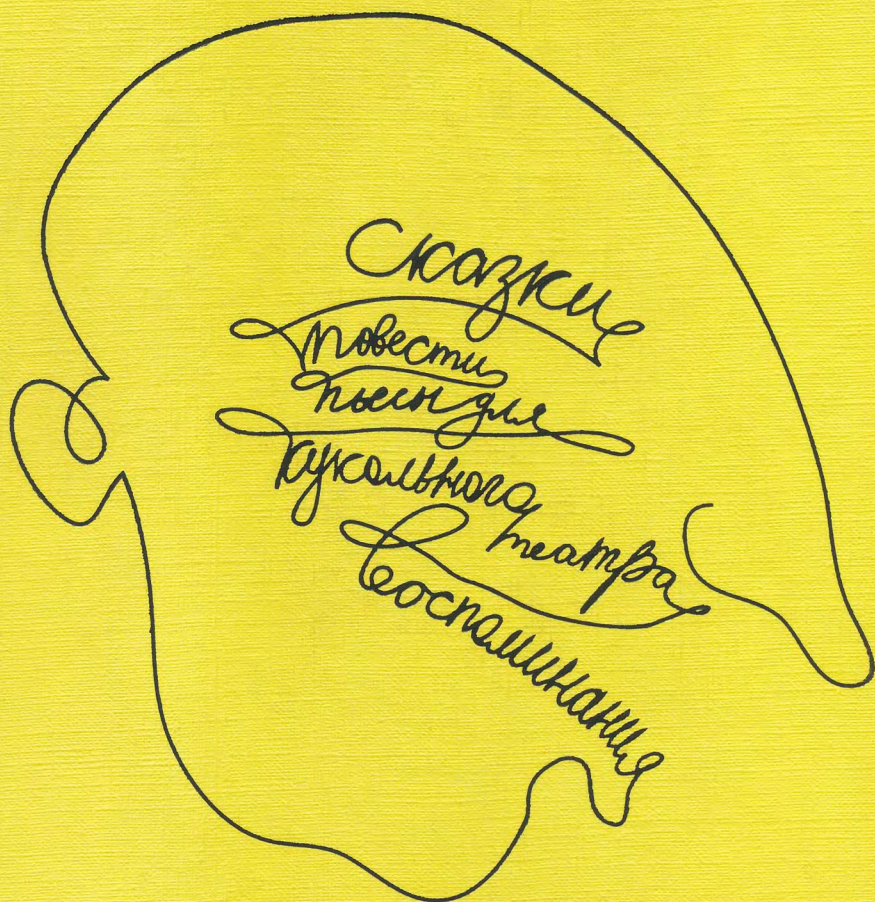


III



сказки, пьесы для кукольного
театра, повести,
воспоминания

ЕВГЕНИЙ
ШВАРЦ

ЕВГЕНИЙ
ШВАРЦ

Зелені
Мари

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

*Собрание сочинений
в пяти томах*

ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

Собрание сочинений

там где ты

Сказки

*Пьесы
для кукольного театра*

Повести

Воспоминания

Москва 2010

КНИГОВЕЖ™
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
Ш33

Составитель *Е. Сапунцова*

Оформление художника *О. Семенихина*

Шварц Е. Л.

Ш33 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3: Сказки; Пьесы для кукольного театра; Повести; Воспоминания; Приложения / Примеч. Е. Сапунцовой. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 528 с.

ISBN 978-5-904656-56-0 (т. 3)

ISBN 978-5-904656-53-9

В Собрании сочинений представлено во всем своем многообразии творчество широко известного драматурга и сценариста, одного из лучших отечественных сказочников, Евгения Львовича Шварца (1896—1958). В третий том вошли сказки, повести, пьесы для кукольного театра, а также первая часть из воспоминаний Шварца составляющих особую часть его творческого наследия.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-904656-56-0 (т. 3)
ISBN 978-5-904656-53-9

© Е. Шварц, наследники, 2010
© Книжный Клуб Книговек, 2010

Chayke

РАССКАЗ СТАРОЙ БАЛАЛАЙКИ

Балалайка-то я балалайка, а сколько мне годов, угадайка!

Ежели, дядя комод, положить в твой круглый живот по ореху за каждый год, — нынешний в счет не идет, — ты расселся бы, дядя, по швам — нету счета моим годам.

Начинается рассказ мой просто, отсчитайте годов этак до ста, а когда подведете счет, угадajte, какой был год.

Так вот, в этом самом году попали мы с хозяином в беду.

Мой хозяин был дед Пантелей — не видали вы людей веселей!

Борода у него была, как новая стенка, бела, сколько лет без стрижки росла, чуть наклонится поближе ко мне — и запутались волосы в струне. Бродили мы с дедом и тут и там, по рынкам да по дворам. Пели да на окна глядели — подадут или нет нам с хозяином на обед. Бывало, что подавали, а бывало, что и выгоняли. Один не дает — даст другой, что-нибудь да принесем домой.

А дом у нас был свой, не так чтоб уж очень большой, стоял над самой Невой, любовался все лето собой, а зимой обижался на лед — поглядеться, мол, не дает.

Дочка у деда померла, а внучка у нас росла. Был ей без малого год. Не покормишь ее — ревет, а после обеда схватит за бороду деда и смеется как ни в чем не бывало, будто и не кричала.

Дед ей сделал ящик, чтоб спала послаще, и очень ловко привязал к потолку веревкой.

Бывало, ползает Анютка взад и вперед, — что на полу найдет, то и тянет в рот. Поймает ее дед, кряхтя, бородой половицы метя, положит в ящик на самое дно, поглядит в окно — «Пора, балалайка, пора зашагать от двора до двора. Прощайте, внучка и дом, придем, когда денег наберем».

Где теперь те дворы, да глазища детворы, что смотрели деду в рот, только старый запоет!

Глянет дед по сторонам да пройдет по струнам.

— Ну-ка, ну-ка, балалайка, выговаривай:

Что ты рот открыла, тетка,
Залетит ворона в глотку
И вперед не пройдет
И назад не повернет
Подходите ближе, братцы!
Что вам старика бояться?
Подходи, подходи,
Балалайка, гуди!
Говори, балалайка, уговаривай!

Пели, уговаривали, — люди нас одаривали: кто хлеба кусок нам бросит в мешок, кто кинет грош — намучишься, пока найдешь.

Так и шли дни за днями — пустые одни, другие с блинами.

И вот пришла беда — осердилась на город вода.

Осенью дело было, всю ночь в трубе выло. Дрожали стекла, крыша промокла, дождик накапал прямо на пол.

Утром глянули за окно — невесело, темно. Да и дома вряд ли веселей — стоит в луже Пантелей и смотрит в потолок, — как это он протек, а внучка с ветром спор ведет: кто кого переорет.

Пожал дед плечами, постоял перед нами, дал Анютке молока, а меня схватил за бока. Рады или не рады — все равно, идти надо. Потому что нужен обед да ужин.

Вышли, — сначала чуть бороду деду не оторвало. Хлестнуло волосами в глаза — даже прошибла слеза.

Поглядел с укоризною дед, — что ты, ветер, в уме или нет? Провел рукавом по глазам и, вздохнув, пошел по дворам.

Ну, и вода-водица, что на улицах творится!

Едет барыня в карете — есть же счастливые на свете!.. А сзади лакеи, льет с шапок за шеи, за мокрые ливреи. Спереди кучер — мрачнее тучи. Фыркают кони — вот-вот карета потонет.

Бежит старичок, распахнулся у него сюртучок, а под сюртучком у бедняги важные бумаги. Завертелся старичок, как волчок:

«Промокнут! Беда! Испортит бумаги вода».

А вот ведут солдат, в ниточку ряд, молодец к молодцу, лупит их дождь по лицу, бьет во всю мочь, прыгают капли прочь, а солдаты идут не моргнут, будто они не живые, а заводные.

Кричали, бренчали мы по дворам, и тут и там, и этак и так, только раздражили собак.

А ветер все злее лупит по шее, бьет по щекам и орет еще жалобней деда, будто и сам просит обеда.

И вдруг бах! — раз, бах! — два, бах! бах! бах! — пять, — и пошло стрелять.

Сколько лет прошло, а помню — как глянул дед, как стал без движенья, говорит — наводнение!

Пушка! Пушка!

Чуть не сбила нас с ног старушка с большущим узлом, забежала кругом в тревоге — никак не найдет дороги.

Несется купец, бледный, как мертвец: «Пропала, кричит, — моя голова, лезет из берегов Нева, как из бутылки пиво. Запирайте! Живо!»

Тут дед со мной — бегом домой.

Ну и вода водица, что на улицах творится!

Пушка бьет, бьет, бьет, мечется народ взад и вперед, волокут из подвалов корзины, узлы, подушки, перины, ищут ребят, ребята пищат; от перепуга давят друг друга — и смешно и жалко, будто ткнули в муравейник палкой.

Сидит в луже пьяный, обнимает тулуп рваный да помятый самовар и орет: «Пожар! Пожар!»

Подбежали к реке — затряслась я у деда в руке.

Вода черная, как в темную ночь, о берег бьет во всю мочь, тесно ей стало, места ей мало. Серый вал зашуршал, через дорогу перебежал, стал на дыбы от злости и нырнул в подвал к бедняге в гости.

Брызнули стекла, занавеска промокла, пискнул в клетке скворец — почуял бедняга конец, — и поплыли, качаясь, стулья, скамейка, стол.

Не в пору хозяин из дома ушел!

Вот наш дом, ветер стучит замком, суетится вода кругом. Еще немного — и дойдет до порога.

Дед за ключом — не может найти, потерял по пути. Тянет дед замок, прямо падает с ног, ломает, бьет — никак не оторвет. Расшиб стекло кулаком — и в дом, а за дедом ветер с дождем. И пошла суeta да тревога. Мечется дед от окна до порога, машет рукой, говорит сам с собой, схватит то ящик, то подушки, а стекла звенят от пушки, пол шипит от воды — дожили мы до беды!

Струйки просочились через щели, на половицах заблестели, поползли, как змеи, все быстрее и быстрее, перепутались узлами, и закружилась вода под ногами.

Прицепил меня дед высоко на гвозде, а сам — по колени в воде.

«Знаю, — кричит, — как быть: надо скорее уплыть; возьму у соседа молоток, собью замок, стол вынесем, перевернем и на нем через Неву переплывем!»

Крикнул — и прыгнул в окно, а на улице уже темно. Пляшет вода кругом, подрагивает дом. Дребезжат стекла в окне, трещат бревна в стене. А кто-то орет во всю глотку: «Лодку! Лодку!»

Скорей, скорей, дедушка Пантелей!

Вода все ближе, вода все выше, а ну как зальет от пола до крыши?

Звякнули стекла — идет! Идет! Нет, вскочил на окошко лохматый кот, оглянулся и место посуше нашел, перепрыгнул с окна на стол.

И тут — как рванется дом! Матушки! Да никак мы плывем!

Сразу тише стало, закружило нас, закачало, чугуны на печи стучат, шлепнулся в воду ухват, и царапает по столу кот, боится, что упадет.

Эх, дедушка-дед, натворил ты бед, не в добрый час ты ушел от нас!

Стало светло за окном, зачернела рама крестом; вот солнечный луч из-за туч, пожелтело, потеплело.

Матушки, беда! Кругом вода, одна вода!

Нет соседских домов, не слышать голосов. Тихий плеск да белый блеск, и далеко, далеко, как черная точка, — бочка. И все... Куда же нас несет?

Прыгнул к Анютке кот, улегся и песенку поет. Анютка уснула от качки и гула, — только я, балалайка, тужу, только я, балалайка, в окошко гляжу.

Эх ты, дед Пантелей, не видать тебе внучки веселой своей.

Качаются у дома щепки да солома.

Взъерошился кот, поводит ушами, — плывет доска сплошь покрыта мышами. Пищат мыши, друг друга толкают, лезут к середине, — подальше от края.

Иные на задних лапках стоят, глаза их, что капли, блестят, шевелят усами, поводят носами, вертят головой туда и сюда: куда же, мол, несет нас вода?

А за ними в клетке зеленая птица, нахохлилась — видно, боится.

Поглядела птица кругом, увидала меня за окном и крикнула так: «Дурак! Дурак! Дурак!»

И не думала птица, что скоро нам с ней подружиться...

И опять у дома только щепки да солома, качаемся в тишине, одни стекла дребезжат в окне.

И вдруг гулко над самой водой голос и другой.

Говорит один: «Гляди — дом впереди!»

Говорит другой: «Да он пустой».

А первый в ответ: «А ежели нет?»

А ему другой: «Да ты что, слепой? Получше смотри — замок на двери. Значит, дом нежилой, поворачивай домой».

Эх, дедушка-дед, натворил ты бед, что же теперь будет с нами — не звенят мои струны сами... Как мне людей на помощь позвать?

А под окном разговор опять.

— Да что тебе лень проехать сажень?

— Ну, ладно, верти рулем, держи на дом!

— Стой! Кто-то бранится.

— Смотри-ка — птица.

— Вот это находка!

— Ворочай лодку. Птица дорогая, а что в этом сарае? Спрячь ее за пазуху, согрей — да к берегу скорей.

И поплыли ребята прочь.

А я как стукнусь о стенку во всю мочь — и задребезжала на одной струне:

— Ко мне ребята! Ко мне!

Сначала тишина у окна.

А потом говорит один: «Погоди, балалайка гудит!» А ему говорит другой: «А ежели там домовой?» А первый в ответ: «Ты в уме, али нет? Где же это бывает, что домовой на балалайке играет? Не дери даром глотку, поворачивай лодку!»

Вот шарит рука по стене, показался парень в окне.

Взглянул и pokrutil головой — «Дом-то и вправду пустой. Непонятное дело — почему же балалайка звенела?»

А снизу шепчет другой: «Я же тебе говорил — домовой!»

Тут Анютка как заревет — чуть не выпал из ящика кот.

Парня перекосило: «И впрямь нечистая сила. Кот человеческим голосом орет».

И оттолкнулся с размаха, чуть в воду не упал от страха.

Завели ребята спор под окном.

Один стоит на своем: «Давай этот дом подожжем!»
А ему другой: «Да он сырой, не сгорит все равно: лучше пустим его на дно!»

Эх, дедушка-дед, без тебя я натворила бед! Позвать я людей сумела, а как им объяснить, в чем дело?

И тут я вижу — плывет челнок, а в челноке старичок, в шапке с большим козырьком, и тоже глядит на дом.

— Что, — хрипит, — случилось, ребята? Отчего пошел войной брат на брата?

— Кузмич! — обрадовались ребята. — Ты много видал когда-то: и в солдатах служил и на турку ходил. Прожил лет сто примерно, а такого не видал наверно. Тут кот человеческим голосом орет. Балалайка бренчит сама собой... Ясное дело — домовой!

— Сбей, — хрипит Кузмич, — замок веслом, загляну я в дом.

Слетел замок — и вошел старичок.

Кустами брови, нос красней моркови, морщины, как паутина, и такая на подбородке щетина — хоть чисть коня. Стоит да глядит на Анютку да на меня.

Постоял перед нами, пошевелил бровями и ухватился от смеха за живот — вот-вот упадет.

— Да, — говорит, ребята! Много я видел когда-то, и в солдатах служил и на турку ходил, но чтоб люди от балалайки бежали, да перед младенцем дрожали — вижу впервой! Вот он, ваш домовой!

И показал на меня и на Анютку.

«Везите, — говорит, — на берег малютку. От голоду девчонка кричала, от качки балалайка бренчала».

Привязали ребята лодки к страшной находке, на весла налегли да дом с собой и повезли.

А я на радостях бренчу: «Слава тебе, храброму солдату Кузьмичу!»

Показались заборы да крыши. Вот все тише мы едем да тише, вот стукнулись, стали, качаться перестали.

А ребята сбесились ровно! Понравились им наши бревна — никак не решат, кому брать дом. Орут — даже

собрался народ кругом. И тут, как ни рассуждай, а только спас нас попугай.

Взбрело будочникам на ум — взглянуть, что это за шум.

Знаешь ты, например, что такое милиционер?

Красная шапка, черный козырек, на боку шашка, на груди свисток.

И ночью и днем озирается кругом, во все стороны глядит — за порядком следит.

А в то время будочники были, тоже за порядком следили.

Целые сутки не вылезали из будки. Выглянут изредка повидать знакомых или поискать насекомых.

А для устрашения воров было у них что-то вроде топоров, только топориче аршина в два, не годились рубить дрова. Прибежали будочники вчетвером, заглянули в дом, схватили за шиворот ребят, чего, мол, кричат? Но тут птица решила за ребят вступить. И гаркнула из-за пазухи так: «Дурак!»

Ахнул народ кругом — будочника обругали дураком!

Будочник покраснел, как рак. «Это я, — говорит, — дурак?» Да как застучит топором: «Сейчас же к начальству идем!»

— Да это не я, птица!

— А кто научил ее браниться? Да подлые вы люди, да вам такое будет, да вас мало повесить!

Ребята ему — слово, а он им — десять.

Словом, как ни плакали ребята, а повели их куда то, а с ними зараз забрали и нас.

Тут же и кот — и его будочник несет. «Есть, — говорит, — приказ на этот счет, забирать весь приبلудный скот».

Тащат нас и тащат, а народ глаза таращит, иные следом бегут — «Да кого ж это ведут?»

Догнала нас какая-то старушонка, пожалела, видно, ребенка; запыхалась — бежала издалека — и сует Анютке молока.

И сразу собрался народ — глядеть, как Анютка пьет. Наседают друг на друга, толкаются, разглядеть получше стараются.

И вдруг завертелся народ, как вода в воронке, — пробирается кто-то к девчонке, валит всех на пути, спешит пройти. «Давайте, — кричит, — ее сюда!» — И прет из толпы борода.

Матушки, да это наш дед, в мешок какой-то одет, ободран, бос, желт, как воск, руки трясутся, во все стороны суются, слезы из глаз — вот-вот упадет сейчас, но все-таки орет, на помощь народ зовет.

И пошли они кричать друг на друга: дед — от испуга, будочник оттого, что привык смолоду, а девчонка — с голоду.

Гудит народ — ничего не поймет.

Полезли свидетели, на все вопросы ответили, ввали, себя не жалея, будто знают давно Пантелея и всех его родных — и мертвых и живых. А две бабы сказали, что меня, балалайку, еще маленькую знали и что кот у нас от рожденья живет.

Перестали будочники сердиться и отдали деду и нас, и кота, и даже птицу.

После дед разводил руками: «А вы почему с нами?»

И отвечал попугай ему так: «Дурак!»

Что было потом? Ну, нашли новый дом да зажили впятером.

Бродили и тут и там, по рынкам и по дворам, пели да жалобно глядели, подадут нам или нет — внучке на обед?

И попугай был с нами, качался у деда за плечами и покрикивал следом за мной и за дедом: «Говори, балалайка, выговаривай!»

Эх, дедушка-дед! Сколько мы не виделись лет, а бывало — не было дня, чтоб ты дома оставил меня!

Давно меня в руки не брали, — неужели все играть перестали?

ПЕТЬКА-ПЕТУХ, ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАСТУХ

Петька-Петух, деревенский пастух, двенадцати лет, разут и раздет, а как щелкнет кнутом на пригорке крутом да посмотрит вокруг на зеленый луг — экий, скажешь, орел в пастухи пошел.

Орел-то орел, а подвел его вол. Ох, буча пошла из-за пегого вола! Ох, вол ты мой вол, да куда ж ты ушел?

Кричит дядя Тарас: «А ты где его пас? Там и ищи, а пропал — не взыщи. При всех разложу и кнутом накажу. А потом тебя в суд дурака отведут».

Петька-петух, деревенский пастух, двенадцати лет, разут и раздет, а как начал кричать да палкой стучать: «Я два года пас, что пропало у вас? Не доел, не доспал — кто спасибо сказал? А теперь ты за кнут? А теперь меня в суд? Это верно, что в суд — да кого поведут?»

Сказал — и бегом, только пыль столбом.

Ну и ночка, видна каждая кочка, каждая травинка видна — такая на небе луна. Слыхать, как трава растет, слышать, как жучок ползет, каждая мошка слышна — такая в степи тишина. А вола и не слышно и не видно — заплакал бы Петька, да стыдно.

Вышел Петух на бугор — вдруг видит внизу костер. Горит, полыхает, комаров пугает. Двое людей, тройка коней. Пошел было Петька-Петух, а костер зашипел и потух. И кто-то навстречу скачет — батюшки, что ж это значит? Разом погас костер. Кто-то скачет верхом на бугор — странное дело, братцы, есть от чего испугаться. Петька в траву головой — и замер живой-не-живой.

Покрутился кругом верховой и кричит: «Эй ты, чумовой! Для чего ты костер залил, для чего ты кулеш загубил? А еще говорят, что ты старший конокрад. Конокрад нынче хуже зайца, каждого куста пугается. Ступай, дуралей, стреножь коней. Для того ли крали, чтоб они удрали?»

Затих разговор, потух костер, конокрады спят, кони уздечками звенят. Трава шевелится, ползет как лисица Петька-Петух, деревенский пастух. Кнут в руках, нож в зубах, еле дышит, сам себя не слышит, ползет, ползет вперед и вперед.

Конокрады храпят каждый на свой лад, один со свистом, другой басисто. А конь стреноженный, дрожит — встревоженный. Петька у ног конских прилет: «Стой, Карий, минуту — разрежу путы. Тише ты, тише, конокрад услышит!» — И как взлетит верхом одним прыжком, да как свистнет на коня! Эх, потопчем зеления!

Ну и ночка, видна каждая кочка, каждая травка — такая на небе луна. Горки да ямы, прямо да прямо. Карий: летит, ветер свистит. А конокрады наперерез, блестит под луной обреза. Ну и кони, вот-вот догонят. Эй, Петька-Петух, гони во весь дух!

А у Тарасовых ворот суетится народ, седлают коней — скорей, скорей! Сам Тарас босой, с непокрытой головой, прыгает вокруг коня — подсадите меня! Гоните за Карим, не теряйте времени даром!

И вдруг из-за угла сам Карий, как стрела, крутым поворотом подлетел к воротам и встал, как влитой, и затряс головой — видно, твердая рука у лихого седока.

— Получай от меня за вола коня.

Ай да Петка-Петух, деревенский пастух!

Кричит дядя Тарас:

— Как ты Карего спас? Это конь пяти лет, да ему цены нет! Ах ты парень бедовый, получай рупь-целковый. А беглец-то, вол, сам домой пришел!

Петька-Петух, деревенский пастух, двенадцати лет, разут и раздет, а рукой взмахнул — и целковый швырнул.

— То про суд говоришь, то целковый даришь! Ничего мне не надо, прощай, мое стадо, прощайте, луга, — я вам не слуга!

И пошел Петька прочь, в лунную ночь. Взял да ушел Петька-орел. Только его и видели — очень уж парня обидели!

1924

ДВА ДРУГА — ХОМУТ И ПОДПРУГА

Жили-были два друга — Хомут и Подпруга. Была у них кобыла да тетка Ненила. Кобыла сивая, а тетка красивая. Занедужилось тетке — щучья кость застряла в глотке. От косточки щучьей стал у нее голос страшный, хрипучий. Стали косточку тащить — поломали клещи.

— Ну, — хрипит Ненила, — без клещей мне могила. Накормлю я вас щами и езжайте в город за клещами.

И Подпруга и Хомут в один голос ревут, слезы льют на бороды, боятся они города. Ну, тетка Ненила ребят пристыдила, похлебали они щей — ив город скорей.

Пришел поезд на вокзал, носильщик толпой побежал, у каждого на груди бляха — затрясся Подпруга от страха. Бегут люди нумерованные, бегут вещи запакованные.

— Караул! Это воры, больно на ногу скоры!

— Нет, — говорит Хомут, — они вещи при всех берут. А вот зачем у них номерки возле правой руки?

— А это, — говорит Подпруга, — чтобы знать, как позвать друг друга. Кажись, говорила Ненила, что на всех здесь имен не хватило. Ведь всего-то полсотни имен, а народу в городе миллион. Вот вместо имен номерки возле правой руки.

Вышли с вокзала — обоим жарко стало. Во все стороны улицы, извозчики кружатся. Зашептались Хомут и Подпруга, схватили под мышки друг друга. Очухался первым Хомут:

— Где же здесь клещи продают?

Идет мимо тетка, меха до подбородка, каблуки в аршин и юбкой шуршит.

— Тетя, — говорит Хомут, — где же здесь клещи продают?

А она лицо воротит:

— Какая я вам тетя?

Взял ее за локоть Подпруга: «Объясни, не сердись, будь другом!» А она: «Это что за манера — поди да спроси милиционера!» Ткнула в площадь пальцем и поплыла с перевальцем.

Глянули ребята на площадь, а на площади лошадь залезла на ящик, глазища таращит, на лошади бородач, пудов в десять силач, в плечах широк, рука в бок — милиционер и есть: «Где же тут клещи, ваша честь?»

Молчит дядя, поверх ребят глядя.

Покричали с полчаса, надорвали голоса. Озлился Хомут:

— Ты хоть важный, а плут! Думаешь, дадим на чай? Так на, получай, вот тебе шиш за то, что молчишь!

Вдруг идет малец, панельный купец, сам с ноготок, на брюхе лоток.

— Кричать, — говорит, — бесполезно, бородач-то у нас железный. Дурья твоя голова — видишь, на ящичке слова: «Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я пожал удел посмертного бесславья, торчу здесь пугалом чугуном для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавья!»

— Прости, — говорит Хомут, — мы приезжие тут. А где бы нам купить клещи?

— А ты кузнечный ряд ищи.

— А где ж кузнечный ряд?

— А туда идут все трамваи подряд.

— Ваша честь, а как нам на трамвай сесть?

— Вы ступайте-ка на двор, там в конце двора забор, у забора станьте да на небо гляньте, ухватитесь за живот и орите во весь рот: «Трамвай подавай, трамвай подавай!»

Вошли ребята во двор, отыскиали забор, ухватились за живот, заорали во весь рот: «Трамвай подавай» да «Трамвай подавай!»

Дворник подбежал с метлой, а они ему: «Постой, не мешай, не замай, трамвай подавай!»

Дворник крикнул, метлу оземь брякнул, взял ребят за шиворот, за ворота выволок.

— Ну, — говорит Хомут, — коль трамваи не идут, значит, дело неспроста, значит, заняты места. Пойдем пешком, добредем шажком.

Орут друг на друга Хомут и Подпруга, стоят у машины, глядят на шины. А шофер молодой — в мех ушел бородой, с присвистом дышит, уснул и не слышит.

— Экой ты бестолковый! Говорят тебе, обод дубовый!

— Эх ты, неумытая рожа! Говорят тебе — это кожа.

— На вот тебе ножик, ткни-ка — дуб или кожа.

Ткнул ножом Подпруга, ошалел от испуга. Лопнула шина, дрогнула машина. Заорал шофер со сна. Ударил в сигнал. Зарычал гудок, а ребята наутек.

Дошли до угла — голова кругом пошла. Суета и давка, что ни шаг, то лавка. Ситец в цветочек — тетке на платочек!

— Купец, — говорит Хомут, — а почему у вас ситец продают?

— За этот полтина для хорошего гражданина...

— Отрежь аршин!

— Виноват, гражданин! Аршинов больше нет, продают у нас на метр.

— Ладно, — говорит Хомут, — продают — так продают. Купил Хомут ситца, а Подпруга на сахар косится.

— Почему сахар?

— Двадцать пять.

— Так и быть, придется взять.

— Сколько прикажете отвесить?

— Да этак — метров десять!

Поглядел купец сурово, не сказал ни слова, погрозил приятелям и ушел к другим покупателям...

ВОЙНА ПЕТРУШКИ И СТЕПКИ-РАСТРЕПКИ

Смотрите на Степку, глядите на Растрепку!

В чернилах руки, в известке брюки, на рубашке пятна — смотреть неприятно.

У Степкиного дома прелая солома, метлы торчат, галки кричат.

У крыльца стоит Степан, поднимает грязный чан — то сам отопьет, то свинье подает.

Вот стоит Петрушка, гладкая макушка. Вымыты руки, выглажены брюки, рубашка, как снег, — аккуратный человек. Стоит в саду Петрушкин дом, игрушки бегают кругом. Попадешь к нему в сад — не захочешь назад.

Бежит, как шелковый клубок, ученый пес его Пушок: «Тяф-тяф! Пожалуйте за мной, вас ждет давно хозяин мой!»

И говорит Петрушка, гладкая макушка:

— Войдите, мы вам рады. Хотите шоколаду?

Песенка Петрушки:

У меня родня — игрушки,

У меня звон и шум.

Медвежонок — брат Петрушки,

Ванька-встанька — сват и кум.

Дзинь-бум!

Сват и кум!

Спать ложимся ровно в восемь,

Ровно в шесть встаем.

Пол метем и воду носим,

Щепки колом топором.

Дзинь-бом!
Топором!

Самый лучший дом на свете —
Светлый дом, Петрушкин дом!
Умывайтесь чаще, дети, —
Мы вас в гости позовем.
Дзинь-бом!
Позовем!

Песенка Степка-Растрепки

Я Степка-Растрепка
Хрю!
Я свиным похлебку
Варю!
Нет в мире похлебки вкусней.
Не веришь — спроси у свиней!

Вся нечисть и грязь
Хрю!
Ко мне собралась,
К свинарю.
Нет в мире меня грязней.
Не веришь — спроси у свиней!

Я умник большой
Хрю!
«Ученье долой!» —
Говорю.
Нет в мире меня умней.
Не веришь — спроси у свиней!

Я первый герой
Хрю!
Пусть выйдет любой —
Поборю.
Нет в мире меня сильней.
Не веришь — спроси у свиней!

Была у Петрушки дочка Погремушка. Весь свет обой-
дешь — милей не найдешь.

Увидал ее Степка, грязный Растрепка, почесал свою гриву:

— Ничего, — говорит, — красива! Я сейчас на ней женюсь, либо в луже утоплюсь!

Побежал Степан домой, воротился со свиньей.

Земля задрожала, свинья задрожала, испугался Пушок, удрал со всех ног. Погремушка махнула рукой:

— Уходи, такой-сякой! Забирай подарок гадкий, удирай во все лопатки!

А Степан берет лягушку, угощает Погремушку:

— Кушайте, красавица, это вам понравится!

Квакнула лягушка, ахнула Погремушка, махнула рукой, убежала домой. Обиделся Степка, обиделся Растрепка.

— Я, — говорит, — не прощу, я, — говорит, — отомщу! Взял Степан бутылку чернил да Пушка и окатил. Пушок завизжал, к хозяину прибежал:

— Обидел меня Степка, запачкал меня Растрепка!

Рассердился Петрушка, гладкая макушка:

— Я, — говорит, — ему не прощу! Я, — говорит, — ему отомщу!

Развел Петрушка мелу кадушку и Растрепке отомстил — свинью мелом окатил.

Свинья завизжала, к хозяину побежала:

— Пожалей свою бедную свинку: побелил ей Петрушка спинку!

Топнул Растрепка ногой и пошел на Петрушку войной.

Свинья бежит, земля дрожит. На свинье Степка, грозный Растрепка, а за ним в ряд воины спешат — родственники Степки, младшие Растрепки.

Храбро за Петрушкой в бой пошли игрушки. Пушки новые палят, ядра — чистый шоколад!

Степкины солдаты, жадные ребята, увидели шоколад — и сражаться не хотят. Ядра ловят прямо в рот — вот прожорливый народ! Ловили да ели, пока не отяжелели. Повалились спать — где уж там воевать!

Во дворе Петрушки пляшут все игрушки. Бьет Петрушка в барабан: нынче в плен попал Степан!

Идет Степка пленный, плачет Степка бедный:

— Прощайте, поросята, веселые ребята! Прощайте, мои свинки, щетинистые спинки! Я в плен попал, я навек пропал!

Подошел Петрушка, гладкая макушка, и крикнул страшным голосом:

— Остричь Растрепке волосы, свести в баню потом и держать под замком!

Пять мастеров над Степкой билось, двенадцать ножиц иступилось. Растрепкиных волос увезли целый воз. Постригли, помыли и в тюрьму посадили.

Служил у Петрушки лекарь, чинил любого калеку. Ногу, скажем, пришьет, йодом зальет — глядь! — нога и приросла, будто так и была.

Привели к нему раненых солдат: «Почини», — говорят. Скорее да скорее. Доктор рук не жалеет: то зашьет, то зальет, тратит бочками йод. Кончил шить — вот беда! — все пришито не туда.

Раненые воины все до слез расстроены. Один видит вдруг — ноги вместо рук. Убивается другой: «Не могу ходить рукой!»

А командиру — что за срам! — пришили голову к ногам. Утешает лекарь командира:

— Зато вам не надо мундира. А раз вам нужны только брюки — для чего вам туловище и руки?

Шла Погремушка домой, поравнялась с тюрьмой — что же это значит? Кто же это плачет?

Это Степка слезы льет, Степка песенку поет:

Я тихонько сажу,
На окно гляжу.
Как светло за окном.
Как темно кругом!
Никто меня не слышит,
Шуршат в подполе мыши,
Кричат часовые

Страшные да злые.
Не с кем мне поиграть,
Не с кем слова сказать!

Погремушка поглядела — арестанта пожалела: у него башка остриженная, у него лицо обиженное...

Голосил он так уныло, что она его простила.

Помчалась домой, ключ схватила большой, прибежала назад:

— Вылезай-ка, брат! Бежим со мной ко мне домой!

Говорит Погремушка:

— Не сердись на нас, Петрушка! Я видала, как в темнице Степка бедный томится. Одолела меня жалость, мое сердце так и сжалось, я обиды позабыла и его освободила.

Говорит Степка, бывший Растрепка:

— Ты меня прости и домойпусти. Я помою всех знакомых, уничтожу насекомых, мелом выбелю дом и сюда бегом. Подари ты мне игрушки и жени на Погремушке. Я примусь тогда за чтение, и возьмусь я за ученье!

Покачал Петрушка головой:

— Что же делать мне с тобой! Все прощу я, так и быть, если руки будешь мыть!

Мчится Степка домой с мочалкой большой, а за ним несется в ряд, голых банщиков отряд.

Дома баню затопили и к работе приступили.

Две недели не пили, не ели, мыли да поливали, брили да подстригали.

Всех помыли, никого не забыли! Стали вымытые в ряд, банщиков благодарят.

Веселый задал пир Петрушка на свадьбе Степки с Погремушкой.

Двадцать три торта разного сорта, яблоки с арбуз, как сахар на вкус, ташкентский виноград, конфеты, шоколад — гости еле-еле все это поели!

А пошли плясать, прямо ног не видать — так высоко прыгали, так ногами дрыгали.

А в оркестре у Степана два порвали барабана, чуть не лопнул трубач, а скрипач пустился вскачь:

На руках моих мозоли,
Нету больше канифоли.
Надоело мне играть,
Очень хочется плясать!

Три сапожника в зале к плясунам подбегали, зашивали башмаки, подбивали каблуки.

Раздавали повара сахарные веера; веерами обведали, лимонадом угощали.

Сам Петрушка плясал, пока на пол не упал; полежал минут пять — и опять пошел плясать!

Есть еще на свете скверные дети вроде Степки, неряхи и растрепки. Не хотят мыться, не хотят учиться.

Как пойдут по улице, прохожие хмурятся, собаки бросаются, лошади пугаются.

Кто боится воды — тот дождется беды. А кто любит мыться, любит учиться — тот скорее растет, веселее живет.

Здесь налево и направо нарисован мальчик Пава. Он растрепкой был сначала — мама плакала, рыдала. Посмотрите — стали птицы в голове его гнездиться.

Он узнал из нашей книжки, что нельзя прожить без стрижки.

Начал мальчик Пава мыться, и работать, и учиться.

Глянь налево, глянь направо, где красивей мальчик Пава?*

1925

* Впервые сказка «Война Петрушки и Степки-Растрепки» была напечатана в виде иллюстрированной детской книжки ленинградским издательством «Радуга» в 1925 г. — *Примеч. ред.*

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ

Однажды Кот в сапогах пришел к своему хозяину, которого звали Карабас, и говорит ему:

— Я уезжаю!

— Это почему же? — спрашивает Карабас.

— Я стал очень толстый, — отвечает Кот в сапогах. — Мне по утрам даже трудно сапоги надевать. Живот мешает. Это оттого, что я ничего не делаю.

— А ты делай что-нибудь, Котик, — говорит ему Карабас.

— Да ведь нечего, — отвечает Кот в сапогах. — Мышей я всех переловил, птиц ты трогать не позволяешь. До свидания!

— Ну что ж, — сказал Карабас. — Ну, тогда до свидания, дай лапку. Ты вернешься?

— Вернусь, — ответил Кот в сапогах и пошел в прихожую.

В прихожей он нашел коробочку гуталина, выкатил ее из-под шкафа, открыл, почистил сапоги и отправился в путь.

Шел он день, шел два и дошел до самого моря. И видит Кот: стоит у берега большой красивый корабль.

«Хороший корабль, — подумал Кот. — Не корабль, — подумал Кот, — а картинка! Если на этом корабле еще и крысы есть, то это просто прелесть что такое!»

Вошел Кот на корабль, отыскал на капитанском мостике капитана и говорит ему:

— Здравствуй, капитан!

Капитан посмотрел на кота и ахнул:

— Ах! Да это никак знаменитый Кот в сапогах?

— Да, это я, — говорит Кот. — Я хочу на вашем корабле пожить немного. У вас крысы есть?

— Конечно, — говорит капитан. — Если корабль плохой, то крысы с корабля бегут. А если корабль хороший, крепкий, они так и лезут — спасенья нет.

Услышав это, Кот снял поскорее сапоги, чтобы потише ступать, отдал их капитану и побежал вниз. Капитан за ним. Кот вбежал в капитанскую каюту, постоял, послушал — и вдруг как прыгнет в буфет! Буфет затрясся, загрохотал, задрезжал.

— Батюшки, да он всю мою посуду перебьет! — закричал капитан.

Не успел он после этих слов и глазом моргнуть, как вылезает Кот обратно из буфета и тащит за хвосты четырнадцать штук крыс.

Уложил он их рядом и говорит капитану:

— Видал? А всего только одно блюдечко и разбил.

И с этого началась у Кота с капитаном дружба. И не только с капитаном — стал Кот для всего корабля самым дорогим гостем. Очень полюбили его все моряки — так он замечательно крыс ловил. Прошло дней пять — и почти перевелись на корабле крысы.

Вот однажды сидел капитан у себя в каюте и угощал Кота сбитыми сливками.

Вдруг зовут капитана наверх. Капитан побежал на капитанский мостик. Кот следом спешит, сапогами грохочет.

И видит Кот — идет по морю навстречу большой красивый корабль.

Все ближе подходит корабль, все ближе, и видит Кот, что там на капитанском мостике стоит женщина. На плечах у нее белая куртка, а на голове капитанская фуражка.

— Что это на встречном корабле женщина делает? — спрашивает Кот у своего друга-капитана.

А капитан и не слышит, схватил из ящичка маленькие флажки и стал их то опускать, то поднимать... То правую

руку вытянет, а левую опустит, то левую подымет, а правую вытянет, то скрестит руки. Флажки так и мелькают.

А женщина в капитанской фуражке тоже взяла флажки и отвечает капитану. Так они и переговаривались флажками, пока не разошлись корабли. И увидел вдруг Кот, что лицо у капитана стало очень грустное.

— Капитан, а капитан, кто эта женщина в белой курточке и капитанской фуражке?

— А эта женщина — моя жена, — отвечает капитан.

— Что же она делает на встречном корабле? — удивился Кот.

— Как что? — отвечает капитан. — Она этим кораблем командует.

— Разве женщины бывают капитанами?

— У нас бывают, — отвечает капитан. — Чего ты удивляешься? Она очень хороший капитан.

— Это видно, — сказал Кот. — Корабль у нее красивый, чистый.

Тут капитан чуть поморщился и говорит Коту:

— У меня, между прочим, тоже все в порядке. Если б ты наш корабль в море встретил, то увидел бы, что он тоже весь так и сияет.

— Да я знаю, — говорит Кот. — Но отчего же ты все-таки такой грустный?

Капитан поморщился еще больше, хотел ответить, но вдруг на мостик поднялся моряк и говорит:

— Капитан! Там вся команда собралась, вас ждет.

— По какому поводу собрание? — спрашивает капитан.

— А мы видели ваш разговор с женой, очень за вас огорчились и хотим обсудить, как вам помочь.

Вдохнул капитан и пошел с капитанского мостика вниз. Кот следом бежит, сапогами грохочет.

Стоит внизу вся команда, ждет капитана.

Объявил капитан собрание открытым и говорит:

— Да, товарищи, пришлось мне сегодня узнать грустные вещи: передала мне жена, что сын мой до того себя

плохо ведет, что просто ужас. Бабушку из-за него пришлось в дом отдыха отправить, дедушку в санаторий, а тетя чуть с ума не сошла. Живет он сейчас на даче в детском саду и ведет себя с каждым днем все хуже. Что такое, почему — непонятно. Я — хороший человек, жена тоже, а мальчик — видите какой. Разве приятно посреди моря такие новости узнавать?

— Конечно, неприятно, — ответили моряки.

И начали обсуждать, как тут быть, как помочь капитану. Любой согласен поехать узнать, в чем же дело с мальчиком, но у каждого на корабле своя работа. Нельзя же ее оставить.

И вдруг Кот в сапогах вскочил на мачту и говорит:

— Я поеду.

Сначала его моряки стали отговаривать. Но Кот настоял на своем.

— Крыс, — говорит он, — я уничтожил, давайте мне другое дело — потруднее. Увидите — я все там рассмотрю и налажу.

Делать нечего. Спустили шлюпку, стали прощаться с Котом, лапку ему пожимать.

— Осторожнее, — говорит Кот, — не давите мне так лапку. Всего вам хорошего. Спасибо.

Спрыгнул Кот в шлюпку, сел на весла, гребет к берегу.

Моряки выстроились вдоль борта, и оркестр выстроился рядом. Оркестр гремит, моряки кричат:

— До свиданья, Котик!

А он им лапкой машет.

— Не забудь, что моего сына зовут Сере-е-е-ж-а-а! — кричит капитан.

— У меня записано-о! — отвечает Кот в сапогах.

— Через месяц наши корабли дома буду-у-ут! Мы с женой приедем узнать, что и ка-а-ак! — кричит капитан.

— Ла-адно-о! — отвечает Кот.

Вот все тише музыка, все тише, вот уже и не видно корабля. Пристал Кот в сапогах к берегу, сдал шлюпку сторожу на пристани, пошел на вокзал, сел в поезд и поехал к Сереже на дачу.

Приехал он к Сереже на дачу. Пожил там день, пожил два, и все его очень там полюбили. С простым котом и то интересно: и поиграть с ним можно, и погладить его приятно. А тут вдруг приехал Кот в сапогах! Говорит по-человечьи. Сказки рассказывает. Наперегонки бегают. В прятки играет. Воды не боится, плавает и на боку, и на спине, и по-собачьи, и по-лягушачьи. Все подружились с Котом в сапогах.

А Сережа, сын капитана, — нет. Начнет, например, Кот сказку рассказывать, а Сережа его за хвост дергает и все дело этим портит. Что за сказка, если через каждые два слова приходится мяукать.

— Жил-был... мяу... один мальчик... мяу...

И так все время. Чуть что наладится, Сережа уже тут — и все дело губит.

На вид мальчик хороший, здоровый, румяный, глаза отцовские — ясные, нос материнский — аккуратный, волосы густые, вьются. А ведет себя, как разбойник.

Уже скоро месяц пройдет, скоро приедут Сережины родители, а дело все не идет на лад.

И вот что заметил Кот в сапогах. Начнет, скажем, Сережа его за хвост дергать. Некоторые ребята смеются, а сам Сережа нет, и лицо у него невеселое. Смотрит на Сережу Кот в сапогах, и кажется ему, что бросил бы Сережа это глупое занятие, но не может. Сидит в нем какое-то упрямство.

«Нет, — думает Кот, — здесь дело неладное. Об этом подумать надо».

И вот однажды ночью отправился Кот на крышу думать.

Занимал детский сад очень большую дачу — комнат, наверное, в сорок. И крыша была огромная, с поворотами, с закоулками: ходишь по крыше, как по горам. Сел

Кот возле трубы, лапки поджал, глаза у него светятся, думает. А ночь темная, луны нет, только звезды горят. Тихо, тихо кругом. Деревья в саду стоят и листиком не шелохнут, как будто тоже думают. Долго сидел так Кот в сапогах. Заведующая Лидия Ивановна уж на что поздно спать ложится, но и та уснула, свет у нее погас в окне, а Кот все думает.

Стоит дача большая, темная, только на крыше два огонька горят. Это светятся у Кота глаза. И вдруг вскочил Кот в сапогах и насторожился. Даже зарычал он, как будто собаку почуял. Человеку бы ни за что не услышать, а Кот слышит: внизу тихо-тихо кто-то ворчит, ворчит, бормочет, бормочет. Снял Кот сапоги, положил их возле трубы, прыгнул с крыши на высокий тополь, с тополя на землю и пополз неслышно кругом дома.

И вот видит Кот под окном той комнаты, где стоит Сережина кровать, жабу. И какую жабу — ростом с хорошее ведро. Глазищи жаба выпучила, рот распялила и бормочет, бормочет, ворчит, ворчит...

«Вот оно что! Ну, так я и знал», — подумал Кот. Подкрался к жабе и слушает.

А жаба бормочет:

— Направо — болота, налево — лужи, а ты, Сережа, води себя похуже.

— Здравствуй, старуха, — сказал Кот жабе.

Та даже и не вздрогнула. Ответила спокойно:

— Здравствуй, Кот, — и снова забормотала: — Когда все молчат, ты, Сережа, кричи, а когда все кричат, ты, Сережа, молчи.

— Ты что же это, старуха, делаешь? — спросил Кот.

— А тебе что? — ответила жаба и опять заворчала, забормотала: — Когда все стоят, ты, Сережа, иди, а когда все идут, ты, Сережа, сиди.

— Злая волшебница! — говорит Кот в сапогах жабе. — Я тебе запрещаю хорошего мальчика превращать в разбойника! Слышишь?

А жаба в ответ только хихикнула и опять заворчала, забормотала:

— Заговорит с тобою Кот, а ты ему, Сережа, дай камнем в живот. Болота, трясины, лужи, — веди себя, Сережа, похуже.

— Жаба, — говорит Кот, — да ты никак забыла, что я за кот! Перестань сейчас же, а то я тебя оцарапаю.

— Ну ладно, — ответила жаба. — На сегодня, пожалуй, хватит.

Отвернувшись от окна, подпрыгнула, поймала на лету ночную бабочку, проглотила ее и уселась в траве. Глядит на Кота, выпучив глазищи, и улыбается.

— Зачем тебе Сережа понадобился? — спрашивает Кот.

Тут жаба раздулась, как теленок, и засветилась зеленым светом.

— Ладно, ладно, не напугаешь, — говорит Кот. — Отвечай, зачем ты к мальчику привязалась.

— А очень просто, — говорит жаба. — Терпеть не могу, когда ребята дружно живут. Вот я и ворчу, бормочу себе тут потихоньку. Сережа мой, наслушавшись, десять скандалов в день устраивает! Хи-хи!

— Чего ты этим добьешься? — спрашивает Кот.

Тут жаба раздулась как стол и засветилась синим светом.

— Чего надо, того и добьюсь, — зашипела она. — Двадцать лет назад на этой даче в сорока комнатах два человека жили. Хозяин и хозяйка. Хозяйка была красивая, глаза выпученные, рот до ушей, зеленая, — настоящая жаба. Просто прелесть, какая милая. Полный день ворчит, кричит, квакает. Никого она на порог не пускала. Все сорок комнат им двоим. А сам хозяин еще лучше был. Худой как палка, а злой, как я. Он и в сад заглянуть никому не позволял, кулак показывал всякому, кто только глянет через забор. Хорошо было, уютно. И вдруг — на тебе: двадцать лет назад пришли люди, выгнали хозяев! И с тех пор не жизнь пошла, а одно

беспокойство. Лужи возле забора были прелестные, старинные, — взяли их да осушили. Грязь была мягкая, роскошная, а они мостовую проложили, смотреть не хочется. А в наши сорок комнат ребят привезли. Поют ребята, веселятся, танцуют, читают, и все так дружно. Гадость какая! Ведь если у них так дружно пойдет, то мои хозяева никогда не вернутся. Нет, я на это не согласна!

— Ну ладно, — сказал Кот в сапогах. — Хорошо же, злая волшебница. Недолго тебе тут колдовать.

— Посмотрим! — ответила жаба, перестала светиться, сделалась ростом с ведро и уползла в подполье.

Полез Кот в сапогах обратно на крышу, надел сапоги и до самого утра просидел возле трубы. Все думал: что же делать?

После завтрака вышел Сережа в сад. Кот слез с крыши — и к нему. Сережа схватил камень и запустил прямо коту в живот. Хорошо, что кот этого ждал, — увернулся и вскочил на дерево.

Уселся кот на ветке и говорит Сереже:

— Слушай, брат, что я тебе расскажу. Ты ведь сам не понимаешь, кому ты служишь. И рассказал он Сереже все, что ночью видел и слышал. Рассказал и говорит:

— Сережа, ты сам подумай, что же это получается? Выходит, что ты вместе с жабой за старых хозяев. Мы живем дружно, а ты безобразничаешь. Как же это так? Это хорошо?

И видит Кот по Сережиным глазам, что он хочет спросить: «Котик, как же мне быть?» Вот уже открывает Сережа рот, чтобы это сказать... Вот сейчас скажет. И вдруг как заорет:

— Хорошо, хорошо!

Побежал Сережа после этого в дом, схватил планер, который ребята вместе с Котом склеили, и поломал его.

Тогда Кот подумал и говорит:

— Да, жаба-то, оказывается, довольно сильная волшебница.

Слез он с дерева, умыл как следует мордочку лапкой, усы пригладил, почистил сапоги и прицепил к ним шпоры.

— Война так война, — сказал Кот в сапогах.

После мертвого часа позвал он всех ребят на озеро. На озере рассказал Кот ребятам все, что ночью видел и слышал. Ребята загудели, зашумели, один мальчик даже заплакал.

— Плакать тут нечего, — сказал Кот в сапогах. — Тут не плакать надо, а сражаться! Нужно спасти товарища. Мы должны дружно, как один, ударить по врагу. — И тут Кот ударил ногой о землю, и шпоры на его сапогах зазвенели.

— Правильно, правильно! — закричали ребята.

— Ночью я объявляю жабе войну, — сказал Кот. — Вы не спите, все, все со мной пойдете!

Одна девочка — ее звали Маруся — говорит:

— Я темноты боюсь, но, конечно, от всех не отстану.

А мальчик Миша сказал:

— Это хорошо, что сегодня спать не надо. Я терпеть не могу спать ложиться.

— Тише! — сказал Кот в сапогах. — Сейчас я научу вас, как нужно сражаться с этой злой волшебницей.

И стал Кот в сапогах учить ребят. Целый час они то шептались с Котом, то становились парами, то становились в круг, то опять шептались.

И наконец, Кот в сапогах сказал:

— Хорошо! Идите отдыхайте пока.

И вот пришла ночь. Темная, еще темнее прошлой. Выполз Кот из дома. Ждал он ждал, и наконец под окном заворчала, забормотала жаба. Кот к ней подкрался и ударил ее по голове. Раздулась жаба, засветилась зеленым светом, прыгнула на Кота, а Кот бежать. А жаба за ним. А Кот на пожарную лестницу. А жаба следом. А Кот на крышу. А жаба туда же. Бросился Кот к трубе, остановился и крикнул:

— Вперед, товарищи!

Крикнул он это, и над гребнем крыши показались головы, много голов — весь детский сад. В полном порядке, пара за парой, поднялись ребята на гребень крыши, спустились вниз и опять поднялись на другой гребень, к трубе. Все они были без башмаков, в носках, чтобы не поднимать шума, чтобы от грохота железа не проснулась Лидия Ивановна.

— Молодцы! — сказал Кот ребятам.

А они взялись за руки и окружили Кота и жабу.

— Так! Правильно, — сказал Кот. — Очень хорошо!

А жаба смотрела на ребят, тяжело дышала и хлопала глазами. И все росла, росла. Вот она стала большой, как стол, и засветилась синим светом. Вот она стала как шкаф и засветилась желтым светом.

— Спокойно, ребята! — сказал Кот. — Все идет как следует.

А Маруся на это ответила Коту:

— Это даже хорошо, что она светится, а то я темноты боюсь.

И Миша сказал:

— Да, хорошо, что светло, а то я чуть не уснул, пока ждали ее.

И все ребята сказали:

— Ничего, ничего, мы не боимся!

— Не бойтесь? — спросила жаба тихонько.

— Ну вот ни капельки! — ответили хором ребята.

Тогда жаба бросилась на них.

— Держитесь, — приказал Кот и, гремя шпорами, прыгнул вслед за жабой.

Ребята вскрикнули, но не расцепили рук. Туда и сюда бросалась жаба, и все напрасно. Не разорвался круг, устояли ребята. Жаба прыгнет — они поднимут руки, жаба поползет — они опустят. Двигается круг ребят по крыше вверх — вниз, вниз — вверх, как по горам, но крепко сцеплены руки — нет жабе выхода.

— Петя! — командует Кот. — Держись! Она сейчас к тебе прыгнет! Так! Варя! Чего ты глазами моргаешь?

Держитесь все как один! Пусть видит жаба, какие вы дружные ребята!

— Дружные! — шипит жаба. — Да я сама сегодня видела, как этот вот Миша дрался с этим вот Шурой!

И бросилась жаба вперед, хотела проскочить между Мишей и Шурой, но не проскочила. Подняли они вверх крепко сцепленные руки, и отступила жаба.

— Держитесь! — шепчет Кот. — Я на крыше, как у себя дома, а она свежего воздуха не переносит. Она вот-вот лопнет от злости, — и — готово дело — мы победим.

А жаба уже стала ростом с автобус, светится белым светом. Совсем светло стало на крыше. И вдруг видит Кот: Сережа сидит возле чердачного окна.

— Сережа! — закричал Кот. — Иди к нам в круг!

Встал Сережа, сделал шаг к ребятам и остановился. Жаба засмеялась.

— Сережа! — зовет Кот. — К нам скорее! Ведь мы же ради тебя сражаемся.

Пошел было Сережа к ребятам, но вдруг жаба громко свистнула, и в ответ на ее свист что-то застучало, забилось, завозилося под крышей по всему чердаку.

— Вам нравится в кошки-мышки играть! — закричала жаба. — Так нате же вам еще мышек! Получайте!

И тут из чердачного окна вдруг полетели летучие мыши. И прямо к ребятам. Огромная стая летучих мышей закружилась над головами.

Ребята отворачиваются, а мыши пищат, бьют их крыльями по лицу. Кот старается — машет лапками, но куда там! Будь он летучим котом, он мог бы ловить летучих мышей, но он был Кот в сапогах.

Сережа постоял, постоял, прыгнул в чердачное окно и исчез.

Дрогнули ребята, расцепили руки. Побежали они в разные стороны, а летучие мыши полетели за ними. Ну что тут делать? А жаба стала как шкаф, потом — как бочонок, потом — как ведро. И бросилась она бежать от

Кота через всю крышу огромными прыжками. Вот уйдет совсем. Коту нельзя от жабы отойти, а ребята зовут его, кричат:

— Котик, кот, помоги!

— Что будет? Что будет?

И вдруг яркий свет ударил из слухового окна. Загрохотало железо. На крышу выскочила заведующая Лидия Ивановна с лампой в руках, а за нею Сережа. Бросилась она к ребятам.

— Ко мне! — кричит она. — Летучие мыши света боятся! Не успели ребята опомниться — снова грохот, и на крышу выскакивают капитан — Сережин отец и капитан — Сережина мать. В руках у них электрические фонарики.

— Сюда! — кричат они. — К нам!

Летучие мыши испугались, поднялись высоко вверх и исчезли. А ребята бросились к жабе и снова окружили ее кольцом, не дают ей бежать.

— Молодцы! — кричит Кот. — Правильно!

Стала жаба расти, сделалась она большая, как стол, потом — как шкаф, потом — как автобус, потом — как дом, и тут она наконец-таки — бах! — и лопнула. Лопнула, как мяч или воздушный шарик, ничего от нее не осталось. Кусочек только зеленой шкурки, маленький, как тряпочка.

После этого побежали все вниз, в столовую, зажгли там свет, радуются, кричат. Лидия Ивановна говорит:

— Ах, Кот в сапогах! Почему же вы мне ничего не сказали! Я вам так верила, а вы потащили ребят на крышу.

Кот сконфузился и закрыл морду лапками. Тут капитан вступился.

— Ну ладно! — говорит он. — Жабу-то он все-таки первый открыл. Представьте себе наше удивление. Как только корабли прибыли на родину, мы сели в машину и поскорей сюда. Смотрим, а тут на крыше целый бой. Нет, вы только подумайте! А где Сережа?

— Он под столом сидит, — отвечает Лидия Ивановна. — Он стесняется. Ведь это он меня на крышу вызвал. Молодец!

Сережа сначала крикнул из-под стола:

— Молодец-холодец! — но потом вылез оттуда и говорит: — Здравствуй, мама, здравствуй, папа! Да, это верно, это я Лидию Ивановну позвал.

Тут все еще больше обрадовались. Никто никогда не слышал, чтобы Сережа так мирно и спокойно разговаривал.

— Батюшки! Я и забыл! — вскричал капитан. Убежал он и вернулся с двумя свертками. Развернул один сверток, а там сапоги высокие, красивые, начищенные, так и сияют, как солнце. — Это вся наша команда посылает тебе, Кот, подарок за твою хорошую работу.

А капитанша развернула второй сверток. Там широкая красная лента и шляпа.

— А это от нашего корабля, — говорит капитанша. — Команда просила передать, что ждет тебя в гости к нам.

Поглядел Кот на подарки и говорит:

— Ну, это уж лишнее.

Потом надел шляпу, сапоги, повязал ленточку на шею и час, наверное, стоял у зеркала, все смотрел на себя и улыбался.

Ну, а потом все пошло хорошо и благополучно. Прожил Кот на даче с детским садом до самой осени, а осенью поехал со всеми ребятами в город и в Октябрьские дни ехал с ними мимо трибуны на грузовике. С трибуны кричат:

— Смотрите, смотрите, какая маска хорошая! А Кот отвечает:

— Я не маска, я — настоящий Кот в сапогах.

Тогда с трибуны говорят:

— Ну, а если настоящий, так это еще лучше.

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Учился он в третьем классе четырнадцатой школы и все время отставал, и по русскому письменному, и по арифметике, и даже по пению.

— Успею! — говорил он в конце первой четверти. — Во второй вас всех догоню.

А приходила вторая — он надеялся на третью. Так он опаздывал да отставал, отставал да опаздывал и не тужил. Все «успею» да «успею».

И вот однажды пришел Петя Зубов в школу, как всегда с опозданием. Вбежал в раздевалку. Шлепнул портфелем по загородке и крикнул:

— Тетя Наташа! Возьмите мое пальтишко!

А тетя Наташа спрашивает откуда-то из-за вешалок:

— Кто меня зовет?

— Это я. Петя Зубов, — отвечает мальчик.

— А почему у тебя сегодня голос такой хриплый? — спрашивает тетя Наташа.

— А я и сам удивляюсь, — отвечает Петя. — Вдруг охрип ни с того ни с сего.

Вышла тетя Наташа из-за вешалок, взглянула на Петю, да как вскрикнет:

— Ой!

Петя Зубов тоже испугался и спрашивает:

— Тетя Наташа, что с вами?

— Как что? — отвечает тетя Наташа. — Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы, должно быть, его дедушка.

— Какой же я дедушка? — спрашивает мальчик. — Я — Петя, ученик третьего класса.

— Да вы посмотрите в зеркало! — говорит тетя Наташа.

Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел Петя Зубов, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросла у него седая окладистая борода, усы. Морщины покрыли сеткою лицо.

Смотрел на себя Петя, смотрел, и затряслась его седая борода. Крикнул он басом:

— Мама! — И выбежал прочь из школы.

Бежит он и думает: «Ну уж если и мама меня не узнает, тогда все пропало».

Прибежал Петя домой и позвонил три раза.

Мама открыла ему дверь.

Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит тоже. Стоит, выставив свою седую бороду, и чуть не плачет.

— Вам кого, дедушка? — спросила мама наконец.

— Ты меня не узнаешь? — прошептал Петя.

— Простите — нет, — ответила мама.

Отвернулся бедный Петя и пошел куда глаза глядят.

Идет он и думает: «Какой я одинокий, несчастный старик. Ни мамы, ни детей, ни внуков, ни друзей... И главное, ничему не успел научиться. Настоящие старики — те или доктора, или мастера, или академики, или учителя. А кому я нужен, когда я всего только ученик третьего класса? Мне даже и пенсии не дадут — ведь я всего только три года работал. Да и как работал — на двойки да на тройки. Что же со мною будет? Бедный я старик! Несчастный я мальчик! Чем же все это кончится?»

Так Петя думал и шагал, шагал и думал, и сам не заметил, как вышел за город и попал в лес. И шел он по лесу, пока не стемнело.

«Хорошо бы отдохнуть», — подумал Петя и вдруг увидел, что в стороне, за елками, белеет какой-то домик. Вошел Петя в домик — хозяев нет. Стоит посреди ком-

наты стол. Над ним висит керосиновая лампа. Вокруг стола — четыре табуретки. Ходики тикают на стене. А в углу горою навалено сено.

Лег Петя в сено, зарылся в него поглубже, согрелся, поплакал тихонько, утер слезы бородой и уснул.

Просыпается Петя — в комнате светло, керосиновая лампа горит под стеклом. А вокруг стола сидят ребята — два мальчика и две девочки. Большие окованные медью счеты лежат перед ними. Рабята считают и бормочут.

— Два года, да еще пять, да еще семь, да еще три... Это вам, Сергей Владимирович, а это ваши, Ольга Капитоновна, а это вам, Марфа Васильевна, а это ваши, Пантелей Захарович.

Что это за ребята? Почему они такие хмурые? Почему кричат они, и охают, и вздыхают, как настоящие старики? Почему называют друг друга по имени-отчеству? Зачем собрались они ночью здесь, в одинокой лесной избушке?

Замер Петя Зубов, не дышит, ловит каждое слово. И страшно ему стало от того, что услышал он.

Не мальчики и девочки, а злые волшебники и злые волшебницы сидели за столом! Вот ведь как, оказывается, устроено на свете: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые волшебники развели об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот поймали волшебники Петю Зубова, и еще одного мальчика, и еще двух девочек и превратили их в стариков. Состарились бедные дети, и сами того не заметили — ведь человек, напрасно теряющий время, не замечает, как стареет. А время, потерянное ребятами, — забрали волшебники себе. И стали волшебники малыми ребятами, а ребята — старыми стариками.

Как быть?

Что делать?

Да неужели же не вернуть ребятам потерянной молодости?

Подсчитали волшебники время, хотели уже спрятать счеты в стол, но Сергей Владимирович, главный из

них, — не позволил. Взял он счеты и подошел к ходикам. Покрутил стрелки, подергал гири, послушал, как тикает маятник, и опять защелкал на счетах. Считал, считал он, шептал, шептал, пока не показали ходики полночь. Тогда смешал Сергей Владимирович костяшки и еще раз проверил, сколько получилось у него.

Потом подозвал он волшебников к себе и заговорил негромко:

— Господа волшебники! Знайте, ребята, которых мы превратили сегодня в стариков, еще могут помолодеть.

— Как? — воскликнули волшебники.

— Сейчас скажу, — ответил Сергей Владимирович.

Он вышел на цыпочках из домика, обошел его кругом, вернулся, запер дверь на задвижку и поворошил сено палкой.

Петя Зубов замер, как мышка.

Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Пети. Подозвал он остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко:

— К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем.

Помолчали волшебники. Потом Ольга Капитоновна сказала:

— Откуда им все это узнать?

А Пантелей Захарович проворчал:

— Не придут они сюда к двенадцати часам ночи. Хоть на минуту, да опоздают.

А Марфа Васильевна пробормотала:

— Да куда им! Да где им! Эти лентяи до семидесяти семи и сосчитать не сумеют, сразу собьются.

— Так-то оно так, — ответил Сергей Владимирович. — А все-таки пока что держите ухо востро. Если

доберутся ребята до ходиков, тронут стрелки — нам тогда и с места не сдвинуться. Ну, а пока нечего время терять, идем на работу.

И волшебники, спрятав счеты в стол, побежали, как дети, но при этом кряхтели, охали и вздыхали, как настоящие старики.

Дождался Петя Зубов, пока затихли в лесу шаги. Выбрался из домика. И, не теряя напрасно времени, прячась за деревьями и кустами, побежал, помчался в город искать стариков-школьников.

Город еще не проснулся. Темно было в окнах, пусто на улицах, только милиционеры стояли на постах. Но вот забрезжил рассвет. Зазвенели первые трамваи. И увидел наконец Петя Зубов — идет не спеша по улице старушка с большой корзинкой.

Подбежал к ней Петя Зубов и спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, бабушка, — вы не школьница?

— Что-что? — спросила старушка сурово.

— Вы не третьеклассница? — прошептал Петя робко.

А старушка как застучит на Петю ногами да как замахнется на Петю корзинкой. Еле Петя ноги унес. Отдышался он немного — дальше пошел. А город уже совсем проснулся. Летят трамваи, спешат на работу люди. Грохочут грузовики — скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на железную дорогу. Дворники счищают снег, посыпают панель песком, чтобы пешеходы не скользили, не падали, не теряли времени даром. Сколько раз видел все это Петя Зубов и только теперь понял, почему так боятся люди не успеть, опоздать, отстать.

Оглядывается Петя, ищет стариков, но ни одного подходящего не находит. Бегут по улицам старики, но сразу видно — настоящие, не третьеклассники.

Вот старик с портфелем. Наверное, учитель. Вот старик с ведром и кистью — это маляр. Вот мчится красная

пожарная машина, а в машине старик — начальник пожарной охраны города. Этот, конечно, никогда в жизни не терял времени понапрасну.

Ходит Петя, бродит, а молодых стариков, старых детей, нет как нет. Жизнь кругом так и кипит. Один он, Петя, отстал, опоздал, не успел, ни на что не годен, никому не нужен.

Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. И вдруг вскочил. Увидел он — сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел.

— Подожду! — сказал он сам себе. — Посмотрю, что она дальше делать будет.

А старушка перестала вдруг плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого кусок ситного с изюмом. Развернула старушка газету — Петя ахнул от радости: «Пионерская правда»! — и принялась старушка читать и есть. Изюм выковыривает, а самый ситный не трогает.

Кончила старушка читать, спрятала газету и ситный и вдруг что-то увидала в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Наверное, кто-нибудь из детей, игравших в сквере, потерял этот мячик в снегу. Оглядела старушка мячик со всех сторон, обтерла его старательно платочком, встала, подошла не спеша к дереву и давай играть в трешки. Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит:

— Бабушка! Честное слово, вы школьница!

Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает:

— Верно, верно! Я ученица третьего класса Маруся Пospelова. А вы кто такой?

Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома. И видят: за дровяным сараем прыгает

старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, гоняет камешек.

Бросились Петя и Маруся к ней.

— Бабушка! Вы школьница?

— Школьница, — отвечает старушка. — Ученица третьего класса, Наденька Соколова. А вы кто такие?

Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища.

Но он как сквозь землю провалился. Куда только ни заходили старики — и во дворы, и в сады, и в детские кино, и в Дом занимательной науки — пропал мальчик, да и только.

А время идет. Уже стало темнеть. Уже в нижних этажах домов зажегся свет. Кончается день. Что делать? Неужели все пропало?

Вдруг Маруся закричала:

— Смотрите! Смотрите!

Посмотрели Петя и Наденька и вот что увидели: летит трамвай, девятый номер. А на «колбасе» висит старичок. Шапка лихо надвинута на ухо, борода развеивается по ветру. Едет старик и посвистывает. Товарищи его ищут, с ног сбились, а он катается себе по всему городу и в ус не дует!

Бросились ребята за трамваем вдогонку. На их счастье, зажегся на перекрестке красный огонь, остановился трамвай. Схватили ребята «колбасника» за полы, оторвали от «колбасы».

— Ты школьник? — спрашивают.

— А как же? — отвечает он. — Ученик второго класса, Зайцев Вася. А вам чего?

Рассказали ему ребята, кто они такие. Чтобы не терять времени даром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу.

Какие-то школьники ехали в том же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место.

— Садитесь, пожалуйста, дедушки, бабушки.

Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники, как нарочно, попались вежливые, воспитанные, просят стариков, уговаривают:

— Да садитесь же! Вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте.

Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу, соскочили наши старики — и в чашу бегом.

Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Наступила ночь, темная, темная. Бродят старики по лесу, падают, спотыкаются, а дороги не находят.

— Ах, время, время! — говорит Петя. — Бежит оно, бежит. Я вчера не заметил дороги обратно к домику — боялся время потерять. А теперь вижу, что иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь.

Совсем выбились из сил старички. Но, на их счастье, подул ветер, очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна.

Влез Петя Зубов на березу и увидел — вон он, домик, в двух шагах белеют его стены, светятся окна среди густых елок.

Спустился Петя вниз и шепнул товарищам:

— Тише! Ни слова! За мной!

Поползли ребята по снегу к домику. Заглянули осторожно в окно. Ходики показывают без пяти минут двенадцать. Волшебники лежат на сене, берегут украденное время.

— Они спят! — сказала Маруся.

— Тише! — прошептал Петя.

Тихо-тихо открыли ребята дверь и поползли к ходикам. Без одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам и — раз, два, три — закрутил их обратно, справа налево.

С криком вскочили волшебники, но не могли сдвинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей, вот седые волосы заблестели у них на висках, покрылись морщинами щеки.

— Поднимите меня, — закричал Петя. — Я делаюсь маленьким, я не достаю до стрелок! Тридцать один, тридцать два, тридцать три!

Подняли товарищи Петю на руки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. Все ближе пригибало их к земле, все ниже становились они. И вот на семьдесят седьмом и последнем обороте стрелок вскрикнули злые волшебники и пропали, как будто их не было на свете.

Посмотрели ребята друг на друга и засмеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли, чудом вернули они потерянное напрасно время.

Они-то спаслись, но ты помни: человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет.

ДВА БРАТА

Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте как вкопанные, но все-таки они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети.

Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие.

И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий, по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени.

В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него все шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их Старший и Младший. Старшему было двенадцать лет, а Младшему — семь. Как лесничий ни уговаривал своих детей, сколько ни просил, — братья ссорились каждый день, как чужие.

И вот однажды — было это двадцать восьмого декабря утром — позвал лесничий сыновей и сказал, что елки к Новому году он им не устроит. За елочными украшениями надо ехать в город. Маму послать — ее по дороге волки съедят. Самому ехать — он не умеет по магазинам ходить. А вдвоем ехать тоже нельзя. Без родителей старший брат младшего совсем погубит.

Старший был мальчик умный. Он хорошо учился, много читал и умел убедительно говорить. И вот он стал убеждать отца, что он не обидит Младшего и что дома все будет в полном порядке, пока родители не вернутся из города.

— Ты даешь мне слово? — спросил отец.

— Даю честное слово, — ответил Старший.

— Хорошо, — сказал отец. — Три дня нас не будет дома. Мы вернемся тридцать первого вечером, часов в восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом, а главное — за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же!

И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала мальчикам, как их нужно разогревать. А отец принес дров на три дня и дал Старшему коробку спичек. После этого запрягли лошадей в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскрипели, и родители уехали.

Первый день прошел хорошо. Второй — еще лучше.

И вот наступило тридцать первое декабря. В шесть часов накормил Старший Младшего ужином и сел читать книжку «Приключения Синдбада-морехода». И дошел он до самого интересного места, когда появляется над кораблем птица Рок, огромная, как туча, и несет она в когтях камень величиною с дом.

Старшему хочется узнать, что будет дальше, а Младший слоняется вокруг, скучает, томится. И стал Младший просить брата:

— Поиграй со мной, пожалуйста.

Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без Старшего, а тот гнал брата безо всякой жалости и кричал: «Оставь меня в покое!»

И на этот раз кончилось дело худо. Старший терпел-терпел, потом схватил Младшего за шиворот, крикнул: «Оставь меня в покое!» — вытолкнул его во двор и запер дверь.

А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже темная ночь. Младший забарабанил в дверь кулаками и закричал:

— Что ты делаешь! Ведь ты мне вместо отца!

У Старшего сжалось на миг сердце, он сделал шаг к двери, но потом подумал: «Ладно, ладно. Я только прочту пять строчек и пушу его обратно. За это время

ничего с ним не случится». И он сел в кресло и стал читать и зачитался, а когда опомнился, то часы показывали уже без четверти восемь. Старший вскочил и закричал:

— Что же это! Что я наделал! Младший там на морозе, один, neodетый!

И он бросился во двор.

Стояла темная-темная ночь, и тихо-тихо было вокруг. Старший во весь голос позвал Младшего, но никто ему не ответил.

Тогда Старший зажег фонарь и с фонарем обыскал все закоулки во дворе.

Брат пропал бесследно.

Свежий снег запорошил землю, и на снегу не было следов Младшего. Он исчез неведомо куда, как будто его унесла птица Рок. Старший горько заплакал и громко попросил у Младшего прощенья. Но и это не помогло. Младший брат не отзывался.

Часы в доме пробили восемь раз, и в ту же минуту далеко-далеко в лесу зазвенели бубенчики.

«Наши возвращаются, — подумал с тоскою Старший. — Ах, если бы все передвинулось на два часа назад! Я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь мы стояли бы рядом и радовались».

А бубенчики звенели все ближе и ближе; вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор. И отец выскочил из саней. Его черная борода на морозе покрылась инеем и теперь была совсем белая. Вслед за отцом из саней вышла мать с большой корзинкой в руке. И отец и мать были веселы — они не знали, что дома случилось такое несчастье.

— Зачем ты выбежал во двор без пальто? — спросила мать.

— А где Младший? — спросил отец.

Старший не ответил ни слова.

— Где твой младший брат? — спросил отец еще раз.

И Старший заплакал. И отец взял его за руку и повел в дом. И мать молча пошла за ними. И Старший все рассказал родителям.

Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а иней на бороде отца не растаял. И Старший вскрикнул. Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от инея. Отец так огорчился, что даже поседел.

— Одевайся, — сказал отец тихо. — Одевайся и уходи. И не смей возвращаться, пока не разыщешь своего младшего брата.

— Что же, мы теперь совсем без детей останемся? — спросила мать плача, но отец ей ничего не ответил.

И Старший оделся, взял фонарь и вышел из дому.

Он шел и звал брата, шел и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял вокруг, но Старшему казалось, что он теперь один на свете. Деревья, конечно, живые существа, но разговаривать они не умеют и стоят на месте, как вкопанные. А кроме того, зимою они спят крепким сном. И мальчику не с кем было поговорить. Он шел по тем местам, где часто бегал с младшим братом. И трудно было ему теперь понять, почему это они всю жизнь ссорились, как чужие. Он вспомнил, какой Младший был худенький, и как на затылке у него прядь волос всегда стояла дыбом, и как он смеялся, когда Старший изредка шутил с ним, и как радовался и старался, когда Старший принимал его в свою игру. И Старший так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший, правда, был уже большой мальчик, двенадцати лет, но рядом с огромными деревьями в лесу он казался совсем маленьким.

Вот кончился участок отца и начался участок соседнего лесничего, который приезжал в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Кончился и его участок, и мальчик зашагал по участку лесничего, который бывал у них в гостях только раз в месяц. А потом пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Свеча в фонаре давно погасла, а Старший шагал, шагал, шагал все быстрее и быстрее.

Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых Старший только слышал, но не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла все вверх и, вверх, и, когда рассвело, мальчик увидел: кругом, куда ни глянешь, все горы и горы, покрытые густыми лесами.

Старший остановился.

Он знал, что от их дома до гор семь недель езды. Как же он добрался сюда за одну только ночь?

И вдруг мальчик услышал где-то далеко-далеко легкий звон. Сначала ему показалось, что это звенит у него в ушах. Потом он задрожал от радости: не бубенчики ли это? Может быть, младший брат нашелся и отец гонится за Старшим в санях, чтобы отвезти его домой? Но звон не приближался, и никогда бубенчики не звенели так то-ненько и так ровно.

— Пойду и узнаю, что там за звон, — сказал Старший.

Он шел час, и два, и три. Звон становился все громче и громче. И вот мальчик очутился среди удивительных деревьев, — высокие сосны росли вокруг, но они были прозрачные, как стекла. Верхушки сосен сверкали на солнце так, что больно было смотреть. Сосны раскачивались на ветру, ветки били о ветки и звенели, звенели, звенели.

Мальчик пошел дальше и увидел прозрачные елки, прозрачные березы, прозрачные клены. Огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и звенел басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги. Что это? И земля в этом лесу прозрачна! А в земле темнеют и переплетаются, как змеи, и уходят в глубину прозрачные корни деревьев.

Мальчик подошел к березе и отломил веточку. И, пока он ее разглядывал, веточка растаяла, как ледяная сосулька.

И Старший понял: лес, промерзший насквозь, превратившийся в лед, стоит вокруг. И растет этот лес на ледяной земле, и корни деревьев тоже ледяные.

— Здесь такой страшный мороз, почему же мне не холодно? — спросил Старший.

— Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда, — ответил кто-то то-неньким звонким голосом.

Мальчик оглянулся.

Позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого снега. Борода и усы старика были ледяные и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика не мигая. Не доброе и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце. А старик, помолчав, повторил отчетливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал:

— Я. Распорядился. Чтобы холод. Не причинил. Тебе. До поры до времени. Ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я?

— Вы как будто Дедушка Мороз? — спросил мальчик.

— Отнюдь нет! — ответил старик холодно. — Дедушка Мороз — мой сын. Я проклял его — этот здоровяк слишком добродушен. Я — Прадедушка Мороз, а это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной.

И старик пошел вперед, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками.

Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порывлся в снег, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ. Щелкнул замок, и тяжелые ледяные ворота открылись в холме.

— Следуй за мной, — повторил старик.

— Но ведь мне нужно искать брата! — воскликнул мальчик.

— Твой брат здесь, — сказал Прадедушка Мороз спокойно. — Следуй за мной.

И они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись, и Старший оказался в огромном, пустом, ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был

следующий зал, а за ним еще и еще. Казалось, что нет конца этим просторным, пустынным комнатам. На стенах светились круглые ледяные фонари. Над дверью в соседний зал, на ледяной табличке, была вырезана цифра «2».

— В моем дворце сорок девять таких залов. Следуй за мной, — приказал Прадедушка Мороз.

Ледяной пол был такой скользкий, что мальчик упал два раза, но старик даже не обернулся. Он мерно шагал вперед и остановился только в двадцать пятом зале ледяного дворца.

Посреди этого зала стояла высокая белая печь. Мальчик обрадовался. Ему так хотелось погреться.

Но в печке этой ледяные поленья горели черным пламенем. Черные отблески прыгали по полу. Из печной дверцы тянуло леденящим холодом.

И Прадедушка Мороз опустил на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к ледяному пламени.

— Садись рядом, померзнем, — предложил он мальчику.

Мальчик ничего не ответил.

А старик уселся поудобнее и мерз, мерз, мерз, пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки.

Тогда Прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и разжег их ледяными спичками.

— Ну, а теперь я некоторое время посвящу беседе с тобою, — сказал он мальчику. — Ты. Должен. Слушать. Меня. Внимательно. Понял?

Мальчик кивнул головой. И Прадедушка Мороз продолжал отчетливо и гладко:

— Ты. Выгнал. Младшего брата. На мороз. Сказав. Чтобы он. Оставил. Тебя. В покое. Мне нравится этот поступок. Ты любишь покой так же, как я. Ты останешься здесь навеки. Понял?

— Но ведь нас дома ждут! — воскликнул Старший жалобно.

— Ты. Останешься. Здесь. Навеки, — повторил Прадедушка Мороз.

Он подошел к печке, потряс полами своей снежной шубы, и мальчик вскрикнул горестно. Из снега на ледяной пол посыпались птицы. Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные и окоченевшие, горкой легли на полу.

— Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое, — сказал старик.

— Они мертвые? — спросил мальчик.

— Я успокоил их, но не совсем, — ответил Прадедушка Мороз. — Их следует вертеть перед печкой, пока они не станут совсем прозрачными и ледяными. Займись. Немедленно. Этим. Полезным. Делом.

— Я убегу! — крикнул мальчик.

— Ты никуда не убежишь! — ответил Прадедушка Мороз твердо. — Брат твой заперт в сорок девятом зале. Пока что он удержит тебя здесь, а впоследствии ты привыкнешь ко мне. Принимайся за работу.

И мальчик уселся перед открытой дверцей печки. Он поднял с полу дятла, и руки у него задрожали. Ему казалось, что птица еще дышит. Но старик не мигая смотрел на мальчика, и мальчик протянул дятла к ледяному пламени. И перья несчастной птицы сначала побелели, как снег. Потом вся она стала твердой, как камень. А когда она сделалась прозрачной, как стекло, старик сказал:

— Готово! Принимайся за следующую.

До поздней ночи работал мальчик, а Прадедушка Мороз неподвижно стоял возле. Потом он осторожно уложил ледяных птиц в мешок и спросил мальчика:

— Руки у тебя не замерзли?

— Нет, — ответил он.

— Это я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда, — сказал старик. — Но помни! Если. Ты. Ослушаешься. Меня. То я. Тебя. Заморожу. Сиди здесь и жди. Я скоро вернусь.

И Прадедушка Мороз, взяв мешок, ушел в глубину дворца, и мальчик остался один.

Где-то далеко-далеко захлопнулась со звоном дверь, и эхо перекатилось по всем залам.

И Прадедушка Мороз вернулся с пустым мешком.

— Пришло время удалиться ко сну, — сказал Прадедушка Мороз. И он указал мальчику на ледяную кровать, которая стояла в углу. Сам он занял такую же кровать в противоположном конце зала.

Прошло две-три минуты, и мальчику показалось, что кто-то заводит карманные часы. Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне Прадедушка Мороз.

Утром старик разбудил его.

— Отправляйся в кладовую, — сказал он. — Двери в нее находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер девять.

И мальчик пошел в кладовую. Она была большая, как зал. Замороженная еда стояла на полках. И Старший принес на ледяном блюде завтрак номер один.

И котлеты, и чай, и хлеб — все было ледяное, и все это надо было грызть или сосать, как леденцы.

— Я удалюсь на промысел, — сказал Прадедушка Мороз, окончив завтрак. — Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца. До свиданья, мой юный ученик.

И Прадедушка Мороз удалился, неслышно ступая своими белоснежными валенками, а мальчик бросился в сорок девятый зал. Он бежал, и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот он добрался наконец до сорок девятого зала и остановился как вкопанный.

Все двери были открыты настежь, кроме одной, последней, над которой стояла цифра «49». Последний зал был заперт наглухо.

— Младший! — крикнул старший брат. — Я пришел за тобой. Ты здесь?

— Ты здесь? — повторило эхо.

Дверь была вырезана из цельного промерзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за ледяную дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока

совсем не выбился из сил. И хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба. И мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошел Прадедушка Мороз.

И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнем несчастных замерзших птиц, белок и зайцев.

Так и пошли дни за днями.

И все эти дни Старший думал, и думал, и думал только об одном: чем бы разбить ему ледяную дубовую дверь. Он обыскал всю кладовую. Он ворочал мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор! И он нашел его, наконец, но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня.

И Старший думал, думал и наяву и во сне, все об одном, все об одном.

А старик хвалил мальчика за спокойствие. Стоя у печки неподвижно, как столб, глядя, как превращаются в лед птицы, зайцы, белки, Прадедушка Мороз говорил:

— Нет, я не ошибся в тебе, мой юный друг. «Оставь меня в покое!» — какие великие слова. С помощью этих слов люди постоянно губят своих братьев. «Оставь меня в покое!» Эти. Великие. Слова. Установят. Когда-нибудь. Вечный. Покой. На земле.

И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничие говорили просто, а Прадедушка Мороз как будто читал по книжке, и разговор его наводил такую же тоску, как огромные пронумерованные залы.

Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю.

— Ах как тихо, как прекрасно было тогда жить на белом, холодном свете! — рассказывал он, и его ледяные усы и борода звенели тихонько. — Я был тогда молод и полон сил. Куда исчезли мои дорогие друзья — спокойные, солидные, гигантские мамонты! Как я любил беседовать с ними! Правда, язык мамонтов труден. У этих

огромных животных и слова были огромные, необычайно длинные. Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов, нужно было потратить двое, а иногда и трое суток. Но. Нам. Некуда. Было. Спешить.

И вот однажды, слушая рассказы Прадедушки Мороза, мальчик вскочил и запрыгал на месте, как бешеный.

— Что значит твоё нелепое поведение? — спросил старик сухо.

Мальчик не ответил ни слова, но сердце его так и стучало от радости. Когда думаешь все об одном и об одном, то непременно в конце концов придумаешь, что делать.

Спички!

Мальчик вспомнил, что у него в кармане лежат те самые спички, которые ему дал отец, уезжая в город.

И на другое же утро, едва Прадедушка Мороз отправился на промысел, мальчик взял из кладовой топор и веревку и выбежал из дворца. Старик пошел налево, а мальчик побежал направо, к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна. И топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров. У ледяной дубовой двери в сорок девятый зал мальчик разложил высокий костер. Вспыхнула спичка, затрещали щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя, и мальчик засмеялся от радости. Он уселся у огня и грелся, грелся, грелся.

Дубовая дверь сначала только блестела и сверкала так, что больно было смотреть, но вот наконец вся она покрылась мелкими водяными капельками. И когда костер погас, мальчик увидел: дверь чуть-чуть подтаяла.

— Ага! — сказал он и ударил по двери топором.

Но ледяной дуб по-прежнему был тверд, как камень.

— Ладно! — сказал мальчик. — Завтра начнем сначала.

Вечером, сидя у ледяной печки, мальчик взял и осторожно припрятал в рукав маленькую синичку. Праде-

душка Мороз ничего не заметил. И на другой день, когда костер разгорелся, мальчик протянул птицу к огню.

Он ждал, ждал, и вдруг клюв у птицы дрогнул, и глаза открылись, и она посмотрела на мальчика.

— Здравствуй! — сказал ей мальчик, чуть не плача от радости. — Погоди, Прадедушка Мороз! Мы еще проживем!

И каждый день теперь отогревал мальчик птиц, белок и зайцев. Он устроил своим новым друзьям снеговые домики в уголках зала, где было потемнее. Домики эти он устлал мхом, который набрал в живом лесу. Конечно, по ночам было холодно, но зато потом, у костра, и птицы, и белки, и зайцы запасались теплом до завтрашнего утра.

Мешки с капустой, зерном и орехами теперь пошли в дело. Мальчик кормил своих друзей до отвала. А потом он играл с ними у огня или рассказывал о своем брате, который спрятан там, за дверью. И ему казалось, что и птицы, и белки, и зайцы понимают его.

И вот однажды мальчик, как всегда, принес вязанку дров, развел костер и уселся у огня. Но никто из его друзей не вышел из своих снеговых домиков. Мальчик хотел спросить: «Где же вы?» — но тяжелая ледяная рука с силой оттолкнула его от огня. Это Прадедушка Мороз подкрался к нему, неслышно ступая своими белоснежными валенками. Он дунул на костер, и поленья стали прозрачными, а пламя черным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такою, как много дней назад.

— Еще. Раз. Попадешься. Заморожу! — сказал Прадедушка Мороз холодно. И он поднял с пола топор и запрятал его глубоко в снег своей шубы.

Целый день плакал мальчик. И ночью с горя заснул как убитый. И вдруг он услышал сквозь сон: кто-то осторожно мягкими лапками барабанит по его щеке.

Мальчик открыл глаза.

Заяц стоял возле.

И все его друзья собрались вокруг ледяной постели. Утром они не вышли из своих домиков, потому что

почуяли опасность. Но теперь, когда Прадедушка Мороз уснул, они пришли на выручку к своему другу.

Когда мальчик проснулся, семь белок бросились к ледяной постели старика. Они нырнули в снег шубы Прадедушки Мороза и долго рылись там. И вдруг что-то зазвенело тихонечко.

— Оставьте меня в покое, — пробормотал во сне старик.

И белки спрыгнули на пол и подбежали к мальчику.

И он увидел: они принесли в зубах большую связку ледяных ключей.

И мальчик все понял.

С ключами в руках бросился он к сорок девятому залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом.

Вот и дубовая дверь.

Мальчик нашел ключ с цифрой «49». Но где замочная скважина? Он искал, искал, искал, но напрасно.

Тогда поползень подлетел к двери. Цепляясь лапками за дубовую кору, поползень принялся ползать по двери вниз головою. И вот он нашел что-то. И чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень.

И дятлы терпеливо застучали своими твердыми клювами по льду. Они стучали, стучали, стучали, и вдруг четырехугольная ледяная дощечка сорвалась с двери, упала на пол и разбилась.

А за дощечкой мальчик увидел большую замочную скважину.

И он вставил ключ и повернул его, и замок щелкнул, и упрямая дверь открылась наконец со звоном.

И мальчик, дрожа, вошел в последний зал ледяного дворца. На полу горами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери.

А на ледяном столе посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой, и слезы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояла дыбом. Но он был

весь прозрачный, как стеклянный, и лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слезы на щеках — все было ледяное. И он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату. А Старший шептал:

— Бежим, прошу тебя, бежим! Мама ждет! Скорее бежим домой!

Не дождавшись ответа, Старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом.

Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал. И они благополучно выбрались из дворца.

Солнце только что встало. Ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить Младшего. И вдруг громкий крик раздался позади.

Прадедушка Мороз кричал тонким голосом так громко, что дрожали ледяные деревья:

— Мальчик! Мальчик! Мальчик!

Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А Младший печально глядел прямо перед собой, и застывшие слезы его блестели на солнце.

— Остановись! — приказал старик.

Старший остановился.

И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой теплой шубой. И Старший ожил и побежал вперед, осторожно глядя под ноги, изо всех сил оберегая младшего брата.

Старик приближался, а мальчик не смел бежать быстрее — ледяная земля была такая скользкая. И вот, когда он уже думал, что погиб, — зайцы вдруг бросились кубарем под ноги злому старику. И Прадедушка Мороз упал, а когда поднялся, то зайцы еще раз и еще раз свалили его на землю. Они делали это дрожа от страха, но надо же было спасти лучшего своего друга. И когда Прадедушка Мороз поднялся в последний раз, то мальчик, крепко

держа в руках своего брата, уже был далеко внизу, в живом лесу. И Прадедушка Мороз заплакал от злости.

И когда он заплакал, сразу стало теплее.

И Старший увидел, что снег быстро тает вокруг, и ручьи бегут по оврагам. А внизу, у подножия гор, почки набухли на деревьях.

— Смотри — подснежник! — крикнул Старший радостно.

Но Младший не ответил ни слова. Он по-прежнему был неподвижен, как кукла, и печально глядел прямо перед собой.

— Ничего. Отец все умеет делать! — сказал Старший Младшему. — Он оживит тебя. Наверное оживит!

И мальчик побежал со всех ног, крепко держа в руках брата. До гор Старший добрался так быстро с горя, а теперь он мчался как вихрь от радости. Ведь все-таки брата он нашел.

Вот кончились участки лесничих, о которых мальчик только слышал, и замелькали участки знакомых, которых мальчик видел раз в год, раз в полгода, раз в три месяца. И чем ближе было к дому, тем теплее становилось вокруг. Друзья-зайцы кувыркались от радости, друзья-белки прыгали с ветки на ветку, друзья-птицы свистели и пели. Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели радостно — ведь листья распустились, весна пришла.

И вдруг старший брат поскользнулся.

На дне ямки, под старым кленом, куда не заглядывало солнце, лежал подтаявший темный снег. И Старший упал.

И бедный Младший ударился о корень дерева. И с жалобным звоном он разбился на мелкие кусочки.

Сразу тихо-тихо стало в лесу. И из снега вдруг негромко раздался знакомый тоненький голос:

— Конечно! От меня. Так. Легко. Не уйдешь!

И Старший упал на землю и заплакал так горько, как не плакал еще ни разу в жизни. Нет, ему нечем было утешиться, не на чем было успокоиться.

Он плакал и плакал, пока не уснул с горя как убитый.

А птицы собрали Младшего по кусочкам, и белки сложили кусочек с кусочком своими цепкими лапками и склеили березовым клеем. И потом все они тесно окружили Младшего как бы живой теплой шубкой. А когда взошло солнце, то все они отлетели прочь. Младший лежал на весеннем солнышке, и оно осторожно, тихонечко согревало его. И вот слезы на лице у Младшего высохли. И глаза спокойно закрылись. И руки стали теплыми. И курточка стала полосатой. И башмаки стали черными. И прядь волос на затылке стала мягкой. И мальчик вздохнул раз, и другой, и стал дышать ровно и спокойно, как всегда дышал во сне.

И когда Старший проснулся, брат его, целый и невредимый, спал на холмике. Старший стоял и хлопал глазами, ничего не понимая, а птицы свистели, лес шумел, и громко журчали ручьи в канавах.

Но вот Старший опомнился, бросился к Младшему и схватил его за руку. А тот открыл глаза и спросил как ни в чем не бывало:

— А, это ты? Который час?

И Старший обнял его и помог ему встать, и оба брата помчались домой.

Мать и отец сидели рядом у открытого окна и молчали. И лицо у отца было такое же строгое и суровое, как в тот вечер, когда он приказал Старшему идти на поиски брата.

— Как птицы громко кричат сегодня, — сказала мать.

— Обрадовались теплу, — ответил отец.

— Белки прыгают с ветки на ветку, — сказала мать.

— И они тоже рады весне, — ответил отец.

— Слышишь?! — вдруг крикнула мать.

— Нет, — ответил отец. — А что случилось?

— Кто-то бежит сюда!

— Нет! — повторил отец печально. — Мне тоже всю зиму чудилось, что снег скрипит под окнами. Никто к нам не прибежит.

Но мать была уже во дворе и звала: — Дети, дети!

И отец вышел за нею. И оба они увидели: по лесу бегут Старший и Младший, взявшись за руки. Родители бросились к ним навстречу. И когда все успокоились немного и вошли в дом, Старший взглянул на отца и ахнул от удивления.

Седая борода отца темнела на глазах, и вот она стала совсем черной, как прежде. И отец помолодел от этого лет на десять.

С горя люди седеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, бывает очень-очень редко, но все-таки бывает.

И с тех пор они жили счастливо. Правда, Старший говорил изредка брату:

— Оставь меня в покое.

Но сейчас же добавлял:

— Ненадолго оставь, минут на десять, пожалуйста. Очень прошу тебя.

И Младший всегда слушался, потому что братья жили теперь дружно.

РАССЕЯННЫЙ ВОЛШЕБНИК

Жил-был на свете один ученый, настоящий добрый волшебник, по имени Иван Иванович Сидоров. И был он такой прекрасный инженер, что легко и быстро строил машины, огромные, как дворцы, и маленькие, как чашки. Между делом, шутя, построил он для дома своего чудесные машины, легкие как перышки. И эти самые машинки у него и пол мели, и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая его машинка была величиной с кошку, бегала за хозяином, как собака, а разговаривала, как человек. Уйдет Иван Иванович из дому, а машинка эта и на телефонные звонки отвечает, и обед готовит, и двери открывает. Хорошего человека она пустит в дом, поговорит с ним да еще споет ему песенку, как настоящая птичка. А плохого прогонит да еще залает ему вслед, как настоящий цепной пес. На ночь машинка сама разбиралась, а утром сама собиралась и кричала:

— Хозяин, а хозяин! Вставать пора!

Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный. То выйдет на улицу в двух шляпах разом, то забудет, что вечером у него заседание. И машинка ему тут очень помогала: когда нужно — напомнит, когда нужно — поправит. Вот однажды пошел Иван Иванович гулять в лес. Умная машинка бежит за ним, звонит в звоночек, как велосипед. Веселится. А Иван Иванович просит ее:

— Тише, тише, не мешай мне размышлять.

И вдруг услышали они: копыта стучат, колеса скрипят. И увидели: выезжает им навстречу мальчик, везет зерно на мельницу. Поздоровались они.

Мальчик остановил телегу и давай расспрашивать Ивана Ивановича, что это за машинка да как она сделана. Иван Иванович стал объяснять. А машинка убежала в лес гонять белок, заливаясь, как колокольчик.

Мальчик выслушал Ивана Ивановича, засмеялся и говорит:

— Нет, вы прямо настоящий волшебник.

— Да вроде этого, — отвечает Иван Иванович.

— Вы, наверное, все можете сделать?

— Да, — отвечает Иван Иванович.

— Ну, а можете вы, например, мою лошадь превратить в кошку?

— Отчего же! — отвечает Иван Иванович.

Вынул он из жилетного кармана маленький прибор. — Это, — говорит, — зоологическое волшебное стекло. Раз, два, три!

И направил он уменьшительное волшебное стекло на лошадь. И вдруг — вот чудеса-то! — дуга стала крошечной, оглобли тоненькими, сбруя легонькой, вожжи повисли тесемочками. И увидел мальчик: вместо коня запряжена в его телегу кошка. Стоит кошка важно, как конь, и роет землю передней лапкой, словно копытом. Потрогал ее мальчик — шерстка мягкая. Погладил — замурлыкала. Настоящая кошка, только в упряжке. Посмеялись они.

Тут из лесу выбежала чудесная машинка. И вдруг остановилась как вкопанная. И стала она давать тревожные звонки, и красные лампочки зажглись у нее на спине.

— Что такое? — испугался Иван Иванович.

— Как что?! — закричала машинка. — Вы по рассеянности забыли, что наше увеличительное зоологическое волшебное стекло лежит в ремонте на стекольном заводе! Как же вы теперь превратите кошку опять в лошадь? Что тут делать?

Мальчик плачет, кошка мяучит, машинка звонит, а Иван Иванович просит:

— Пожалуйста, прошу вас, потише, не мешайте мне размышлять.

Подумал он, подумал и говорит:

— Нечего, друзья, плакать, нечего мяукать, нечего звонить. Лошадь, конечно, превратилась в кошку, но сила в ней осталась прежняя, лошадиная. Поезжай, мальчик, спокойно на этой кошке в одну лошадиную силу. А ровно через месяц я, не выходя из дому, направлю на кошку волшебное увеличительное стекло, и она снова станет лошастью.

Успокоился мальчик. Дал свой адрес Ивану Ивановичу, дернул вожжи, сказал: «Но!» И повезла кошка телегу.

Когда вернулись они с мельницы в село Мурино, бежались все, от мала до велика, удивляться на чудесную кошку. Распряг мальчик кошку. Собаки было бросились на нее, а она как ударит их лапой во всю свою лошадиную силу. И тут собаки сразу поняли, что с такой кошкой лучше не связываться. Привели кошку в дом. Стала она жить-поживать. Кошка как кошка. Мышей ловит, молоко лакает, на печке дремлет. А утром запрягут ее в телегу, и работает кошка, как лошадь. Все ее очень полюбили и забыли даже, что была она когда-то лошастью.

Так прошло двадцать пять дней. Ночью дремлет кошка на печи. Вдруг — бах! бум! трах-тах-тах! Все вскочили. Зажгли свет. И видят: печь развалилась по кирпичикам. А на кирпичках лежит лошадь и глядит, подняв уши, ничего со сна понять не может. Что же, оказывается, произошло?

В эту самую ночь принесли Ивану Ивановичу из ремонта увеличительное зоологическое волшебное стекло. Машинка на ночь уже разобралась. А сам Иван Иванович не догадался сказать по телефону в село Мурино, чтобы вывели кошку во двор из комнаты, потому что он сейчас будет превращать ее в лошадь. Никого не предупредив, направил он волшебный прибор по указанному адресу:

раз, два, три — и очутилась на печке вместо кошки целая лошадь. Конечно, печка под такой тяжестью развалилась на мелкие кирпичики. Но все кончилось хорошо. Иван Иванович на другой же день построил им печку еще лучше прежней.

А лошадь так и осталась лошастью. Но правда, завелись у нее кошачьи повадки. Пашет она землю, тянет плуг, старается — и вдруг увидит полевую мышь. И сейчас же все забудет, стрелой бросается на добычу. И ржать научилась. Мяукала басом. И нрав у нее остался кошачий, вольнолюбивый. На ночь конюшню перестали запира-ть. Если запрешь — кричит лошадь на все село: «Мяу! Мяу!»

По ночам открывала она ворота конюшни копытом и неслышно выходила во двор. Мышей подкарауливала, крыс подстерегала. Или легко, как кошка, взлетала лошадь на крышу и бродила там до рассвета. Другие кошки ее любили. Дружили с ней. Играли. Ходили к ней в гости в конюшню, рассказывали ей обо всех своих кошачьих делах, а она им — о лошадиных. И они понимали друг друга, как самые лучшие друзья.

Несколько
кучаубного метра

КУКОЛЬНЫЙ ГОРОД

Сказка в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

М а с т е р.

Т и г р.

Р и т а — кукла.

Пупс-дворник.

Свинья-копилка.

Пупс с в а н н о й.

Огромная кукла.

С л о н.

Медвежонок.

Обезьянка.

К о ш к а.

П а л а ч.

Повелитель крыс.

С о в а.

Ванька-встанька-командир.

Резиновые Лев, Овца и Олень, Кролик,

Силач, ваньки-встаньки, командиры
оловянных солдатиков, Всадник,
игрушки, крысы.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Маленькая комната с бревенчатыми стенами. Открытое окно, в которое виден густой лес. У окна за столом сидит кукольный М а с т е р (живой актер), пожилой человек в очках. Ночь.

М а с т е р. Вот я и в отпуске, живу один, в лесу, а думаю все об одном и том же. Все время я думаю о куклах. Я ведь кукольный

М а с т е р. Очень люблю кукол. И сегодня я ужасно расстроился. Вот как это случилось. Вышел я погулять. Прошел через лес к озеру. А там дачный поселок. А в дачном поселке дети. А у детей игрушки. Ах, ох! Нет, это просто ужас, как эти дети обращаются с игрушками! Вижу я, например: идет девочка, держит куклу за ногу, волочит ее по камням. Или, вижу я, сидит мальчик и отрывает лошадке хвост. Или, вижу я, стоят два мальчика и один из них тянет плюшевого мишку за руки, а другой — за ноги. Не могут поделить игрушку. И окончилось дело тем, что один мальчик полетел в одну сторону, а другой в другую. Разорвался мишка. Ну, скажите, разве можно так обращаться с игрушками? Мы в мастерской шили, лепили, строили, клеили, а ребята бьют, ломают, рвут, раскалывают, губят. Пробовал я с ними говорить, но ведь я один, а их много. И очень я расстроился. Прямо не могу придумать, что делать!

Т о н е н ь к и й г о л о с о к. А мы уж давно придумали, что делать.

М а с т е р. Кто это говорит?

Г о л о с о к. Тигр.

Фыркaньe, мяукaньe, писк.

М а с т е р. Что это за шум?

Г о л о с о к. А это я кошку терзаю.

М а с т е р. Что? Ты терзаешь мою кошку Мурку?

Г о л о с о к. И очень просто.

Фыркaньe, мяукaньe, писк.

М а с т е р. Иди сюда сейчас же.

Г о л о с о к. Не могу.

М а с т е р. Почему не можешь?

Г о л о с о к. А она не пускает меня.

М а с т е р. Кошка не пускает тигра?

Г о л о с о к (*весело*). Ага! Вцепилась зубами в спину. Ну, да ничего, сейчас ей конец придет. Ха-ха-ха! Вот потеха! Кошка посмела с тигром драться. Ну, погоди...

Фыркaньe, мяукaньe, писк.

М а с т е р (*наклоняется*). Где вы там? Ах, вот! (*Поднимает с пола и ставит на стол Кошку, которая держит в зубах Тигра.*)

Т и г р (*мягкий, большоголовый, с добродушной улыбающейся мордой*). Убери ее, а то я разорву ее в клочья.

Мастер освобождает Тигра, К о ш к а, фыркая, убегает.

Ха-ха-ха! Сбежала!.. Ну, то-то. Твое счастье.

М а с т е р. Погоди. Ты игрушечный тигр?

Т и г р. Ага. Ты же меня и делал. Здравствуй! (*Протягивает Мастеру лапу.*)

М а с т е р. Здравствуй. А как ты попал сюда?

Т и г р. Сейчас скажу. (*Подпрыгивает.*) Вау-вау! Кошка удрала. Выходи следующий, всех побью.

М а с т е р. Подожди же ты!

Т и г р. Ха-ха-ха! Никто не идет. Дрожат ... Вау-вау!

М а с т е р (*наливает в блюдечко воду из графина*). Выпей воды, успокойся и расскажи толком, как ты сюда попал.

Т и г р. Воды? Хорошо. После драки это полезно. *(Пьет.)* Спасибо. Сейчас все расскажу. Мы, Мастер, к тебе пришли по делу.

М а с т е р. Кто «мы»?

Т и г р. Я и Рита.

М а с т е р. Какая Рита?

Т и г р. Кукла.

М а с т е р. А где же она?

Т и г р. Под столом лежит.

М а с т е р. Под столом? *(Нагибается и достает из-под стола большую куклу, глаза ее закрыты.)*

Т и г р. Ты поставь ее на ноги, она сразу и заговорит.

М а с т е р. Заговорит? *(Ставит куклу на ноги.)*

Кукла открывает глаза и делает несколько шагов по столу.

К у к л а *(Мастеру)*. Здравствуй, крошка.

М а с т е р. Здравствуй, кукла.

К у к л а. Меня зовут Рита.

М а с т е р. Здравствуй, Рита.

Р и т а. Мы к тебе по делу, малютка.

М а с т е р. Рассказывай, по какому.

Р и т а. По очень важному, деточка. Ничего, что я так говорю? Я ведь привыкла все с девочками говорить, потому и называю тебя крошка, малютка, деточка. Ты не сердись на меня за это?

М а с т е р. Нет, что ты, Рита... Ведь ты же не ругаешься.

Р и т а. Конечно, нет. Мы, крошка, я и Тигр, посланы к тебе с бо... *(Падает и замолкает.)*

Мастер подхватывает ее и ставит на ноги.

(Мгновенно оживает.) ...льшой просьбой. Помогите нам.

М а с т е р. Непременно помогу. Я вам, игрушкам, — первый друг. Только расскажите же, наконец, мне все обстоятельно, подробно, кто вы, откуда, чем я вам могу помочь.

Р и т а. Сейчас расскажу все: и кто мы, и откуда, и зачем мы при... *(Падает и замолкает.)*

Мастер подхватывает ее.

...мчались к тебе. Только ты поддерживай меня. Я когда падаю, у меня глаза закрываются, и я сразу крепко засыпаю.

М а с т е р. Хорошо. Я буду тебя поддерживать.

Р и т а. Ты, малыш, сам виноват. Вы нам, куклам, делаете такие маленькие ноги, что не устоять. Ну вот, слушай. Мы...

Т и г р. Я и Рита.

Р и т а. Пришли к тебе из кукольного городка.

М а с т е р. Откуда?

Р и т а. Из кукольного городка.

М а с т е р. А разве есть такой?

Т и г р. Вау-вау! Конечно есть, раз мы оттуда пришли!

Р и т а. В этом городе живут игрушки, сбежавшие от детей. Ты знаешь, что за лесом есть озеро, а у озера дачи?

М а с т е р. Как не знать!

Р и т а. Видел, как ребята обращаются там с нами, игрушками?

М а с т е р. Как не видеть!

Р и т а. А слышал ли ты, как ребята говорят иногда: «Куклу возле озера забыли, она и пропала». Или: «Мы мишку в лесу потеряли». Или: «Мы тигра...»

Т и г р. Ха-ха-ха!..

Р и т а. «...Тигра в саду оставили, утром пришли — и нет его». Слышал ты такие разговоры?

М а с т е р. Как не слышать!

Р и т а. Так вот, малютка, знай, что игрушки вовсе не пропадали, не терялись, не исчезали. Они просто убегали от плохого обращения.

Т и г р. Ха-ха-ха! Молодец! *(Подпрыгивает.)* Она замечательно рассказывает. Это все правда. Меня на ночь в саду оставили, и я убежал. У меня был такой хозяин, что и живой тигр от него на второй же день удрал бы.

Р и т а. И вот набралось в лесу много-много сбежавших игрушек, и бродили мы сначала поодиночке, врозь.

Т и г р. Это верно. Молодец, хорошо говорит.

Р и т а. А потом встретились мы, познакомились, сговорились, подружились и построили в самой чаще леса свой кукольный город.

Т и г р. Ха-ха! Чудный город.

Р и т а. И стали жить на свободе, дружно, весело

Т и г р. Чудно стали жить. Ха-ха-ха! Понял теперь, откуда мы пришли?

М а с т е р. Я давно подозревал, что вы — игрушки — живые.

Т и г р. Ага. Я очень даже.

М а с т е р. Работашь над игрушкой с любовью. Все в мастерской обсудишь, бывало, — каждую мелочь, каждый винтик, каждый стежок. Кончишь, поставишь на полку и думаешь: ну, прямо живая игрушка.

Т и г р. И оно так и было.

М а с т е р. Я очень рад этому.

Т и г р. И мы тоже.

Р и т а. Теперь слушай дальше. Нас все игрушки послали к тебе.

М а с т е р. Ты, на наше счастье, в этот лес отдыхать приехал. Помоги нам. Наш город в опасности.

М а с т е р. Да?

Т и г р. И еще в какой!

М а с т е р. А что же случилось?

Р и т а. Сейчас расскажу. *(Тихо.)* У тебя крыс нет?

М а с т е р. Что?

Р и т а. Дай-ка ухо, это нельзя громко сказать.

Мастер наклоняет голову к Рите.

У тебя крыс нет?

М а с т е р. Не замечал до сих пор. А что?

Р и т а. Я боюсь, что они нас подслушают.

М а с т е р. Крысы?

Т и г р. Ага. *(Бежит по краю стола, заглядывая вниз.)*
Вау-вау! Только покажись — растерзаю!

Р и т а. Тише.

М а с т е р. Так, значит, крысы...

Р и т а. Тише. *(Негромко.)* Да. Крысы нам житья не дают.

М а с т е р. Как же это так?

Т и г р. А очень просто...

Р и т а. Приходит к нам Повелитель крыс...

М а с т е р. Кто?

Р и т а. Повелитель их. Огромная серая злая крыса. Как начал орать: «Кто вам позволил город строить? Терпеть не могу, когда строят! Ломать, бить, раскалывать, разгрызать, рвать на куски — вот это, — говорит, — занятие. Убирайтесь, говорит, вон».

М а с т е р. А вы?

Р и т а. А нам обидно стало. Мы работали, строили, он ничего не делал — и хочет все забрать.

Т и г р. Мы выгнали его вон.

М а с т е р. Молодцы!

Р и т а. А он сказал: «Даю вам десять дней срока. Если через десять дней не уберетесь — конец вам».

Т и г р. Три дня уже прошло.

Р и т а. Они готовятся на нас напасть, а мы хоть и храбрые, а крыс боимся. Уж очень их много.

Т и г р. Конечно, мы их победим, но только изгрызут они нас. На мелкие кусочки. Уж очень у них зубы острые.

Р и т а. Помоги нам, малыш.

Т и г р. Другого я и просить не стал был, но ты ведь свой.

М а с т е р. Да что вы, дорогие, меня уговариваете, когда я давно уже согласен!

Т и г р. Согласен? Ура! Дело сделано. Мы победили. Конец крысам! Садись, Мастер, ко мне на спину, и я тебя вмиг домчу.

М а с т е р *(берет Тигра и сажает к себе на плечо)*. Нет, брат, я тебя повезу. И ты, Рита, садись на другое плечо. Идем. Кошку возьмем с собой. Она поможет нам. *(Усаживает Тигра на одно плечо, а Риту на другое. Кошку берет на руки. Идет.)*

К у к л ы (поют).

Городок ты наш родимый,
Лучший друг, необходимый.
Каждый столбик твой и дом,
Как товарищ, нам знаком.
Мы трудились дни и ночи,
Бились, не смыкая очи,
Вот и вырос, как цветок,
Ты, наш славный городок.
Лютый враг вокруг хлопочет
И на город зубы точит,
Не построив ничего,
Хочет он забрать его
Городок ты наш любимый,
Лучший друг, необходимый.
Мы ломаемся скорей,
Но прогоним злых зверей.

(Уходят.)

Едва они успевают скрыться, как на стол взбираются т р и к р ы с ы.
Крысы пляшут на столе. Самая крупная из них поет.
Э то П о в е л и т е л ь к р ы с .

П о в е л и т е л ь к р ы с (поет).

Я великий победитель,
Все разгрыз я и прогрыз.
Я бесстрашный повелитель
И учитель серых крыс.
На замок запри еду —
Все равно ее найду.
В банку с крышкой спрячь еду —
Все равно ее найду.
Всюду, всюду шарят крысы,
Человеку на беду.

Слышали, что тут игрушки говорили?

К р ы с ы (пищат). Слышали.

П о в е л и т е л ь к р ы с . Поняли, что человек решил
за них вступиться?

Крысы. Поняли.

Повелитель крыс. Знаете деревянный мостик в две доски, по которому пойдет человек с игрушками?

Крысы. Знаем.

Повелитель крыс. Туда со всех ног! Грызите, грызите, грызите! Пусть доски держатся на одном волоске. Человек пойдет через мостик и свалится в овраг.

Крысы радостно пищат.

Все повернем по-крысиному. (*Поет.*)

Ненасытны и упрямы,
Мы грызем, грызем, грызем.
Там, где нет дороги прямо, —
Стороною проползем.
К потолку подвесь еду —
Все равно ее найду.
В крысоловку спрячь еду —
Все равно ее найду.
Всюду, всюду шарят крысы,
Человеку на беду.

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ*

Раннее утро. Площадь в игрушечном городке. Площадь окружена домами самой разной величины. Дома построены из деревянного конструктора — из кубиков и деревянных кирпичиков. В ряд с домами стоят коробки и футляры. На них, так же как и на домах, укреплены фонарики и поставлены домовые номера. Вообще зрителю должно быть ясно, что, несмотря на своеобразие и разнообразие материала, из которого построены дома, — это все же настоящий город, благоустроенный, чистый. Видно, что жители любят свой город. Почти у всех домов посажены цветы, и вьющиеся растения ползут вдоль стен.

* Между первой и второй картинами возможна интермедия-пантомима — куклы или тени: мостик под оврагом, крысы грызут доски. Мастер, Тигр, Рита, Кошка идут. Мастер доходит до середины моста, и тот рушится. Мастер падает в овраг.

На переднем плане маленький бассейн, посреди которого бьет фонтан. При поднятии занавеса сцена пуста. Но вот, скрипя, отворяются ворота в одном из домов, и оттуда выходит целлулоидный П у п с, голый, в белом фартуке, с бляхой дворника. Он тащит за собой резиновый шланг. Пупс оглядывается, позевывая и почесываясь. Затем принимается поливать из шланга площадь и цветы, посаженные у домов. Немного погода открывается дверь одного из домов, и оттуда, переваливаясь, гуськом выходят целлулоидные гуси.

П у п с-д в о р н и к. Здравствуйте, гуси. Как поживаете?

Г у с и. Ничего-го-го-го.

П у п с-д в о р н и к. Хорошо, хоть вы встали. С минуты на минуту должен прийти игрушечный Мастер, а народ все спит и спит.

Г у с и. Ничего-го-го-го. *(Входят в бассейн. Плавают и ныряют.)*

П у п с-д в о р н и к. Вам-то ничего, а я — дежурный дворник, я за все отвечаю

Г у с и. Ничего-го-го-го.

П у п с-д в о р н и к. Обезьянка и Мишка встречают Мастера на дороге. Как только завидят они его — сейчас же прибегут. И мы устроим Мастеру встречу, уж такую торжественную, что прямо прелесть.

Открывается крышка одной из коробок, и оттуда выходит С л о н.

Спасибо, что проснулся, Слоник.

Слон молча кивает дворнику головой. Подходит к бассейну и, набрав хоботом воду, поливает себе спину. Кончив омовение, Слон набирает хоботом воду и помогает дворнику поливать площадь.

Спасибо тебе, Слоник.

Слон молча кивает головой. Раздается металлический звон, и на сцену выбегает С в и н ь я - к о п и л к а. Деньги так и бренчат внутри нее.

С в и н ь я. Ну что? Ну как? Все готово? Ты уж, братец, старайся!

П у п с-д в о р н и к. Я и без тебя знаю, что надо стараться.

С в и н ь я. Глупо говоришь! Ты глуп. Ты простой глупый Пупс. Вот кто ты! Ты понимаешь, кто прибудет? Мастер. Сам! Верно я говорю, Слон?

Слон молчит, отвернувшись.

Молчишь? Глупец! Молчишь потому, что пуст. Стоит себе. Вы подумайте! Стоит — и все.

П у п с-д в о р н и к. А что ему делать?

С в и н ь я. Волноваться. Я, например, всю ночь не спала, так волновалась.

П у п с-д в о р н и к. Не спала? А кто же это всю ночь храпел в твоём доме?

С в и н ь я. Глупец! Это я не храпела, это я хрюкала. От волнения. Понял!

Г у с и (*вытянув шею*). Кто-то бежит сюда бего-го-го-го-гом.

П у п с-д в о р н и к. Ох! Это Мишка и Обезьянка. Идет. Наверное, Мастер идет.

Вбегают плюшевый М е д в е ж о н о к и плюшевая О б е з ь я н к а.

М е д в е ж о н о к. Я скажу!

О б е з ь я н к а. Нет, я скажу!

М е д в е ж о н о к. А я говорю — я!

О б е з ь я н к а. А я — я!

М е д в е ж о н о к. А я — я! (*Толкает ее.*)

О б е з ь я н к а. А я — я! (*Толкает Медвежонка.*)

Отчаянно дерутся.

П у п с-д в о р н и к. Вот беда! Наверное, сам Мастер идет, а от них не добьешься никакого толку.

Слон подходит и молча, спокойно разливает дерущихся водой. Они отскакивают друг от друга.

Ну, в чем там дело?

О б е з ь я н к а и М е д в е ж о н о к (*хором*). Как что? Разве мы не сказали?

П у п с-д в о р н и к. Нет.

Обезьянка и Медвежонок (*хором*). Тигр мчится к городу огромными прыжками. Значит, Мастер сейчас придет сюда.

Пупс-дворник. Да ну? (*Вынимает из кармана фартука свисток и пронзительно свистит.*)

Сразу распахиваются окна домов, и оттуда выглядывают головы кукол разных размеров, от крошечных, с палец величиной, до огромных, — это они и живут в самых высоких домах. Из некоторых окон высовываются головы жирафов, верблюдов, резиновых львов, слонов, собак. Открывается длинный футляр, и оттуда сама выходит помятая жестяная Труба. К ней присоединяются прибежавшие во всю прыть Балалайка, Гитара, Органчик на колесах с длинной палкой и Барабан. Откидываются, поднимаясь в виде навеса, боковые стенки трех коробок. Взмолнованные носятся взад и вперед автомобили-грузовики, самолеты летают над площадью. Прибегает крошечный голый Пупс, волоча за собою ванну.

Пупс-ванной (*плача*). Ай-ай! Меня затолкают. Я ничего не вижу! Я маленький! Ай! Ой!

Слон осторожно берет хоботом Пупса вместе с ванной и устраивает у себя на спине. С трудом дворнику удастся установить порядок. Музыкальные инструменты становятся впереди, остальные игрушки выстраиваются у стен. Несколько секунд ожидания, и на сцену галопом влетает Тигр. Игрушки поднимают радостный крик. Инструменты сами собою взлетают на воздух, гремит музыка. Тигр машет лапами, прыгает в отчаянии, кричит что-то, пробуя остановить музыку, прекратить крики, но никто не слушает его. Наконец, Слон замечает, что дело неладно. Он подходит к Тигру, тот кричит что-то прямо в ухо Слону. Слон поворачивается к толпе игрушек и, подняв хобот, громко трубит. Сразу замолкают и опускаются на землю музыкальные инструменты. Игрушки бегут к Тигру.

Тигр. Я вас растерзаю на мелкие кусочки. Я вас уничтожу! Да вы с ума сошли!

Пупс-дворник. А в чем дело? Что случилось?

Тигр. Чему вы радовались? Вау-вау!

Пупс-дворник. Погоди. Разве Мастер не идет за тобою следом? Вау-вау? Ведь ты же прибежал с такой радостной мордой!

Т и г р. Чем я виноват, что у меня морда так сшита, что всегда радостная?

П у п с-д в о р н и к. А что случилось?

Т и г р. Несчастье!

В с е и г р у ш к и. Несчастье!

П у п с-д в о р н и к. Мастер отказался нам помочь?

Т и г р. Хуже!

И г р у ш к и (*вскрикивают*). Хуже?

П у п с-д в о р н и к. Что же может быть хуже?

Т и г р. Ах, мы шли себе, веселые, как тигрята, и пели песенку. И вот подошли мы к мостику через Медвежий овраг. Знаете?

В с е (*хором*). Ну-ну?

Т и г р. И взошли на этот мостик. Идем, поем себе. Дошли до середины, вдруг доски под ногами Мастера затрещали — и он рухнул в овраг. (*Прыгает в отчаянии.*) Шли весело, пели и вдруг...

Игрушки громко плачут. Свинья-копилка рыдает громче всех. Тигр пробует их остановить, но тщетно. Не слушая его, игрушки продолжают рыдать. Свинья-копилка, изнемогая от горя, свалилась с ног. Наконец Слон, повернувшись к толпе, принимается трубить, игрушки успокаиваются и затихают.

Я вас растерзаю! Разве сейчас время плакать? Надо помочь Мастеру.

С в и н ь я (*вскакивает*). Он жив?

Т и г р. Конечно, жив. Он только сильно ушиб себе ногу. Вы знаете, какой это человек? Нет, вы не знаете, какой это человек. Он нес меня на одном плече, а Риту на другом. Когда доски сломались, он не думал о себе, схватил меня одной рукой, а Риту другой и поднял высоко, чтобы мы не ушиблись. И вот сам повредил себе ногу, а мы целы. Мы должны скорее ему помочь. Что делать? А? Думайте!

О г р о м н а я к у к л а (*баском*). Я старая кукла, я знаю, что тут надо делать.

Т и г р. Ну-ну?

О г р о м н а я к у к л а. Надо поставить ему компресс на ногу.

Т и г р. Да, верно. Мой хозяин один раз тоже ушиб ногу, убегая от мамы, которая звала его обедать. Ему тоже делали компресс. Но где мы возьмем бинт, вату, клеенку?

О г р о м н а я к у к л а. Я схожу в аптеку, в дачный поселок. Я ведь сколько раз ходила в дачный поселок, и никто не догадывался, что я кукла, все думали, что я девочка.

Т и г р. Верно. Спасибо, иди скорей!

О г р о м н а я к у к л а. Ах!

Т и г р. Что ты?

О г р о м н а я к у к л а. Я вспомнила, что у меня нет денег. Как же я куплю бинт, вату, клеенку?

Т и г р. Вот беда... Что же делать?.. Ура-а! Вот кто нам поможет — Свинья-копилка! Давай скорее твои деньги! Чего им без толку бренчать у тебя в животе?

С в и н ь я. Деньги? Какие деньги? Нет у меня никаких денег.

Т и г р. Что?

С в и н ь я (*плача*). Что ты кричишь? Это не деньги у меня бренчат. Это мальчики жеств в меня набросали.

Т и г р. Жеств? Переворачивайте ее. Вытряхивайте из нее эту жеств.

С в и н ь я (*визжит*). Не трогайте меня! Мне больно, когда меня переворачивают! Я разобьюсь! (*Убегает.*)

О г р о м н а я к у к л а. Оставьте ее, мне ее жалко.

Т и г р. Чего жалеть ее, она жадная врунья!

О г р о м н а я к у к л а. Нет, она, наверное, не врет. Она визжит так жалобно. Вместо бинта я дам на компресс свое выходное платье.

Л е в. А вместо клеенки лягу я, резиновый лев.

О в ц а. И я, резиновая овца.

О л е н ь. И я, резиновый олень.

О г р о м н а я к у к л а. А вместо ваты мы наберем одуванчиков.

Т и г р. Идем к нему. Возьмем с собою самые большие грузовики. На один грузовик Мастер сядет, а на другой положит свою больную ногу. И мы привезем его к нам. В путь!

Выезжают два больших грузовика. Жестяные ш о ф е р ы сходят со своих мест. Так как они сделаны для того, чтобы сидеть за рулем, то ноги у них согнуты и неподвижны. Шоферы прыгают в сидячем положении. В руках у них ключи. Они заводят пружины своих машин. Куклы, спеша, влезают в машины. Тот, кто не уместился, бежит следом. Сцена пустеет. Через мгновение из-за угла осторожно выглядывает С в и н ь я-к о п и л к а.

С в и н ь я. Ушли? Жалкие пустые игрушки. Каково мне, полной деньгами, жить с этими ничтожными созданиями? Хотели из меня деньги вытряхнуть. Как же, дожидайтесь, отдам я вам мои денежки!.. Я почему от людей сбежала? Из-за денег. Обращались со мною люди хорошо, стояла я на комодке возле зеркала. Вдруг слышу: «Надо будет завтра из свиньи деньги вытряхнуть, купить Лиле игрушку. Завтра день ее рождения». Лилия — это девочка хозяйская была. Услышав это, дождалась я ночи и бежать. Вот я такая (*Поет сентиментально и протяжно. Песня ее напоминает старинный романс.*)

Целиком, в чистоте
Сберегу, упасу
Пятачок на носу,
Пятаки в животе,
Деньги — все для меня.
Самым лучшим друзьям
Ни копейки не дам —
Я такая свинья.

Внезапно из-за кулис появляется к у к л а-м а т р е ш к а. Платок куклы низко надвинут ей на лицо.

К у к л а-м а т р е ш к а. Так, так.
С в и н ь я (*вздрагивает*). Кто это?
К у к л а-м а т р е ш к а. Вот ты, значит, какая! Ты, значит, богачка. Отдавай сейчас же свои деньги!
С в и н ь я. Миленькая, голубушка, говори тише,
К у к л а-м а т р е ш к а. Отдавай деньги, тогда буду тихо говорить.
С в и н ь я. Миленькая, голубушка, а зачем тебе деньги?

Кукла-матрешка. А тебе зачем деньги?

Свинья. А я их коплю.

Кукла-матрешка. Ну, и я буду копить.

Свинья. Миленькая, голубушка, ведь ты не умеешь.

Кукла-матрешка. Научусь.

Свинья. Голубушка, миленькая. (*Плачет.*) Не трогай ты меня.

Кукла-матрешка сбрасывает платок — это Повелитель крыс.

Крыса!

Повелитель крыс. Перед тобою сам Повелитель крыс.

Свинья. Батюшки! Душечки! Не грызи ты меня, голубчик!

Повелитель крыс. Там видно будет. Стань на задние лапки.

Свинья-копилка повинуется.

Так. Стань на передние лапки.

Свинья-копилка повинуется.

Свинья. Послушна я, милый, послушна я.

Повелитель крыс. Стой на передних лапках, я еще не разрешил тебе стоять вольно. Пляши.

Свинья-копилка повинуется.

Так. Пляши и слушай. Хочешь, я напишу письмо всем игрушкам о том, какая ты богачка?

Свинья (*танцует*). Эх-эх! Гоп-гоп! Нет, нет, не хочу.

Повелитель крыс. Тогда слушайся меня во всем.

Свинья. Эх-эх, гоп-гоп, буду, буду слушаться.

Повелитель крыс. Смирно.

Свинья-копилка становится смирно.

Ты будешь мне рассказывать обо всем, что делается в городе, обо всем, что игрушки вытворяют, поняла?

С в и н ь я. Так точно.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Если будешь слушаться, я тебя награжу. Когда мы с игрушками расправимся, я посажу повелительницей игрушек тебя.

С в и н ь я. Вот это правильно. Ура! Молодец!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Но если ты мне изменишь...

С в и н ь я. Изменяю? Зачем же? Да я их ненавижу. Пустые глупые куклы. Да мы их разобьем, мы их.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Ну, ладно...

Издали доносятся звуки музыки.

С в и н ь я. Они возвращаются. Беги!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Ладно, успею.

С в и н ь я. Попадешься!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Нет. Им не до меня. Хочу сам послушать, что скажет Мастер. *(Надвигает платок и скрывается за углом одного из домов.)*

С в и н ь я *(кричит)*. Да здравствует кукольный Мастер! Ура!

Вбегает Т и г р. За ним едут грузовики, сопровождаемые к у к л а м и. М а с т е р сидит в одном из грузовиков, ноги держит в другом. На одной ноге у него компресс из роскошного кукольного платья с блестками. На коленях у Мастера К о ш к а.

Р и т а *(Мастеру)*. Слезай, малыш. Вот так, осторожно. Одну ногу протяни на Фарфоровый проспект, другую в Пупсов переулочек. Вот так. Садись теперь.

Мастер делает так, как сказала Рита. Игрушки разбегаются по домам, высовываются из окон, так им удобнее говорить с Мастером. Среди игрушек, оставшихся на площади, переодетый Повелитель крыс.

М а с т е р *(поглядывая на свою забинтованную ногу)*. Сколько я кукол чинил и не думал, что куклы меня будут чинить.

И г р у ш к и. Бедный Мастер, бедный Мастер!

М а с т е р. Не расстраивайтесь, ничего. Все к лучшему. Вы на меня надеялись — теперь надейтесь на себя. С больной ногой какой же я помощник.

Игрушки. Бедный Мастер, бедный Мастер!

Мастер. Зато я вас так обучу, что, когда кончится мой отпуск и вернусь я обратно в мастерскую, вы от любого врага отобьетесь.

Игрушки. Хорошо. Учи нас. Мы будем слушаться.

Мастер. Будьте готовы. Каждому найдется дело. Понимаете?

Игрушки. Да, да, понимаем.

Мастер. Итак, значит, первым делом запомните что оборона — дело общее. Второе дело — держите ухо востро. Враг у нас хитрый. Влезет под пол и подслушает, что не надо. Ведь вы крыс знаете?

Игрушки. Еще бы не знать!

Мастер. Вот то-то и есть. Третье — соблюдайте полное спокойствие. Оборона обороной, а ныть и дрожать я вам запрещаю. Будьте спокойны и веселы.

Игрушки. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Мы веселы.

Мастер. Четвертое — действуйте дружно, крепко друг за друга держитесь. И, наконец, пятое — не успокаивайтесь прежде времени. Не думайте после первой победы: ну, теперь — вот и все. Помните, что крысы народ упрямый. Поняли?

Игрушки. Поняли, поняли.

Мастер. Повторите.

Пупсванной. Оборона — дело общее, каждый должен делать свое дело на совесть. Пусть только покажутся крысы, я так дам им ванной по голове.

Мастер. Нет, брат, неверно.

Пупсванной. Как неверно? Сам же говорил: оборона — дело общее.

Мастер. Драться не значит, что все будут драться. Это значит, что каждый будет свое дело делать. Это дело старших, а не твое.

Пупсванной. А мне какую работу дашь?

Мастер. Сидеть дома и не бояться.

Пупсванной. Ну, что-то уж больно легко.

М а с т е р. Справишься с этим — другую работу тебе найду. Еще что я велел делать?

К р о л и к (*подняв уши*). Еще держать ухо востро.

М а с т е р. Верно. Дальше?

С и л а ч (*кувыркаясь на турнике*). Не ныть, не дрожать, кверху голову держать.

М а с т е р. Верно. Дальше?

М е д в е ж о н о к. Я скажу, что дальше.

О б е з ь я н к а. Нет, я скажу, что дальше.

М е д в е ж о н о к. А я говорю — я!

О б е з ь я н к а. А я говорю — я!

М е д в е ж о н о к. А я — я!

О б е з ь я н к а. А я — я!

Отчаянно дерутся. Мастер с трудом разнимает их.

М а с т е р. Ну, говорите.

М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а (*хором*). Все мы должны дружить.

М а с т е р. А вы деретесь.

М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а. Это мы так, любя.

М а с т е р. Ну, если любя, тогда ничего. Еще что я вам сказал?

О г р о м н а я к у к л а (*баском*). Еще мы должны не радоваться прежде времени.

М а с т е р. Отлично... Ну... (*Кошке*). Что с тобой? Куда ты так рвешься?

К о ш к а. Р-р-р... мяу!

М а с т е р. Куда ты?

Вырвавшись внезапно из рук Мастера, Кошка бросается
в толпу кукол.

С в и н ь я. Она бешеная! Хватайте ее! За хвост хватайте!

М а с т е р. Назад!

Кошка прыгает на середину площади. В зубах у нее бьется кукла-матрешка. Шум.

Пупс ванной. Ой, мама, она и меня сейчас схватит!

Платок сваливается с головы куклы.

(Визжит.) Ой, мамочка, крыса! Ой, мамочка!

Мастер (Пупсу). Тише ты! А кто собирался бить их ванной по голове?

Пупс. Извини меня.

Мастер. Ну, то-то! (Хватает Кошку и, освободив крысу, держит ее в руках.)

Повелитель крыс. Отпусти меня сейчас же.

Мастер. Отпустить?

Повелитель крыс. Да! Если отпустишь, я прикажу крысам не трогать больше ваш город.

Мастер. Ах-ах-ах! Прикажешь? Да никак это сам крысиный повелитель? Не брыкайся, не рвись, от меня не уйдешь. Найдется в городе клетка?

Тигр. А как же! (Тащит клетку.) Вот она. Ведь кроликов продают с клетками.

Мастер. Жаль, деревянная. Ну, да ничего. Мы его будем сторожить. (Сажает Повелителя крыс в клетку.) Слушай! Кричи немедленно своим крысам, чтобы они уходили подальше от города, если хотят, чтобы ты остался жив.

Повелитель крыс. Они не услышат.

Мастер. Услышат. Я по себе знаю, как хорошо умеют слушать крысы. Ну, кричи!

Повелитель крыс. Не закричу.

Мастер. Тогда я отдам тебя Кошке, и она съест тебя.

Кошка. Муур... мяу!

Мастер. Кричи!

Повелитель крыс. Крысы! Слышите вы меня?

Издали раздается шорох, писк: «Слышим! Слышим!»

Расходитесь по норам... Пока что. Слышите?

Издали раздается шорох, писк: «Слышим! Слышим!»

(Мастеру.) Все?

М а с т е р. Ну, уж ладно — пока все. Понимаешь, если хоть одна крыса покажется в городе — конец тебе. Отдам тебя Кошке.

К о ш к а. Р-р-р... Мяу!

М а с т е р. Понял?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Понял, пока что.

М а с т е р. Кошка будет лежать тут, и двое часовых будут сторожить тебя. Тебе не уйти.

И г р у ш к и. Ура Мастеру! Ура Кошке! (*Пляшут вокруг клетки. Поют: «Городок ты наш любимый».*)

Свинья-копилка стоит, глубоко задумавшись, у рампы.

С в и н ь я (*вскрикивает вдруг*). Придумала! (*Убегает.*)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Декорация предыдущей картины. Всюду погашены огни. Ночь. На небе сияет луна. Только над клеткой, где сидит П о в е л и т е л ь к р ы с, горит фонарь да светятся глаза К о ш к и, которая, поджав лапки, сидит поодаль, не сводя глаз с клетки. У клетки ходят взад и вперед часовые: С в и н ь я-к о п и л к а и Р и т а.

П о в е л и т е л ь к р ы с (*поет*).

Солнце скрылось прочь, прочь,
Наступила ночь, ночь,
Люди крепко спят, спят —
На охоту, брат, брат.
В темноте густой-стой,
В чаще под листвою-вой,
Нет тебя сильнее, друг,
Налетай и бей вдруг.

Верен острый глаз, глаз,
Бьем всего лишь раз, раз,
Хоть темна ты, ночь, ночь.

С в и н ь я. Что это за песня?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Так.. разбойничья...

С в и н ь я. Что? Разбойничья? Ай-ай-ай! Как ты сме-
ешь при нас петь разбойничьи песни?

Р и т а. Оставь его, девочка, пусть поет, что хочет.

С в и н ь я. Не могу! Уж очень я его ненавижу. (*Под-
ходит к клетке вплотную, кричит.*) Ух! Так бы и разо-
рвала тебя на кусочки.

Р и т а. Будет! Слышишь?

С в и н ь я (*кричит*). Нехорошее животное! Плохой
зверь!

Р и т а. Довольно, говорят тебе! Успокойся.

С в и н ь я. Ну, уж ладно. Только ради тебя успоко-
юсь, дорогая Рита. Разреши, я присяду, что-то ноги за-
болели.

Р и т а. Садись, маленькая.

С в и н ь я. Я здесь возле клетки сяду, чтобы не спу-
скасть с него глаз.

Р и т а. Ладно. (*Ходит взад и вперед.*)

Свинья-копилка расположилась возле самой клетки. Когда Рита отхо-
дит, Свинья-копилка просовывает рыло в клетку Повелителя крыс.

С в и н ь я. Приготовься.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Я давно готов.

С в и н ь я (*кричит*). Что? Рита, слышишь?

Р и т а (*подходит*). Ну, что случилось?

С в и н ь я. Он меня обругал шепотом. Назвал меня
глупой свиньей.

Р и т а. Ты его, наверное, дразнила?

С в и н ь я. Ничего подобного! Я только заглянула в
клетку, чтобы проверить, не грызет ли он прутья. Вот я
его!

Р и т а. Ну, ладно, успокойся.

Свинья-копилка ходит взад и вперед рядом с куклой.

С в и н ь я. Смотри, Рита, какой большой кажется луна.

Р и т а. Это рядом с нашими маленькими домиками. Когда я жила у людей, луна казалась гораздо меньше.

С в и н ь я. Смотри, Рита, вон какая-то птица летит прямо на луну. Какая страшная!

Р и т а. Где?

С в и н ь я. Ну, вон. Вон, чуть правей.

Р и т а. Не вижу я никакой пти...

Свинья-копилка толкает Риту под колени, Рита падает.

С в и н ь я. Ну вот и все.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Она околела?

С в и н ь я. Нет, уснула. Когда она падает, глаза у нее закрываются, и она сразу засыпает. Грызи скорей клетку, а я пока уведу Кошку.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Как ты ее уведешь?

С в и н ь я. Очень просто, у меня все придумано.

Повелитель крыс принимается грызть клетку. Свинья-копилка скрывается на миг и возвращается с бумажкой, привязанной к нитке. Начинает водить бумажкой перед самым носом Кошки. Сначала Кошка только не спускает своих светящихся глаз с бумажки, потом не выдерживает. Свинья-копилка водит бумажкой так ловко, так завлекательно. Кошка протягивает лапку, пробует поймать бумажку. Это ей не удается. Постепенно Кошка приходит в азарт. Она носится по всей площади за бумажкой. Свинья-копилка убегает прочь, таща за собою нитку. Кошка мчится следом. А Повелитель крыс уже на свободе. Он стоит посреди площади, поднявшись на задние лапки. Оглядывается.

(Возвращается.) Беги! Она там возится с бумажкой.

П о в е л и т е л ь к р ы с.. А Мастер где?

С в и н ь я. Он спит за городом. В городе не согласился спать.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Потом придешь ко мне, расскажешь, что они тут делают.

С в и н ь я. Приду... Беги.

Повелитель крыс свистит негромко. Ему отвечает издали писк, свист, шорох. П о в е л и т е л ь к р ы с исчезает. Свинья-копилка ставит куклу на ноги, поддевши ее своим рылом.

Р и т а. ...цы. Слышишь, девочка? Не вижу я никакой птицы.

С в и н ь я. Ну, значит, мне показалось. Я когда смотрю вверх плохо вижу.

Кошка бесшумно возвращается на свое место. Рита не замечает ничего. Они продолжают молча ходить рядом. Смена идет.

Р и т а. Да. Как незаметно прошло время!

Входят С л о н и П у п с-д в о р н и к.

П у п с-д в о р н и к. Ну, вот и мы. Все спокойно?

Р и т а. Да, малыши, все тихо. Кошка на месте, крыса... Ах!

С в и н ь я. Бежала! Да как же это? Только что она была тут...

Р и т а (*визжит*). Беда! Тревога!

Свистит Пупс-дворник, трубит Слон, распахиваются окна,
зажигается свет. Шум.

С в и н ь я (*на первом плане, рыдает*). Это волшебство! Это колдовство! Мы глаз с него не спускали! Ловите его! Держите его! Он тут где-нибудь. (*Тихо и самодовольно.*) Нет, уж его давно и след простыл.

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Большое дерево с дуплом, рядом пенёк. Вокруг густой кустарник. Чаша. Входит С в и н ь я-к о п и л к а. Оглядывается осторожно. Свистит трижды. Ей отвечает негромкий свист, и из-под земли появляется П о в е л и т е л ь к р ы с.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Наконец-то! Я уж думал, ты попалась.

С в и н ь я. Я-то? Ха-ха! Я, брат, никогда не попадусь. Я две недели притворялась больной с горя. Две недели лежала посреди площади и визжала: «Ах-ах-ах! Как же

это он убежал! Я себе не прощу этого». Всех просто извела своим визгом. Ха-ха! Они целым городом утешали меня. Ха-ха!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Какие новости?

С в и н ь я. Плохие.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Говори.

С в и н ь я. Целыми днями Мастер их учит. Куклы теперь попадают из пушки в цель, которую сами не видят.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Как так?

С в и н ь я. А очень просто. Готовятся к обороне. Стреляют далеко-далеко. Сами не видят, куда снаряд летит. А на самолетах летают летчики. И сверху дают знак, попали снаряды или нет.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Дальше.

С в и н ь я. Вот тебе и дальше. Напади — попробуй! Как подымут пальбу! Не подойти. Имей это в виду.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Имею. Дальше.

С в и н ь я. Танки через чащу напролом, только кусты трещат. А некоторые танки прыгать научились!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Прыгать?

С в и н ь я. Да. Смотри. Вот, допустим, я танк. А это канава. Танк бежит. (*Изображает.*) Р-р-р! И прыг... (*Прыгает.*) Видел? Так и носится, так и бегаёт. А Мастер все молотком стучит, все поёт, все работает.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Работает?

С в и н ь я. Да. Послал в свою мастерскую письмо, и прислали ему оттуда инструменты, жёсть, куски дерева, ящики целые... Строит он всякую всячину, а наши ему помогают.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Дальше.

С в и н ь я. Что дальше-то? И дальше ничего хорошего не услышишь] Оловянные солдатики настороже. Ружья и шашки им сделал Мастер — красота! Стреляют — уму непостижимо. За сто шагов отстреливают у комара на лету ножку. Вот как дела обстоят.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Залез я однажды в буфет, думал найти корочку сыра, а нашел целый кусок в полкило. Вот.

С в и н ь я. Это ты к чему?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Вот к чему. (*Свистит.*)

Кусты шуршат, трещат и оттуда высовываются дула пушек, пулеметов, выглядывают броневики.

С в и н ь я. Матушки мои!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Вот то-то и есть. Нет зверей, сильнее крыс, нет людей, умнее крыс.

С в и н ь я. Откуда ты все это набрал?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Мы разграбили пять игрушечных магазинов.

С в и н ь я. Молодец! Но, однако ж, я не вижу у тебя самолетов.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Были и самолеты. Но только я никак не могу научить крыс летать. Под землей они храбрецы, на земле — молодцы, а чуть взлетят повыше — голова кружится.

С в и н ь я. Ах! Нехорошо... Ты бы поговорил с летучими мышами.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Не годятся они.

С в и н ь я. Почему?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Днем летать не могут.

С в и н ь я. Как же быть-то? Без самолетов плохо.

П о в е л и т е л ь к р ы с. У меня есть кое-что получше самолетов. Что самолет? Машина. А у меня есть живая свирепая сильная птица.

С в и н ь я. Птица?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Огромная, злая, умная, как я. Клюв твердый, как камень. Перья густые, никакая игрушечная пуля не пробьет, когти острые, как крысиные зубы. Лучший мой друг. Мышей ест, а меня любит. Я ее кормлю мышами.

С в и н ь я. Что же это за птица?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Смотри. (*Свистит.*)

В темном дупле загораются большие глаза, слышен глухой хохот.

Большая С о в а показывается у входа в дупло. Хлопает глазами.

С о в а (поет).

Страшно днем, ужасно днем,
Солнце бьет в глаза огнем,
Я забьюсь в свое дупло
И молчу, пока светло.
Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Я молчу, пока светло.

С в и н ь я. Прости, повелитель, но ведь сова тоже ничего не видит днем. Она сама поет об этом.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Это мы очень просто обошли. А ну, Совушка, покажи нам свою обновку.

С о в а. Ха-ха-ха-ха! Чу-у-удная обновка. Просто у-у-ужас какая чу-у-у-уд-ная. (Надевает на нос черные очки.) Чу-у-у-удно. Темно, как ночью. (Поет.)

Опустился черный мрак,
Берегись несчастный враг.
Я лечу и хохочу,
И сейчас тебя схвачу.
Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Я сейчас тебя схвачу.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Видела? Я давно приметил в городе лавку, где стоят целые ящики самых разных очков. Я влез, нашел, взял. Днем она видит и ночью видит. Что скажешь?

С в и н ь я. Скажу — ура, мы им покажем!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Покажем, это ясно, как день.

С о в а. Покажем — это ясно, как ночь.

С в и н ь я. А ты не забыл, что обещал?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Нет.

С в и н ь я. Значит, после победы ты посадишь повелительницей игрушек меня?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Да.

С в и н ь я. Пожалуйста. А то очень уж обидно. Я, полная денег, наравне с пустыми жалкими пупсами.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Какие еще у тебя новости?

С в и н ь я. Вот тут на бумажке я нарисовала, где у них сложены запасы.

П о в е л и т е л ь к р ы с (*разглядывает бумажку, которую дала ему Свинья-копилка*). Чем ты это рисовала?

С в и н ь я. Пятачком и копытцами.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Грязно нарисовано.

С в и н ь я. Грязно, да верно.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Ладно. Пригодится. Ну, теперь слушай план. Я нападу на город внезапно.

С в и н ь я. Ничего из этого не выйдет.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Почему не выйдет?

С в и н ь я. Они всюду-всюду расставили заставы, посты, я сама-то еле пробралась сюда. Самолеты летают, сторожат. А ночью светят прожекторы.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Пусть.

С в и н ь я. Как это пусть?

П о в е л и т е л ь к р ы с (*вскакивает на пень, поднимается на задние лапы, вдохновенно*). Нет зверей, сильнее крыс, нет людей, умнее крыс. Слушай, что я придумал.

С в и н ь я. Ну-ну?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Завтра ночью мы нападаем на город.

С в и н ь я. Так, дальше?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Игрушки бросятся в бой с нами.

С в и н ь я. Так, ну?

П о в е л и т е л ь к р ы с. А мы убежим.

С в и н ь я. Ай, зачем же это? Убежите?

П о в е л и т е л ь к р ы с. Да, убежим. Ха-ха-ха! Нет зверей, сильнее крыс, нет людей, умнее крыс. Убежим без оглядки. Ничего из нашего оружия не возьмем с собою. Пойдем в бой безоружные. Жалкие крысы, увидим, как сильны наши враги, испугаемся и убежим. Поняла?

С в и н ь я. Нет еще...

П о в е л и т е л ь к р ы с. Мы убежим, а игрушки — они обрадуются. «Ха-ха-ха! — скажут они. — Вот какие у нас ничтожные враги». И начнут радоваться петь, плясать и на радостях забудут обо всем. И утром, при пол-

ном свете, когда ждут они нас меньше всего, мы ударим на город. Внезапно. Подкрадемся тихо, и загремят наши пушки, затрещат наши пулеметы. Поняла?

С в и н ь я. Да.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Что скажешь?!

С в и н ь я. Скажу — ура! Мы их разобьем.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Разобьем. Ясно, как день.

С о в а. Разобьем. Темно, как ночь.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Слушай дальше. Завтра утром, ровно в восемь часов утра, ты зажжешь самый большой дом на площади. Игрушки будут заняты пожаром... Это нам поможет тоже.

С в и н ь я. Очень хорошо. А скажи мне, пожалуйста, Повелитель... что с тобой?

Повелитель крыс внезапно подпрыгнул на целых полметра. Затем стрелой бросился в кусты. Оттуда раздается писк, свист.

Ох, матушки! Что же это?.. Что случилось? Уж не удрали мне?

Из кустов вдруг вылетает крыса. Перевернувшись в воздухе, она падает на все четыре лапы и с визгом бросается обратно в кусты. За нею вылетают еще две крысы, словно выброшенные взрывом. И они, упав на землю, устремляются обратно. Шум. Сова хлопает крыльями и хохочет. Пищат и свистят крысы. Что же это? Да неужто это игрушки? Ой! Из кустов на середину сцены устремляется Слон. Он свирепо сражается с крысами.

Слон!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Я, к счастью, заметил его в кустах... Хватай его за ноги! Вцепляйся ему в хобот!

Сражение продолжается. Слон не сдается.

С в и н ь я. Это он за мной следил. Постой, глупый Слон! Безобразие какое! Осмелился подозревать меня.

Слон бросается к Свинье-копилке. Она отскакивает с визгом.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Сова! Возьми его.

Сова вылетает из дупла, хватая Слона когтями и взвизгивает с ним на воздух.

В этом пне глубокая дыра. Бросай его туда.

Сова бросает Слона. Он задерживается на миг на краю пня.

С л о н (*Свинье-копилке, протянув к ней хобот*).
Предательница!

Сова ударяет Слона клювом по голове. Он исчезает.

С в и н ь я. Так его! Ишь ты, еще ругается!

С л о н (*ревет*). Все равно нас не победишь!

С в и н ь я. Подумайте... Бывало, слова от него не услышишь, а теперь вон как разошелся.

С л о н (*ревет*). Все равно ты погибнешь!

С в и н ь я. Я? Да никогда! Не погибну я, а буду повелительницей всех игрушек. (*Поет, ликуя.*)

Вы строга́ли, вы пи́лили,
Вы копа́ли, вы ру́били,
Стро́или и в до́ждь, и в зно́й,
Ну, а го́род бу́дет мо́й.

П о в е л и т е л ь к р ы с (*поет*).

Эх вы, жалкие игрушки...
Что нам танки, что нам пушки?
Мы тихонько подползем
И все войско загрызем.

С о в а (*поет*).

Слава крысе-государю!
Я, сова, крылом ударю —
И машины рухнут вниз.
Слава государю крыс!

П о в е л и т е л ь к р ы с. К делу! Довольно петь!
(*Свинье.*) Беги в город. И помни: ровно в восемь часов.

С в и н ь я. Помню, ровно в восемь часов.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Площадь в кукольном городе. Утро. Издали слышны выстрелы. На площади сидит М а с т е р. Недалеко от него расположилась Р и т а с иголкой и ниткой. Рядом с ней — О г р о м н а я к у к л а, у нее кисточка и клей. Рядом установлены койки разных размеров, покрытые чистыми одеялами.

Р и т а. Который час?

М а с т е р. Семь часов, Рита.

О г р о м н а я к у к л а. Что же это значит?

М а с т е р. Что тебя беспокоит, Маруся?

О г р о м н а я к у к л а. С трех часов ночи идет бой, и не привели ни одного раненого.

М а с т е р. Крысы не ждали такого отпора, дорогая. Ну, крысы! Напали на кукольный город! Ох, крысы, увидите вы сегодня, что такое игрушки.

О г р о м н а я к у к л а. Все это хорошо, но где же раненые? Я чуть не плачу от жалости, а жалеть некого.

М а с т е р. Погоди, кто-то бежит.

Вбегают гуськом, переваливаясь, целлулоидные г у с и.

Г у с и. Мы прогнали его-го-го-го-го.

М а с т е р. Кого?

Г у с и. Врага-га-га-га.

М а с т е р. Крысы отступают?

Г у с и. Удирают, бего-го-го-гом.

М а с т е р. Отлично.

Кубарем влетают М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а. Отчаянно дерутся.

В чем дело?

Медвежонок и Обезьянка продолжают драться.

Да говорите же!

Никакого ответа. Драка продолжается. Мастер разнимает дерущихся.

М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а (*хором*). Полная победа! Крысы разбежались по норам. Ур-ра!

Спускается самолет. Оттуда выскакивает Т и г р в шлеме летчика.

Т и г р (*восторженно*). Повелитель крыс удрал впереди всех. Ха-ха-ха! Я даже на самолете не мог его догнать. Победа! Победа!

С в и н ь я (*вбегают*). Поздравляю, поздравляю! С праздником, с праздником!

Слышно постукивание, и выходит отряд в а н е к-в с т а н е к.

В а н ь к и - в с т а н ь к и (*поворачиваясь*). Враг-враг не мог-не мог сбить-сбить нас-нас с ног-с ног... Они-они ушли-ушли.

С в и н ь я. Давайте праздновать! Давайте ликовать!

Т и г р. Свиныя-копилка! Я с тобой ссорился, а теперь прямо говорю — прости меня. Мастер! Она молодец. Она бросилась в самую гущу врагов. Она напала на самого Повелителя крыс. Молодец!

С в и н ь я (*скромно*). Ну что там, глупости...

Слышна музыка.

М а с т е р. Что это? Войска идут сюда. Стойте.

Музыка замолкает.

Вы что же это? А? Командиры, ко мне!

Командиры и оловянные солдатики скачут к Мастеру.

Как же вы оставили места, на которых я вам приказал находиться?

К о м а н д и р ы. Враг бежал! Мы победили!

М а с т е р. А вы помните мой приказ: не радоваться и не успокаиваться прежде времени? Где Кошка?

К о м а н д и р ы. Ходит по полю, мяукает.

М а с т е р. Видите! Значит, крысы недалеко ушли. Она их чует. Все по местам!

С в и н ь я. Прости меня, дорогой Мастер. Можно мне одно слово сказать?

М а с т е р. Говори.

С в и н ь я. Мастер, если бы ты видел, как удирали крысы! Они до того напуганы, что раньше, чем через месяц, не опомнятся.

Г о л о с а. Верно! Правильно!

С в и н ь я. Сейчас сколько времени?

М а с т е р. Половина восьмого.

С в и н ь я. Дай ты нам порадоваться, дай нам по-
пировать, хотя бы до половины девятого. Только часик.
Ведь первая победа у нас.

Г о л о с а. Правильно!

М а с т е р. Ну, ладно. Оставьте часовых повсюду —
на деревьях, на пригорках, везде, а сами отдыхайте,
празднуйте.

С в и н ь я. Дорогой Мастер! Уж праздновать, так
всем. Зачем же часовых-то обижать? Все в сражении уча-
ствовали, все пусть и отдыхают.

М а с т е р. Нет.

Г о л о с а. Ну, пожалуйста! Мастер! Миленький, ведь
победа.

М а с т е р. Ни за что!

С в и н ь я. Ну чего там! Празднуй, ребята!

Мастер пробует возразить, но его заглушают крики, шум. Гремит
музыка. Игрушки располагаются у стен. Посреди площади танцуют.
Пляшут русскую куклы в русских костюмах. Пляшут лезгинку куклы
в костюмах горцев. Мастер, поднявшись с трудом, стоит неподвижно
на часах, вглядываясь вдаль.

С в и н ь я (*на авансцене, глядит злобно на Мастера*).
Все смотришь! Ничего... Я тебя заставлю отвернуться.
(*Исчезает.*)

Пляска продолжается. Вдруг из окон самого большого дома, того,
где живет Огромная кукла, вырывается пламя.

(*Вбегают.*) Пожар! Пожар!

На несколько секунд вспыхивает паника.

М а с т е р. Трубы, тревогу!

Никто не слушает его.

Забыли, что я вам говорил? Все по местам! Позор!
Очистить площадь! Тревога! Пусть каждый делает свое
дело!

О г р о м н а я к у к л а (*выходит*). Идемте! Мой дом горит, а я ухажу на свое место, видите. (*Идет, за нею все.*)

Площадь пустеет. Приезжает пожарная команда.

С в и н ь я (*на авансцене*). Ах, как это неприятно! Как он их обучил, организовал. Да ведь они от пожара скорее успокоились, чем...

Грохот. Вбегает П у п с с в а н н о й. Он плачет.

П у п с с в а н н о й. Я собирал чернику, вдруг вижу, идут крысы! С танками!

М а с т е р. С танками?

П у п с с в а н н о й. С пушками!

М а с т е р. С пушками?

Грохот, снаряд ударяет в крышу дома.

(*Ванькам-встанькам.*) Бегите на холм, задержите врага, пока все не станут по местам.

Ваньки-встаньки бегут, постукивая. Через площадь мчатся танки, за ними бегут п е х о т и н ц ы, везут на грузовиках пушки.

С в и н ь я. Как будто не растерялись. Вот безобразие какое! Что-то будет? Что-то будет?

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Пригорок, занятый отрядом ванек-встанек. Пальба.

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р (*покачиваясь*). Стой-стой. Не бойся-не бойся.

В а н ь к и - в с т а н ь к и. Стоим-стоим. Не боимся-не боимся.

Из-за пригорка появляется П о в е л и т е л ь к р ы с.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Ха-ха-ха! Вот так солдаты! Ни рук, ни ног, ни оружия. Уходите с пригорка! Он мне нужен. Я тут поставлю пушки.

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р. Приди-приди
и возьми-возьми.

П о в е л и т е л ь к р ы с (*хохочет, вбегает на холм,
кричит, обернувшись*). Крысы, стойте на месте! Я сам с
ними справлюсь. (*Размахнувшись, бьет командира ванек-
встанек.*)

Командир откачнулся, размахнулся и ударил головой
Повелителя крыс.

Ты жив, да еще и дерешься?

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р. Ты меня-меня
кулаком-кулаком, я тебя-я тебя головой-головой.

Говоря это, он все время раскачивается и бьет Повелителя крыс. Тот
пробует схватить Ваньку-встаньку зубами, когтями, пробует свалить
его ударом хвоста — напрасно!

В а н ь к и - в с т а н ь к и (*поют хором*).

Ванька-встанька,
Ванька-встанька.
Ты его поди достань-ка,
Ну-ка, тронь-ка ты его —
Не добьешься ничего.
С виду птица невелика,
А поди-ка повали-ка.
Влево, вправо, в бок, в живот
Бьешь его, а он встает.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Эй вы, сюда!

Появляются две крысы.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Пушку!

Крысы исчезают и через миг появляются с пушкой.

Целься!

Крысы целятся в командира ванек-встанек. Он стоит спокойно.

Огонь!

Раздается выстрел. Командир ванек-встанек покачнулся и снова стал
прямо. Он невредим.

Стоишь?

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р. Стою-стою.
П о в е л и т е л ь к р ы с. Огонь!

Выстрел. Ванька-встанька невредим.

Стоишь?

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р. Стою-стою.
П о в е л и т е л ь к р ы с. Хорошо же.

К р ы с ы убегают со своим П о в е л и т е л е м и уволакивают за собой пушку.

В а н ь к а - в с т а н ь к а - к о м а н д и р. Стой-стой, не бойся-не бойся.

В а н ь к и - в с т а н ь к и. Стоим-стоим. Не боимся-не боимся.

Влетает верхом к о м а н д и р о л о в я н н ы х с о л д а т и к о в.

К о м а н д и р о л о в я н н ы х с о л д а т и к о в. Задержали их?! Молодцы! Мы все успокоились. Все стали по местам.

В а н ь к а - в с т а н ь к а. Бежит-бежит танк-танк.

К о м а н д и р о л о в я н н ы х с о л д а т и к о в. Ничего, отходите. Сейчас мы выпустим против него наш танк.

В а н ь к и - в с т а н ь к и уходят, покачиваясь. К о м а н д и р о л о в я н н ы х с о л д а т и к о в уезжает за ними. Из-за пригорка вылетает танк. П о в е л и т е л ь к р ы с выглядывает из его башенки.

П о в е л и т е л ь к р ы с. Ага! Струсили! Вперед!

Навстречу крысиному танку вылетает танк игрушек. Завязывается бой. Крысиный танк значительно больше, но танк игрушек управляется в высшей степени искусным водителем. Он кружится возле противника, обстреливая его со всех сторон. Когда крысиный танк пробует отступить, танк игрушек вдруг прыгает через него и загоразживает ему дорогу. Крысиный танк бежит. Танк игрушек преследует его. Оба исчезают. Показывается ряд танков игрушек. Они проходят через сцену. За ними проходят стройным рядом оловянные солдатики. За пушками идет П у п с в а н н о й. Пушки проходят, а Пупс ванной остается на пригорке.

Пупс с ванной. Меня Мастер похвалил. Ха-ха! Я молодец! Я первый увидел крыс. Ха-ха-ха! Но только он велел мне сидеть дома и не бояться. А я не хочу. Мне хочется смотреть, как сражаются.

Орудийный выстрел.

О! Видали? Стреляют, а я не боюсь.

Неподалеку разрывается снаряд.

Ой, что вы делаете! Вы так можете меня сломать.

Еще взрыв Пупс с плачем ложится и накрывается ванной. Вбегает
Свинья-копилка. Оглядывается.

Свинья. Никого нет. Сюда!

Входит Повелитель крыс.

За мной! Я проведу вас прямо к городу, мимо всех застав. Только тише! Здесь недалеко сторожевой пост.

Повелитель крыс идет за ней. За ним цепочкой крысы.

Пупс с ванной (*вскрикивает*). Что ты делаешь? Бессовестная!

Свинья. Это еще что? Я тебе уши оборву. (*Бросается на Пупса.*)

Пупс отбивается ванной. Пищит во весь голос. Ванна грохочет.

Пупс с ванной. Сюда! Измена! На помощь!

Свинья. Хватайте его и бегите! Он поднял тревогу, негодный.

Крысы уносят Пупса с ванной. Вбегают Медвежонок
и Обезьянка, вооруженные саблями.

Медвежонок и Обезьянка (*вместе*). Что случилось?

Свинья. Ох, ужас! Крысы забрали в плен Пупса с ванной.

Медвежонок и Обезьянка выхватывают сабли. Бегут. Навстречу им две крысы. Завязывается бой. Обе крысы убегают. Свинья-копилка скрывается.

М е д в е ж о н о к. Видела, как я прогнал крысу?

О б е з ь я н к а. Нет, это я прогнала крысу.

М е д в е ж о н о к. А я говорю — я.

О б е з ь я н к а. А я говорю — я.

Дерутся. Вбегает П у п с-д в о р н и к с ружьем. Бросается между дерущимися.

П у п с-д в о р н и к. Племянника моего не видели?

М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а. Нет, не видели, мы его спасем, не бойся.

П у п с-д в о р н и к. А что с ним?

М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а. Его в плен взяли.

П у п с-д в о р н и к. В плен? А вы деретесь? За мной! (Убегает.)

М е д в е ж о н о к и О б е з ь я н к а за ним. Скачет конный о л о в я н н ы й с о л д а т и к. На него внезапно бросается крыса, стаскивает его с коня, а сама садится на его место. Но конь отчаянно брыкается, прыгает и сбрасывает крысу. Оловянный солдатик снова на коне, гонится за крысой... Удаляется, сражаясь. В воздухе появляется С о в а в черных очках. Она парит на развернутых крыльях.

С о в а. Ну-ну и деру-у-тся они. У-у-у-ужас. Пора и мне вмешаться. Где же их машины? А, вот летит ко мне на свою погибель,. Ха-ха-ха!

Влетает, жужжа, самолет, которым управляет Тигр. Сова бросается на самолет. Но Тигр переводит машину в пике. Сова промахнулась. Она растерянно оглядывается, Тигр набирает высоту, летит на Сову. Сова снова бросается на самолет. Тигр начинает делать «мертвые петли». Сова распласталась в воздухе, крутит ошеломленной головой, следя за «петлями». Тигр выравнивает самолет. Сова, покачиваясь, далеко уж не так уверенно, как в первый раз, пробует на него напасть, но тщетно. Когда Тигр переводит самолет в штопор, Сова беспомощно шатается с крыла на крыло.

С о в а (*замирающим голосом*). Что такое?.. В первый раз в жизни... У меня кружится голова...

Тигр взвизгивает в воздух. Теперь он нападает. Он летит прямо на Сову и сбивает с нее очки. С воплями Сова улетает. Тигр преследует ее. Въезжают два грузовика. На них знаки — красные кресты. Р и т а

и Огромная кукла идут возле. За ними, прихрамывая, идет
М а с т е р. Он смотрит вдаль.

М а с т е р. По-моему, крысы отступают. Странно.

Р и т а. Что странно, малыш?

М а с т е р. Почему никто не скачет ко мне рассказать
об этом.

Скачет В с а д н и к.

О г р о м н а я к у к л а. А вот и Всадник.

М а с т е р. Ну, что?

В с а д н и к (*мрачно*). Да неважно дело. Крыс разби-
ли вдребезги. Не хватает клеток для пленных. Они бегут
без оглядки.

М а с т е р. Да почему же ты такой грустный? Почему
ты не радуешься?

О г р о м н а я к у к л а (*баском*). Нет, уж теперь мы
умны. Не будем радоваться прежде времени.

М а с т е р. Радуйтесь! Это победа настоящая. Радуй-
тесь! Я разрешаю.

Раздается музыка. Из-за холма показываются войска. Гремит «Ура!».

Прибегает С в и н ь я-к о п и л к а.

С в и н ь я. Поздравляю! Поздравляю! С праздником!
С праздником!

К р и к и. Смотрите! Смотрите!

На парашюте спускается Т и г р. Он держит в лапах связанного по
рукам и ногам П о в е л и т е л я к р ы с..

М а с т е р. Повелитель крыс!

П о в е л и т е л ь к р ы с. Сдаюсь.

М а с т е р. Дайте клетку с пленными крысами.

Вкатывают беличью клетку с колесом, полную жалобно пищущих
крыс. Мастер сажает к ним Повелителя крыс.

Т и г р (*прыгает*). Победа! (*Мастеру*.) Поздравляю.
(*Свинье-копилке, хватая ее за передние ноги*.) Поздрав-
ляю, поздравляю.

С в и н ь я. И я поздравляю, только пусти мои ножки.
Что ты так крепко держишь меня?

Т и г р. А ты не понимаешь, почему?

С в и н ь я. Нет.

Т и г р. Сейчас поймешь. Вау-вау! Спускайся, товарищ.

На парашюте спускается С л о н.

С в и н ь я. Ай-ай-ай!

Снижается самолет. На самолете Пупс с в а н н о й, Медвежонок, Обезьянка, Пупс-дворник.

М а с т е р. Что все это значит?

С л о н (*указывает хоботом на Свинью-копилку*). Предательница!

Т и г р. Я погнался за Совой, она — в дупло, а возле дупла пень, а в пне дыра, а в дыре, я вижу, дерутся Медвежонок и Обезьянка. Я снизился. Смотрю — полно наших. Свинья-копилка — предательница. Слон выследил ее, но крысы его захватили. Пупс поймал ее, но его тоже схватили крысы. Наши побежали выручать Пупса и сами попали в плен. Я их освободил; смотрю, бежит Повелитель крыс. Мы его в плен, все на самолет и к тебе.

М а с т е р. Дайте клетку с крысами. (*Сажает Свинью-копилку в клетку.*) Иди к своим друзьям.

С в и н ь я (*визжит*). Я больше не буду!

М а с т е р. Нет, предателям мы не верим. Увезите клетку. Так. А где моя Кошка?

Г о л о с а. Догоняет последних крыс.

М а с т е р. Разыщите ее. Нам пора домой.

Г о р е с т н ы е в о з г л а с ы. Как домой! Почему? Мастер!

М а с т е р. Да, друзья, пора мне домой. Отпуск-то мой кончился. Нога у меня давно не болит. Я вам этого нарочно не говорил, чтобы вы не на меня надеялись, а на себя. Теперь никакой враг вам не страшен. Вы научились защищать свой город. До свидания, друзья.

Куклы плачут.

Не надо плакать. Я буду приезжать к вам каждый выходной день.

Куклы радостно кричат.

Что привезти вам из города?

Р и т а. Вот что я тебе скажу, малыш... Живем мы хорошо, но ведь все-таки мы игрушки... (*Вздыхает.*) Стыдно признаться, но иногда скучновато мне бывает без ребят. Может быть... найдутся дети добрые и умные, которых можно будет привезти к нам... поиграть..

И г р у ш к и. Да! Да! Правильно!

М а с т е р. Ладно. Буду присматриваться. Если найду мальчиков или девочек, которые за год не изуродовали ни одной игрушки, возьму их с собой к вам. Идет?

О г р о м н а я к у к л а. Идет. Только таких нету...

М а с т е р. А вдруг найдутся? Ну, до свидания? куклы.

Р и т а. Ребята! Передайте привет нашим братьям и сестрам, игрушкам, которые живут у вас.

О г р о м н а я к у к л а (*баском*). И не обижай их по возможности.

В с е и г р у ш к и (*поют*).

Приезжайте к нам скорей,
Мы скучаем без детей...
К нам совсем проста дорога:
Вправо ты пройдешь немного,
Дальше — влево, вверх и вниз,
Мимо мошек, мимо крыс,
Мимо дуба, мимо клена,
По тропинке по зеленой,
Кто разыщет — молодец,
Тут и сказке — конец.

Занавес

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Петя.

Маруся.

Наденька.

Вася.

Мама.

Тетя Наташа.

Старик-волшебник, он же Василий

Прокофьевич.

Андрей Андреевич,

Анна Ивановна,

Мария Петровна — волшебники.

Пират — пес.

Кукушка.

Белка.

Гражданка, сухонький старичок,

рабочие, профессор, сторож, старушка,

привратник, доктор.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Двор большого дома. Из подъезда выбегает мальчик лет десяти. В руках у него книжки. Это ученик 3-го класса П е т я З у б о в.

П е т я (*смотрит на солнце*). Ну уж сегодня я, наверное, не опоздаю в школу. Если столовые часы врут, так будильник не врет. А если будильник врет, так уж солнце правду говорит. Я знаю: когда солнце возле той трубы, то времени у меня еще десять минут. Этого, апчхи! Как раз, апчхи! Хватит. Отчего это, когда человек смотрит на солнце—так непременно чихает? А ну, попробую посмотреть одним глазом. (*Чихает оглушительно. Роняет книжки. Один листок у него уносит ветром.*) Стой! Куда ты? Арифметика, а летает, как змей! За трубу зацепилась. Что тут делать? Недаром я не люблю арифметику. Как ее снять? Вот это задача! (*Швыряет в трубу камушками. Бежит в угол двора за метлой. Пытается метлою снять листок из задачника.*)

Внезапно появляется высокий с т а р и к с седой бородою. И сейчас же начинает играть едва слышная музыка. В ней явственно слышится бой часов и стук маятника. Через плечо у старика висит сумка. Петя Зубов не замечает старика.

С т а р и к (*негромко, таинственно*). Теряй, теряй а я подберу. Теряй, теряй, а я подберу.

П е т я. Ну, наконец-то упал листок! Ложись на место и лежи. Что это в самом деле — видишь, человек опаздывает, а ты летаешь, как маленький. Все, кажется, книжки? Все. Или не все? Раз, два, три... (*Взглядывает на солнце.*) Ай! Что такое! Если верить солнцу, то у меня только

пять минут времени осталось. Не может быть! Наверное сегодня солнце спешит. Побегу все-таки. Если бегом, так я успею. *(Бежит.)*

С т а р и к *(бормочет)*. Теряй, теряй, а я подберу. *(Устремляется следом за Петей.)*

Двор дома исчезает. Появляется улица. Огромная витрина магазина. Стекло только что вымыто. Оно так и сверкает. Выбегает П е т я. У витрины останавливается как вкопанный. С т а р и к выбегает следом. Замирает у стены. Петя его не видит.

П е т я. Ой! Стекло как блестит. Вон я в нем, как в зеркале. *(Кланяется.)* Здравствуй, Петя Зубов. Смотри-ка! Колбасы сколько выставили. Интересно, съел бы я ее всю за год? А вон сыр. Круглый какой. Интересно, если его вместо колес приделать к автомобилю, поедет или нет машина? Ой! *(Прыгает.)* Кассиршу вижу. До сих пор я кассиршу только с лица видел, когда деньги платил, а теперь вижу с изнанки. Ишь как отстукивает! *(Хохочет, чуть не падая от смеха.)* Что я придумал! Можно кассу показать на своем лице! *(Нажимает пальцем правый глаз.)* Рубль... *(Нажимает левый.)* Двадцать... *(Нажимает нос.)* Пять. *(Вертит рукой возле уха.)* Дзинь-дзинь, получите чек, гражданин. *(Хохочет. Продолжает изображать кассу.)* Пять... Тридцать... Три... Дзинь-дзинь, получите чек, гражданин. Восемь... девяносто... восемь... Дзинь-дзинь, получите чек, гражданин.

Пока Петя изображает кассу, таинственный старик открывает сумку, висящую у него на боку.

С т а р и к *(бормочет)*. Теряй, теряй, а мы подберем. Теряй, теряй, а мы подберем.

П е т я. Ой! Что это! По магазинным часам выходит, что я опоздал уже... Не может быть! Они спешат. *(Бросается бежать.)*

Старик бежит следом за Петей. Большой охотничий п е с выбегает навстречу Пете.

А, здравствуй, Пират.

Пират подает Пете лапу.

Что это тебя давно не видно?

Пират делает стойку. Замирает на месте, подняв одну лапу.

А, понимаю. На охоту ездил?

Пират лает коротко, утвердительно кивая головой.

Зайцев ловил?

Пират отрицательно трясет головой.

Куропаток?

Пират отрицает и это.

Глухарей?

Пират кивает головой, подтверждая.

И много добыл глухарей?

Пират прыгает, торжествуя, всем видом своим показывая, что глухарей добыто было порядочно.

Ну а все-таки? Штуки две?

Пират отрицает это.

Три?

Пират отрицает.

Ну, а сколько же?

Пират коротко лает пять раз.

Пять штук? А ты не врешь?

Пират, угрожающе рыча, бросается на Петю.

Ладно, ладно, верю, верю.

Пират ласково виляет хвостом.

А скажи ты мне...

Раздается голос громкоговорителя: «Внимание, внимание, сейчас девять часов двадцать пять минут...»

Сколько? Не может быть! Неужели и радио спешит сегодня?

Голос громкоговорителя: «Через пять минут слушайте передачу для дошкольников».

Нет, нет, не просите. Не могу слушать. Я опять опоздал. *(Бросается бежать.)*

П и р а т скрывается. Старик остается один.

С т а р и к *(заглядывая в сумку)*. Достаточно набралось. *(Оглядывается.)* Кажется, никто меня не видит? *(Достает из-за пазухи маленькую палочку.)*

Раздается музыка, в которой слышится бой часов, стук маятника, крик кукушки.

(Бормочет под музыку.) Ку-ку! Бим-бом! Тик-так! Тихо пятится по берегу рак. Тик-так! Бим-бом! Ку-ку! Еле движется улитка по песку. Ку-ку! Тик-так! Бим-бом! Вы теряете, а мы берем!

Произнося последние слова, старик взмахивает палочкой. Его окутывает дым. Музыка звучит громче и обрывается. Дым рассеивается.

Старик превратился в мальчика, ровесника Пети Зубова.

Дело сделано! Я превратился в мальчика, а Петя Зубов...

Гаснет свет. Музыка, в которой слышны крик кукушки, звон часов, стук маятника. Перед зрителями школьная раздевалка. Появляется, подпрыгивая и напевая, с т а р и к с длинной седой бородою, — совсем не тот, который превратился только что в мальчика. Тот был бледный, этот — румяный. Тот был мрачный, а этот — веселый.

В е с е л ы й с т а р и к *(кричит)*. Тетя Наташа! Возьмите скорее мою кепку!

Г о л о с т е т и Н а т а ш и *(издали)*. А кто это меня зовет?

В е с е л ы й с т а р и к. Это я, Петя Зубов, ученик третьего класса!

Г о л о с. А почему у тебя голос такой хриплый?

П е т я. Я сам не знаю. Простудился, наверное.

Г о л о с. А почему ты опять опоздал сегодня?

П е т я. А я не знаю. Вышел вовремя, а меня все задерживали.

Г о л о с. Кто же тебя задерживал?

П е т я. Сначала листок из задачника, потом метла, потом Пират, а я не виноват.

Г о л о с. Ну, уж конечно, — все виноваты, только не ты.

Из-за вешалки выходит не спеша т е т я Н а т а ш а.

Т е т я Н а т а ш а (*читая на ходу газету*). Ох, Петя, Петя! Влетит тебе сегодня! (*Опускает газету, взгляды-
вает на Петю, подпрыгивает от ужаса.*)

П е т я (*тоже подпрыгивает*). Вы что, тетя Наташа?

Т е т я Н а т а ш а. А вы что? (*Вглядывается, перегнувшись через перила, установленные перед вешалкой, ищет что-то на полу.*)

П е т я. Тетя Наташа! Вы кого ищете?

Т е т я Н а т а ш а. Петю Зубова.

П е т я. Я — Петя Зубов.

Т е т я Н а т а ш а. Вы — Петя Зубов? Ах! Понимаю! Вы нашего Пети Зубова дедушка?

П е т я. Какой же я дедушка? Я ученик третьего класса! Чего вы меня пугаете! Тетя Наташа!

Т е т я Н а т а ш а. Это вы меня, дедушка, пугаете.

П е т я. Я вовсе не дедушка, а мальчик!

Т е т я Н а т а ш а. Мальчик? Да вы посмотрите в зеркало.

П е т я (*подбегает к зеркалу, висящему на стене в раздевалке. Отскакивает в ужасе. Снова бросается к зеркалу. Пристально разглядывает свое старое лицо, седую бороду. Снимает кепку, проводит рукою по седым волосам. Кричит в страхе.*) Я маме скажу! (*Выбегает.*)

Раздевалка исчезает. Петя Зубов во дворе своего дома.

П е т я. Что же мне делать? А? (*Дергает бороду.*) Настоящая. И сидит как крепко... Побриться — все равно лицо останется немолодое. И ростом я стал даже выше

учеников десятого класса. Ох. .. Вот беда-то... Ну хорошо, приду я домой, а если и мама меня не узнает, тогда как быть? Бедный я, бедный Петя Зубов. Ай! Мама идет... За молоком идет... С бидончиком. Бидончик тот же, а со мной вон что сделалось. Неужели она меня не узнает?

Показывается м а м а П е т и З у б о в а. Петя Зубов стоит, подняв голову, выставив вперед лицо, чтобы мама узнала его. Мама внимательно глядит на Петю.

Ты... вы... меня не узнаете?

М а м а. Простите, нет...

П е т я (*умоляюще*). Посмотрите получше!

М а м а. Ах... Ах, узнаю... Вы наш новый дворник! Вот хорошо, что я вас встретила... Принесите, пожалуйста, нам ключ от чердака... Я стираю сегодня.

Петя круто поворачивается. Бежит к воротам.

(*Растерянно.*) Куда же вы?

П е т я (*сквозь слезы*). Куда глаза глядят!

Лес, покрытый весенней, но уже довольно густой листвой. Вечереет.
Появляется П е т я.

П е т я. Куда же это я забрел? Лес кругом... Сам не заметил, как вышел из города.. Как хорошо в лесу... Дней через пять кончатся занятия... Которые ребята на дачу поедут, которые — в лагерь, а я что буду делать?

К у к у ш к а. Ку-ку!

П е т я. Что ты говоришь?

К у к у ш к а. Ку-ку!

П е т я. Кукушка, а кукушка, где же мне спасения искать?

К у к у ш к а. Ку-ку!

П е т я. Все ку-ку да ку-ку, а что делать — не отвечает.
(*Поет.*)

Где ты, молодость?

Ку-ку!

Где ты спряталась?

Ку-ку!
Как найти тебя?
Ку-ку!
Кто ответит старику?

На дереве появляется Б е л к а.

(Подпрыгивает от восторга.) Белочка, здравствуй, дорогая!

Белка кувыркается.

Иди сюда, я тебя поглажу. Не бойся меня. Я добрый мальчик! Поиграй со мной, а то мне очень грустно. Ты не смотри, что у меня седая борода, — мне ведь только десять лет. Слышишь, Белка?

Белка опускается ниже и ниже, с ветки на ветку.

Спасибо тебе, Белка, хоть ты меня развеселила. Сама посуди, что у меня за жизнь? Будь я настоящий старик, был бы я доктором, или токарем, или, может быть, даже генералом, а теперь я всего только ученик третьего класса.

Белка двигается к Пете.

Или, Белочка, получал бы я пенсию за мою прошлую работу. А теперь разве дадут мне пенсию, когда я всего только три года и работал — в первом, во втором и в третьем классах. Да и то по арифметике посредственно имел. Что мне делать? А? (Делает движение к Белке.)

Б е л к а срывается с места и устремляется в глубь леса.

Постой! Белочка! Хоть ты меня не бросай! (Гонится за Белкой.)

Показывается маленький белый домик. Он стоит в самой чаще леса. Вокруг ни забора, ни служб; кажется, что домик вырос сам собою среди кустов и деревьев.

Вот тут я и отдохну. (Стучит в дверь.) Хозяева, пустите отдохнуть бедного мальчика... То есть бедного старичка. (Стучит еще раз.)

Вдруг дверь открывается перед ним сама собою.

(Заглядывает в домик.) Да ведь тут никого нету! Как быть? Может быть, хозяева вернутся скоро. *(Входит в домик.)*

Лес исчезает. Петя стоит в комнатке, оглядываясь. Комната обставлена просто: стол, вокруг него четыре табуретки. На задней стенке висят часы, довольно большие. В углу горой навалено сено. У правой стенки стоит шкаф.

Эй, если есть тут живая душа, откликнись!

Внезапно на циферблате часов распахивается дверца. Оттуда выскакивает Кукушка. Часы бьют, а Кукушка кукует шесть раз. Скрывается, прокуковав.

Кукушка, дорогая, не убегай, поговори со мной хоть немножко, пожалуйста.

Дверца щелкает. Кукушка выглядывает из дверцы. Глядит на Петю, раскрыв клюв.

Клюв раскрыла... Тебе, верно, пить хочется?

Кукушка. Ку-ку.

Петя. А где вода?

Кукушка. В шкафу.

Петя *(бежит к шкафу, открывает его, достает чайник, наливает воды в блюдце, дает кукушке)*. Пей!

Кукушка пьет.

Еще хочешь, Кукушка?

Кукушка. Дай капель-ку-ку. *(Пьет.)*

Петя. Еще налить, Кукушка?

Кукушка. Довольно, мальчик.

Петя. Откуда ты знаешь, что я мальчик, а не старик?

Кукушка молчит.

Скажи, Кукушка! Я вижу, ты все знаешь! Помоги мне, милая. Объясни, что со мной! Пожалуйста! Там, наверное, мама беспокоится уже: «Где Петя, что с ним?» А Петя и сам не знает, что же это такое с ним приключилось. . . Помоги, Кукушечка. Помоги, милая. Расскажи, что это со мной!

К у к у ш к а. Ку-ку... Я им сто лет служила, а они ни разу меня не пожалели. Ты меня водою напоил. Ласково со мною поговорил. Хорошо. Я тебе все скажу. Побеги погляди, никого в лесу не видно?

П е т я (*выглядывает в окно*). Никого!

К у к у ш к а. Тогда слушай. Превратил тебя в старика злой волшебник.

П е т я. Как же я этого не заметил?

К у к у ш к а. Человек, который напрасно теряет время, сам не замечает, как стареет.

П е т я. Как ты говоришь?

К у к у ш к а. Человек, который напрасно теряет время, сам не замечает, как стареет. И превратил тебя волшебник в старика. А потерянное тобою время забрал себе. И стал ты стариком, а он мальчиком.

П е т я. Что же мне делать теперь?

К у к у ш к а. Не знаю.

П е т я. Неужели всю жизнь стариком жить?

К у к у ш к а. Не знаю.

П е т я. А ты посоветуй.

К у к у ш к а. Поди погляди — никого в лесу не видно?

П е т я (*выглядывает в окно*). Какой-то мальчик бежит сюда!

К у к у ш к а. Это злой волшебник. Заройся в сено и слушай. Может быть, и узнаешь, как свою молодость вернуть.

Кукушка скрывается в часах. Петя бросается в угол и зарывается в сено. Дверь домика медленно открывается, и входит тот самый мальчик, в которого превратился на наших глазах злой старик. Он внимательно оглядывает всю комнату. Заглядывает в угол, где прячется Петя. Не замечает его. Свистит, высунувшись в окно. Ему отвечают свистки издали.

М а л ь ч и к. Кукушка!

Кукушка выскакивает из дверцы часов.

Никто сюда не приходил?

Кукушка молчит.

Отвечай сейчас же, а то я тебе голову сверну.

Ку ку ш ка. Ку-ку.

М а л ь ч и к. Ясней говори: был тут кто-нибудь?

Ку ку ш ка. Ку-ку.

М а л ь ч и к. Ну ладно, упрямая птица, я с тобой рас-
считаюсь. Сиди не пивши, не евши еще год!

Ку ку ш ка. Ку-ку. (*Скрывается.*)

В дверь домика не спеша входит, солидно покашливая, д е в о ч к а.

М а л ь ч и к. Здравствуйте, Анна Ивановна.

Д е в о ч к а. Здравствуйте, Василий Прокофьевич.

М а л ь ч и к. Кого превратили, Анна Ивановна?

Д е в о ч к а. Одну девочку, Василий Прокофьевич.
Ей надо в школу идти, а она в мячик играет, даром время
теряет. Ну и стала она старушкой, а я — девочкой.

Входит не спеша в т о р о й м а л ь ч и к.

П е р в ы й м а л ь ч и к. Здравствуйте, Андрей Ан-
дреевич.

В т о р о й м а л ь ч и к. Здравствуйте, Василий Про-
кофьевич!

П е р в ы й м а л ь ч и к. Кого превратили?

В т о р о й м а л ь ч и к. Одного мальчика. Ему надо
в школу идти, а он на «колбасе» катается, даром время,
теряет. Ну и стал он стариком, а я — мальчиком.

Входит в т о р а я д е в о ч к а.

П е р в ы й м а л ь ч и к. Здравствуйте, Мария Пе-
тровна!

В т о р а я д е в о ч к а. Здравствуйте, Василий Про-
кофьевич!

П е р в ы й м а л ь ч и к. Кого превратили?

В т о р а я д е в о ч к а. Одну девочку. Ей надо в школу
идти, а она перед зеркалом вертится, даром время теряет.
Ну и стала она старушкой, а я — девочкой.

П е р в ы й м а л ь ч и к. Ну, пока все идет хорошо.
(*Опять обходит комнату, заглядывает во все углы.*)

П е р в а я д е в о ч к а. Кого вы ищете, Василий Про-
кофьевич?

Первый мальчик. Да ведь если кто-нибудь из ребят узнает, как он превратился в старика, да разыщет всех остальных превращенных, да приведет их сюда до шести часов вечера завтрашнего дня, да повернет стрелку на часах на полный круг обратно, то ребята станут опять ребятами, а мы погибнем.

Первая девочка. Да где же им все это узнать?

Вторая девочка. Да как им друг друга разыскать?

Второй мальчик. Да как им догадаться сюда добраться и стрелку повернуть!

Первый мальчик. Так-то оно так, а все-таки; осторожность не мешает... Ну, в путь! Идите в город, уроки срывайте, в чужие звонки звоните, скандальте, шумите. Чем люди больше времени потеряют, тем нам, злым волшебникам, жить легче. Вперед.

Дети идут.

Стойте!

Дети останавливаются.

Не забывайте, что вы дети! Ведите себя веселей. Прыгайте!

Дети подпрыгивают.

Веселитесь.

Дети дерутся.

Ну, а теперь — за мной!

Все убегают. Петя осторожно вылезает из своей засады.

Петя. Сейчас же побегу в город. Всех найду. Всех найду и сюда приведу. Ура-а! (*Убегает.*)

Кукушка (*выскакивает из двери*). Ку-ку, ку-ку! Бедный мальчик! Бедный мальчик! Разве просто их найти? Что-то будет! Что-то будет!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Городская улица. Раннее утро. Появляется П е т я З у б о в. Оглядывается нетерпеливо.

П е т я. Рано я прибежал в город. Все спят еще. Эй, товарищи дорогие! Десятилетние старички! Появляйтесь поскорее! Я спасти вас пришел! Идет! Вон идет какая-то старушка. Наконец-то... Вот обрадуется, бедная...

Входит п о ж и л а я г р а ж д а н к а, очевидно идущая с рынка. В руке у нее сумка.

П е т я. Здравствуйте, гражданка!

Гражданка останавливается.

Разрешите узнать... Вы... Вы... Вы...

Г р а ж д а н к а (*сурово*). Ну, чего надо? Говорите, не тяните.

П е т я. Вам не десять лет?

Г р а ж д а н к а. Как?

П е т я. Вы не ученица третьего класса?

Г р а ж д а н к а. Да ты что, в уме?

П е т я. Я? В уме, в уме... Я сейчас вам все объясню. Я, видите ли, сам мальчик. Вчера превратился я. А сегодня до шести мне надо обратно.

Г р а ж д а н к а. Понятно. Идем!

П е т я. Куда?

Г р а ж д а н к а. В милицию.

П е т я. За что?

Г р а ж д а н к а. Я тебе покажу, какая я ученица третьего класса. Милиционер!

П е т я. Позвольте, гражданка!

Г р а ж д а н к а. Я тебе покажу, сколько мне лет. Милиционер!

Петя бросается бежать.

(*Преследуя его.*) Держи его! Лови его! Он прохожих пугает! Милиционер!

Новая часть городской улицы. Кирпичная стена строящегося дома. У стены стоит маленький с у х о н ь к и й с т а р и ч о к. Прибегает запыхавшись П е т я.

П е т я. Ух, еле спасся! Эта гражданка — настоящий рысак... Ну, и я не плох. Бородачи-то у меня седая, но я не забыл еще, как бегать надо... Теперь буду осторожнее. Ребята-старички — это те, которые стоят безо всякого дела, грустные, растерянные... Только с такими я и буду заговаривать. Ой... Вон как раз один такой и стоит... (*Осторожно приближается к задумчивому старичку.*) Конечно, это он... Мальчик... Стоит, уставился на стенку, бедняжка... (*Робко.*) Скажите, гражданин, вам не десять лет?

С т а р и к (*рассеянно*). Десять, милый, десять.

П е т я (*радостно*). Вы ученик третьего класса?

С т а р и к. Третьего, милый, третьего.

П е т я. Вы тоже время теряли?

С т а р и к (*очнувшись*). А?

П е т я. Вы того, говорю, время теряли?

С т а р и к. Еще бы не теряли! Соседняя бригада чуть не вдвое больше нас успела. Но только теперь мы ее обгоним. Я понял, как надо людей расставить. (*Кричит.*) Вася, Шура, ко мне!

Вбегают молодые рабочие В а с я и Ш у р а.

Сережа, Коля, — на стену!

На верхушке стены появляются С е р е ж а и К о л я. В а с я и Ш у р а устанавливают внизу элеватор для подачи кирпичей. Полотняная дорожка ползет, подает кирпичи наверх. Рабочие укладывают их. Стена домика растет на глазах. Петя отходит угрюмо.

П е т я. Обыкновенный стахановец, а говорит, что ученик третьего класса. (*Уходит.*)

Парк, покрытый весенней листвою. Аккуратно подстриженный газон. Петя появляется на аллее.

П е т я. Вот здесь их надо искать. Куда же им, бедным, еще деваться? Разбредись, наверное, по паркам да по скверикам и сидят себе на скамеечках.

На аллее появляется старик в легком весеннем пальто. В руке мягкая шляпа. Он приближается не спеша.

Посмотрим, как он будет себя вести... Нет, это не он. Лицо спокойное. Ай!

Старик вдруг делает дикий прыжок. Мчится прямо по аллее. Гонится за бабочкой. Пробует ее поймать своею шляпой.

Мальчик! Честное слово, мальчик! Ах ты, мой дорогой... За бабочкой погнался, голубчик!

Петя шагает на газон. Короткий свисток. Сторож вырастает перед Петей.

С т о р о ж. Дедушка! По газону ходить воспрещается.

П е т я. А почему тому мальчику можно?

С т о р о ж. Где же это вы, дедушка, увидели мальчика?

П е т я. А вон тот, седой, который прыгает.

С т о р о ж. Этот? Да что вы, дедушка! Да разве же это мальчик?

П е т я. А кто же он?

С т о р о ж. Это заслуженный деятель науки профессор Андрей Андреевич Смирнов. Мы ему тут все разрешаем: и цветы рвать, и траву мять, и кусты ломать.

П е т я. Почему же это?

С т о р о ж. Потому что это он для науки. Вот поймал он бабочку. Хочет он узнать: что это за бабочка? Почему она так рано появилась? Не вредная ли она? Он и на прогулке напрасно времени не теряет, а вы говорите — мальчик. Ах, дедушка, дедушка! *(Укоризненно покачивая головой, уходит.)*

Исчезает, поймав бабочку, профессор, и Петя остается один.

П е т я. Если бы не борода, я, честное слово, заплакал бы. Полгорода обежал, все старики делом заняты. Все спокойны, все довольные... Ой...

На аллее появляется бойкая и быстрая в движениях старушка. Не замечая Пети, усаживается на скамеечку. Вдруг раздражается слезами, закрыв руками лицо.

(Подпрыгнув от радости.) Ревет! Честное слово, ревет! Это девчонка! Пойти спросить? А вдруг и у настоящих старушек бывают неприятности. Подождем. *(Спрятавшись за деревом, наблюдает за старушкой.)*

Старушка перестает плакать. Сидит, болтает ногами.

Ногами болтает! Честное слово, девчонка... В траву нацелилась. Что это она там увидела? Неужели это опять ученая какая-нибудь? Неужели она сейчас поймает жучка, и все дело этим и кончится?

Старушка ныряет в траву и достает оттуда мячик, очевидно забытый кем-то из гулявших в парке детей. Осторожно оглянувшись, старушка подходит к дереву и начинает играть в мячик.

Она! *(Бросается к старушке.)*

Старушка отскакивает в ужасе.

Бабушка, не убегайте! Бабушка, не бойтесь меня! Здравствуйте.

Старушка. Здравствуйте.

Петя. Скажите, бабушка... Ох, боюсь... А вдруг я опять ошибаюсь... Скажите, бабушка, почему вы в мячик играете?

Старушка *(растерянно)*. А я и сама не знаю.

Петя. Скажите, бабушка, а... а сколько вам лет?

Старушка. Десять.

Петя. Вы, значит, школьница?

Старушка. Школьница.

Петя. В каком классе?

Старушка. В третьем.

Петя. Как зовут?

Старушка. Маруся Морозова.

Петя. Вчера постарели?

Старушка. Да. А вы почему знаете?

Петя. Я тоже только со вчерашнего дня старик. Сейчас я тебе все расскажу.

Вдруг на дереве появляется Кукушка.

Ку ку ш ка.

Петя, Петя, поскорей,
Ку-ку! Ку-ку!
Разыщи двоих детей,
Ку-ку! Ку-ку!
Разыщи еще двоих,
Ку-ку! Ку-ку!
Двух товарищей твоих,
Ку-ку! Ку-ку!

П е т я. Бежим, Маруся, не будем время терять! Я по дороге тебе все расскажу.

Бегут. Парк исчезает. Маруся и Петя на улице, около школы. Стоят, оглядываясь.

П е т я. Слушай!

М а р у с я. Ребята шумят.

П е т я. Это школа.

М а р у с я. Счастливые!

П е т я. Сидят себе на уроке!

М а р у с я. А мы, несчастные, разгуливаем.

П е т я. Тише! (*Прислушивается.*)

Г о л о с у ч и т е л я. Пятьдесят и семьдесят?

Г о л о с у ч е н и к а. Сто двадцать.

П е т я. Милая арифметика.

Г о л о с у ч и т е л я. Сто двадцать взять три раза.

Г о л о с у ч е н и к а. Триста шестьдесят.

М а р у с я. Дорогое умножение!

Г о л о с у ч и т е л я. Триста шестьдесят разделить на четыре.

Г о л о с у ч е н и к а. Девяносто.

П е т я. Родное ты мое деление.

Появляется мальчик с книжками. Идет не спеша. Останавливается возле витрины магазина. Смотрит на свое отражение в стекле.

Смотри, ужас-то какой! Он в школу опаздывает!

М а р у с я. Несчастный!

Бегут к мальчику.

Ты что это делаешь? Состариться захотел?

П е т я. Чего ты стоишь тут у окна!

М а р у с я. Чего ты время теряешь!

П е т я. Ты думаешь, это весело: все делом заняты, каждый на своем месте, один ты со своей седой бородой не знаешь, куда приткнуться.

М а р у с я. Ты думаешь, это хорошо, незаметно состариться? А?

М а л ь ч и к (с достоинством). Что вы на меня кричите? Вы мне не родственники и не знакомые.

П е т я. А ты зачем опаздываешь?

М а л ь ч и к. Да я и не опаздываю вовсе, я во второй смене. Какие странные граждане мне все сегодня попадают. Одна старушка у нас во дворе играет, другие...

П е т я. Стой! Стой! Какая старушка у вас во дворе играет?

М а р у с я. Во что играет?

П е т я. Где ваш двор?

М а л ь ч и к. Вот дом, номер восемнадцатый!

Маруся и Петя бегут во двор.

(Солидно.) Вот потешные старики! Из цирка они, что ли? Бегают, как футболисты.

Двор большого дома. Сложены дрова. В укромном, закрытом от посторонних глаз проходе между дровами с т а р у ш к а чертит мелом классы. Начертив, начинает прыгать на одной ножке. Появляются П е т я и М а р у с я. Смотрят несколько мгновений молча. Потом бросаются к старушке.

П е т я. Здравствуйте, бабушка!

С т а р у ш к а. Здравствуйте.

М а р у с я. Скажите, бабушка, а как вас зовут?

С т а р у ш к а. Наденька.

П е т я. А скажите, бабушка, сколько вам лет?

Н а д е н ь к а. Десять.

М а р у с я. И мне тоже! И ему тоже! И мы тебя спасем!

Обнимаются. Пляшут от радости. На дровах появляется К у к у ш к а.

К у к у ш к а.

Петя, Петя, поскорей,
Ку-ку! Ку-ку!
Ты двоих нашел друзей,
Ку-ку! Ку-ку!
До шести, до шести,
Ку-ку! Ку-ку!
Надо третьего найти,
Ку-ку! Ку-ку!

П е т я. Бежим, Наденька!

М а р у с я. Мы по дороге тебе все расскажем.

Убегают.

Выкрашенная в зеленый цвет изгородь. Ворота. За изгородью теннисный корт. Стройные, крепкие старик и старушка играют в теннис. Появляются Петя, Маруся и Наденька.

П е т я. Смотри!

М а р у с я. В мячик играют!

Н а д е н ь к а. Нашли! Одну девочку даже лишнюю нашли!

П е т я. Погоди, не радуйся прежде времени. (*Подходит к воротам.*)

Из будочки появляется привратник.

П е т я. Скажите, пожалуйста, кто здесь живет?

П р и в р а т н и к. Это дом отдыха завода № 99.

П е т я. А кто это в мячик играет?

П р и в р а т н и к. Это лучший наш токарь Василий Степанович и главная бухгалтерша Антонина Сергеевна. А вы что — отдыхать к нам прибыли?

П е т я. Нет, нам отдыхать еще рано. Девочки, за мной!

Убегают.

Улица. Возле больших часов — Петя, Наденька, Маруся.

П е т я. Что же это такое? Три часа уже ходим...

Н а д е н ь к а. И никого не находим.

М а р у с я. Меня уже ноги не слушаются.

Н а д е н ь к а. Ведь как-никак, а мы все-таки пожилые.

М а р у с я. Бедные мы девочки!

Н а д е н ь к а. Несчастные мы старушки! Уже без десяти четыре, а его нет как нет!

Плачут.

П е т я. Перестаньте сейчас же реветь! Кто плачет, тот... тот...

Появляется трамвай. На трамвайной «колбасе» висит с т а р и к. Едет, беззаботно напевая что-то, заломив шапку набекрень.

Глядите!

М а р у с я. Нашелся!

Н а д е н ь к а. Ой, уедет!

П е т я. Лови его!

Бросятся вдогонку за трамваем. Трамвайная остановка. Трамвай замедляет ход. Охая и задыхаясь, наши старики догоняют его. Старик, висящий на «колбасе», замечает погоню. Соскакивает, бросается бежать.

Стой!

Н а д е н ь к а. Он думает, что мы комиссия по борьбе с «колбасниками»!

Мчатся за стариком.

Площадка лестницы. Дверь, ведущая на чердак. Появляется В а с и л и й П р о к о ф ь е в и ч. Оглядывается осторожно. Тихо свистит. Входят остальные волшебники.

В а с и л и й П р о к о ф ь е в и ч. Докладывайте, как идут дела.

М а р и я П е т р о в н а. Восхитительно. Я в школу поступила. В третий класс. На первом уроке записки всем посылала. На втором — с девочкой подралась, на третьем окошко разбила. Из-за меня, хи-хи, учительница плакала. Времени потеряли — целые горы.

В а с и л и й П р о к о ф ь е в и ч. Молодец. А у вас как дела, Анна Ивановна?

А н н а И в а н о в н а. Очаровательно. Я целый день по телефону скорую помощь к здоровым людям вызывала. Настоящие больные ждут, а машин нет. Я так хохотала!

В а с и л и й П р о к о ф ь е в и ч. Молодец. А вы, Андрей Андреевич?

А н д р е й А н д р е е в и ч. Трамвай портил.

В а с и л и й П р о к о ф ь е в и ч. Как трамвай портил?

А н д р е й А н д р е е в и ч. Большие вагоны, с дверями, которые сами закрываются портил. Влезу да испорчу дверь, ха-ха. Пассажиры толпятся, ругают водителя. Вожатый дерг-дерг, а дверь ни с места, вагон ни с места, пассажиры ни с места, только время идет, теряется, ха-ха!

В а с и л и й П р о к о ф ь е в и ч. Молодец! Теперь мы сделаем вот что... (*Прислушивается.*) Прячьтесь! Сюда бежит кто-то!

Скрывается за дверью, ведущей на чердак. Остальные злые волшебники делают то же самое. На площадку влетает запыхавшись, с т а р и к, висевший на «колбасе», за ним М а р у с я, П е т я, Н а д е н ь к а. Они окружают старика. Василий Прокофьевич подслушивает.

С т а р и к (*ревет басом*). Я больше не буду!

П е т я. Чего ты реवेशь?

С т а р и к. Отпустите, дяденьки, тетеньки!

П е т я. Да пойми же ты, что мы вовсе не дяденьки и не тетеньки.

С т а р и к. А кто же вы?

П е т я. А ты кто?

С т а р и к. Я ученик третьего класса Вася Зайцев...

П е т я. Ну, и мы ученики третьего класса. Все мы попали в лапы к злым волшебникам. Но мы вырвемся.

В а с я. Милые мои! Спасибо! Ура! Бежим!

Убегают. С чердака медленно выходят злые волшебники.

М а р и я П е т р о в н а. Ах! Мне дурно!

А н н а И в а н о в н а. Они нашли друг друга!

А н д р е й А н д р е е в и ч. Все погибло!

В а с и л и й П р о к о ф ь е в и ч. Ну, нет! Так просто мы не сдадимся! До шести часов есть еще время. Мы их поймаем. Мы их не пустим. Они до лесу на трамвае поедут, а вы, Андрей Андреевич, в трамвае двери испортите. Нет, нет уж! Доживать им свой век стариками. За мной!

Убегают.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Улица. У трамвайной остановки появляются П е т я, М а р у с я, Н а д е н ь к а, В а с я. Следом за ними крадется Андрей Андреевич.

П е т я. Вон идет наш номер — сорок второй.

М а р у с я. Сейчас мы доедем до лесу.

Н а д е н ь к а. А потом — бегом к домику.

В а с я. И опять станем ребятами.

А н д р е й А н д р е е в и ч (*шепчет*). Посмотрим, как вы до лесу доберетесь. Посмотрим, как вы ребятами станете. Я сейчас захлопну двери так, что они два часа не откроются.

Подходит трамвай. Андрей Андреевич вбегает туда первый. За ним направляются старики. Вдруг Петя отшатывается.

П е т я. Назад!

М а р у с я. А что такое?

П е т я. Он в трамвае!

М а р у с я. Кто?

П е т я. Злой волшебник Андрей Андреевич! Я узнал его!

М а р у с я. Где он?

П е т я. Вон с передней площадки выглядывает! Бежим!

Петя, Маруся, Наденька и Вася бросаются бежать. Андрей Андреевич прыгает из вагона. Свистит. Появляются остальные злые волшебники.

А н д р е й А н д р е е в и ч. Все погибло.

В а с и л и й П р о к о ф ь е в и ч. С чего ты взял?

А н д р е й А н д р е е в и ч. Они меня узнали, вон, убегают! У них ноги длинные, а мы бегать совсем разучились.

А н н а И в а н о в н а. Бегите! Я придумала, как их задержать.

Бегут. Телефон-автомат.

(Говорит по телефону.) Скорая помощь! Скорее, скорее! Из сумасшедшего дома убежали четыре сумасшедших. Два старика и две старухи! Они сейчас побегут по Мичуринской улице к лесу. Узнать их очень просто. Вы их спросите: «Старики, вы школьники?» А они ответят: «Школьники, школьники!» Да, да, скорей, скорей! (Вешает трубку.) Посмотрим, как вы до лесу доберетесь, хи-хи! Посмотрим, как вы ребятами станете, хи-хи!

Улица. Вихрем проносятся старики. Исчезают. Появляются злые волшебники. Задерживаются на миг.

Вот и Мичуринская улица, хи-хи!

М а р и я П е т р о в н а. Сейчас их увезут, ха-ха!

Убегают.

Появляется Мичуринская улица. Убегают П е т я, В а с я, М а р у с я и Н а д я.

М а р у с я. Передохнем одну секундочку.

П е т я. Хорошо. Живее только отдыхай, а то мы опоздаем.

Н а д е н ь к а. «Скорая помощь» едет!

М а р у с я. Кто-то, бедненький, заболел.

Подъезжает автомобиль «скорой помощи». Оттуда выскакивает доктор.

Д о к т о р. Скажите, пожалуйста, вы не школьники?

П е т я. Школьники.

В а с я. Откуда вы это узнали?

М а р у с я. Только мы совсем здоровы. Что вы на нас так смотрите?

Наденька. Вы нас не задерживайте, а то мы никогда не превратимся в детей.

Доктор. Не бойтесь. Я вас не задержу, я очень хороший доктор. Дайте-ка ваш пульс. (*Пробует пульс. Удивленно.*) Ах! Да ведь вы и в самом деле дети!

Маруся. Конечно. А вы думали, кто мы?

Доктор. А нам позвонили, что вы сумасшедшие. Но я решил все-таки проверить это. А ну-ка, я вас выслушаю. (*Прислоняет голову к груди Пети. Слушает. Вскрикивает.*) Ну, конечно! Мальчик десяти лет, ученик третьего класса. Как вы превратились в старика?

Петя. Мы теряли напрасно время.

Доктор. Я так и думал.

Петя. Если к шести часам мы не попадем в лес, то мы навсегда останемся стариками!

Доктор. «Скорая помощь» поможет вам. Идемте в машину. Мы вас отвезем в лес.

Маруся. Спасибо.

Старики садятся в автомобиль. Уезжают. Появляются злые волшебники.

Василий Прокофьевич. Спасибо, Анна Ивановна!

Анна Ивановна. Рада стараться, Василий Прокофьевич.

Мария Петровна. Ах! Я сейчас упаду!

Андрей Андреевич. Все погибло!

Василий Прокофьевич. Что такое?

Мария Петровна. Смотрите! Автомобиль свернул на шоссе и мчится к лесу!

Василий Прокофьевич. Скорее, скорее за ними! Вперед!

Убегают.

Лес. Петя, Маруся, Наденька, Вася стоят на поляне.

Петя. Еще две минуты, и мы найдем домик.

Наденька. Ты уже двадцатый раз говоришь, что через две минуты мы его найдем!

П е т я. А чем я виноват, что вчера он сам попался на-
встречу, а сегодня прямо как будто с ума сошел.

М а р у с я. А ты влезь на дерево, с дерева, может быть,
увидишь.

П е т я. Ладно, попробую. (*Взбирается на дерево.
Исчезает где-то наверху.*)

В а с я. Скорей смотри!

Наденька. Ну что?

М а р у с я. Ах! Он там плачет!

В а с я. Чего ты ревешь?

П е т я. Я... Я не реву.

В а с я. А что же ты делаешь?

П е т я. Так просто, сижу, думаю.

В а с я. Слезай, пойдем дальше.

П е т я. А куда идти, когда в лесу ничего не видно.

М а р у с я. Что же ты вчера, когда бежал, дорогу не
заметил?

Н а д е н ь к а. Разбросал бы хоть камушки, как маль-
чик-с-пальчик.

П е т я. Я боялся время терять. (*Слезает с дерева.*) Я
не знал, что время — такая ехидная штука. Оказывается,
нужно иногда потерять немного времени, чтобы потом
его сберечь.

Н а д е н ь к а. Еще и рассуждает! Так бы и вцепилась
тебе в бороду!

В а с я. Только тронь!

Н а д е н ь к а. А вы нас в школе за косы дергаете?

М а р у с я. Оставь. Видишь, он сам расстроился.

П е т я. Кукушка, а, кукушка! Что же ты нас остави-
ла? Ты молчишь? Ведь мы с тобою так подружились! Ты
в городе мне песни пела... Ты в городе меня торопила.
А теперь молчишь, будто мы с тобой поссорились. Ведь
мы заблудились! Мы стоим в лесу, а время идет, идет.
Помоги нам!

Едва слышно раздается в лесу: «Ку-ку!»

Она!

Г о л о с К у к у ш к и. Я давно бы вас позвала, да хозяйева близко.

П е т я. Как близко?

Г о л о с К у к у ш к и. Тише!

Г о л о с В а с и л и я П р о к о ф ь е в и ч а (вдали). Мария Петровна, что вы шагаете так, будто вам семьдесят лет? Помните, что вы теперь десятилетняя девочка.

П е т я. Они! Ползем за ними. А когда я крикну «Вперед!», поднимайтесь и — за мной!

Ползут. Панорамой проходит лес. Показывается тропинка. Задыхаясь, шагают по тропинке злые волшебники. Следом крадутся старики. Вот показывается впереди дом.

(Вскрикивает.) Вперед!

Обгоняя злых волшебников, старики мчатся к домику. Волшебники визжат. Комната в домике. Вбегают старики. Взявшись за руки, поворачивают стрелку часов. Следом врываются волшебники, но поздно; стрелка повернута на полный круг. Гремит музыка, стены домика, вращаясь, исчезают в тумане. Исчезают в тумане и волшебники, и старики. Туман рассеивается. Перед зрителями тот самый двор большого дома, из которого выбежал вчера утром Петя Зубов. Петя Зубов стоит посреди двора, растерянно оглядываясь. Он не старик больше. Он такой же мальчик, как вчера.

П е т я. Что это... А лес куда девался... А где Вася, Маруся, Надя, Кукушка, часы... А что это у меня в руках? Книжки... Мои книжки...

Щелкает окно во втором этаже. М а м а Пети Зубов выглядывает оттуда.

М а м а. Ты что же это делаешь?

П е т я. Мама!

М а м а. Ты что это делаешь, а? Почему ты стоишь посреди двора, ты хочешь опять опоздать?

П е т я. Мама, ты меня узнала?

М а м а. Что?

П е т я. Мама, я не пропадал?

М а м а. Ничего не понимаю.

П е т я. Мама, а какое сегодня число?

М а м а. Двадцать пятое мая.

П е т я. Ура! Значит, сегодня — вчера! Значит, стало на место! Значит, я — опять я, а ты — опять ты! (*Кричит.*) Ура!.. (*Бросается в дом. Через миг он показывается в окне возле недоумевающей мамы. Он обнимает ее, целует и исчезает. Вихрем проносится через двор. Кричит.*) Нет больше злых волшебников!

Двор исчезает. Слышен удаляющийся крик Пети: «Нет больше злых волшебников!» Музыка. Появляются во всю сцену часы. Кукушка выглядывает из дверцы.

К у к у ш к а (*поет*).

Это верно, верно, дети,
Нет волшебников на свете!
Все они побеждены,
Прочь удрать принуждены.
Чтоб они не возвратились
И в детей не превратились,
Твердо помните, друзья...

П е т я, М а р у с я, Н а д я и В а с я (*поднявшись над ширмой*). Что опаздывать нельзя!

Конец

nobesmu

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРЫ И МАРУСИ

Жили-были две сестры — Маруся и Шура. Марусе было семь с половиною лет, а Шуре — только пять. Однажды сидели они возле окошка и красили кукле щеки. Вдруг в комнату входит бабушка и говорит:

— Вот что, девочки, скоро папа придет с работы, мама придет со службы, а суп нечем засыпать. Я сбегаю в магазин, а вы тут посидите одни. Ладно?

Маруся ничего не ответила. А Шура сказала:

— Ладно. А вдруг будет пожар?

— Ужас какой! — рассердилась бабушка. — Откуда ему быть, пожару-то? Не подходи к плите — и не будет пожара.

— А если придут разбойники? — спросила Шура.

— Так вы им не открывайте, — ответила бабушка. — Спросите: «Кто там?» — и не открывайте. До свидания.

И она ушла.

— Вот хорошо-то! — сказала Шура. — Теперь мы хозяйева! Давай бросим красить! Давай лучше в буфете конфеты искать. Ведь все ушли!

— Отстаньте вы все от меня! — сказала Маруся.

Она была упрямая. Уж если начала что делать, так ни за что не бросит.

Шура вздохнула и пошла к буфету одна, но не дошла. Где-то на лестнице жалобно замыкала кошка. Шура даже затряслась от радости и закричала:

— Маруся! К нам кошка просится!

— Отстаньте вы все от меня! — пробормотала опять Маруся.

— Я ее впусти.

— Только попробуй! — ответила Маруся. — Может быть, это дикая кошка. Может быть, она всех нас перещарапает.

— Она совсем не дикая, — ответила Шура и пошла в прихожую.

Кошка плакала где-то совсем близко за дверью.

— Кыс-кыс-кыс! — позвала ее Шура.

«Мурр-мяу!» — ласково ответила кошка.

— Ты к нам просишься? Да, кисенька? — спросила Шура.

«Мурр-мурр-мяу!» — ответила кошка еще ласковее.

— Хорошо, сейчас! — сказала Шура и стала отпирать дверь.

— Шура! — закричала Маруся строгим голосом, вскочила, но в прихожую не пошла. Она стала наспех, стоя докрашивать кукле щеки. А Шура тем временем справилась с замком и выскочила на площадку.

Кошка, увидев Шуру, сделала круглые глаза и прыгнула сразу ступенек на десять вверх, будто из двери вышла не маленькая девочка, а какой-то страшный великан.

— Чего это ты? — удивилась Шура.

Услышав Шурин голос, кошка взлетела еще ступенек на пятнадцать, будто это не девочка заговорила, а ружье выпалило.

— Кошечка, куда ты? — сказала Шура самым тихим, самым нежным голосом. — Ведь это я, Шура, с которой ты из-за двери разговаривала!

И на цыпочках, осторожно-осторожно, она пошла вверх по лестнице. Кошка, не двигаясь, глядела на Шуру.

Как хороша была кошка! Вся серая, вся вымазанная в угле, в паутине, в пыли. Надо будет вымыть ее в тазу для посуды, пока не вернется бабушка. Одно ухо разор-

вано. Можно помазать его йодом. А какая она худая! Наверное, это самая худая кошка на свете. Девочка была уже в трех шагах от нее, и кошка уже не таращила глаза, как безумная, а только щурилась. Еще две ступенечки — и можно будет ее погладить. И вдруг дверь Шуриной квартиры с громом захлопнулась. Кошка снова, как дикая, выпучила глаза, подпрыгнула вверх и сразу исчезла, будто и не было ее вовсе. Чуть не заплакала Шура. Оглянулась. Перед закрытой дверью строгая, так что смотреть страшно, стояла Маруся.

— Здравствуйте! — сказала Маруся.

— Здравствуй, — ответила Шура.

— Очень хорошо! — сказала Маруся сурово, как мама, когда та очень сердита. — Очень! Большая девочка, а убегает из дому как грудная. Идем!

Она взбежала вверх по лестнице, схватила Шуру за плечо и поволокла ее вниз, домой. Она дернула за дверную ручку, а дверь не открылась. Маруся дернула еще раз, потом затрясла ручку изо всех сил — и все напрасно: дверь не открывалась.

— Мы заперлись! — зарыдала Маруся. — Мы заперлись!

— Куда заперлись? — прошептала Шура.

— Замок защелкнулся! Я нечаянно дверь захлопнула! А мы на лестнице остались! Шура подумала и тоже заревела, но только гораздо громче Маруси. Тогда Маруся сразу успокоилась. Она ласково, как мама, обняла Шуру и сказала ей:

— Ну-ну! Ничего, ничего! Я с тобой... Я тут...

— А что мы будем делать?

— Ничего, ничего... Бабушку подождем. Сейчас осень, не зима. Не замерзнем.

Маруся нагнулась и вытерла нос подолом платья. Потом вытерла нос Шуре, тоже подолом. Носовые платки были далеко — там, за дверью, в запертой квартире. Лампочки в проволочных колпачках уже горели на каждой площадке. Место было знакомое: ведь сколько раз по

этой самой лестнице девочки поднимались и спускались. Но сейчас лестница была не такая, как всегда. Скажешь слово — гул идет вверх и вниз. Что-то щелкает и пищит в стене. А главное — уж очень странно стоять на лестнице без пальто, без шапок, неодетыми.

Шура вдруг вспомнила, что кукла Нюрка лежит дома на подоконнике. Одна. В квартире совсем пусто. Никого там нет! Шура всхлипнула.

— Ну-ну! — сказала Маруся. — Я тут!.. Ведь мы..

Маруся не договорила. Случилось что-то, уж на этот раз в самом деле страшное. На лестницу из верхней квартиры, из той, что в шестом этаже, вышел пес по имени Ам. Ам был маленький — немного выше ростом, чем большой кот, шерсть у него была рыжая, вся в клочьях, морда узкая. На морде росли какие-то странные густые усы, вроде человеческих. Пес этот бешено ненавидел детей. Когда девочки собирались идти гулять, бабушка сначала выходила на лестницу поглядеть, нет ли Ама. А потом уже, если путь был свободен, выходили девочки.

Но что делалось, когда девочки все-таки встречали страшного пса! Ам взрывался, как бомба. Он лаял, прыгал, вертелся, визжал, и бабушка вертелась, как молодая, и топала ногами, заслоня девочек. Казалось, что, если бы не храбрая бабушка, Ам в клочки разорвал бы и Марусю и Шуру. И вот теперь Ам стоял на верхней площадке. И девочки были одни. Что-то будет?

Шура бросилась к двери и стала отчаянно звонить в свою пустую квартиру. А Маруся сделала шаг вперед и остановилась.

— Не бойся, Шура! — прошептала она. — Я тут!

Ам, как видно, еще не почуял девочек. Он не спешил вниз. Он громко сопел и фыркал, принюхивался к чему-то, бегал по верхней площадке.

Вдруг что-то загрохотало, зашипело. Вниз по лестнице огромными прыжками понеслась кошка. За ней — страшный Ам. Кошка прижалась в угол, как раз против

девочек. Ам хотел броситься на нее, но разом остановился. Девочек увидел! Он растерялся.

Что делать? На кого броситься? На кошку? Или на Шуру с Марусей? Но тут вдруг кошка взвыла басом и вскочила Аму на спину. Ам заорал. И они клубком покатались по площадке. Шура бросилась вниз по лестнице. Маруся — за ней.

— Руку дай! Упадешь! — кричала она, но Шура не слушала.

Наверху мяукали, ревели, выли и шипели сцепившиеся враги. А девочки все бежали вниз. Они бежали, не останавливаясь, и вдруг очутились где-то совсем в незнакомом месте. Лестница кончилась. Но вместо обитой клеенкой двери, которая ведет во двор, перед девочками была совсем другая дверь — большая, железная. Что такое? Куда они попали?

Маруся дернула дверь к себе. Она открылась. Девочки бросились вперед. Ну и комната! Длинная, узкая, высокая. Пол каменный. Потолок не такой, как дома, не ровный, а полукруглый, как под воротами. На потолке горит всего одна лампочка, закопченная, запыленная, как будто шерстью обросшая. И что-то все время грохочет, грохочет, а где — невозможно разглядеть. А в глубине комнаты в стену вделано что-то круглое. Печь не печь, машина не машина.

— Это паровоз? — спросила Шура шепотом.

Маруся ничего не ответила. И вдруг грохот умолк. Стало тихо, так тихо, что даже зазвенело в ушах. Девочки услышали — кто-то кашляет.

— Кто это? — крикнула Шура. — А? Кто это?

— А вы кто? А? Вы кто такие? — спросил из темноты чей-то голос. — Ну? Девочки схватили друг друга за руки. Откуда-то из угла выбежал маленький старичок с большой белой бородой. В одной руке он держал клещи, а в другой молоток. Он подбежал к девочкам, уставился на них и заговорил быстро-быстро, как будто горох сыпал:

— А вы кто? А? Чьи? Почему? Как так? Откуда?

Девочки молчали. Старик вдруг улыбнулся во весь свой рот.

— Ишь ты! Вот видишь как! — забормотал он. — Молчат. Сестры? Ну да, сестры. Обе сероглазые. Обе курносые. Аккуратные. Да. Это правильно. Так и надо. Как зовут-то? Не бойтесь. Я добрый. Ну? Ты кто?

— Маруся, — сказала Маруся.

— А я Шура, — сказала Шура.

— И это правильно! — похвалил старик. — А сюда зачем прибежали? Ну? А? Давайте, давайте!

— Бабушка ушла, — сказала Маруся.

— Так-так, — ободрил ее старик. — Дальше!

И девочки рассказали ему все свои приключения.

— Видите как, — удивился старик — Что за собака, до чего напугала народ! Это вы, значит, от нее убегая, ту дверь, что во двор ведет, проскочили. И забежали в подвал. В кочегарку.

— Куда? — спросила Шура.

— Сюда, — ответил старик. — Это кочегарка. Понятно?

Девочки промолчали. Старик засмеялся:

— Непонятно? Это вот кочегарка. А я машинист.

— А это паровоз? — спросила Шура и показала на стену, в которую было вделано что-то круглое.

— Паровоз без колес не бывает, — сказал старик. — Это котел.

— А зачем он?

— Зима идет? Идет, — сказал старик и пошел к котлу. Девочки — за ним. — Морозы будут? Будут. Истопник набьет топку углем. Разожжет его. Вода в котле закипит. Побежит по трубам из квартиры в квартиру горячая вода. Всем она тепло понесет. Вот оно как будет зимой-то.

Тут старик положил на пол клещи и молоток и сказал:

— Идемте.

— Куда? — спросили девочки.

— Как — куда? — удивился старик. — Должен я вас проводить, если вас обижает собака? Конечно, должен. Идем!

Он пошел к двери. Девочки — за ним. Вот и четвертый этаж и знакомая дверь. Дедушка позвонил. Никто не ответил. Он позвонил еще раз.

— Видите как! — огорчился дедушка. — Не пришли ваши-то. Худо! Взять вас опять в кочегарку? Вернутся ваши тем временем, тревогу поднимут. Здесь стоять с вами? Работа у меня внизу. Как быть, а?

— Да ничего, вы идите, — сказала Маруся.

— Нет, дедушка! С нами побудь, — сказала Шура.

— Вот ведь случай! — покачал головой старик. — Что ты скажешь? — Он задумался. — Сделаю я вот как, — решил дедушка наконец, — ни по-вашему, ни по-нашему. Я побегу вниз, а дверь в кочегарку не закрою. Я распахну ее пошире. В случае чего — закричите: «Дедушка!» Я услышу. И мигом прискачу. Так?

— Пожалуйста, — сказала Маруся, а Шура только вздохнула.

Дедушка подмигнул ей — ничего, мол, — и быстро побежал вниз. Скоро девочки услышали, как внизу заскрипела тяжелая дверь.

Потом издали-издали раздался голос:

— Э-эй! Девочки-и! Слышите вы меня?

— Да-а! Слы-ышим! — закричали девочки в один голос.

— Ну, и я вас тоже слышу-у! Стойте спокойно!

И дедушка внизу зашумел, заколотил молотком. Сначала он стучал не очень громко, а потом разошелся вовсю. По лестнице пошел грохот.

— Где же бабушка? — спросила Шура.

— А? — переспросила Маруся.

— Бабушка где? — заорала Шура во весь голос. — Пропала?

— Ничего, ничего. Придет. Наверно, народу в магазине много.

Шура наклонилась через перила, чтобы посмотреть, не идет ли бабушка наконец. Вдруг она отскочила от перил и взвизгнула. Маруся бросилась к ней, потом к двери. Действительно, было чего испугаться.

Повеселевший, успокоившийся Ам поднимался по лестнице. И не один! Он вел к себе со двора в гости двух товарищей. Жирный, страшный, курносый, кривоногий пес бежал слева от него. Он был чуть выше Ама. А справа не спеша шагала огромная большемордая собака-великан, с хорошего теленка ростом.

— Де-едушка! — завопила Шура.

Никакого ответа. Только грохот.

— Дедушка! — закричала Маруся так громко, что даже горло заболело.

Не отвечает дедушка. За своим стуком ничего он не слышит. Что делать? А собаки все ближе, все ближе.

Маруся схватила Шуру за руку, и девочки понеслись вверх по лестнице. Вот шестой этаж, последний. Здесь оставаться нельзя. Здесь живет Ам. Выше! Выше!

Вот и чердак. Девочки бросились к чердачной двери. Обе вместе схватились за ручку. Дернули. Отперта!

Девочки вбежали на чердак и захлопнули за собой дверь. Здесь наверху, под крышей, было еще темнее, чем в подвале у дедушки. Девочки стояли в длинном-длинном коридоре. Конца ему не было. И на весь этот длинный коридор горела всего одна лампочка, под белым колпаком. Стены коридора были решетчатые, деревянные. За решетками в темноте что-то белело. Вон как будто чьи-то ноги. Вон кто-то раскинул широко белые руки, а голову не видать.

— Это что? — спросила Шура.

— Где?

— Вон там кто-то стоит.

Маруся ничего не ответила. Она взяла Шуру за руку и пошла вперед, поближе к лампочке. Здесь, под лампочкой, было светлее. И девочки сразу успокоились. Они увидели, что за решеткой просто развешано белье. Вдруг

что-то загремело над их головами. Маруся и Шура взглянули вверх.

— Кто это? А? Маруся!

— Кошки, кошки, — ответила Маруся и со страхом посмотрела наверх. — Ну, вот честное тебе даю слово, что кошки!

Вдруг железо на крыше загрохотало совсем близко, совсем над головой. Потом все стихло. И шагах в пяти от лампочки, где было совсем светло, с потолка медленно стали спускаться чьи-то ноги. Да, ошибиться тут нельзя было. Сначала показались тупоносые башмаки, потом черные брюки. Ноги задвигались, будто шагая по воздуху, и что-то нащупали. Тут девочки разглядели стремянку. Стремянка была черная, вся в чем-то вымазанная, поэтому девочки ее раньше не заметила в темноте. Ноги стали на стремянку и медленно пошли вниз. Вот показалась черная рубаха, черные руки, и в коридор спустился совершенно черный человек.

Девочки глядели на него не мигая. Черный человек, не замечая девочек, принялся складывать стремянку. Его глаза на черном лице казались совсем белыми. Вот он сложил стремянку, прислонил ее к стене, и тут Шура спросила радостно:

— Вы негр?

Черный человек повернулся к девочкам и улыбнулся. Белые его зубы так и засверкали.

— Это я-то? — спросил он. — Нет, гражданочка. То есть я, конечно, черный. Но только до шести часов. Сказав это, незнакомец засмеялся и подошел к девочкам.

— Вы ра... разбойник? — спросила Шура.

Незнакомец не успел ответить, потому что Маруся радостно захохотала.

— Я узнала вас! Вот честное слово! — закричала она и хотела схватить незнакомца за руку.

Но тот отступил на шаг и не позволил Марусе сделать этого.

— Я знаю, знаю, кто это! Шура! Я знаю, кто он!

— Ну вот то-то и оно-то! — сказал черный человек. — Здравствуйте. Руки я подать не могу — вымажу вас в саже, — но вы меня не бойтесь. Есть такая песенка:

Вот идет Петруша,
Черный трубочист.
Хоть лицом он черен,
Но душою чист.

Это я и есть.

— А вас можно отмыть, Петруша? — спросила Шура.

— И даже очень просто, — ответил Петруша. — Горячей водой, да мылом, да мочалкой всю черноту с меня снять очень легко. Немножко останется сажи вот тут, у глаз, возле самых ресниц. Да и то, если хорошенько постараться, и это можно смыть. Поняли? Вот то-то и оно-то. А вы как сюда попали?

Девочки рассказали ему все сначала.

— Вы подумайте! — удивился трубочист. — Вот ведь штука! Ах этот Ам! Ну и Ам!

— А зачем вы ходили по крыше? — спросила Шура.

— Вы в кухне плитку топите? Топите, — сказал трубочист. — И все топят. Сажа от горящих ваших дров летит вверх. И садится по стенкам, по закоулочкам во всех трубах, во всех дымоходах. И сажу эту, девочки, оставлять никак нельзя. Если взовьется от дров искра, горячая такая, что на лету не погаснет, а полетит вверх и ляжет в какой-нибудь уголок, где сажи много, — сейчас же загорится сажа. А от нее пойдет пламя по всему дымоходу. Из трубы как полетят искры — прямо фонтаном. Пожар может быть от этого на чердаке. А от чердака — во всем доме.

— Пожар? — спросила Шура и оглянулась со страхом.

Петруша засмеялся.

— Будь покойна! — сказал он. — Мы вас оберегаем. Трубы чистим — это я. Двор метем, у ворот сторожим — это дворники. Паровое отопление топим...

— ... это дедушка, — сказала Шура.

— Правильно, — сказал Петруша. — Вот то-то и оно-то. Ну, идем — видно, надо вас проводить.

Петруша смело пошел вперед. Девочки — следом. Храбрый Петруша распахнул дверь и вышел на площадку. Девочки выглянули из двери. Ну так и есть. Ам и его страшные друзья прыгают, играют на площадке. Услышав шаги Петруши, собака-великан вскочила и насторожилась. Ам зарычал. Девочки спрятались за дверь.

— Это что? — крикнул вдруг Петруша страшным голосом. — Это что за собачья выставка! Вон пошли! Ну!

И он бросился вниз к собакам. Девочки выглянули. Собака-великан и кривоногий курносый пес, не оглядываясь, удирали по лестнице. Ам, стоя на задних лапах, отчаянно царапал передними дверь, просился домой. Дверь открылась, и Ам бросился домой.

— Вот то-то и оно-то, — сказал Петруша. — Их, главное, не надо бояться. Идемте, гражданочки.

Вот и знакомая дверь, и четвертый этаж.

— Звоните, — сказал Петруша, — а то я кнопку испачкаю.

Маруся позвонила — и сейчас же за дверьми раздался топот. У замка завозились. Послышался папин голос:

— Не мешай.

Потом мамин:

— Я открою.

Потом бабушкин:

— Ох, что же вы! Дайте мне.

И наконец дверь распахнулась, и мама бросилась обнимать девочек, папа кинулся расспрашивать Петрушу, а бабушка, стоя в дверях, заплакала, как маленькая.

Когда все всё узнали, мама обняла и поцеловала Петрушу и вся при этом вымазалась в саже. Но никто над

ней не смеялся. А папа сбегал вниз, в подвал, и поблагодарил дедушку.

Потом девочек повели чай пить. Прошло полчаса или минут сорок, пока бабушка, папа и мама наконец не успокоились, и тогда девочкам здорово досталось.

ЧУЖАЯ ДЕВОЧКА

I

Марусина мама уехала в город к дедушке. Марусю она не взяла, потому что дедушка был нездоров.

И Маруся осталась на целый день у Людмилы Васильевны.

Сережа и Шура, сыновья Людмилы Васильевны, как только увидели Марусю, стали шептаться и хихикать.

— Перестаньте, — сказала им Людмила Васильевна. — Это ваша гостя. Пойдите погуляйте с ней. Она хорошая девочка.

Братья захохотали и пошли к речке.

Маруся — следом.

У реки Сережа заговорил с Марусей.

— Эй, ты, пигалица, — сказал он, — чего стоишь в кустах? Иди сюда.

— Она воды боится — наверное, бешеная, — сказал Шура.

Маруся не ответила ничего. Она вышла из кустов, взяла камешек, бросила на песок и стала гонять его, прыгая на одной ножке.

— Задается! — удивился Сережа. — Не разговаривает.

— Она птица, а не человек! — захохотал Шура. — Прыгает по песочку.

Маруся ничего не ответила. А братья снова пошептались, и Сережа подошел к Марусе.

— Читать умеешь? — спросил он.
— Умею, — ответила Маруся.
— Это какая буква? — спросил он и нарисовал на песке О.

— Это буква О, — ответила Маруся.
— Врешь, это ноль, — ответил Сережа.
— Нет, О.
— Нет, ноль. Плавать умеешь?
— Умею.
— У нас не очень-то поплаваешь.
— Почему? — спросила Маруся.
— Живой волос, — ответил Шура и подмигнул.
— Какой это живой волос?
— Очень простой. Желтенький. Плывет и вертится, как буравчик. Ты от него, а он следом — ки-хи, ки-хи. Догонит и в пятку... Потом целый год ходить нельзя. Или можно, только на цыпочках.

— А как же вы купаетесь?
Сережа подумал и ответил:
— Мы все лето босиком бегаем. У нас пятки каменные. Не провернешь.

Маруся поглядела на братьев, хотела понять — врут они или нет. Но понять было трудно. Братья спокойно смотрели на нее круглыми глазами. Брови у них белые, ресницы белые, на носсах веснушки. У Сережи двух зубов нет, выпали. На их месте уже начали расти новые, и он все трогал их языком.

— Чего ты нас рассматриваешь? — спросил Шура. — С ума сошла, что ли?

— Я домой пойду, — сказала Маруся.

— Брось чушь говорить! — крикнул Сережа. — Иди, садись в лодку. Мы будем играть в войну. Ты будешь белый десант. Это значит — ты высадишься на наш берег с военного корабля. А мы выбежим из кустов и тебя уничтожим.

Маруся подумала и вдруг так толкнула Сережу, что он упал. Потом повернулась, пошла и села в лодку.

— Только подойдите, хулиганы, — сказала она. — Я вас водой обрызгаю.

— Ты вон какая! — закричал Сережа. — А ну, Шура, заходи с того бока. Хватай ее! Тащи! Мы ее научим! Мы ей покажем!

Маруся завертелась в лодке, схватила консервную банку, которая лежала на дне, наклонилась за борт и вдруг с ужасом увидела, что лодка поплыла.

Маруся была девочка довольно тяжелая, лодка под ее тяжестью раскачалась и снялась с прикола.

Братья, поняв, что случилось, сначала замерли от страха. Маруся тоже неподвижно стояла в лодке, глядела на мальчиков.

И вот лодка вышла на середину реки и поплыла по течению.

Река была не широкая, но быстрая. Не успели братья опомниться, как Маруся была уже возле поворота. Она не кричала, не плакала, а спокойно глядела на братьев. Так и уплыла. И вдруг Сереже ее стало жалко, так жалко, что он крикнул Шуру:

— Это все ты натворил!

И стал раздеваться.

— Почему я? С ума ты сошел, что ли? — спросил Шура тихо.

— Потому что куда ее теперь занесет? — кричал Сережа.

— Беги за веслами. А потом беги к мосту по шоссе. Жди там. Речка круги делает, а шоссе идет напрямки. Жди там, весла бросишь нам с моста, когда мы подьдем.

Сережа разделся, подтянул свои синие трусики повыше и бросился в воду.

— Маме не проболтайся! — крикнул он уже из воды и поплыл, как их учил знакомый папин пловец — боком, быстро, не брызгая и ровно дыша. А Шура через минуту уже мчался по шоссе с веслами. Знакомые кричали со всех балконов и из садилов:

— Куда ты?

— Что случилось?

— Смотрите — Шура с веслами по шоссе бежит. Стой, Шура!

Но он не отвечал никому, работал пятками, летел, только пыль вилась следом.

С топотом влетел Шура на мост и встал у перил, задыхаясь. Он глядел вверх по течению. Речка, быстрая, желтая, неслась под мостом. Шура смотрел, смотрел, и — вдруг ему показалось, что речка стоит на месте, а он с мостом быстро плывет вперед. Это ему понравилось.

Он оперся о перила и плыл, и летел. Немного погодя он стал даже командовать вполголоса:

— Вправо! Левей! Оглохли там, что ли? За кусты не зацепиться! Есть!

Но вот мимо проехал грузовик. Шура отвернулся от реки, взглянул на машину. Когда он снова стал смотреть вниз, мост стоял, а река неслась. И вдруг Шура вспомнил все, что случилось. Он с тревогой посмотрел вдаль: нет ни лодки, ни Сережи.

Шура положил весла на мост, спустился к самой речке, опять поднялся наверх. Сбегал на ту сторону. Время шло и шло. Солнце поднялось высоко, пекло голову. Икры и шею стало пощипывать — с них недавно слезла кожа от солнца.

Что такое? Где Маруся? Где Сережа?

— Сережа! — крикнул Шура негромко. Потом откашлялся и крикнул во весь голос: — Гоп-гоп!

Нет ответа. Только что-то зашуршало в кустах — наверное, запрыгала лягушка. Шура опять спустился к речке и вдруг увидел — что-то маленькое, красное качается на воде, приближается к мосту.

Шура схватил сухую длинную ветку, подцепил это маленькое и красное, подтянул к берегу, взял в руки, и у него заколотилось сердце, как будто он пробежал два километра.

Маленькая красная шапочка была у него в руках. Это была Марусина шапочка. Конечно, Марусина. Вот сбоку чернильное пятно — он даже хотел спросить утром Марусю: ты что, сумасшедшая, шапкой пишешь, что ли? — но забыл.

Медленно поднялся Шура на мост и сел на перила.

II

Что же в самом деле случилось с Марусей и Сережей? Неужели они утонули? Сейчас увидим.

Когда лодка скрылась за поворотом, Маруся села на скамейку и задумалась. Она была девочка спокойная и решительная. Первым делом Маруся твердо решила, что не надо пугаться, а надо успокоиться. Это ей удалось.

Речка весело бежала между кустами и деревьями. Солнце светило. Бояться было нечего.

Маруся наклонилась, чтобы взять консервную банку и вычерпывать воду, но вдруг лодка сильно накренилась набок. Маруся увидела над бортом мокрую Сережину голову.

— Пусти лодку, хулиган, — сказала Маруся. — Что тебе тут надо?

Сережа легко закинул ногу на борт и влез в лодку.

— Пошел вон! — сказала Маруся.

— Молчи, — ответил Сережа. — Я пришел тебя спасать.

— Очень надо, — сказала Маруся и принялась вычерпывать воду.

Сережа подумал, наклонился через борт и стал грести руками.

Маруся внимательно следила за ним. Потом перестала вычерпывать и попробовала грести с другой стороны. Лодка не слушалась, неслась по течению.

Вдруг послышался шум. Что-то шипело и гудело впереди. Сережа бросил черпать.

— Ах ты, — сказал он, — я ж забыл!..

— Что?

— Да ведь там плотина, впереди-то!

Мальчик и девочка встали и с ужасом посмотрели друг на друга. Течение стало быстрее. Лодка пошла боком, потом перевернулась кормой вперед, потом вдруг закружилась на месте.

— Омут, — сказал Сережа и оглянулся в тоске.

Кругом реки стоял лес. Высокие деревья махали ветками. Никого не было в лесу, некому было крикнуть: помогите!

— Давай поплывем, — сказала Маруся. — Поплывем к берегу.

— Омут, — сказал Сережа, — здесь закружит. Вода вертится воронкой.

А лодка плыла все быстрее. Река стала шире.

— Стой! — сказал Сережа. — Давай выломаем скамейку.

— Зачем?

— Сделаем руль.

Ребята вцепились в скамейку. Били ее кулаками, ногами. Сережа оцарапал коленку, но скамейка не поддавалась, а лодка все летела вперед. И вот показалась плотина. Над ней стояла водяная пыль. В пыли видна была радуга.

В отчаянии затрясли ребята скамейку, и она наконец затрещала и выломалась. Сережа лег животом на корму. Опустил доску в воду. Держа крепко, изо всех сил, поставил ее в воду наискось.

— Слушается, — прошептала Маруся.

Лодка дрогнула, пошла боком.

Выйдет ли лодка к берегу? Или на плотину их вынесет раньше?

— Круче, круче! — шепчет Маруся. — Вон ива. Если лодка под ивой пройдет, я ухвачусь за ветку. Круче!

У Сережи уже дрожат руки от усталости.

Но он направляет лодку круче. Маруся хватается за ветку. Сережа вскакивает, и лодка опрокидывается — он очень уж быстро вскочил.

Ребята сначала вскрикнули. Потом почувствовали под ногами дно. Встали по пояс в воде.

Побежали было к берегу.

Но вдруг Сережа повернул обратно.

— Куда? — спросила Маруся.

Сережа, не отвечая, пошел на лодку, которая медленно плыла вверх килем. Уцепился за нос лодки. Поволок за собой. Маруся помогала ему. Выволокли, сопя и задыхаясь, лодку до половины на берег.

Сели, отдохнули. Потом взглянули друг на друга и стали смеяться. Смеялись так долго, что у Маруси даже слезы потекли по щекам.

— У нас хозяин сумасшедший, — сказал Сережа, успокоившись. — Если бы лодка пропала, выгнал бы нас с дачи. Живи тогда в городе. Верно?

— А вы где живете? — спросила Маруся.

— На Фонтанке, сто два, — ответил Сережа.

Пошли домой.

Шли они, мирно разговаривая, не спеша, чтобы Маруся высохла. Маме решили ничего не говорить.

На большой поляне набрали цветов. Видели гадюку. Она, услышав шаги, отползла по песку и, извиваясь, поплыла по воде на ту сторону.

— Ты насчет живого волоса наврал? — спросила Маруся.

— Конечно, — ответил Сережа.

Потом вдруг увидели грибы. Собрали немного. Встретили странную кошку, рыжую. Она выглянула из-за куста и зашипела на ребят, хотя они ее не трогали. Ребята удивились. Но потом услышали писк. Четыре маленьких котенка копошились возле кошки. Она шипела, потому что боялась, как бы ребята не обидели котят.

Решили вернуться сюда еще раз, когда кошки не будет, — поиграть с котятами.

Так добрили они до своей дачи. И вдруг раздался крик:

— Да вон они идут!

И целая толпа бросилась им навстречу. Тут были и Людмила Васильевна, и папин знакомый пловец, и Разувайчиковы, что жили на даче рядом, и еще знакомые и незнакомые дачники. Позади всех шел Шура с Марусиной шапочкой. Он улыбался, а глаза и нос были красные. Значит, только что плакал.

Когда все успокоились, Людмила Васильевна сказала:

— Конец, конец! Такие мальчишки, как вы, не могут ни с кем играть. Маруся, иди ко мне, я тебе почитаю, а вы отправляйтесь в сад.

— Нет, я пойду с ними, — сказала Маруся. — Мы теперь помирились.

Boenmiflatus

ИЗ ДНЕВНИКОВ 1950—1953 гг.

1950

30 июня

Я помню себя лет с двух. Во всяком случае, я помню отчетливо, что стою во дворе, возле красной кирпичной стены. Кто-то спрашивает: «Сколько тебе лет?» И я отвечаю: «Два года». Помню железный флюгер в виде петуха за окном нашей комнаты в Казани. Полукруглые ступени, ведущие в университетскую клинику. Каюту. Палубу пассажирского парохода и маленький буксирный колесный пароход, бегущий у высокого зеленого берега. Мы много переезжали, — вероятно, поэтому я помню себя столь маленьким.

1 июля

Да, мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые я почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником. Мне и теперь непонятно, когда меня спрашивают, не мешают ли мне поезда, которые проходят довольно близко от нашей дачи. Не мешают, а радуют, особенно когда слышу их сквозь сон.

25 июля

Что я еще помню из самого раннего детства? Квартиру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном домике, то комнату, которую мы у кого-то снимали, очевидно. Во всяком случае хозяйские девочки показывали мне «Ниву» в переплете, где сильное впечатление на меня произвела картинка «Голодающие индусы». Это были, как я теперь понимаю, разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными его службами до Майкопа. Помню, как в Дмитрове меня разбудила мама и сказала: «Не пугайся, мы поедем кататься». Это, очевидно, 98 или 99 год, когда отца арестовали и увезли в Казань, а мы отправились за ним¹. Помню свидание в тюрьме. Отец и мать сидят за столом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол. «Не шуми! — говорит мать. — Полицейский заберет». — «А вон полицейский», — говорю я, указывая на жандарма, и все смеются. Больше ничего не помню, хотя, по рассказам, знаю, что на этом же свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье мать, отец передал ей записку; жандарм схватил мать за лицо: «Откройте рот!» Отец бросился на жандарма. И я все забыл.

28 июля

<...> Дед мой был цирюльник в старинном смысле этого слова. Он отворял кровь, ставил пиявки (помню их на окне в цирюльне), дергал зубы и, наконец, стриг и брил. И всегда, когда я забегал в цирюльню, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щетки, похожие на муфту с двумя ручками, и дед, и мастера весело приветствовали меня. Как я узнал впоследствии, по семейным преданиям, дед был незаконным сыном помещика Телепнева. Во всяком случае, дочери этого последнего всю жизнь навещали деда, нежно любили его, и, когда их экипаж останавливался у цирюльни, бабушка говорила деду, улыбаясь: «Иди встречай,

сестрицы приехали». Благодаря сложности положения незаконнорожденного, у деда была какая-то путаница с фамилиями. Он был не только Шелков, но и Ларин. Мне объясняла мама почему, но я забыл. Отец мой, который считал, что русский писатель должен иметь русскую фамилию, хотел, чтобы я подписывался — Ларин, но я все как-то не смел решиться на это. Несмотря на свою скромную профессию, дед всем детям дал образование...

Из дядей я больше всего любил Колю² — худого, длинного, длиннолицего, который все показывал мне разные чудеса: то бузинные шарики прыгали у него в коробочке со стеклянной крышкой, то он звал меня в коридор дачи, и там разыгрывалось целое представление: зима. Кто-то появлялся из-под лестницы, ведущей во второй этаж, съезжал на санях с горки, валил снег, все хлопали в ладоши, и я был счастлив. В один из приездов мы застали дядю Колю больным. Он лежал в кровати и был так страшен, что я не осмеливался подойти к нему, хотя он ласково улыбался и манил меня к себе. Возле Рюминой рощи стоял заброшенный деревянный дом Рюминых, двухэтажный, огромный, как мне тогда казалось. Внизу в широких рамах либо не было стекла, либо открывалась форточка. И вот дядя Коля подсадил меня в эту форточку, и я попал в большой зал. Наверх вела лестница с белыми перилами, у стены стоял клавесин, как мне кажется теперь. Вероятно, это было первое в моей жизни поэтическое впечатление. Кресла, столы, клавесин, лестница — и никого тут нет, ни одного человека! К ужасу дяди Коли, я побежал наверх по лестнице. Он меня звал, а я не шел к окну, все бегал да бегал...

Я тогда говорил не теми словами, что теперь. Передавая теперешним моим языком тогдашние богатейшие мои ощущения, я, конечно, вру, но поневоле. Привычные мои детские воспоминания как бы прикрыты отныне этими сегодняшними страницами. Но вместе с тем, оттого что сознательно я не лгу ни в одном слове, что-то встает передо мною живее, чем до сих пор. Немые дни

как бы начинают и говорить, и дышать. Вот, например, я пишу: «Я не запомнил ни одну из нянек». Что-то смутно тревожит меня после этих слов. И вдруг выплывает имя Христина. Я вижу веселое лицо. Веснушки. Да это и есть моя екатеринодарская няня. Я слышу, как мама говорит о ней: «Вот это хорошая няня». Я вспоминаю, как мы с няней стояли в толпе, смотрели на чьи-то необыкновенно пышные похороны. Опершись о колено отца, я сообщаю ему, что видел, как хоронили царя. «Цавя», — весело передразнивает отец и объясняет, что умер не царь, а городской голова. Я после этого, к великому утешению мамы, рисую голову на ножках и спрашиваю, таким ли был голова при жизни. <...>

29 июля

Квартира с большим садом у людей по фамилии Дуля. Хозяева — военные. Тут я обрезал палец левой руки, средний, и сохранил шрам до сих пор. И порезал-то не сильно — на неудачном месте — на сгибе. Здесь же я под столом разговаривал с кошкой, и вдруг она протянула свою лапу и оцарапала меня. Это меня оскорбило. Ни с того ни с сего, без всякого повода и вызова протянула спокойно лапу — вот что обидно, — да и оцарапала. Будто дело сделала. И вскоре после этого — еще большая обида: теленок, который казался мне огромным, бычок с едва прорезавшимися тупыми, еле видимыми рожками погнался за мною по саду и догнал у самого перелаза во двор. И прижал своими тупыми рожками к плетню. Это само по себе было обидно, но еще обиднее показалось мне то, что, прогоняя теленка, мама смеялась!

Но вернусь в Рязань. Мирные разговоры на балконе и удивительно спокойный и ласковый дедушка, который, по маминым словам, ни разу в жизни не повысил голоса. Правда, он все грозил мне, что выпорот меня крапивой. И поэтому на карточке его, присланной нам после его смерти бабушкой, стоит надпись: «Милому внуку на па-

мать о дедушке крапивном». Но я отлично понимал, что угроза шуточная. Дедушка, видимо, был несколько расчётлив, а при такой большой семье каждая копейка была на учете, и учетом этим ведала бабушка. Однажды мы с ним ехали на извозчике, и дедушка попросил меня не говорить об этом бабушке. Я и не сказал. Но яйца, которые мы везли на дачу, разбились, и извозчик, знакомый деду, шутил добродушно: «Яичницу привезете на дачу хозяйке». Вот это я и рассказал, когда все уселись пить чай. Помню, как захохотали дяди и тетки, а дед схватился за голову.

2 августа

Из отрывочных воспоминаний — забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, «Гамлета». (Это было в Екатеринодаре.) Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них — в короне. «О духи, духи!» — кричал один из них. Это я изображал дома. Незадолго до этого я научился здороваться и прощаться. И после спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со стенами, с публикой. Потом подошел к афише, имени которой не знал, и сказал: «Прощай, писаная». Все засмеялись, что очень мне понравилось. Помню репетицию любительского спектакля (это уже в Рязани). Маленькая сцена, на ней много народа. Все больше женщины, я теряюсь среди длинных юбок. Помню спектакль «Волшебная флейта»³. Мама села где-то позади, а меня усадили в первом ряду. Когда героя стали вязать, я заорал: «Мама!» — и побежал по проходу, чтобы найти ее. Помню, как раздвинулся куст, впрочем, больше похожий на шкаф, и в нем обнаружилась флейта. Больше ничего не помню.

3 августа

Отрывочные воспоминания собраны как будто полностью. Папа после ареста не мог жить и служить в

губернских городах — и вот мы переехали в Ахтыри на Азовском море. Здесь отец поступил врачом в городскую больницу. С этого времени я помню все подряд, отрывочные воспоминания кончаются. Это, вероятно, 99—900 годы. Мне четыре года.

5 августа

Одна из нянек рассказывает мне сказку об Ивасеньке, которому мать поет: «Ивасенька, сыночек мой, приплынь, приплынь до бережку». Слово «приплынь» глубоко трогает меня. Мне кажется, что мать так и должна звать сына.

18 августа

Но вот, наконец, совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне зародилось в эти майкопские годы. Как бы в ознаменование столь важного для всей семьи события мы поехали в Майкоп не обычным путем. В дальнейшем мы ездили туда так: до Армавира или Усть-Лабы поездом, а оттуда на лошадях, в так называемом фургоне, до места. На этот же раз мы поехали в карете! Прямо до самого Майкопа... Помню и ночлег — вероятно, не на постоялом дворе. Стол, покрытый вязаной скатертью. Диваны в чехлах. Альбом с фотографиями. А главное, первый в моей жизни переплетенный за год журнал, который привел меня в восторг, — «Родина», издание Каспари. На последней странице каждого из пятидесяти двух номеров журнала смешные картинки. Я с трудом отрываюсь от толстой книги, чтобы поужинать, и долго отказываюсь идти спать. И вот, проехав в карете около ста верст, мы попали наконец в мой родной, счастливый и несчастный город.

24 августа

Майкоп был основан лет за сорок до нашего приезда. Майкоп на одном из горских наречий значит: «много масла», на другом — «голова барыни», а кроме того, согласно преданиям, был окопан в мае — откуда будто бы и пошло имя Май-окоп. Несмотря на свою молодость, город был больше, скажем, Тулы. В нем было пятьдесят тысяч населения. С левой стороны примыкал [к городскому саду] Пушкинский дом — большое, как мне казалось тогда, красивое кирпичное здание. В одном крыле его помещалась городская библиотека, окна которой выходили в городской сад, а все остальное помещение было занято театром. Занавес театра представлял собою копию картины Айвазовского: Пушкин стоит на скале низко, над самым Черным морем. Помню брызги прибоя — крупные, как виноград. Автором этой копии был архитектор, строивший Пушкинский дом. Старшие, к моему огорчению, не одобряли его работу. Это мешало мне восхищаться занавесом так, как того жаждала моя душа. Я вынужден был скрывать свои чувства.

Вокруг Майкопа лежали с одной стороны великолепные черноземные степи, засеянные пшеницей и подсолнухом, а за Белой начинались леса, идущие до моря, до главного хребта, до Закавказья. Майкопский отдел богат, Майкопский отдел — житница Кубанской области; если бы городское хозяйство велось как следует, то город давно был бы вымощен, освещен, украшен и так далее и так далее. Все это я привык слышать чуть ли не с первых дней нашего пребывания в Майкопе. А пока что город летом стоял в зелени, казался чистеньким из-за выбеленных стен, но ранней весной, осенью да и теплой зимой тонул в черноземной грязи. На тротуарах росла трава.

27 августа

В доме Родичева⁴ появились первые книги, которые помню до сих пор, и первые друзья, с которыми — или

рядом с которыми — я прожил до наших дней. Книги эти были сказки, в издании Ступина. Сильное впечатление произвели обручи, которыми сковал свою грудь верный слуга принца, превращенного в лягушку, боясь, что иначе сердце его разорвется с горя. Это было второе сильное поэтическое впечатление в моей жизни. Первое — слово «приплынь» в сказке об Ивасеньке. И надо сказать, что оба эти впечатления оказались стойкими. Сказку об Ивасеньке я заставлял рассказывать всех нянек, которые, как было уже сказано, менялись у нас еще чаще, чем квартиры. В ступинских изданиях разворот и обложка были цветные. Картинки эти, яркие при покупке книжки, через некоторое время тускнели, становились матовыми. Я скоро нашел способ с этим бороться. Войдя однажды в комнату, мама увидела, что я вылизываю обложку сказки. И она решительно запретила мне продолжать это занятие, хотя я наглядно доказал ей, что картинки снова приобретают блеск, если их как следует полизать. В это же время обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Помню, как я отказался решительно дослушать сказку о Дюймовочке. Печальный тон, с которого начинается сказка, внушил мне непобедимую уверенность, что Дюймовочка обречена на гибель. Я заткнул уши и принудил маму замолчать, не желая верить, что все кончится хорошо. Пользуясь этой слабостью моей, мама стала из меня, мальчика и без того послушного ей, совсем уже веревки вить. Она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, все герои которой попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут». И я доедал.

1 сентября

Перехожу теперь к дому, который стал для меня впоследствии не менее близким, чем родной, и в котором я гостил месяцами. До наших дней сохранилась близ-

кая связь с этим домом. Это дом доктора Василия Федоровича Соловьева⁵. Этот дом стоял на углу недалеко от армянской церкви, которая еще только строилась в те дни. Был он кирпичный, нештукатуренный. К нему примыкал большой сад, двор со службами. Направо от кирпичного дома стоял белый флигель. Здесь Василий Федорович принимал больных. На площади вечно, как на базаре, толпились возы с распряженными конями. На возах лежали больные, приехавшие из станиц на прием к Василию Федоровичу. Он был доктор, известный на весь Майкопский отдел. Практика у него была огромная. Отлично помню первое мое знакомство с Соловьевыми. Мы пришли туда с мамой. Сначала познакомились с Верой Константиновной⁶, беспокойное, строгое лицо которой смутило меня. Я почувствовал человека нервного и вспыльчивого по неуловимому сходству с моим отцом. Сходство было не в чертах лица, а в его выражении. Познакомили меня с девочками. Наташа — годом старше меня, Леля — моя ровесница, и Варя — двумя годами моложе. Девочки мне понравились. Мы побежали по саду, поглядели конюшню, запах которой мне показался отличным, и нас позвали в дом. Мама собиралась уходить, а Вера Константиновна с девочками провожать нас. Когда Наташа стала надевать свою шляпку, выяснилось, что резинка на ней оборвана. Вера Константиновна стала чернее тучи. «Почему ты не сказала мне, что оборвала резинку?» — «Я не обрывала». — «Не лги!» Разговор стал принимать грозный характер. Я отлично понимал, по себе понимал, куда он ведет. И, страстно желая во что бы то ни стало отвести неизбежную грозу, я сказал неожиданно для себя: «Это я оборвал резинку». Тотчас же темные глаза Веры Константиновны уставились на меня, но уже не гневно, а удивленно и мягко. Меня подвергли допросу, но я стоял на своем. Вскоре мы шли по улице, дети впереди, а старшие позади. Я слышал, как старшие обсуждали вполголоса мой поступок, но ни малейшей гордости не испытывал. Почему? Не знаю. Мы зашли в

пекарню Окумышева, турка с огромной семьей, члены которой жили по очереди то в Майкопе, то в Константинополе. Там угостили нас пирожными, и мы простились с новыми знакомыми. Вечером мама еще раз допросила меня, но я твердо стоял на своем. Засыпая, я слышал, как мама с грустью сообщила отцу, что, очевидно, резинку и на самом деле оборвал я. Но и тут я ни в чем не признался. Теперь несколько слов о моем отце. Он был человек сильный и простой. В то время ему было примерно двадцать семь лет. Он скоро оставил должность городского врача и стал работать хирургом в городской больнице. Продолжал он и свою политическую работу, о которой узнал я много позже. У них была заведена даже подпольная типография, которую потом искал старательно майкопский истпарт, да так и не нашел. Было предположение, что мать некоего Травинского (кажется), в сарае которых зарыли типографию, вырыла ее да и выбросила по частям в Белую. Участвовал отец и в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложнее и замкнутее... Боюсь, что для простого и блестящего отца моего наш дом, сложный и невеселый, был тесен и тяжел. Думаю, что он любил нас, но и раздражали мы его ужасно.

2 сентября

Отец спит после обеда. Мы с мамой рассматриваем книжку, присланную в подарок бабушкой Бальбиной Григорьевной, екатеринодарской бабушкой. Это большого формата книжка с цветными картинками, в картонном переплете... Текста в книжке не было. Были изображения зверей с подписями. «А вот зебра, — говорит мама. — Или нет, это ослик». — «А какая бывает зебра?» — спрашиваю я. «Полосатая». — «А что значит полосатая?» — «Помнишь кофточку, что была на Беатрисе

Яковлевне?»⁷ Вот она и была полосатая. А вот лев, царь зверей». Пока мы беседовали, стол накрыли к вечернему чаю, подали самовар, и отец вышел из своего кабинета. Он был мрачен. Я сказал: «Вышел Лев, царь зверей». Отца звали Лев Борисович, что и было причиной несчастного моего замечания. Я не успел после этих слов и глазом мигнуть, как взлетел в воздух. Отец схватил меня и отшлепал. С тех пор прошло примерно сорок девять лет, но я помню ужас от несоответствия мирных, даже ласковых, даже почтительных моих слов с последующим наказанием. Прощай, мирный вечер! Я рыдал, родители ссорились, самовар остывал. Неуютно, неблагополучно! У отца был особый прием наказывать меня. Он брал меня к себе под левую руку, а правой шлепал по задку. Это было не очень больно, но страшно и оскорбительно. Называлось это — взять под мышку. Мама так и говорила: «Смотри, попадешь к папе под мышку!» Однажды, проснувшись ночью, я услышал, что мама плачет, а папа кричит, сердится. Я заплакал. Мама сказала отцу: «Перестань, ты пугаешь ребенка». На что отец безжалостно ударил кулаком по голове самого себя и еще раз, и еще раз и сказал что-то вроде того, что, мол, гляди, до чего довели твоего отца. Если он бил самого себя, значит, доходил до последнего градуса ярости. И это случалось много чаще, чем он шлепал меня.

3 сентября

Я могу припомнить только два-три случая за все мое детство взлета высоко в воздух, отцу под мышку. Вероятно, самая редкость наказания сделала его столь памятным во всех подробностях. В те времена отец страдал сильнейшими приступами мигрени. Вот он идет в кабинет, зажмурившись, побелев, говорит нам: «Опять флажки, флажки», — так называл он мелькания в левом глазу. Он, как вся их семья, был очень нервен, но вместе с тем, как я уже сказал, прост, прост по-мужски, как сильный

человек. Так же сильно и просто он сердился, а мы тяжело обижались, надолго запоминали его проступки перед семьей. Его любили больные, товарищи по работе, о вспыльчивости его рассказывали в городе целые легенды, рассказывали добродушно, смеясь. Любила его, конечно, в те времена и мама, но, неуступчивая, самолюбивая, замкнутая, тем сильнее обижалась и не шла на размены и упрощения. А я испытывал в присутствии отца, которого понял и оценил через десятки лет, — только ужас и растерянность, особенно когда он был хоть сколько-нибудь раздражен. А в те времена, повторяю, это случалось слишком часто. К сожалению, у нас начинала образовываться семья, которая не помогала, а мешала жить. И теперь, когда я вспоминаю первые месяцы майкопской нашей жизни, то жалею и отца, и мать. Вот он ходит взад и вперед по большой зале родичевского дома, играет на скрипке. Бородатая его голова упрямо упирается в инструмент, рука с искалеченным пальцем легко держит смычок. Я слушаю, слушаю, и мне не нравится его музыка. Я не хочу, чтобы он перестал, мне не скучно слушать скрипку, но это его, папина, музыка, и она враждебна мне, как все, что исходит от него. А отец все бродит и бродит по залу, как по клетке, и играет. Чаще всего играл он *presto* Крейцеровой сонаты.

12 сентября

Мы идем откуда-то вечером, и я первый раз в жизни замечая лунный свет, его особенную прелесть, и длинные, необыкновенно длинные тени перед нами. Пыль. Новое сильное поэтическое впечатление, навеки вошедшее в мою жизнь.

14 сентября

Книги. В это время я читал уже хорошо. Как и когда научился я читать, вспомнить не могу. Еще в Ахтырях я знал буквы. Кое-какие сказки ступинских изданий я не

то знал наизусть, не то умел читать. Толстые книги мама читала мне вслух, и вот в жизнь мою вошла на долгое время, месяца на три-четыре, как я теперь соображаю, книга «Принц и нищий». Сначала она была прочитана мне, а потом и прочтена мною. Сначала по кусочкам, затем вся целиком, много раз подряд. Сатирическая сторона романа мною не была понята. Дворцовый этикет очаровал меня. Одно кресло наше, обитое красным бархатом, казалось мне похожим на трон. Я сидел на нем, подогнув ногу, как Эдуард VI на картинке, и заставлял Владимира Алексеевича⁸ становиться передо мною на одно колено. Он, обходя мой приказ, садился перед троном на корточки и утверждал, что это все равно. Среди интересов, которыми я жил, чтение заняло уже некоторое место.

24 сентября

И вот однажды — (было это летом 1902 года? Вероятно, так. Возможно, что годом позже, но вряд ли) — я увидел семью Крачковских⁹. Это событие произошло в поле, между городским садом и больницей. Перейдя калитку со ступеньками, мы прошли чуть вправо и уселись в траве, на лужайке. Недалеко от нас возле детской колясочки увидели мы худенькую даму в черном с исплаканным лицом. В детской коляске сидела большая девочка, лет двух. А недалеко собирала цветы ее четырехлетняя сестра такой красоты, что я заметил это еще до того, как мама, грустно и задумчиво качая головой, сказала: «Подумать только, что за красавица». Вьющиеся волосы ее сияли, как нимб, глаза, большие, серо-голубые, глядели строго — вот какой увидел я впервые Милочку Крачковскую, сыгравшую столь непомерно огромную роль в моей жизни. Мама познакомилась с печальной дамой. Слушая разговор старших, я узнал, что девочку в коляске зовут Гоня, что у нее детский паралич, что у Варвары Михайловны — так звали печальную даму — есть еще два мальчика, Вася и Туся, а муж был учителем в реальном

училище и недавно умер. Послушав старших, я пошел с Милочкой, молчаливой, но доброжелательной, собирать цветы. Я тогда еще не умел влюбляться, но Милочка мне понравилась и запомнилась, тем более что даже мама похвалила ее. Хватит ли у меня храбрости рассказать, как сильно я любил эту девочку, когда пришло время?

25 сентября

В Майкопе играют не только любители. Приезжает труппа на лето. Среди актеров знаменитый Уралов. На Троицу он приходит к нам. Крыльцо в зелени. А я в зале укрепил несколько веточек прямо на выбеленной стене — поплевал и наклеил. Уралов задумчиво глядит на веточки, видимо, не понимая, как это они держатся.

26 сентября

Из актеров моих детских лет, того раннего времени, помню еще Адашева. Вероятно, тогда я услышал впервые имя: Художественный театр. Удивлялись, как такой неважный актер, как Адашев, мог служить в этом театре. Никто, как я теперь соображаю, ни один из наших знакомых ни разу тогда не видел Художественного театра, но слава его была такова, что о нем все говорили с благоговением. Вообще уважение к славе, разговоры о том, что из кого выйдет, а из кого не выйдет, разговоры о писателях, актерах, музыкантах велись у нас часто. Я помню, как по-особенному оживлен был папа, когда к нам зашел Уралов. Славу уважали религиозно. Помню, как мама не раз рассказывала о том, что дедушка однажды сидел и грустно смотрел на своих детей. И маме показалось, что он думает: «Вот сколько сил потрачено на то, чтобы вырастить детей, дать им высшее образование, а из них ничего не вышло» Это следовало понимать так: никто из них не прославился. И я стал, не помню с каких пор, считать славу высшим, недостижимым счастьем человеческим. Лет с пяти.

27 сентября

С тем же глубоким, искренним убеждением говорилось о столицах, причем о Москве ласковее. И я не помню, с каких лет проникся уважением к славе, к Москве, к Художественному театру. Сейчас мне придется говорить о резком переломе в моей жизни. Чтобы он стал вполне ясен, поговорю еще обо мне и маме. Я был вторым сыном. Первый умер шести месяцев от детской холеры. Мать впервые поддалась на уговоры отца и вышла пройтись, подышать свежим воздухом, оставив Борю (так звали моего старшего брата) на руках у няньки. Дело было летом. Нянька напоила мальчика квасом — и все было кончено. Мать всю жизнь не могла этого забыть. Меня она не оставляла ни на минуту. Вероятно, поэтому я не помню своих нянек. Вся моя жизнь была полна ею. Помню, с какой страстной заботливостью относилась она ко всему, что касалось меня, как чувствовала, думала вместе со мною, завоевав мое доверие полностью. Я знал, что мама всегда поймет меня, что я у нее всегда на первом месте. Заботливость обо мне доходила у мамы до болезненности. Она сама рассказывала мне, когда я был уже взрослым человеком, что когда в те давние времена я съедал меньше, чем положено, то она мучилась, не могла уснуть. «Довольно тебе его пичкать!» — кричал отец, когда я, плача, отказывался от яиц всмятку, ненависть к которым, приобретенную в те ранние дни, я сохранил на всю жизнь. Угадывала мама мои мысли удивительно. Я ничего не скрывал от нее, но далеко не все умел высказать. И тут она приходила мне на помощь. И вот однажды я проснулся не у мамы в спальне, а в папином кабинете. И услышал крик, который показался мне знакомым. «Мама, мама! — позвал я. — У нас кричит дикая цесарка». На мой зов появился папа. Он был бледен, но добр и весел. Посмеивался. Он сказал: «Одевайся скорее и идем. У тебя родился маленький брат». Так кончилось первое, самое раннее мое детство. Так началась новая, очень сложная жизнь.

28 сентября

«Одевайся скорее и идем», — сказал отец, и я, как часто случалось это со мною и в дальнейшем, не понимая, что с этого мгновения моя жизнь переломилась, весело побежал навстречу неведомому будущему. Мама лежала на кровати. Рядом сидела учительница музыки и акушерка Мария Гавриловна Петрожицкая, которая массирует ей живот. И тут же на маминой кровати лежал красный, почти безносый, как показалось мне, крошечный спеленутый ребенок. Это и был мой брат, которого на этих днях встретил я на Невском и со страхом почувствовал, как он утомлен, как постарел, как озабочен. Тогда же, сорок восемь лет назад, он показался мне до отвратительности молодым. Вот он сильно сморщил лоб. Вот открыл рот, и я услышал тот самый крик, который приписал дикой цесарке. И мама ласково стала уговаривать нового сына своего, чтобы он перестал плакать. Несколько дней я был рад и счастлив тому, что в нашем доме произошло такое событие. Помню, как мама, улыбаясь, рассказывала кому-то: «Женя побежал к Рединым, позвонил в парадное. Его спросили: «Кто там?» А он закричал: «Открывайте поскорее, новый Шварц родился». Однако этот новый Шварц заполонил весь дом, и я постепенно стал ощущать, что дело-то получается неладное. Мама со всей Шелковской, материнской, бесконечной и безумной любовью принялась растить младшего сына. На первых порах он не одному мне казался некрасивым, что мучило бедную маму. Она все надеялась, что люди заметят вместе с нею, как Валя хорош. Доктор Штейнберг жаловался, что видел во сне, как мама бегала за ним с Валею на руках и спрашивала: «Правда ведь, он хорошенький?» Каждая болезнь брата приводила ее в отчаянье. Было совершенно законно и естественно, что с 6 сентября старого стиля 1902 года мама большую часть своего сердца отдала более беспомощному и маленькому из своих сыновей. Но мне

в мои неполные шесть лет понять это было непосильно. Я все приглядывался, все удивлялся и наконец вознегодовал.

29 сентября

И, вознегодовавши, я воскликнул: «Жили-жили — вдруг хлоп! Явился этот...» Эти слова со смехом повторяли и отец и мать много раз. Даже когда я стал совсем взрослым, их вспоминали в семье. Судя по этим словам, я довольно отчетливо понял, что дело в новом Шварце, а не в том, что я стал хуже. Но я так верил взрослым, в особенности матери, что невольное раздражение, с которым иногда она теперь говорила со мною, я стал приписывать своим личным качествам. Если мама говорила худо о наших знакомых, то они, как я неоднократно писал, делались в моих глазах как бы уцененными, бракованными, тускнели. И ни разу я не усомнился в справедливости маминых приговоров. Не усомнился я в них и тогда, когда коснулись они меня самого. Однажды я сидел за калиткой, на земле. Был ясный осенний день. Гимназистки, взрослые уже девушки, шли после уроков домой. Увидев меня, одна из них сказала: «Смотрите, какой хорошенький мальчик! Я бы его нарисовала». Я было обрадовался — и тотчас же вспомнил, что девушка говорит обо мне так ласково только потому, что не знает, какой я теперь неважный человек. И с грубостью, бессмысленной и удивлявшей меня самого, но все чаще и чаще просыпавшейся во мне в те дни, я крикнул вслед девушкам: «Дуры!» По старой привычке я побежал и рассказал все маме, и она побранила меня. Но я не мог объяснить ей, почему я выругал бедных гимназисток. Я, до сих пор окруженный, как футляром, маминой любовью и заботой, стал чувствовать неясно и бессознательно пустоту, страх одиночества и холод. В те дни стали определяться душевные свойства, которые сохранил я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества. К этому

следует прибавить вытекающее отсюда желание нравиться. Мне страстно хотелось, чтобы я стал нравиться маме, как и в те дни, когда еще не явился «этот». Я всеми силами старался вернуть потерянный рай и, чувствуя, что это не удастся, бессмысленно грубил, бунтовал и суетился.

30 сентября

Конечно, все это развивалось постепенно, ото дня ко дню, но неуклонно, как менялась в те дни и погода. Первая майкопская весна сменилась летом, а вот пришла и осень. Пришел и день моего рождения, по старому стилю 8 октября 1902 года. Мне исполнилось шесть лет. Это первый день рождения, который я запомнил. Он праздновался особенно торжественно, и я получил много подарков. Думаю, что мама, чувствуя мою обиду и желая утешить и напомнить, что я по-прежнему ее сын, позаботилась об этом. Наступил этот торжественный день совершенно неожиданно. Я ждал, что он придет только послезавтра, но вдруг, проснувшись, увидел большого коня, ростом с крупную собаку. Он был обтянут настоящей шкурой, белой, с желтыми пятнами. Он стоял возле стула, на котором возвышалась коробка многообещающего вида и размера. Я получил кроме коня волшебный фонарь, прибор для рисования с картинками и матовым стеклом, кубики, лото. Оказывается, помня царский день, в ожидании которого я не мог уснуть, старшие решили скрыть от меня, что день моего рождения вовсе не послезавтра, а завтра. Я был рад, но впервые в жизни испытал удивившее меня чувство разочарования. Мне как будто грустно стало, что больше ждать нечего. Праздник прошел слишком скоро, достался мне легче, чем я думал, и это его как бы обесценивало.

1 октября

Да, именно с тех давних пор я приобрел привычку, с которой безуспешно борюсь до сих пор: сказав что-

нибудь, заглядывать в лицо собеседнику, чтобы увидеть, какое впечатление произвели мои слова, или, что еще хуже, с улыбкой оглядывать всех, даже посторонних, сидящих за соседними столиками в ресторане или на скамейках трамвая: похвалите, мол, меня, бедного. Эта пагубная привычка привела к тому, что иной раз меня считают слабее, чем я есть. Это мешает во многих случаях моей жизни.

2 октября

Я стал много читать. Пустота, образовавшаяся вокруг меня, требовала заполнения. Я не мог, не научился жить один, и если не было книжек, то очень скучал. Очевидно, в течение всей зимы шел во мне какой-то процесс, требовавший много сил и не осознанный мною. Поэтому я не помню ни внешних событий, ни внутренних. В этот период моей жизни боязнь темноты усилилась. Темнота населилась живыми существами, крайне страшными.

3 октября

Переходный возраст переживаешь не только в тринадцать-четырнадцать лет, но и раньше и позже. Несомненно, что возраст между шестью и семью годами критический, причем у меня этот кризис совпал с рождением брата и отдалением мамы. Сильно развились чувства страха одиночества, мистического страха, ревности, любви; вспыхнуло воображение, а разум отстал, несмотря на чтение запойное и беспорядочное.

...На 1903 год мне выписали журнал «Светлячок», издаваемый Федоровым-Давыдовым. Он меня не слишком обрадовал. Был он тоненький. От номера до номера проходило невыносимо много времени, неделя в те времена казалась бесконечной. А кроме всего я жил сложно, а журнал был прост.

4 октября

Вероятно, в это же время я бывал часто у Соловьевых. У девочек в комнате стояла этажерка, каждый этаж которой был превращен в комнату, — там жили куклы. Я обожал играть в куклы, но всячески скрывал эту постыдную для мальчика страсть. И вот я вертелся вокруг этажерки и ждал нетерпеливо, когда девочек позовут завтракать или обедать. И когда желанный миг наступал, то бросался к этажерке и принимался играть наскооро, вздрагивая и оглядываясь при каждом шорохе. Мама знала об этой моей страсти, посмеивалась надо мной, но не выдавала меня. Когда мы были с нею в цирке? Вероятно, вскоре после того, как видели его торжественный въезд в город. Во всяком случае это было летом, потому что зимнего цирка в городе не было. Мы смотрели представление в шапито, и я впервые погрузился в обстановку особенную, цирковую, которая очень понравилась бы мне, если бы мама не смотрела на арену так сурово и печально. Из-за этого я запомнил только китайских фокусников, которых мама похвалила. Тем не менее я был счастлив, и весь мир у меня в этот день вращался вокруг цирка. Я не преувеличиваю. Когда мы шли домой, то встретили на улице даму с двумя мальчиками. «Опоздали! — закричал им я. — Уже кончилось представление!»

Зимой 1902 года появился у нас знакомый, фамилию которого я забыл. Кажется, Сушков? Он побывал на Крайнем Севере. Впервые я услышал, что люди ездят на собаках, на оленях, увидел фотографии, привезенные оттуда, и года два ужасно любил Север и мечтал туда поехать. Особое, ни на что не похожее чувство вызывали у меня слова «ездовые собаки», «северный олень», «тундра». Я мечтал о Севере, пока не прочел «Образовательное путешествие» Вёрисгофер, после чего так же страстно влюбился в тропические страны, уже на более долгий срок.

6 октября

Деревянный дровосек тоже часть известной кустарной игрушки — дровосек и медведь бьют деревянными молотами по деревянной наковальне. Игрушка давно распалась на части, и дровосек живет, как я сказал уже, в третьем коробочном, пахнущем табаком доме. Медведь живет возле. Я играю, вожу жителей города на санях, но эта ровная площадь между картонными домами, освещенная лампой, навесы, поддерживаемые кеглями, вызывают у меня мечты сильные, но трудно определимые. Не то мне хочется стать маленьким, как заводной мороженщик, и ходить тут по площади, покрытой скатертью, не то, чтобы этот игрушечный город стал настоящим и я жил бы в нем. Знаю только, что играть, как я играю, мне мало. А между тем вокруг становится все тише, а звон в ушах все отчетливее, нянька не возвращается, очевидно задремав возле Валиной кровати. Из столовой стеклянные двери ведут в коридор. И мне кажется, что вот-вот кто-то заглянет в стекло. Я воображаю ясно, как кто-то рассказывает страшный рассказ: «Старшие ушли, а дома осталась нянька и дети...» От всех этих мыслей страх и тревога все больше овладевают мной. И темное пространство под столом кажется мне теперь угрожающим. Я подбираю ноги. Мне давно уже пора спать, но я не смею встать, не смею позвать няньку. И вдруг — все успокаивающий, все разрешающий шум отпираемой двери, голоса родителей. Я пробегаю, зажмурившись, наполненный мерцающей тьмой зал и бросаюсь на шею маме. Это было в 1902 году.

8 октября

<...> Мне предстоит рассказывать о лете 1903 года, о последней поездке моей к маминым родным. Это сложно, трудно. Очень важное место в моей жизни занимает лето в Жиздре. На этот раз, по желанию бабушки, все ее

дети съехались у старшего ее сына, Гавриила Федоровича¹⁰, который служил в этом городе.

14 октября

Итак, летом 1903 года мы поехали в Жиздру через Москву и Рязань. Путешествие началось рано утром. Кажется, до Армавира провожал нас отец. Вале еще не было и года. Ехала ли с нами нянька? Не помню. Итак, рано утром к дому подъехал фургон, глубоко ненавистное мне четырехрессорное и потому непрерывно качающееся сооружение. Впряжена в него была тройка коней. Этот высоко поднятый деревянный ящик с дверцами был устлан сеном, чтобы ногам было мягче. Багаж помещался внутри. Самую громоздкую часть его — корзины — привязывали на запятках, между задними колесами. Как меня укачивало в этих фургонах! До сих пор запах сена меня тревожит, предчувствую, что мне будет дурно. Обычно я и мама два дня, которые мы тратили, чтобы добраться до Армавира, лежали и мучились. Ночевали мы в пути. Где? Не могу вспомнить. Помню только маленький армавирский вокзал. Сон на вещах. Пробуждение. Шатаюсь, плетусь я до влажной скамейки и тотчас засыпаю. На рассвете я сижу на столике у вагонного окна и смотрю, смотрю. Я радуюсь всему, что бежит мимо поезда, и все забываю ради нового.

16 октября

Путь в Жиздру лежал через Москву. И я, наконец, увидел город, о котором столько слышал чуть ли не с первых дней своей сознательной жизни. Должен признать, что воспринимал в те годы все новое с одинаковой жадностью, как и подобает щенку. Частности заслоняли главное, смотреть я не научился. Через Москву мы поехали на извозчике, переполненном до крайности. Во всяком случае я сидел у мамы в ногах, по-

перек пролетки, свои ноги расположив на приступочке. Извозчик крестился у церкви, и, едва он снимал свою твердую плоскую шляпу с загнутыми полями, я тоже снимал картуз и с наслаждением крестился вслед за ним. В Майкопе я чувствовал, что мои отношения с небом несколько запутались и затуманились. Это меня мучило, особенно вечерами, когда мамы не было дома. Здесь дело обстояло проще, как и всегда, когда мы попадали к маминим родным. И я крестился себе вслед за извозчиком и с наслаждением чувствовал, что я такой же, как все. Пролетка тряслась и тряслась по булыжной мостовой, но вот мама оживилась: «Гляди, гляди, Кремль!» И мы поехали по такой же булыжной мостовой через Кремль. «Вон дворец!» Я поглядел на дворец, и он поразил меня количеством печных труб на крыше. Почему я заметил и запомнил только трубы? Не понимаю. Студентом уже я старался найти то место, откуда увидел крышу дворца, и не мог. Потом мама показала мне Царь-пушку, Царь-колокол, окружной суд. Проезжая через Спасские ворота, мы с извозчиком сняли шляпы и перекрестились. И вот и все. Одинаково отчетливо запомнились мне трубы, церкви, булыжная мостовая, мое место поперек пролетки, перегруженный извозчик, окружной суд. А то, что я впервые в жизни ехал через очень большой город с высокими домами — просто-напросто я проглядел. И вот мы приехали в Жиздру. Бабушка радостно приветствовала нас. Мне она показалась маленькой. Одета она была в черное и все спрашивала: «А ты помнишь дедушку крапивного?»

19 октября

Все, все в Жиздре шло не по-майкопски. Даже хлеб был совсем не такой, как в Майкопе. В Майкопе хлеб был белый, пшеничный, ржаного не продавали ни в булочной Окумышева, ни на базаре. Маме, скучавшей по своему рязанскому, северному хлебу, покупали его, при слу-

чае, в казармах у солдат. Им полагался по их солдатскому рациону непременно хлеб черный. А в Жиздре белый хлеб носил незнакомое мне имя ситного, а черный звался просто хлеб. Пекли его дома. Яблоки в саду рвать не разрешалось, хотя многие сорта и поспели. Ждали Спаса. Можно было собирать только яблоки упавшие. Это привело к игре — кто первый найдет яблоко в траве. Вот мы сидим, обедаем. Вдруг — казавшийся мне значительным, ясно слышимый в тихий летний день — звук яблока, стукнувшегося о землю. Несмотря на протесты и окрики старших, я, Ваня, Лида¹¹ вскакиваем из-за стола и мчимся на поиски. Вид яблока, лежащего в траве под деревом, до сих пор особым образом радует меня. Вскоре в этой игре приняли участие и старшие. Помню, как мама, с их Шелковской настойчивостью, изводила полдня Зину¹², показывая в лицах, как та стоит над самым яблоком и не видит его, а яблоко мигает маме: «Вот, мол, я, хватай, бери!» Помню счастливый день. Я, встав из-за стола после утреннего чая, задержался под яблоней, разговаривая с мамой. Вдруг порыв ветра — и три яблока упали разом, одно прямо мне в руки, а два — под ноги.

20 октября

Да, в те времена я был переменчив. Утром — один, днем — другой, вечером — третий. В Майкопе я был майкопским мальчиком, старался букву «г» произносить как немецкое «h» и стеснялся, что у меня светлые глаза, тогда как у всех вокруг — карие. В Жиздре же я был рязанским, как все Шелковы, и обижался, когда Зина дразнила меня черкесом. Я не приспособлялся к новой обстановке, не подражал, не поддавался влияниям, а просто менялся весь, как меняется речка утром, днем, вечером. Я, как, вероятно, и все дети, жадно впитывал новые впечатления, которые вызывали новые сильные чувства, иногда по глубине своей несоразмерные вызвавшему их явлению.

6 ноября

И вот уехали мы из Жиздры в Майкоп. Не удалось мне передать ощущение новой жизни, очень русской рядом с майкопской, окраинной, украинской, казачьей. Мы в последний раз в жизни повидали бабушку, в последний раз в жизни погрузился я в особую атмосферу Шелковской семьи, и веселую, и насмешливую, и печальную, с предчувствиями, приметами, недоверием к счастью, и беспечную, и дружную, и обидчивую...

Майкопские мальчишки быстро переучили меня говорить букву «г» на великорусский манер, я снова стал стыдиться своих зеленых глаз. Рязанская семья уже навсегда стала воспоминанием.

16 ноября

Итак, мы вернулись в Майкоп, и началась новая зима 903/904 года. Осенью исполнилось мне семь лет. Я пережил новое увлечение — мама рассказала, как была она в Третьяковской галерее. И это почему-то поразило меня. «Картинная галерея» — эти слова теперь повергали меня в такой же священный трепет, как недавно «нарты», «ездовые собаки», «северные олени». Я оклеил все стены детской приложениями к «Светлячку».

17 ноября

Я стал гораздо самостоятельнее. Я один ходил в библиотеку — вот тут и началась моя долгая, до сих пор не умершая любовь к правому крылу Пушкинского дома. До сих пор я вижу во сне, что меняю книжку, стоя у перил перед столом библиотekarши, за которым высятся ряды книжных полок. Помню и первые две фамилии каталога: Абу Эдмонд. «Нос некоего нотариуса». Амичис Эдмонд. «Экипаж для всех». Меня удивляло, что в каталоге знакомые фамилии писателей переименовывались. Например, Жюль Верн назывался Верн Жюль. Левее стола библиотekarши, у прохода в читальню, стоял дру-

гой стол, с журналами. Но в те годы читальный зал я не посещал. Я передавал библиотекарше прочитанную книгу и красную абонементную книжку, она отмечала день, в который я книгу возвращаю, и часто выговаривала мне за то, что читаю слишком быстро. Затем я сообщал ей, какую книжку хочу взять, или она сама уходила в глубь библиотеки, начинала искать подходящую для меня книгу. Это был захватывающий миг. Какую книгу вынесет и даст мне Маргарита Ефимовна? Я ненавидел тоненькие книги и обожал толстые. Но спорить с библиотекаршей не приходилось. Суровая, решительная Маргарита Ефимовна Грум-Гржимайло, сестра известного путешественника, внушала мне уважение и страх. Ее побаивались, но и подсмеивались над ней. Ее знал весь город и как библиотекаршу, но еще более как «тую дамочку, чи баришню, что купается зимой». Одна из Валиных нянек рассказывала, что видела, как библиотекарша «сиганула в прорубь и выставила оттуда голову, как та гадюка». Как я теперь понимаю, у Маргариты Ефимовны был выработан строгий порядок жизни, из которого обыватели только и знали что неприветливость да зимние купанья. Она была одинока.

26 ноября

Я сам не представлял себе, как я мучительно не умею писать о том, что в детстве переживалось в самой глубине. Но мечта поймать правду, заставляющая меня быть столь многоречивым, желание добраться до самой сердцевины, нежелание быть милым и литературным толкает в шею.

...Весной 904 года мы поехали в Одессу. Поездка эта сыграла в моей жизни не меньшую роль, чем поездка в Жиздру. С Жиздрой связана любовь к церкви, колокольному звону, садам, сосновому бору. А в Одессе я любил корабли, лодки, порт, запах смолы и научился мечтать. <...>

27 ноября

Итак, мы поехали в Одессу. Отношения между отцом и матерью все усложнялись, майкопская жизнь не удавалась. Мать решила, что зависит материально от отца унижительно. Работать по специальности — акушеркой — она не могла. Это отнимало бы у нее слишком много времени. И вот, прочтя объявление о краткосрочных курсах массажа, которые были основаны каким-то доктором в Одессе, мама решила ехать туда учиться. Делать массаж она могла и дома, не оставляя нас, не поступая на службу. И вот мы поехали в Одессу. <...> Снова фургон, и отвратительный запах сена, и припадки морской болезни на суше, на страшных черноземных кубанских дорогах. Затем праздник и счастье — железная дорога. Сначала мы заехали в Екатеринодар — и тут я ничего не узнал, ничего не вспомнил. Ведь я не был там с весны 1902 года. Целый век! Приехали мы утром, вошли в просторную столовую дедушкиного дома и увидели бабушку, которая, приветливо улыбаясь, живо и быстро двигалась к нам навстречу из-за большого овального стола. И столовая, и стол, и стулья со спинками, и самовар на столе — все было большое, гораздо крупнее, чем у нас дома, а бабушка Бальбина показалась мне маленькой, как и русская моя бабушка на вокзале в Жиздре. Гораздо меньше, чем она вспоминалась. Увидел я скоро Исаака¹³, старшего моего дядю, перед которым испытывал непобедимую робость. Ни деда¹⁴, ни бабки я не боялся, а он ужасно смущал меня. Увидел худого и мрачного дядю Самсона — актера. Увидел Тоню¹⁵, но все это наскоро, впопыхах, как в тумане. Исаак заметил, с какой жадностью я читаю «Рейнеке-Лиса» в издании «Золотой библиотеки», и сказал: «Возьми эту книжку себе». Я ответил растерянно: «Если бы она была моя, то я ее взял бы, а она Тонина». — «Ну вот, теперь она и будет твоя! — сказал Исаак мрачно. — Бери!»

29 ноября

<...> Почему я пишу о детстве? Тургенев сказал, что человек с интересом говорит обо многом, а с аппетитом только о себе. Я надеялся, что этот аппетит и в самом деле пробудится во мне и я начну писать наконец и овладею постепенно языком, преодолею глухонемоту. Пока что нет у меня аппетита, и дело движется с напряжением, через пень-колоду. А бросать еще страшнее.

6 декабря

Улицы в Одессе были такие оживленные, что мне все чудилась впереди толпа, которая смотрит на «происшествие». Этот отдел я читал в газете и мечтал своими глазами увидеть пожар, столкновение конки с извозчиком, поимку известного вора или нечто подобное. Но, увы, толпа впереди вечно оказывалась, когда мы к ней приближались, кажущейся. Просто те же прохожие сливались вдали в одно целое. Вот как мне трудно выразить самые простые вещи. В фургонах развозили искусственный лед — таскали его куда-то белыми длинными брусками. Лошади в Одессе носили шляпы с прорезами для ушей. Для собак были устроены под деревьями железные корытца с водой. Веселые, оживленные одесские улицы, деревья, коричневая мостовая на Дерибасовской, которую я с маминых слов считал шоколадной и все боялся спросить — не пошутила ли она, и свет, свет, солнце, жара, которая только веселила меня. И фруктовые лавочки, то в подвалах, то в ларьках, сначала с черешнями, которые мама, к моему удивлению, считала безвкусными, а потом с вишнями, которые я, к маминому удивлению, считал кислыми, и, наконец, с яблоками, грушами, дынями, арбузами. Обожаю я киоски с газированной водой, но, увы, она оказалась подозрительной, и я любовался издали струей, бьющей в высокий стакан. Мама подозревала, что газированная вода готовится из сырой. Иногда над толпой показывались синие и красные

воздушные шары, двигалась, покачиваясь и сияя на солнце, их великолепная, огромная, но легкая гроздь. С ними я просто не знал, что делать. Мне мало было держать шарики в руках, мало было глядеть на них, они вызывали жажду — чего? Я не знаю до сих пор. И эта жажда радовала меня. Шары, плывущие над толпой, вызывают до сих пор ясное, всегда одинаковое, сильное душевное движение, имени которому я не в силах найти.

7 декабря

И за садом в конце нашей улицы, и за Приморским бульваром внизу кипела морская, портовая, пароходная, канатная, лодочная, пахнущая смолой, бесконечно для меня привлекательная жизнь. Любовь, но не к морю, а к приморской жизни — вот сильное и новое чувство, вспыхнувшее в Одессе и отодвинувшее мою страсть к картинным галереям далеко назад. Это чувство не проходило много лет, усилилось, когда мы уехали из Одессы, и в сущности не умерло и до сих пор.

10 декабря

Вечер начинался у нас очень рано, часов в шесть. Мы возвращались домой, закончив на сегодня все прогулки. Мама сидела над своими записями, училась, Валя играл с нянькой, а я скучал, мечтал, томился. Играть мне было не с кем. «Рейнеке-Лис» в издании «Золотой библиотеки» был зачитан и перечитан чуть не наизусть. Мама просила у хозяйек книжек для меня, но у них нашлись только немецкие. Я бесконечно ссорился с [няней] Ольгой, безобразно грубил ей, дразнил брата, но и это не занимало меня полностью. Тогда, взяв круглую слоеную булку, я выходил во двор, садился на ступеньках высокого крыльца, глядел и слушал. Уже начинало темнеть. И непременно за открытыми окнами кто-нибудь играл на рояле. Иногда просто гаммы. Но музыка эта вместе с затихающим шумом улицы и стуком копыт по мостовой

неизменно погружала меня в мечты. Часто мне представлялось следующее: вдруг всем на свете делалось по семь лет. Мое одесское вечернее одиночество тем самым обрывалось счастливейшим образом. То из одной, то из другой квартиры выбегали ее хозяева и предлагали, как это было принято на бульваре или в садике под парапетом: «Мальчик, хотите играть в золотые ворота?», «Мальчик, пойдемте играть в разбойники». В одной из квартир виднелись против окна большие шкафы с книжками, которые в мечтах моих все сплошь оказывались детскими... Я начинаю мечтать о том, что во многих квартирах заметили, наверное, что сидит мальчик каждый вечер на крыльце, не шалит, не шумит, а все думает. «Хороший это, наверное, мальчик», — решают невидимые зрители. И они дарят мне трехколесный велосипед на резиновых шинах, такой, какой видел я раз в жизни на Ришельевской. Так, в мечтах, в мучениях, в ссорах и преступлениях, проходили одесские вечера. Я все рос, но чувства и силы, пробуждавшиеся во мне, применения себе не находили, а бродили да перепутывались. Я видел страшные сны, легко плакал и сердился.

11 декабря

Однажды мы сидели на Приморском бульваре. Мама просматривала газету. И вдруг она воскликнула: «Женя! Какое несчастье — Чехов умер!» У меня сжалось сердце, и я, как было принято у нас в семье, когда сообщались неприятные новости, ответил: «Да что ты говоришь...» Для меня уже и в те годы имя Чехова было столь же знакомо, как имя Художественного театра, связывалось с Москвой, с чем-то несомненно прекрасным и всеми людьми признанным. Это была та самая слава, о которой думал с грустью дедушка крапивный, глядя на своих детей, не добившихся ничего. Великолепная, таинственная слава!

12 декабря

Я становился все более одесситом, как недавно майкопцем — в Майкопе и рязанским мальчиком — в Рязани. Убедился я в этом однажды в Пале-Рояле. Ко мне подбежал добродушный бледный мальчик в синем костюмчике и позвал играть в разбойники. Обсуждая с ним условия игры, я сказал вместо «мне» — «мине», что после двух месяцев проживания в Одессе казалось более правильным. Но мой новый знакомый вдруг взглянул на меня со страхом и заявил: «Мама не позволяет нам играть с детьми, которые говорят “мине”». И он убежал. Я бросился к своей маме за разъяснениями и узнал, что она сама давно хотела побеседовать со мною, что я совсем разучился говорить по-русски, что я не обезьяна, а большой мальчик и не должен подражать уличным мальчишкам. Надо сознаться, что неведомо откуда, но во мне прочно сидело в те времена начисто исчезнувшее, когда я стал старше, ощущение, что мы благородные. Если мама пробовала выйти со мною на улицу в платке — я отказывался, плакал и кричал: «Ты как простая». И в страхе, с каким на меня взглянул добрый бледный мальчик в синем костюмчике, я угадал тоже чувство. Я говорил, как простой! Ай-ай-ай! Я стал следить за своим языком, щедро уснащать его словами, доказывающими мое благородство. Особенно полюбил я слово «очевидно». Однажды я увидел следующее: два мальчика в садике под парашютом поймали ласточку. Как это произошло, не знаю. Я вмешался в эту историю, когда один из них шагал, держа птицу обеими руками, другой суетился возле, а девочка уговаривала: «Мальчики, отпустите птичку!» Я немедленно присоединился к ее мольбам. Девочке охотники не отвечали. Но мне один из них, тот, что суетился вокруг добычи, прошипел яростно: «Отстань, а то я тебе морду разобью». Я испугался, отстал, пожал плечами и сказал девочке: «Очевидно, это уличный, жестокий мальчик». Две дамы засмеялись, переглянувшись. «Очевидно», — сказала одна из них весело.

13 декабря

И стыд обжег меня. Я понял, что говорил смешно. Это был второй в моей жизни случай жгучего стыда, вызванного моими собственными словами. Впервые я испытал это чувство в Майкопе. Мы с Верой Константиновной и девочками Соловьевыми поехали кататься на линейке не за Белую, а мимо курганов, в степь, в направлении станицы Тульской. Когда мы возвращались, то в длинных одноэтажных кирпичных корпусах больницы уже зажегся свет. И я сказал задумчиво: «Стемнело. Больница загорелась тысячами огней». — «Слышите, слышите, что он говорит?» — воскликнула Вера Константиновна и засмеялась. И стыд обжег меня так сильно, что, вспоминая что-нибудь в те дни, я думал: «Ах да, это было еще до стыда на линейке».

Когда мама была свободна от курсов, совершали мы более дальние прогулки. Чаще всего ездили мы в Городской (или Приморский?) парк — забыл, как он называется. У ворот этого парка сидела сторожиха с вязаньем в руках. А на спинке стула, стоящего возле нее, сидел попугай, которым я не устал любоваться. Он умел разговаривать, кричал: «Дурак!» — причем хохолок его вставал дыбом. В парке мы или располагались на траве под деревьями, или сидели в крытой галерее над обрывистым берегом. Отсюда можно было любоваться свободным от портовой суеты морем. Оно расстилалось от обрыва до самого горизонта, отвечая основному, как я считал тогда, признаку моря: другого берега видно не было. Мама любовалась морем и призывала меня к тому же, но я, повторяю, любил больше приморскую жизнь, чем море. Как я любил выставленную в одном из магазинных окон модель корабля, как мечтал, что каким-нибудь чудом мне купят ее. Как любовался идущими на горизонте пароходами. Как завидовал рыбакам на шаландах. По дороге в парк мы проходили мимо мореходного училища с флагштоком или мачтой на башне.

Я заявил маме, что хочу поступить в это училище. Но она ответила серьезно и строго отказом.

14 декабря

Мама не могла себе представить никакого другого образования, кроме университетского: «Сюда идут только недоучки», — сказала она, но страсть к морю была у меня настолько сильна, что на этот раз мамины слова не произвели на меня ни малейшего действия. Я по-прежнему смотрел на моряков как на людей особенной, избранной породы, причем в данном случае не делил их на благородных и простых. И офицеры, и матросы, и рыбаки, и грузчики в порту были мною любимы благоговейно. Вот офицер в черной морской форме, с кортиком на боку, прощается с дамами и одну из них целует в ладонь. И мне кажется это прекрасным, приморским. Вот матрос подмигивает Ольге, покашливает многозначительно и спрашивает: «Это ваши детишки, барышня?» И это восхищает меня, и я не могу надивиться на Ольгу, которая матросу — подумать только, матросу! — отвечает со злобой: «Проходи, не задерживайся».

16 декабря

Перед самым нашим отъездом из Одессы произошло следующее событие. Доктор, владелец курсов, вызвал маму, одну из всех учащихся, и сказал, что считает ее достаточно подготовленной массажисткой, и выдал ей свидетельство об окончании курсов. И на другой день умер! Мы с мамой долго обсуждали это удивительное совпадение. Мама думала, что доктор, зная, как ей трудно с двумя детьми, видя, как серьезно она работает, и предчувствуя, что умрет, — решил поторопиться со свидетельством. Мне это казалось таким интересным, и страшным, и таинственным, что я всячески поддерживал эти мамины предположения.

19 декабря

Бабушку свою я видел тем летом последний раз в жизни по дороге в Одессу, а с дедушкой подружился и простился на обратном пути. Дед, по воспоминаниям сыновей, молчаливый, сдержанный и суровый, мне, внуку, представлялся мягким и ласковым. Всю жизнь он сам ходил на рынок, вставая чуть ли не на рассвете. Мы с Валею ждали его возвращения, сидя на лавочке у ворот. Издали мы узнавали его статную фигуру, длинное, важное лицо с эспаньолкой и бежали ему навстречу. Он улыбался нам приветливо и доставал из большой корзины две сдобные булочки, еще теплые, купленные для нас, внуков. И мы шли домой, весело болтая, к величайшему удивлению и даже умилению всех чад и домочадцев, как я узнал много лет спустя. А в те дни я считал доброту и ласковость дедушки явлением обычным и естественным.

20 декабря

Сашу¹⁶ я не боялся, хотя он, единственный из трех моих дядюшек, делал мне иногда замечания. В дедушкиной библиотеке нашел я иллюстрированные журналы, переплетенные за год, и читал их, не отрываясь, таская толстые томища за собою даже в сад, в свои барбарисовые беседки. И вот однажды утром Саша обнаружил в кустах открытый том «Нивы», засыпанный листьями, сухими веточками и окропленный росой. Он строго поговорил со мною по этому поводу. Но зато он же взял меня с собою в картинную галерею, которой владел тогда какой-то богатый екатеринодарец. Картинная галерея, музей и библиотека были тогда уже открыты для всех посетителей. Потом владелец завещал ее городу. Страсть моя к картинным галереям ожила. Папа, уже побывавший там, очень хвалил картину «Белая ночь», рассказывая, что там у сов горят глаза, просто удивительно. Настоящим огнем. Долго продолжалось мое ожидание, но вот Саша сжалился надо мною, и мы отправились в путь. Мы выш-

ли на Красную улицу, повернули направо мимо магазинов, белого здания казачьей гимназии, соборной площади и пришли к двухэтажному дому, снаружи такому же, как и другие дома. Внизу была библиотека, в которую мы только заглянули и поднялись по лестнице наверх. Я несколько удивился. Я представлял себе длинные, светлые коридоры, увешанные картинами, перед которыми стоят скульптуры. Нет, галерея Коваленко была совсем другой. Она состояла из нескольких комнат. Картина «Белая ночь» изображала девушку, которая, закрыв глаза и протянув вперед руки, шла по лесу за двумя совами.

Глаза у сов действительно горели, но я ждал большего. И все же галерея понравилась мне. Особенно картина, кажется, Пимоненко, где мальчику обмывают пораненную ногу, а девочка, полная ужаса и сочувствия, смотрит через его плечо на эту операцию. В музее заинтересовала меня старинная копия с письма запорожцев к султану.

21 декабря

Копия была напечатана шрифтом, легко доступным мне, на серой старинной бумаге с черными точками и желтыми пятнами. Увидев, что я читаю знаменитое послание, Саша приказал мне немедленно это прекратить, объяснив, что оно не для детей. Я отвернулся, смутившись, и стал рассматривать глиняные фигурки, добытые из курганов. Увы, они оказались еще неприличнее, что меня окончательно напугало, и я бежал из музея опять в картинную галерею. Музей, кстати, был крошечный, весь он помещался в одной маленькой комнатке и состоял из двух-трех витрин и шкафов. Во всяком случае, таким он представляется мне сейчас. Вскоре я забыл и о музее, и о библиотеке. Новое увлечение, сильное, но короткое, овладело мною. Тоня, спокойный, тощенький, светлоглазый, со шварцевскими густыми, шапкой стоящими волосами, значительно более похожий на моего отца, чем я,

стал моим лучшим другом на эти недели. В те годы Тоня твердо решил, что он будет купцом. На маленькие дощечки, обычно это были донышки спичечных коробок, мы навивали цветную бумагу. Это были штуки материи. Мы не торговали ими. Мы, вооружившись крошечными, в масштабе наших мануфактурных товаров, ружьями из серебряной бумаги, вели караваны по жарким странам, везли наши богатства каким-то племенам. Вот эта игра и увлекла меня. Вообще в это время Тоня главенствовал. Он спокойно пользовался языком взрослых, которого после конфуза со словом «очевидно» я боялся. Вот мы идем по улице. Тоня указывает на даму впереди и говорит: «Какая красивая у нее талия!» Я подтверждаю, хотя понятия не имею об этом слове. До самого вечера я считаю, что талия — это такая шляпа с цветами, — именно этим и отличалась, на мой взгляд, идущая впереди дама от остальных. Но в одной области я был для Тони непрекаемым авторитетом, а именно — в религии. Это время для меня было временем полной, лишенной всяких сомнений веры. Я прочел взятый у Дины Сандель¹⁷ учебник Закона Божьего, все жиздринские влияния были еще свежи. Я помнил все.

22 декабря

Я помнил все: и библейские и евангельские истории из учебников, и бабушкины рассказы, и рассуждения о грехах, о церкви, о рае и аде. Я знал, что грешен, но вместе с тем и надеялся избавиться от всей скверны, как только мне удастся уговорить маму свести меня на исповедь. Я считал, что после семи лет не причастят без исповеди, да так оно, кажется, и было. Так относился к небу я. А мама, напротив, к этому времени ожесточилась, забыла, как молилась в Ахтырях, стоя на коленях перед иконой, и стала неверующей. Но в этом вопросе я не подчинился ей. И чуть не каждый день к вечеру под грецким орехом за кухней вспыхивали ожесточенные

споры. С одной стороны мама, а с другой — я и дедушкина кухарка спорили о религии. Я был начитаннее кухарки в этом вопросе, ссылаясь на учебники, обливался потом, кричал, как настоящий изувер, так что моя сторонница успокаивала меня и сменяла на моем посту. Ее сила была в непоколебимом спокойствии и уверенности. На все мамины антирелигиозные речи она отвечала: «Так-то оно так, а все-таки Бог есть». Тоня, кажется, присутствовал на одном из этих диспутов, а может быть, я раньше доказал ему свою осведомленность в этих вопросах. Во всяком случае, однажды в сумерках в дедушкином саду он стал расспрашивать меня о Боге, рае и аде. Я отвечал ему на эти вопросы весьма подробно. Воображение, подогретое вниманием, с которым слушал Тоня, и сумерками, разыгралось. В заключение, уstraшенный картинами ада, который был особенно хорошо знаком мне по рассказам бабушки и нянек, Тоня спросил робко: «А если еврей хороший человек, то он может попасть в рай?» Я твердо ответил: «Конечно, может!» Я не мог допустить, что хорошего человека за что бы то ни было можно наказывать вечными муками. И тут нас позвали чай пить. Тоня, после моего ответа сосредоточенно молчавший, сказал, когда мы перелезали через забор: «Этим ты меня значительно успокоил».

24 декабря

Сегодня полгода прошло с тех пор, как я стал писать эти ежедневные упражнения. Начинал я их много раз — примерно с 1926 года. Старые тетради я сжег в начале декабря 1941 года, уезжая из Ленинграда, о чем жалею до сих пор. Я возобновил привычные записи в Кирове. Обычно мне удается вести эти записи в том случае, если я работаю над чем-нибудь, а когда работа останавливается, то я впадаю в состояние преступного, тупого, свинского ничегонеделания. Впрочем, слово «свинское», пожалуй, не соответствует положению вещей. Более

мучительного состояния, чем мое ничегонеделание, я не знаю. Правда, бывает и так: я работаю, но упражнений не пишу. С огромным трудом, преодолевая стыд, я справился с той задачей, которую поставил себе в Кирове. Я научился писать о себе, и теперь надо учиться писать о себе интересно и при этом не врать, что вряд ли возможно. Первые строчки писал я в Комарове, а последние восемь пишутся в Ленинграде. Чернила пересохли, я стал разводить их чаем и капнул из чернильницы на верх правой страницы. Зачем я это пишу? Чтобы сделать зарубку, чтобы хоть что-нибудь осталось от сегодняшнего дня. Как-то меня поразило, что все птицы моего детства умерли, и ни одной собаки майкопской, которых я тщательно приручал и приваживал, нет в живых, и все лошади, которые возили нас кататься или в Армавир, или в Туапсе, в положенное им время испустили дух. Мне хочется, чтобы, вспоминая, перечитывая запись о сегодняшнем дне, я хоть один миг из тех, что мною были пережиты, воскресил бы. Это я не учусь еще писать интересно. Это я учусь писать свободно.

1951

4 января

Итак, мы приехали в Майкоп, и начался последний период моего детства. Я уже учился, но еще не попал в мощные лапы школы, еще не вступил в темное средневековье моей жизни, продолжавшееся с приготовительного до четвертого класса. Потом медленно-медленно вступало в свои права возрождение. Хватит ли у меня дыхания рассказать обо всем этом? А пока что мы приехали в Майкоп, и я стал учиться у Валиного крестного — огромного, бородатого Константина Карповича Шапошникова. Он всегда носил черкеску. Постукивая деревянной своей ногой, входил он в комнату с окнами в сад, и урок начинался. Занятия эти давались мне, очевидно, легко. Во всяком случае ничего нового в мою жизнь они не внесли.

6 января

В октябре 1904 года исполнилось мне восемь лет. Доктор Островский подарил мне книгу Свирского «Рыжик», а папа — «Капитана Гаттераса» Жюль Верна. Обе эти книги надолго стали моими любимыми. Еще подарили мне пистолет, стреляющий палочкой с резиновым присосом, который, щелкнув, прилипал к мишени. Этот день памятен мне острым чувством жалости, о котором расскажу завтра.

7 января

Итак, в день моего рождения испытал я острое чувство жалости, запомнившееся на всю жизнь. Я играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства... Со старшим братом я был в дружеских отношениях, а младшего, семилетнего заморыша, ненавидел. Меня раздражало его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Казалось, что он долго купался и замерз навсегда. Итак, мы играли на улице, а потом мама позвала нас пить чай. Я старшего еврейского мальчика пригласил с собой, а младшему сказал брезгливо: «А ты ступай вон, не лезь к старшим». Когда мы поднялись наверх, я выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. Тут-то и пронзила меня, с неведомой мне до сих пор силой, жалость. Я бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что он поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло меня — вот как, значит, хотелось бедняге пойти к нам в гости. И я за чаем кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из пистолета чаще, чем другим гостям. И он принимал все это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя. <...>

8 января

<...> Я учился, бывал у Соловьевых, дружил с Илюшей Шиманом, был влюблен, мечтал и тосковал по приморской, корабельной, одесской жизни, как в свое время по Жиздре. Нет, сильнее, потому что умнее я не делался, а чувствительнее становился с каждым днем. Я по дороге в библиотеку или на прогулках старался ступать только на то, что могло бы находиться и на корабле: на камни (балласт), на ветки (деревянные палубы) и так далее, Это очень затрудняло иногда мои прогулки и дало маме

повод назвать меня раза два ненормальным. Но я не объяснил ей странности моего поведения.

9 января

К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень мало заметная посторонним да и самым близким людям. Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив. Но самое главное скрывалось за такой стеной, которую я только теперь учусь разрушать. Казалось, что я весь был как на ладони. Да и в самом деле — я высказывал и выбалтывал все, что мог. Но была граница, за которую переступать я не умел. Я успел отдалиться от мамы, которой недавно еще рассказывал все, но никто не занял ее места. Причем скрывал я самые разнообразные чувства и мечты, иногда неизвестно, по каким причинам. То, что ни один человек не знал о моей первой любви, понятно. Но почему я так старательно скрывал мою тоску по приморской жизни? Чтобы странные мои прыжки с камня на веточку, с ветки на ржавый гвоздь, валяющийся в пыли (железо есть на корабле), с гвоздика на щепочку и так далее не выдали меня, я придумал новый способ передвижения, Я решил теперь считать кораблем, а освещенную солнцем часть улицы — сушей. На тротуарах и площадях Майкопа всегда было так много теневых пятнышек от камней, песчаных холмиков и тому подобных неровностей почвы, что ходить я теперь мог без затруднений, даже по тем местам, где не было стен, заборов и деревьев, дающих настоящую, добротную тень. <...>

10 января

В тот год я стал еще больше бояться темноты, и при этом по-новому. Темнота теперь населилась существами враждебными и таинственными. Здоровый страх перед разбойниками, ворами — словом, перед врагами-людьми — заменился мистическим. <...>

У Андрея Андреевича Жулковского¹ был племянник — художник, юноша лет двадцати. Однажды он ушел в горы, на эскизы, и не вернулся. Его искали-искали, да так и не нашли. И мама сказала однажды: «Нет, уж он не вернется. Лежит где-нибудь в пропасти его скелет». Эти слова меня ушибли надолго. Я все думал и думал об этом, и вот в темноте появился еще один призрак — скелет бедного художника. Его постоянное местопребывание было под моей кроватью. Поэтому я на ночь ничего не оставлял на полу — ни одной игрушки, ни одной части моей одежды, даже башмаки ставил на подоконник или на стул, из-за чего у меня шли вечные войны с мамой. <...>

11 января

<...> На Рождество, когда мы клеили картонажи, я убедился еще в одном своем недостатке. Я знал и уж примирился с тем, что лишен музыкального слуха. А попытка вырезать и клеить картонажи доказала с несомненностью, что я неловкий мальчик. У меня ничего не клеилось в буквальном смысле этого слова. Я обижался неведомо на кого, сердился, плакал — но, увы, это не помогало мне. Я очень любил рисовать — но все утверждали, что я плохо рисую. Почерк у меня, несмотря на старания мои и Константина Карповича, был из рук вон плох. Задачи решал я средне. Скорее плоховато. Когда писал диктовку, то делал одни и те же ошибки: вечно пропускал буквы. Я был неловок, рассеян, но, должен признаться, вспоминая пристально и тщательно то время, в течение дня весел. Дневные обиды я легко забывал, а в сумерки начинал тревожиться. Приближался главный ужас моего детства, вытеснивший на долгое время все остальные страхи: боязнь за жизнь матери. Я писал уже, что в то время предполагалось, будто у мамы порок сердца.

12 января

Страх за маму, тоже глубочайшим образом скрываемый в моем одиночестве, в глубине, был самым сильным чувством того времени. Он никогда не умирал. Бывало, что он засыпал, потому что я жил весело, как положено жить в восемь лет, но выступал, едва я оставался наедине с собой. К этому времени моей жизни отношения с мамой усложнились и испортились до того, что она не приходила прощаться со мною на ночь; кроме тех случаев, когда я был болен. Ссоры наши иногда доходили до полного разрыва. Помню день, приведший к тому, что по маминой жалобе я в последний раз в жизни попал отцу под мышку, то есть взлетел высоко вверх и был отшлепан. Это меня до того оскорбило, что я, зная свою отходчивость и умение забывать обиды, сделал из бумаги книжечку и покрыл ее условными знаками, нарисованными красным карандашом. Эти знаки должны были напоминать мне вечно о нанесенном оскорблении. Но они не помогли. Я дня через два перестал сердиться на отца. Как я теперь понимаю, у мамы было редкое умение угадывать мою точку зрения при наших несогласиях. И она принималась спорить со мною как равная, вместо того чтобы приказывать, как это делал отец. Угадывая мою точку зрения и весь ход моих мыслей, мама чувствовала, что логикой меня не убедить, и раздражалась от этого и все-таки пробовала спорить там, где надо было холодно запрещать или наказывать. Эту несчастную жажду переубеждать дураков и злиться от сознания, что это воистину невыносимо, я, к сожалению, унаследовал от нее. Словом, по тем или другим причинам мы всё ссорились и удалялись друг от друга, но как я ее любил! Я не мог уснуть, если ее не было дома, не находил себе места, если она задерживалась, уйдя в магазин или на практику. Мамины слова о том, что она может сразу упасть и умереть, только теперь были поняты мною во всем их ужасном значении. Я твердо решил, что немедленно покончу с

собой, если мама умрет. Это меня утешало, но не слишком. Просыпаясь ночью, я прислушивался, дышит она или нет, старался разглядеть в полумраке, шевелится ли одеяло у нее на груди.

13 января

Я ничем не отличался от своих сверстников, не выделялся никакими талантами, но эта скрытая, тайная жизнь, для выражения которой у меня и слов не было иногда, приводила меня к мыслям не по возрасту. Помню, как терзало меня открытие, что если мама умрет, то я *никогда* не увижу ее. Никогда! Ни завтра, ни послезавтра — никогда. Вот я жду ее, все жду, а если она умерла в гостях, то я *никогда* не дождусь ее. И мысли эти часто, особенно ночами, приводили к тому, что я уже принимался одеваться, чтобы среди ночи бежать на поиски. Останавливали меня страх наказания, темноты и того, что мама вдруг узнает, как я боюсь за ее жизнь.

14 января

Вот такие были у меня горести. Я много думал о смерти, кладбищах, крестах, боялся их не ради себя, я не понимал, что могу умереть, а из-за мамы... Вообще, как это ни грустно, при всей неподдельности моих мучений, я стал довольно часто ломаться. Я слишком много читал. Я любил «отбросить непокорные локоны со лба», «сверкнуть глазами», научился перед зеркалом раздувать ноздри. Отец, которого я раздражал все больше и больше, обвинял меня в том, что я неестественно смеюсь. Боюсь, что так оно и было. Я в те времена старался смеяться звонко, что ни к чему хорошему не приводило.

22 января

Кроме книг, перечисленных выше, я читал и перечитывал хрестоматию, взятую у Дины Сандель, и учебники Закона Божьего. В хрестоматиях я прочел отрывки

из «Детства и отрочества», где удивило меня и обрадовало описание утра Николеньки Иртеньева. Значит, не один я просыпался иной раз с ощущением обиды, которая так легко переходила в слезы. Там же прочел я «Сон Обломова». С того далекого времени до нынешнего дня всегда одинаково поражает меня стихотворение Некрасова: «Несжатая полоса». Самый размер наводит тоску, а в те дни иногда и доводил до слез. Бесконечно перечитывал я и «Кавказского пленника» Толстого. Жилин и Костылин, яма, в которой они сидели, черкесская девочка, куколки из глины — все это меня трогало, сейчас не пойму уже чем. В это же время, к моему удивлению, я выяснил, что «Робинзон Крузо» было несколько. От коротенького, страниц в полтора, которого я прочел первым, до длинного, в двух толстых книжках, который принадлежал Илюше Шиману. Этот «Робинзон» мне не нравился — в нем убивали Пятницу. Я не признавал Илюшиного «Робинзона» настоящим, несмотря на мою любовь к толстым книгам. Неожиданно разросся, к моему восторгу, и «Гулливер», знакомый мне по коротенькой ступинской книжке с цветными картинками. Там рассказывалось только о его путешествии к лилипутам, а в издании «Золотой библиотеки» — и обо всех других приключениях Гулливера. Однажды у папы на столе я нашел книгу, на корешке которой стояла надпись: «Том второй». Я обрадовался, думая, что как «Робинзон» и «Гулливер», так и «Принц и нищий» имеет продолжение. Надпись на корешке я отнес к Тому Кенти. Но, увы, раскрыв книжку, я увидел, что она медицинская. Однажды я сидел в зале, углубившись в чтение, забыв обо всем, и вдруг услышал мамин голос: «Женя!» Я оглянулся и увидел красное старческое лицо с белой бородой. Я взвизгнул и очутился на другом конце комнаты. Мама надела маску, купленную для какого-то маскарада. А я читал об Индии — стране чудес, и мне почудилось невесть что, и я сам испугался и напугал маму.

24 января

Рядом с нами был дом Лянгертов, где я пил кефир. Когда я входил к ним во двор, прибранный, подметенный, с белым столиком под тенистым деревом, меня встречала приветливая бабушка Лянгерт. Она кричала по-еврейски: «Феня! Гиб Жене кефиру». Молчаливая полная Феня приносила из погреба бутылку, и бабушка учила меня пить целебный напиток по правилам: маленькими глотками и заедать булочкой. Мы с ней беседовали по душам подолгу. Часто я рассказывал ей о книгах, которые прочел. После одного из таких разговоров бабушка задумалась и, улыбнувшись доброй улыбкой, призналась, что у нее есть целый шкафчик очень интересных книг, которые читал ее сын, когда был мальчиком. Если я обещаю обращаться с ними со всей осторожностью, она даст мне их почитать. И вот мы вошли в прохладный дом Лянгертов, пахнущий не плохо и не хорошо своим, лянгертовским, духом. В комнатах стоял полумрак от закрытых ставен. На мебели белели чехлы, на картинах кисея, пол блестел, мебель блестела, Лянгерты жили очень чисто. Возле пышной бабушкиной кровати желтела тумбочка, и в самом деле наполненная книгами. Бабушка дала мне одну из них. Боже мой, как я обрадовался. Книга оказалась толстой, с картинками, какие бывают именно в интересных книгах. Она заключала в себе два романа Майна Рида — «Охотники за черепами» и «Квартеронка». Когда, уже учеником третьего класса, я взял в библиотеке реального училища те же самые романы, они показались мне сокращенными по сравнению с лянгертовскими. Так я прочел все, что хранилось в тумбочке, все те книги, которые читал мальчиком Лянгерт — лысый озабоченный человек. Я видел его изредка, по воскресеньям.

26 января

Итак, читал я много, и книги начинали заполнять ту пустоту, которая образовалась в моей жизни после

рождения брата. На вопрос: «Кем ты будешь?» — мама обычно отвечала за меня: «Инженером, инженером! Самое лучшее дело». Не знаю, что именно привлекало маму к этой профессии, но я выбрал себе другую. Однажды мы ходили взад и вперед по большому залу санделевского дома, мама с Валею на руках и я. Очевидно, мы разговаривали менее отчужденно, чем обычно, потому что я вдруг признался, что не хочу идти в инженеры. «А кем же ты будешь?» Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полупшепотом: «Романистом». В смятении своем я забыл, что существует более простое слово: «писатель». Услышав мой ответ, мама нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант. Строгий тон мамы меня огорчил, но не отразился никак на моем решении. Почему я пришел к мысли стать писателем, не сочинив еще ни строчки, не написавши ни слова по причине ужасного почерка? Правда, чистые листы нелинованной писчей бумаги меня привлекали и радовали, как привлекают и теперь. Но в те дни я брал лист бумаги и проводил по нему волнистые линии. И все тут. Но решение мое было непоколебимо. Однажды меня послали на почту. На обратном пути, думая о своей будущей профессии, встретил я ничем не примечательного парня в картузе. «Захочу и его опишу», — подумал я, и чувство восторга перед собственным могуществом вспыхнуло в моей душе. Об этом решении своем я проговорился только раз маме, после чего оно было спрятано на дне души рядом с влюбленностью, тоской по приморской жизни, верным конем и маленькими человечками. Но я просто и не сомневался, что буду писателем.

30 января

<...> А вокруг разворачивались события первостепенной важности. Началась Русско-японская война. Точнее, она к этому времени вошла и в нашу жизнь — жизнь детей. Мы стали следить за газетами. Собирали картин-

ки с броненосцами. Искали книжки про Японию, к этой стране появился страстный интерес. Что это за люди, японцы? Где они живут? Как осмелились они напасть на нас? Естественно, что я не сомневался в нашей победе и удивлялся японскому безрассудству. Спрашивать открыто у взрослых я к этому времени уже перестал. Ответы на вопросы, волнующие меня, получал я таким образом: настораживал уши, когда речь заходила о вещах, мне интересных. К этому времени взрослые часто говорили о войне. Особенно о флоте. У них даже завелась игра. Моего учителя Шапошникова Константина Карповича они прозвали за его рост и могучие плечи Броненосец «Ретвизан». Городского архитектора Смирнова Леонида Ивановича прозвали Миноносцем. И в разговорах старших о военных действиях стал я вдруг замечать оттенок непонятной мне насмешки. Над чем? Я еще не успел схватить. И вдруг однажды я услышал разговор, который задел меня. Беатриса Яковлевна призналась маме, что ей все же приятно читать редкие сообщения о наших удачах. Мама резко возразила ей. И я вдруг понял, что мама радуется нашим поражениям. Я ужаснулся. Как могла мама быть против наших? Я стал прислушиваться еще усерднее и понял, наконец, что мама, да и все взрослые, были против царя и генералов, а солдат всячески жалели и сочувствовали им. Это уже легче было понять. Вернулся из Берлина папа. Он привез мне скрипку, игрушки, книгу «Том Сойер», которую, как я полагал, он купил там же. У нас стало бывать много народа. В кабинете происходили какие-то собрания, о которых мне строго-настрого приказано было молчать.

31 января

Людей, приходящих к отцу, называли кратко, только по имени: Данило, например. Остальных не могу припомнить сейчас. Иногда у нас ночевали проезжающие куда-то незнакомцы. Против нашего дома, над живущими

в полуподвале Ларчевыми, снимал квартиру отставной генерал Добротин. Жена его, сильная брюнетка, едва тронутая сединой, но со слишком румяными щеками, казалась еще нестарой женщиной. А сам генерал мог ходить, только опираясь на две палки, резиновые наконечники которых в свою очередь мягко упирались в тротуар. Седобородый, добродушный, он не спеша шествовал по городскому саду, заходил в магазины. Руки его были заняты палками, и покупки он прицеплял веревочными петельками к пуговицам пальто. Вечерами генерал сидел на крыльце в кресле и заговаривал иной раз с нами. Однажды мы, дети, показывали друг другу картинки, потом открытки. Генерал скуки ради рассматривал их с нами вместе. Довольный тем, что моя коллекция богаче всех, я, чтобы поразить друзей еще больше, сбегал домой и притащил наш альбом с открытками. Среди них были и привезенные отцом из Берлина. Был там Карл Маркс, изображенный в ореоле из выходящих в Германии социал-демократических газет, были Бебель и Каутский. Наружность Маркса поразила меня, и я спросил у Валиной няньки: «Кто это?» «Еврейский святой!» — ответила нянька уверенно. И я удовлетворился этим объяснением. Повторил я его и показывая открытку детям и генералу. Но генерал поморщился и ответил: «Ничего подобного. Это портрет одного политического деятеля». И тут меня позвали домой. Как я удивился, когда мама с лицом огорченным и строгим напала вдруг на меня за то, что я показывал альбом генералу Добротину. Я ничего не мог понять. «Сколько раз я говорила тебе: ничего не выноси из дому!» — повторяла мама, видимо, не желая вступать в более вразумительные объяснения. Влетело мне и от папы, когда он пришел домой. Он тоже ничего не объяснил толком, не желая даже приблизительно посвящать меня в свои дела. И он упирал на то, чтобы я никому, никогда не смел рассказывать, кто у нас бывает, о чем говорят и так далее. Мирная обстановка, в которой жили

мы, скажем, в Ахтырях, умерла навеки. Там мы бывали у полицеймейстера, а тут отставной генерал стал врагом.

1 февраля

Я стал осторожно расспрашивать своих друзей и выяснил, что большинство из них давно были против царя. Они тоже солдат жалели и ругали Куропаткина и генералов. Родители были откровеннее при них. Худенький мальчик, по фамилии Кульбановский, ругая, генералов, ссылаясь все время на отца: «Мой папа говорит...» — и так далее.

3 февраля

<...> Приехал зверинец со львом, медведями, дикобразом, пумой, шестиногим теленком! И вот после долгих просьб, откладываний, слез и отказов мама выбрала время, и мы отправились на представление, так как в зверинце еще и представляли, о чем сообщили развешанные по городу афиши. Майкопские афиши в те времена, кстати, начинались одинаково: полукругом шли слова «С разрешения», потом ровно стояло слово, набранное крупным черным шрифтом, — «гор. Майкоп» и снова мелко, полукругом, — «начальства». Едва мы вошли в полотняные сени, как охватил нас острый, незнакомый запах. Кассирша продавала за столом билеты. Мы вошли в зверинец. Звери или метались по клеткам, или дремали. Грустно глядел теленок с двумя лишними ногами, которые торчали где-то сзади, я не всматривался. Самая просторная клетка была у львицы. Ее и называли в афише львом. Левее этой клетки помещалась арена. Над ареной покачивалась трапеция. Тяжелый запах, клетки, звери, спящая львица и теленок-урод ошеломили меня. Зазвонил звонок, и зрители уселись на вделанных в землю скамейках против арены. Под скамейками зеленела трава. Вышел силач с гирями. Повертелся на трапеции гимнаст, и вдруг — сердце у меня сжалось. Я вздрогнул;

мама, взглянув на меня, сказала: «Опять у тебя начинается малярия». Но я был здоров. Просто я влюбился... На арену выбежала девочка моих лет с темными распущенными волосами. Глаза у нее были синие. Она танцевала и улыбалась.

4 февраля

Девочка была в белом платье. Мама все время смотрела на арену так, будто собиралась высказать зверинцу и актерам всю правду. Но при виде девочки лицо мамы смягчилось. Она ей похлопала и похвалила ее. В заключение рослый и стройный человек с белокурой бородкой вошел в клетку львицы. Он заставил ее прыгать в обруч, балансировать на доске, а в заключение взвалил львицу к себе на плечи и обошел всю клетку. Любовь заставила меня всеми правдами и неправдами искать случая еще раз проникнуть в зверинец. Но удалось мне это всего один раз. Я попал туда вместе с Соловьевыми. К удивлению моему, девочка показалась мне совсем не такой, как первый раз. Точнее, в мечтах моих она была другой. Но и та, которую я увидел на арене, прекрасна. Вскоре после этого, идя по площади против Соловьевых, я увидел девочку в окне маленького дома, где она квартировала. Очень славная, очень домашняя, смеясь куда веселее, чем в цирке, она кричала что-то по-немецки белокурому укротителю, который спешил по площади к зверинцу. И он отвечал ей, так же весело смеясь. И вот опять свойственная возрасту вообще, а в частности мне особенность. Да, я старался попасть на представление в зверинец, но мне и в голову не приходило пытаться заговорить с девочкой, попробовать познакомиться с ней, пройти лишний раз мимо ее дома. Встречая ее, я замирал от счастья, но не искал с ней встреч. Сейчас, углубившись в те дни, я не уверен, что «правдами и неправдами» искал случая проникнуть в цирк. Это догадка, а не воспоминание. Мне кажется, что я действительно попал еще раз в зверинец

с Соловьевыми, не приложив для этого ни малейшего усилия, даже скрывая, как мне этого хотелось. Но зато, когда зверинец уехал, я чуть ли не каждый день ходил на пустырь, где остались столь явственные следы парусинового здания. Вот здесь были скамейки. Вот круг арены. Вот четырехугольник львиной клетки. Уехала маленькая немочка в белом платье с распущенными темными волосами, и я даже имени ее не узнал. Ее я любил долго. Два года.

5 февраля

Я узнал от мамы, что приехал синематограф, будут показывать картины, на которых все движется, как живое. Мне дали двадцать копеек и разрешили идти в Пушкинский дом, где должны были показывать эти чудеса, с Илюшей Шиманом и его мамой. И вот я побежал за ними. Во дворе их дома набросилась на меня неведомо откуда взявшаяся чужая собака. Я швырнул в нее двугривенным, который держал, зажав в кулаке, и стал звонить к Шиманам. Оказалось, что они уже ушли. Обойдя страшную собаку, не смея искать двугривенный, помчался я домой, чтобы выпросить новый. Но дома никого не оказалось, все ушли гулять. Куда? Неизвестно. Кухарка отказалась дать мне деньги, Я кинулся искать наших — в саду оркестр играл вальс «Пой, ласточка, пой, сердце успокой», а мое сердце разрывалось от горя. Я прибежал домой и плакал, пока не вернулись наши. От них я узнал, что синематограф будут показывать и завтра и мама пойдет туда со мною. И вот это свершилось. Занавес с Пушкиным и каплями, крупными, как виноград, был поднят. Вместо него висело туго натянутое белое полотно, политое водой. Вот на нем появился светящийся прямоугольник, неведомо откуда взявшийся. В те дни проекционная камера помещалась по ту сторону экрана. Затем он сменился названием картины, написанным не по-русски. Заиграл оркестр, и начались чудеса. Сначала

мы увидели приключения неудачника, который сшибал лестницы маляров и падал в ямы с известью. Потом драму: игрок ограбил кого-то, и его гильотинировали на наших глазах; и в заключение нам показали индейцев в диких прериях. Они похитили дочку фермера, но погоня их настигла, и девочка была спасена. Кони скакали по прериям, и высокая трава качалась долго после того, как всадники уже скрылись, — это поразило меня. Правда, чистая правда, — картины эти были живые. Так я любил кино и долго считал, что настоящее его имя — синематограф.

6 февраля

Вот так и шли дни за днями, полные горестями и радостями, и приблизилась весна 1905 года. Я пошел держать экзамен в реальное училище. Оно, училище, готовилось уже к переезду в новое, красивое двухэтажное здание, которое в последний раз видел я дня три назад во сне. Сколько моих снов внезапно из самых разных времен и стран приводили меня в знакомые длинные коридоры с кафельными полами, или в классы, или в зал с портретами писателей. Очевидно, те восемь лет, что проучился я в реальном училище, оставили вечный отпечаток на моей душе, если я через сорок почти лет чувствую себя как дома, очутившись во сне на уроке или на скамейке в зале. Перед экзаменом я волновался. Однажды была у нас Анна Александровна². Она стала спрашивать у меня в разбивку таблицу умножения. «Семью восемь?» — спросила она, и я не смог ей ответить. Чуть не плача, мгновенно растерявшись, стоял я и шевелил бессмысленно губами. А Анна Александровна как ни в чем не бывало разговаривала с мамой. Потом она взглянула на меня ласково и сказала: «Что ты то краснеешь, то бледнеешь? Ведь ты ответил мне уже давно: пятьдесят шесть». За эту доброту и деликатность, вероятно, и любили Анну Александровну знакомые. И вот пришел роко-

вой день. Старое реальное училище помещалось в белом просторном одноэтажном доме во дворе. Деревья уже зеленели. Реалисты разных классов толкались во дворе, но не бегали, и не играли, и не приставали к нам, не попрекали, что мы в штанах до колен и в длинных чулках: у старших в этот день тоже были экзамены. На мой взгляд, они были почти взрослыми людьми. Я сказал одному из друзей, когда мы были уже в третьем классе: «Помнишь, когда мы учились в подготовительном, какие большие были третьеклассники? Не то что мы сейчас». И он признался, что и сам думал об этом. Нас посадили за парты и дали задачи: сидящим направо — одни, а сидящим налево — другие. При этом решали мы их не в тетрадках, а на листках с печатью.

7 февраля

Повторяю еще раз: если воображение у меня развилось не по возрасту, если я склонен был к мистическим переживаниям, если я страдал более своих ровесников, то и был глупее их, не умел сосредоточиться и подумать над самой ничтожной задачей. И поэтому на экзамене задачу я не доделал. То есть не стал решать последний вопрос. Не отнял прибыль из общей выручки купца и не узнал, сколько было заплачено за сукно. Поэтому ответ у всех был девяносто, а у меня сто. Листы нам раздавал и вел экзамен красивый мрачный грузин Чкония. Узнав, что ответ у меня неверный, я мгновенно упал духом до слабости и замирания внизу живота. До сих пор я не сомневался, что выдержу экзамен. Почему? Да потому что провалиться было бы уж слишком страшно. И вот этот ужас вдруг встал передо мной. Мама ушла домой. Я оставался один, без поддержки и помощи. И я решился, несмотря на свой страх перед Чконией, подойти к нему, когда он, в учительской фуражке с кокардой и белым полотняным верхом, шел домой. Я спросил у него, сколько мне поставили. Он буркнул неразборчиво что-то вроде:

«Четыре». И я разом утешился. Я готов был поверить во что угодно, только бы не стоять лицом к лицу со страшной действительностью. Я и до сих пор не знаю, правильно ли я расслышал Чконию. Все остальные экзамены прошли очень хорошо. Испугался я только, когда после экзаменов мне сказали, что я «зачислен кандидатом». Но меня утешили тем, что и всех остальных только зачислили в кандидаты, потому что будут еще осенние испытания. После них состоится заседание педагогического совета и всех нас примут в приготовительный класс. Вот я и дошел до школы.

12 февраля

У нас никогда не было налаженного удобного быта: мама не умела, да, вероятно, и не хотела его наладить. Мебель у нас стояла дешевая. На стенах висели открытки. (Помню Руфь с колосьями.) Стол в столовой накрыт был клеенкой. Библиотеки не накопилось, в кабинете стоял книжный шкаф с папиными медицинскими книжками. Туда прибавился со временем энциклопедический словарь издательства «Просвещение» и Гельмольт, «История человечества», в том же издании, приобретенные, кажется, по подписке. У старших, которые попали в Майкоп поневоле, не было, видимо, ощущения, что жизнь уже определилась окончательно. Им все казалось, что живут они тут пока. Отчасти этим объясняется неуютность нашего дома. Но кроме того слой интеллигенции, к которому принадлежали мы, считал как бы зазорным жить удобно. У Соловьевых жизнь шла налаженнее, хозяйственнее, уютнее, но и у них она была подчеркнута проста и не нарядна. Перелистывая недавно «Ниву» за тринадцатый год, увидел я фотографии, помещенные к юбилею Короленко. И сразу почувствовал, узнал знакомую интеллигентскую обстановку. Клеенка на обеденном столе, простые тарелки, графин с водой, с общим для всех стаканом, гнутые венские стулья. А ведь Коро-

ленко был к этому времени зажиточным человеком. Но таков уж был неписанный, почти что монашеский устав.

25 февраля

Итак, к поступлению в школу, то есть к девяти годам, я был слаб, неловок, часто хворал, но при этом весел, общителен, ненавидел одиночество, искал друзей. Но ни одному другу не выдавал я свои тайные мечты, не жаловался на тайные мучения. Так я и бегал, и дрался, и мирился, и играл, и читал с невидимым грузом за плечами. И никто не подозревал об этом. И мама все чаще и чаще говорила в моем присутствии, что все матери, пока дети малы, считают их какими-то особенными, а когда дети вырастают, то матери разочаровываются. И я беспрекословно соглашался с ней, считал себя ничем, сохраняя идиотскую, несокрушимую уверенность, что из меня непременно выйдет толк, что я буду писателем. Как я соединял и примирял два этих противоположных убеждения? А никак. Я говорил уже где-то, что если я научился чувствовать и воображать, то думать и рассуждать — совсем не научился. Было ли что-нибудь отличное от других в том, что я носил за плечами невидимый груз? Не знаю. Возможно, что все переживают в детстве то же самое, но забывают это впоследствии, после окончательного изгнания из рая. Во всяком случае, повторяю, ни признака таланта литературного я не проявлял. Двух нот не мог спеть правильно. Был ничуть не умнее своих сверстников. Безобразно рисовал. Все болел. Было отчетливо маме огорчаться.

26 февраля

Таким я был к великому огорчению родителей. Отец, происходивший из семьи несомненно даровитой, со здоровой и лишенной всяких усложнений и мучений склонностью к блеску и успеху, огорчался особенно. Он, как я уже говорил, пел приятным и сильным баритоном,

играл на скрипке, декламировал и участвовал в любительских спектаклях. Исаак с огромным успехом исполнял даже такие роли, как Уриэль Акоста, удивляя профессионалов, Самсон уже имел имя на провинциальной сцене, Маня и Розалия с блеском окончили консерваторию, Феня была блистательной студенткой-юристкой в Париже, и Саша подавал надежды. И Тоня уже шел по пути старших. Чуть ли не с трех лет его ставили на стол и он читал стихи спокойно и храбро, здраво наслаждаясь успехом и блеском. Мама же обладала воистину удивительным актерским талантом, похвалы принимала угрюмо и недоверчиво и после спектаклей ходила сердитая, как бы не веря ни себе, ни зрителям, которые ее вчера вызывали. Но и ей, так же, как папе, хотелось, чтобы я был талантлив. А я был только трудным мальчиком.

3 марта

Я надел впервые в жизни длинные темно-серые брюки и того же цвета форменную рубашку, и мне купили фуражку с гербом и сшили форменное пальто. Мне все казалось, что я ношу эту одежду, столь желанную, без всяких на то прав. Ведь я был только кандидатом в ученики приготовительного класса. Но вот список принятых вывесили на доске возле канцелярии училища, и мы отправились с мамой в магазин Мареева покупать учебники. В магазине было полно. Каждый приказчик знал, какие учебники нужны данному классу. Мне купили и учебники, и тетради, и деревянный пенал, верхняя крышка которого отодвигалась с писком, и, чтобы носить все это в училище, — ранец. Серая телячья шерсть серебрилась на ранце, он похрустывал и поскрипывал, как и подобает кожаной вещи, и я был счастлив, когда надел его впервые на спину.

И вот я пошел в реальное училище, не понимая и не предчувствуя, что начал новую жизнь, окончательно прощаюсь с детством. Встретил нас хмурый и недруже-

любный Чкония. В первый день не произошло ничего памятного. Только один случай я и запомнил: в класс вошел наш директор Василий Соломонович Истаманов, которого все мы боялись и уважали. Случилось это на перемене. Мы шумели, но едва директор, крупный, спокойный, серьезный, появился в дверях, как в классе воцарилась тишина. Левка Сыпченко, стоящий у самой двери и оказавшийся внезапно в неожиданной близости к Василию Соломоновичу, растерянно улыбнулся и протянул директору руку. И Василий Соломонович усмехнулся. Он пожал протянутую руку и объяснил ласково, но внушительно, так, чтобы слышал весь класс, что младшим не положено протягивать руку первым.

4 марта

За Пушкинским домом помещалось техническое училище. Без четверти восемь гудок, длинный-длинный, раздавался над его мастерскими, будил техников. Обычно к этому времени я уже не спал, но еще не вставал. Этот гудок давал знать и мне, что до начала занятий у нас в реальном осталось сорок пять минут. И вот со скрипом и спорами, ссорясь с мамой, трехлетним Валею, нянькой, я поднимался. Завтрак был чистым мучением. Мама в стакан какао выпускала мне сырой желток, растерев его не слишком старательно с сахаром. Непременно туда же попадали частицы белка, плавали сверху стекловидные, отвратительные. Запах сырого яйца сразу угадывался от одного взгляда на это пойло. Потом я съедал котлету, булку с маслом. Сверх всего этого мама клала в ранец бутылку молока, несмотря на все мои протесты и даже слезы, требуя, чтобы я его выпил на большой перемене. Тем временем раздавался второй гудок технического училища, гораздо более короткий. Пятнадцать минут до начала. Надо спешить. Я надевал на спину ранец и выходил. Деревья уже облетели. Бурьян пожелтел. Улицы превратились в грязевые реки. В лужах плавали гуси.

Я шел через площадь, что против Соловьевых, мимо дома Авшаровых, мимо городского сада.

7 марта

Я оставался правдивым и послушным. Молоко, которое посылала со мною мать, создавало мне целую массу затруднений. Пить его на большой перемене, при всех, значило бы подвергнуться всеобщему посмеянию. Поэтому я тайно до начала уроков забегал в подвал и прятал бутылку в груде строительного мусора. На большой перемене я каждый раз о нем забывал. Только после уроков мчался я в подвал. К этому времени молоко пропитывалось всеми подвальными запахами, главным образом сыростью. Я мог бы его вылить. Кто бы узнал об этом? Но я выполнял мамин приказ добросовестно, проглатывал отвратительный напиток до последнего глоточка, хоть меня и мучило. Придя домой, я не мог обедать, а мама сердилась, беспокоилась и говорила отцу, что мне опять надо впрыскивать мышьяк. Сразу после еды садиться за уроки считалось вредным. И вот я играл во дворе, пока не начинал звонить унылый колокол армянской церкви. Она еще не была достроена. Колокола ее, временные, помещались под навесом маленькой, невысокой деревянной звонницы во дворе. Колокол звонил заунывно, тревожил мою совесть, напоминая о неотвратимых обязанностях ученика реального училища. Но я все откладывал да откладывал свое возвращение домой, пока мощный, низкий мамин голос не раздавался над моей головой: «Женя! Уроки учить!»

8 марта

И я усаживался чаще всего в зале и принимался за уроки. Русский язык давался мне сравнительно легко, хотя первое же задание — выучить наизусть алфавит — я не в состоянии был выполнить. Капризная моя память схватывала то, что производило на меня впечатление.

Алфавит же никакого впечатления не произвел на меня, и я его не знаю до сих пор. И грамматические правила заучивал я механически и не верил в них в глубине души. Не верил я ни в падежи, ни в приставки, ни в какие части речи. Я не мог признать, что полные ловушек и трудностей сведения, преподносимые недружелюбным Чконией, могут иметь какое бы то ни было отношение к языку, которым я говорю и которым написаны мои любимые книги. Язык сам по себе, а грамматика сама по себе. Да и все школьные сведения связаны с враждебным школьным миром, со звонком, классом, уроками, толпой учеников — словом, никакого отношения не имеют к настоящей жизни. Само собой, что это я теперь облакаю в слова довольно, впрочем, ясное чувство тех дней. Но так или иначе русский язык я заканчивал самостоятельно. Но вот наступала очередь арифметики. Я открывал задачник, читал задачу раз, другой, третий и принимался ее решать наугад. И начинались беды. Ох! Рубли и копейки не делятся на число аршин проданного сукна, хотя я даже помолился, прежде чем приступить к этому последнему действию. Значит, решал я задачу неправильно. Но в чем ошибка? И я вновь принимался думать, и думал о чем угодно, только не о задаче. Я думать не умел. Не умел сосредоточить и направить внимание. Темнело. Передо мной на столе появлялась свеча, которая еще дальше уводила меня от арифметики. Я раскалял перо и вонзал в белый стеариновый столбик, и он шипел и трещал. Я проделывал каналы для стока стеарина от фитиля до низа подсвечника. Словом, в столовой уже звенели посудой, накрывали к ужину, а задача все не была решена. А мне предстояло еще учить Закон Божий! «Женя, ужинать!» — звала мама.

9 марта

И я появлялся за столом до того мрачный и виноватый, что мама сразу догадывалась, в чем дело. Хорошо,

если она могла решить задачу самостоятельно, но, увы, это случалось не так часто. К математике она была столь же мало склонна, как я. Обычно дело кончалось тем, что за помощью мы обращались к отцу. Не проходило и пяти минут, как я переставал понимать и то небольшое, что понимал до сих пор. Моя тупость приводила вспыльчивого моего папу в состояние полного бешенства. Он иступленно выкрикивал несложные истины, с помощью которых очень просто решалась моя задача. И я бы понял их, вероятно, говори он тихо и спокойно. После долгих мучений и слез мой ответ сходиллся, наконец, с ответом учебника.

10 марта

Итак, училище, в которое я так стремился, скоро совсем перестало меня радовать и манить. Русский, арифметика, арифметика, русский — только и отдыхаешь душой на Законе Божиим. В расписании, правда, стояло еще и рисование, но ни разу Чкония не учил нас этому предмету, хотя тетрадки для рисования имелись у всех. Но вот однажды Чкония сказал нам, что завтра урок рисования состоится. «Принесите тетрадку, карандаши, резинку». И это обрадовало меня. Я утром вскочил еще до длинного гудка и приготовил все, что требовал учитель. Веселый, выбежал я а столовую. Все были в сборе. Папа не ушел в больницу. Увидев меня, он сказал: «Можешь не спешить — занятий сегодня не будет». В любой другой день я обрадовался бы этому сообщению, а сегодня чуть не заплакал. Мне трудно теперь понять, чего я ждал от урока рисования, но я так радовался, так мечтал о нем! Я вступил в спор, доказывая, что если бы сегодня был праздник, то в училище нам сообщили бы об этом. Папа, необычно веселый, только посмеивался. Наконец он сказал мне: «Царь дал новые законы, поэтому занятия и отменяются». Будучи уже более грамотным политически, чем прежде, я закричал, плача: «Дал какие-то там законы себе на пользу,

а у нас сегодня рисование!» Все засмеялись так необычно для нашего дома весело и дружно, что я вдруг понял: сегодня и в самом деле необыкновенный день.

Наскоро позавтракав, мы вышли из дому и вдруг услышали крики «ура!», музыку. На пустыре против дома Бударного, где обычно бывала ярмарка и кружились карусели, колыхалась огромная толпа. Над толпой развевались флаги, не трехцветные, а невиданные — красные. Кто-то говорил речь.

11 марта

Оратор стоял на каком-то возвышении, далеко в середине толпы, поэтому голос его доносился к нам едва-едва слышно. Но прерывающие его через каждые два слова крики: «Правильно!», «Ура!», «Да здравствует свобода!», «Долой самодержавие!» — объяснили мне все разом лучше любых речей. Едва я увидел и услышал, что делается на площади, как перенесся в новый мир — тревожный, великолепный, праздничный. Я достаточно подслушал, выспросил, угадал за этот год, чтобы верно почувствовать самую суть и весь размах нахлынувших событий. Папа скоро исчез — увел его бледный, вдохновенный старшеклассник Клименко и кто-то из тех наших гостей, которых звали по именам, но без отчеств. В толпе я испытал все неудобства маленького роста. Я не видел ораторов. Как я ни подпрыгивал, как ни старался, — кроме чужих спин, ничего я не видел. В остальном же я с глубокой радостью слился с толпой. Я кричал, когда все кричали, хлопал, когда все хлопали. Каким-то чудом я раздобыл тонкий сучковатый обломок доски аршина в полтора длиной и приспособил к нему лоскуток красной материи. В ней недостатка не было — ее отрывали от трехцветных флагов, выставленных у ворот. Скоро толпа с пением «Марсельезы», которую тут я услышал в первый раз в жизни, двинулась с пустыря, мимо армянской церкви к аптеке Горста и оттуда налево, мимо

городского сада. У Пушкинского дома снова говорили речи. Трехлетний Валя сидел у мамы на руках, глядел на толпу с флагами, и, как я узнал недавно, это стало самым ранним воспоминанием его жизни. И было что запомнить: солнце, красные флаги, пение, крики, музыка. Возле нашего училища толпа задержалась. На крыше, над самой вывеской «Майкопское Алексеевское реальное училище», развевался трехцветный флаг.

12 марта

Реалист-старшеклассник, кажется по фамилии Ковалев*, появился возле флага, оторвал от него синие и белые полотнища, и узенький красный флаг забился на ветру. Толпа закричала «ура!». Нечаянно или нарочно, взяв с флагом, Ковалев опрокинул вывеску. Толпа закричала еще громче, еще восторженнее. Реальное училище было названо Алексеевским в честь наследника, и в падении вывески с этим именем все заподозрили нечто многозначительное, намекающее. Когда толпа уже миновала пустырь против больницы, снова заговорили ораторы. На этот раз мне удалось пробраться ближе к трибуне. Маленькая, черненькая, молоденькая, миловидная фельдшерица Анна Ильинична Вейсман, прибежавшая прямо из больницы в белом халате, просто и спокойно, как будто ей часто приходилось говорить с толпой, стоя на ящиках, попросила народ, когда он будет решать свою судьбу в Государственной думе, подумать и о правах женщин. Мы пообещали, крича и аплодируя. Выступил тут и папа. И он говорил спокойно, вносил ясность во что-то, предлагал поправку к чему-то. И он понравился нам, и ему мы хлопали и кричали: «Правильно!» Как сейчас вижу белую фигурку Анны Ильиничны и высокого моего папу в черном плаще. Правая его рука была на перевязи. Он поранил палец в больнице, ранка не заживала и беспокоила отца. Веселым я его увидел в

* Е. Л. Шварц ошибся, следует — Коновалов.

первый раз после большого промежутка времени в этот необыкновенный день. На завтра занятия в реальном училище возобновились, но в воздухе, как перед грозой, носилось беспокойство, для нас веселое, для учителей тяжелое. Старшеклассники то и дело устраивали сходки в зале. Отменяли занятия. Чкония пожелтел и еще недружелюбнее и подозрительнее поглядывал на нас, хотя приготовительный класс не бунтовал ни разу. Восстал однажды только я, чему не устаю удивляться до сих пор. Я страшно боялся Чконию, и мой бунт дался мне непросто.

13 марта

Однажды с кем-то из наших знакомых гуляли мы в городском саду. Зашел разговор о некоем мальчике, которого вечно ставили в угол. Мама находилась в своем обычном за последнее время упрямом, бунтовщическом духе. Она с жаром, несколько даже не соответствующим случаю, обрушилась на этот вид наказания. На месте учеников, сказала мама, она никогда не согласилась бы стоять в углу всем на посмеяние. Я выслушал мамины слова спокойно и не сделав как будто из них никакого вывода. Но вот в один несчастный день Чкония, забыв за что, приказал мне идти в угол. Помню отчетливо, что я не был виноват в том проступке, который он мне приписал. Кажется, он утверждал, что я послал кому-то записку. Чкония никогда никаких возражений не принимал. Виноват или нет — ступай в угол, если учитель приказал. И все со слезами или со смущенной улыбкой повиновались ему. А я вдруг, удивляясь впервые в жизни сам себе до той крайней степени, когда собственные слова слышишь как бы со стороны, заявил, что не пойду в угол, и все тут. Чкония грозил, требовал, наконец попробовал затащить меня в угол насильно, но ничто не помогло. Я уперся как бык: «Лучше выгоните меня из класса, а в угол не пойду!» — закричал я после упорной

борьбы с расsvирепевшим, но и несколько растерявшим-ся учителем. Не мог же он в самом деле до конца урока стоять возле и держать меня за плечи, затиснувши в угол. Мое предложение давало возможность как-то закончить нелепую борьбу. «Ну и пошел вон!» — приказал Чкония. И я выбежал из класса. Я не плакал. Я был ошеломлен. Я чувствовал, что мне необходимы немедленное сочувствие и помощь. И, оставив в классе ранец и книжки, я отправился прямо домой. Свернув по площади против Горста, я пошел вдоль канавы у забора чибицевского завода. Я все не приходил в себя. Нелепая, как сон, борьба, рукопашная борьба с учителем никак не усваивалась, не постигалась моей душой. Я снова и снова вспоминал, как пытался доказать свою невиновность и как Чкония, не слушая, повторял: «В угол!» — «Подумаешь, король!» — сказал я, глядя в канаву, и почему-то эти слова вдруг развязали мою скованную душу, и я с удовольствием заплакал. Мама выслушала меня и, не упрекнув ни словом, отправилась в училище.

14 марта

Я до ее прихода не читал, не играл. Я лег в кровать и все старался переварить сегодняшние события, причем слова «Подумаешь, король!» помогали каждый раз, как по волшебству, вызывая слезы. Мама вернулась, принесла ранец и сообщила, что Чкония на редкость несимпатичный человек, но в общем больше не имеет ко мне претензий. За мой проступок я был наказан удалением из класса, что является наказанием более строгим, чем стояние в углу. Разговаривала она и с моими одноклассниками, которые подтвердили, что я и в самом деле никому записок не писал и пострадал ни за что. Я не почувствовал себя лучше от маминого сообщения. Обедать я отказался. У меня сильно повысилась температура, начался припадок малярии. Когда я через несколько дней явился в класс, меня встретили криком, стуком откидных досок

парт, топаньем ног — словом, школьной овацией по всем правилам. Я сначала замер от удивления, потом испытал восторг и улыбнулся столь глупо-самодовольной улыбкой и поклонился так по-дурацки, что овация прекратилась и жизнь пошла своим чередом. И Чкония встретил меня, как всегда. Впрочем, смотрел он на каждого из нас до такой степени недружелюбно, что усилить это выражение он при всем желании не мог бы.

Приближался конец первой четверти. Не могу объяснить почему, но Чкония не раздал нам табели с отметками, а мы должны были зайти в воскресенье в училище, получить их в канцелярии. Я пошел вместе с мамой. Получив отметки, я несколько огорчился. Пятерка была одна — по Закону Божьему. Четверка по русскому устному. Остальные — тройки. Но, тем не менее весело размахивая табелем, я побежал через дорогу к маме, ожидающей меня на той стороне, сидя на лавочке. При этом я еще вопил весело: «Хорошие, хорошие отметки!» Но, увы, показное мое ликование никак не заразило маму. Она сразу нахмурилась, почувствовала фальшь в моих радостных воплях. Прочла она табель серьезно и печально и сказала: «Нет, Женя, это плохие отметки». Напрасно я спорил, крича и обливаясь потом, что коли двоек нет — значит, все отлично. Мама не согласилась со мною. И в заключение спора сказала печально: «Самая большая радость для матери — это когда дети хорошо учатся».

17 марта

А жизнь становилась все тревожней. В Майкопе газеты не издавались, но кто-то, кажется, типограф Чернов, стал выпускать бюллетени — небольшие узкие полоски бумаги с телеграммами о последних новостях. Эти бюллетени расхватывались и жадно перечитывались. Впервые я заметил в скобках после названия города, откуда передавалась телеграмма, три прописные буквы: ПТА — Пе-

тербургское телеграфное агентство. Опытных наборщиков и корректоров в городе не существовало, поэтому в бюллетенях попадалось много ошибок. Телеграмма о беспорядках в Феодосии заканчивалась дословно так: «Сгорел подарок городу художника Айвазовского — пожар. По городу картина». Это мне показалось сногшибательно смешным, и всем гостям я показывал бюллетень с этой опечаткой. Однажды, идя из булочной, услышал я церковное пение. От собора по главной нашей улице, не имеющей, впрочем, названия в те времена, двигалась демонстрация чинная и суровая, совсем не похожая на те, к которым я успел привыкнуть за эти дни. Над толпой развевались трехцветные флаги. В первом ряду две девушки с грустными лицами несли, словно иконы, портреты царя и царицы в золотых рамах. Рядом с ними шагали немолодые, тяжелые люди без шапок. Один из них грозно жестами приказал мне снять фуражку, что я и сделал, ничего не понимая. Дома я узнал, что это демонстрировали черносотенцы, которые были за царя и против свободы. Бюллетени стали рассказывать о еврейских погромах. Пришло страшное известие со станции Кавказской. Параня, молоденькая девушка с длинной косой, племянница библиотекарши Маргариты Ефимовны Грум-Гржимайло, умерла страшной смертью. Ее разорвала толпа черносотенцев, к которым она обратилась с речью. Меня потрясли это известие и слова, что толпа «разорвала». Живого человека! Маргарита Ефимовна вскоре после этого исчезла из Майкопа. Домна приносила с базара слухи один другого страшней. Ввиду малого количества евреев собирались в нашем городе бить еще и докторов, независимо от национальности. Интеллигенцию вообще.

18 марта

Однажды ночью мама разбудила меня и приказала одеваться как можно скорее. Сама она с печальным и озабоченным лицом одевала Валю, который все не мог

проснуться и валился на бок. Внизу у дома собрались Данило, Клименко, Федор Николаевич — бородатый человек, недавно появившийся среди таинственных папиных гостей, и еще человек десять, которых я не узнал в темноте. Тут же стоял Франц Иванович. Он выглядел столь же решительным, как в день пожара. Так же мужественно топорщились его седые усы. За пояс он заткнул, словно пистолеты, два молотка. Мы поспешно отправились по улице, мимо Соловьевых, у дома которых тоже стояли, разговаривая тихонько, люди, видимо тоже знакомые, потому что они поздоровались с папой. Пройдя еще квартал, мы вошли в угловой дом, где жили греки, владельцы табачной плантации, фамилию которых я забыл. Тут нас ждали уже. В зале, на покрытых чехлами креслах, устроили спать меня и Валю. Я понимал, что черносотенцы готовятся этой ночью устроить погром. Сердце мое сжималось, но опять, опять в самой глубине наслаждалось тем необычным, небудничным, что творилось этой ночью. Несмотря на это, я уснул мгновенно и крепко. Утром выяснилось, что черносотенцы не вышли этой ночью разбойничать. Возможно, что их известили об охране из рабочих, которая собралась возле угрожаемых домов. Некоторое время мы жили спокойно. Но вот еврейский погром разразился в Армавире. Скоро стало известно, что главные погромщики, мастера своего дела, прибыли на лошадях в Майкоп и уже пробовали мутить народ на базаре. Точно указывали день предстоящего погрома — ближайшее воскресенье. В субботу вечером мы и Татьяна Яковлевна Островская³ с детьми — у нее родилась одновременно с нашим Валею девочка Верочка — поехали за Белую, куда-то в лес, но не к леснику, а к самому лесничему, по фамилии Потаюк. Он жил в большом доме, ходил в тужурке со светлыми пуговицами и оказался интеллигентным человеком. Погода стояла хмурая, но теплая. Чай мы пили на террасе и все поглядывали, нет ли пожаров в городе.

19 марта

Однако и это воскресенье прошло благополучно, а тем временем в городе организовались отряды самообороны. Входили в них рабочие, старшекласники-реалисты, ученики технического училища. Когда темнело, собирались они у нас, веселые, возбужденные. Все, бывало, хохотали, все искали случая для этого. Я не отходил от них. В такие вечера наш стол переносили в зал и раздвигали во всю длину. Самовар доливали всю ночь. Домна уже спала, занимались этим гости, бегали вниз и вверх по лестнице. Реалист Калмыков, не родственник, а только однофамилец владельца игрушечного магазина, и в самом деле похожий на калмыка, был ко мне так милостив, что показал свой револьвер, чистил его при мне. На это мама поглядывала с ужасом, не позволяла мне прикоснуться ни к одному винтику, ни к одной пружинке. Гости яростно сражались в дурака. После одной такой игры спавший на полу Калмыков вдруг сел и, не открывая глаз, закричал, делая энергичные движения руками: «А я тебя козырем, козырем, козырем!» Его долго дразнили после этого происшествия. Думаю, что отряды эти собирались не только у нас, а у всех по очереди, но мне теперь представляется, что каждый вечер проходил так весело, молодо и вместе с тем тревожно. Откуда-то вдруг стали приходить к нам журналы — цветные, веселые, отчаянные. Отряд самообороны хохотал и ахал. Помню сильное впечатление от известного рисунка — кажется, Добужинского — кукла, кровавое пятно на стене, лужа крови на панели. Папа удивлялся: откуда вдруг появились такие художники? Кто пишет в этих журналах? Где скрывались эти таланты? Они появились и у нас в Майкопе. Клименко прославился исполнением церковной службы, кажется, его собственного сочинения. Из всей этой службы запомнил я, к сожалению, всего только одну строку: «Старшие едят котлетки, а детки одни объедки». Служил он вдохновенно. Мама восхищалась

им, говорила, что он настоящий артист. Отчаянные, и тревожные, и веселые дни!

20 марта

Но вот будни стали вкрадываться в праздники. Невеселые будни. Однажды, когда уже темнело, увидел я Федора Николаевича у нас на лестнице. Он шел с перевязанной щекой, закутанный в плед, и я сразу с восторгом понял, что он переодет, скрывается. Отец, заметив меня, изменился в лице и сделал рукою знак, который мог означать только одно: пошел вон отсюда! За ужином он имел жестокость сказать маме: «Плохо, что этот видел Федора Николаевича» — и указал на меня пренебрежительно кистью руки. Я был так оскорблен, что даже не заплакал. Я, душой угадавший самую суть великих событий, развернувшихся вокруг, в глазах отца оставался тем же глупым мальчишкой, что показывал альбом генералу Добротину! Я молча встал из-за стола и ушел рисовать.

Уроков рисования у нас так и не было ни разу в подготовительном классе, но тетрадь для рисования у меня уже приходила к концу, и я собирался купить новую. Рисовал я одно — толпы с красными флагами. Люди — восьмерки на тоненьких ножках — окружали трибуну сажени в две высоты. С такой трибуны оратор был виден всем, что у меня в последнее время стало навязчивой мечтой. Замечу выступ на стене реального училища или высокий балкон — и думаю, что оратора, говорящего с такой высоты, и я увидел бы. Вероятно, в это же время я прочел в газете, что где-то — кажется, в Польше — в стене колодца обнаружили дверь, ведущую в склад оружия. Такие тайные склады, в которые можно попасть только через стенку колодца, я и рисовал в огромном количестве. В моих складах было оружие всех видов: винтовки, револьверы, пушки. И в каждом углу лежали горой красные флаги, необходимые, как я полагал, для каждого вооруженного восстания.

Федор Николаевич исчез, и больше никогда в жизни я не видел его. А через несколько дней я понял из осторожного разговора старших, что у Клименко был обыск в его отсутствие и что он тоже скрывается. Вскоре я увидел Клименко на улице. Он расстался с формой реалиста. Он одет был фатовски, галстук бабочкой, на носу пенсне, в руках тросточка. Артистичность его натуры сказалась в том, что вместе с одеждой изменилась и его походка, и вся манера держаться. Он забежал к нам попрощаться, и больше я никогда в жизни не видел его. Ходили слухи, что его казнили в 1907 году.

21 марта

Иногда мне кажется, что я ускоряю ход событий. Возможно, что Клименко пропал в 1906 году. Митинг, где выступала Анна Ильинична Вейсман, был, может быть, не 17 октября, а позже, перед выборами в Первую Государственную думу. Но это я понимаю, так сказать, рассудком. А писать я решил твердо только то, что осталось у меня в памяти. А в памяти моей все уложилось именно так, как было рассказано. Итак, события бушевали вокруг, но школьная размеренная жизнь упорно шла своей колеей, особенно в младших классах. Закончилась вторая четверть перед самыми рождественскими каникулами. По традиции, последний день занятий был уже, собственно говоря, праздничным. Учителя, вместо того чтобы проводить урок, читали вслух что-нибудь подходящее к случаю. Так, батюшка прочел нам рассказ Леонида Андреева о мальчике, который попросил ангела с елки, и этот ангел ночью растаял над печкой. Трудно сказать, услышал я этот рассказ в подготовительном классе или годом позже, но, во всяком случае, он связан у меня навеки и прочно с последним днем перед рождественскими каникулами. Батюшка читал просто, чуть певуче и чуть печально. Он и служил, когда приходилось, так же сдержанно, чуть печально и певуче, на свой лад. И рассказ Андреева, прочитанный батюшкой в день,

когда душа была открыта всем влияниям, глубоко меня тронул. Начало рассказа, где говорится, как мальчику надоело каждое утро собираться в школу, умываться ледяной водой, сразу покорило своей правдивостью. А поверив началу, мы поверили и всему в целом. Засыпая, я думал о том, как жалко, что ангела повесили над печкой. Повесили бы его на спинку стула, и все кончилось бы хорошо. События бушевали вокруг, но жизнь шла своей колеей. Несмотря на все тревоги, мама перед Рождеством отправилась с Домной в магазины и на базар. Обрато они приехали на извозчике, привезли окорок, поросенка, закуски, упакованные в рогожных кульках. В кульках были и вина, и водка, и коньяк. Окорок запекали в тесте из ржаной муки, и всё пробовали вилкой, достаточно ли он пропекся.

22 марта

Как всегда, уже в Сочельник вечером был накрыт праздничный стол с окороком, закусками, поросенком, который на этот раз совсем не казался мне страшным. Коньяк был греческий. На бутылке красовалась треугольная этикетка с надписью: «Он есть лучший греческий когнак братьев Барбаресу». На Рождество обеда не готовили, к моей величайшей радости. Никто не приказывал доедать борща. Поросенок, ветчина, сардинки — такой обед я доедал без всяких приказаний.

1 апреля

Вся страна, как я понимаю теперь, летом 1906 года еще кипела, но в Майкопе летним полднем было непоколебимо тихо. Все говорило о буднях и наводило на меня тоску. Тоскливее всего казались мне два обычных, привычных, подчеркивающих тишину звука: стук кухонных ножей, рубящих мясо на котлеты, и настоячивые, бесконечные вопли курицы, снесшей яйцо. Будни, будни. На улице — ни души.

2 апреля

Почему? Не знаю, меня злит в доме все: запах борща из кухни, кучерявая белая голова брата, мамин голос. Точно помню, что я сам этому удивлялся, но особая, домашняя, раздражительность охватывала меня, как страсть, я не в силах был ей противиться, едва входил в комнаты. Чаще всего ссоры начинались из-за котлет и молока. В котлетах попадались жилки, а в молоке — пенки. И то и другое вызывало у меня судорогу, отвращение, чуть ли не рвоту. Очень часто, обозвав, не без основания, распушенным мальчишкой, мама выгоняла меня из-за стола. Вообще в нашей неладной семье встречи за столом в те годы редко проходили благополучно. Недаром Валя, когда ему еще и трех лет не было, умел показывать папу за столом. Делал он это следующим образом: ударял кулаком по столу и восклицал: «Молчать, гаять!» После завтрака, если у меня находилась книга, то все было хорошо.

3 апреля

Читал я, если не было у меня новой книги, «Капитана Гаттераса». То место, где перечисляются запасы провианта, найденные экспедицией уже на краю гибели. Все эти страницы были в жирных пятнах. Избрал я их не только потому, что там перечислялась провизия, а еще и потому, что начиная с этого происшествия в делах экспедиции происходил поворот к лучшему. Вообще в это время намечалось уже некоторое замедление в моем развитии. Я стал слишком уж охотно перечитывать знакомые книги, а к новым иной раз испытывал необъяснимую, ничем не вызванную антипатию. Так я почему-то вдруг не стал читать «Детей капитана Гранта». Книга толстая, рисунки завлекательные, а я не пошел дальше первых страниц. Очевидно, я был перегружен бедами, беспорядочным чтением и всеми грузами, которыми обременяет первый год школы. Я бессознательно боролся

с этим. Страх боли, к сожалению, стал сопровождаться и страхом усилия вообще. Я стал нетерпелив и неусидчив.

6 апреля

Иногда я отправлялся во флигель к писарю, о котором старшие говорили с брезгливостью и даже некоторым ужасом, — он был взяточник. Это было нечто в нашем кругу невозможное, подобное черносотенцу. Со мной писарь был приветлив. Голова у него была круглая, стриженная, казачья, смуглое добродушное лицо. Он мне нравился, но в присутствии взяточника я испытывал связанность и неловкость. Да, да, его преступность была несомненна. Получая грошовое жалованье, он с большой своей семьей жил хорошо, лучше нас. Однако любовь к чтению влекла меня даже к такому сомнительному человеку. У писаря в гостиной со столами в плюшевых скатертях, с трюмо, с фикусом стоял и большой книжный шкаф, откуда мне разрешалось брать книги для чтения. Взяточник выписывал много журналов и среди них «Ниву» со всеми приложениями.

Для «Нивы» и приложений он выписывал из издательства переплеты, которые до сих пор я видел только в объявлениях о подписке на этот журнал. Я брал серовато-голубоватый первый том полного собрания сочинений Чехова. Дальше первого тома не шел. Весь наш класс и я тоже обожали смешные рассказы, карикатуры, юмористические журналы. Поэтому я читал и перечитывал только юмористические рассказы Чехова. Брал и самый журнал. Каждый раз писарь делал из газеты обложку, предохраняющую переплет от порчи. Однажды у каких-то знакомых увидел я в зеленом переплете с золотым тиснением сказки Гауфа. Вероятно, это было какое-то старое издание — на шмуцтитутле выступили желтоватые пятнышки. Большой формат, картинки во всю страницу, особый запах редко открываемой книги очаровали меня. С массой предупреждений дали мне эту книжку

почитать, и, несмотря на то, что она была незнакома мне, прочел я ее с наслаждением. И ее владельцы, прежде чем дать мне, завернули в газетную обложку. Иной раз, когда совсем нечего было читать, я шел к Иваненко — это была большая семья, казачья, вероятно, потому что отец припоминается мне в сером бешмете. Там я просил у моей сверстницы Наташи сказки [братьев] Гримм — растрепанные, без переплета и без первых страниц. Так, добыв где-нибудь книжку, я проводил время до вечера — точнее, до сумерек, когда мы шли гулять с мамой и Валею в городской сад. И непременно где-нибудь, или у Пушкинского дома, или в раковине в саду, играла музыка, тревожившая мою душу. Так и шли дни за днями тихо-тихо, почти без происшествий. Если Майкоп в полдень с криком кур и стуком ножей внушал мне уныние, то особенная, воскресная, тоска просто оглушала меня. Почему? Теперь мне трудно понять. Конфетти, затоптанные в песок городского сада. Пыль. Майкопское мещанство — мужья в картузах, жены в шляпах, детишки в штанах с разрезом сзади. Важные, осуждающие мещане. Пьяные. Драки у пивной. Не могу поймать, что именно мучило меня.

20 апреля

В конце августа 1906 года отправился я в первый класс. Шел я в училище охотно. Я забыл все неприятности. Я знал, что больше не встречу с Чконией. Я знал, что теперь у нас будет несколько учителей. Удивило меня то, что в классе оказалось вдвое больше учеников, чем в прошлом году. Это все были мальчики, поступившие прямо в первый класс...

В первый же день в дверях нашего класса появился живой, полный человек, чем-то похожий на Наполеона. Одет он был в учительский вицмундир, но казался одетым лучше остальных. Манжеты его были белоснежны. От него чуть-чуть пахло духами. Впрочем, все это мы

заметили позже. При первой же встрече мы несколько растерялись. Новый учитель вошел быстро. За ним длинный гардеробщик Иван тащил стойку с делениями и с подвижной дощечкой, назначения которой мы не понимали. «Das ist das Fenster!»* — крикнул учитель металлическим тенором еще в дверях. «Das ist die Wand!»** — и не успели мы опомниться, как урок уже пошел полным ходом. Новый учитель не стоял на месте и не умолкал ни на одну минуту. Тон, взятый им, — повелительный, а вместе с тем и веселый — покори́л нас. Мы и смеялись, и выполняли все приказания учителя, и к концу урока знали несколько слов по-немецки. А после урока учитель подвел нас к непонятной стойке и измерил рост каждого из нас.

21 апреля

Измерив рост, учитель рассадил нас по-новому и, попрощавшись весело, ушел. Так мы познакомились с новым учителем немецкого языка и нашим классным наставником. Звали его Бернгард Иванович Клемпнер. Он вел нас от первого класса до окончания училища. Это был блестяще остроумный, глубоко образованный, необыкновенный, своеобразный человек. Мало кто влиял на меня так сильно, как Бернгард Иванович. Мало кого я так искренне любил. На это он отвечал мне самой искренней неприязнью. Он, человек справедливый и никак не придирчивый, со мною бывал — правда, очень редко — и несправедливым, и придирчивым. И до сих пор, когда я вижу его во сне, со мною он разговаривает подчеркнуто холодно и неохотно. Впрочем, началось все это позже, а пока мы всем классом влюбились в нового учителя и он был ровен со всеми нами. Мы узнали вскоре, что Бернгард Иванович — состоятельный человек, московский адвокат, бросивший по каким-то загадочным причинам

* Это окно (нем.).

** Это стена (нем.).

Москву и приехавший учителем немецкого языка в глухой северокавказский городишко. Только недавно Наташа Соловьева рассказала, что, по словам его брата, он резко перевернул свою жизнь, когда невеста вдруг ушла от него к его другу. Так ли это? Не знаю. Во всяком случае, таинственность появления только увеличивала нашу склонность к нему. Поселившись у некоей Медведевой, сдающей комнаты с пансионом, он перевез к себе пианино и играл не по-майкопски долго и звучно. Как мы узнали вскоре, он кончил Московскую консерваторию. В этот первый год своего пребывания у нас он сильно пил и вел в клубе большую карточную игру. Однако не было случая, чтобы он пропустил у нас урок. Всегда в форме, чуть пахнувший духами, он весело и повелительно входил в класс и ухитрялся вести уроки так, что казалось, будто ты читаешь интереснейшую книжку. У него была та редкая, заражающая, почти безумная веселость, которая помогла мне впоследствии понять иронические, алогические прыжки фантазии лучших из романтиков. Нас он чаще всего называл «капустики» или «петухи». «Путч-перепутч!» — кричал он, получая неправильный ответ. Он рассказывал нам сказки о слабых и сильных глаголах.

22 апреля

Бернгард Иванович, при всей своей веселости, не терял той властности, о которой я уже дважды говорил. Она была не менее заметна во всем его существе, чем его веселость. Он всем своим существом показывал, что настолько силен, что может позволить себе в классе любую вольность, ничего не теряя в нашем уважении. Говоря о нем, нельзя не подчеркивать этой второй его сущности, и вместе с тем он был совершенно противоположен властному Чконии, а мы слушались его не меньше. Однажды заболел Фарфоровский, учитель истории в старших классах. У нас был свободный урок. Проходя по ко-

ридору, я услышал знакомый тенор за дверью в седьмой класс. Бернгард Иванович давал урок истории. Я встал у двери и слушал. Он говорил, как всегда, горячо, весело и понятно. В седьмом классе притихли и заслушались. Он рассказывал о Смутном времени. Кончив урок, он заметил меня в коридоре и спросил: «Какие новости?» Я признался, что слушал его и понял, что Смутное время — та же революция. Бернгард Иванович расхохотался и погладил меня по голове. С этого началась наша столь непродолжительная дружба.

26 апреля

И вот пришел конец первой четверти. Бернгард Иванович на последнем уроке появился с нашими табелями. Весело и наставительно подвел он итоги нашим успехам и неудачам, а затем стал раздавать четвертные отметки, пожимая руки лучшим ученикам. Каково же было мое удивление, когда я оказался чуть ли не вторым учеником в классе! У меня оказалась одна тройка по рисованию, двойка по чистописанию, о которой вообще и говорить-то не стоило. Удивление мамы, недоверчивая усмешка папы — вот чудеса-то!

5 мая

По субботам полагалось сдавать дневники Бернгарду Ивановичу, а в понедельник он возвращал их нам с отметками за неделю. В одну из суббот я забыл дневник. Забыл его и Камрас. Бернгард Иванович приказал нам принести дневники ему домой в воскресенье утром... И завязался интереснейший разговор обо всем: о школе, о Москве, о книжках и даже об эсерах и эсдеках. Бернгард Иванович спросил у меня, какая между ними разница, и остался доволен, когда я в общем верно определил ее. И в заключение произошло чудо. Бернгард Иванович сыграл и спел нам целую оперу «Фра-Дьяволо»⁴. У него был клавиш. Мы, замерев, стояли один по правую, другой

по левую сторону пианиста. Играл, пел и рассказывал содержание оперы Бернгард Иванович так же горячо, как вел уроки в классе. Один раз он даже больно ударил меня кулаком по руке, которую я нечаянно держал на самых басах, думая, вероятно, что они пианисту не понадобятся. Но в это время Бернгард Иванович добивался фортиссимо всего оркестра, и мне попало, на что увлекшийся музыкант не обратил никакого внимания. Капельки пота выступали на лбу его, высоком и белом.

6 мая

Очарованные вернулись мы домой. Увидев, с какой жадностью слушаю я музыку, Бернгард Иванович предложил мне учиться у него играть на рояле. Для начала он показал, как расположены ноты в басовом и скрипичном ключе, и объяснил то, чего я не замечал, глядя на его маленькие, энергичные руки, бегающие по клавишам. Я был уверен, что правая и левая играют одно и то же, и очень удивился, узнав, что каждая рука играет свое. Когда я прибежал домой и рассказал за обедом, что буду учиться у Бернгарда Ивановича музыке, папа пренебрежительно усмехнулся. Ведь у меня не было музыкального слуха. Наши восторженные рассказы привели к тому, что в следующее воскресенье к Бернгарду Ивановичу пришло в гости уже человек шесть первоклассников. И снова, как это случалось потом много-много раз, стоял я возле рояля, а Бернгард Иванович пел, играл и рассказывал одну из классических опер.

7 мая

В это время любители ставили пьесу, которая называлась «Благо народа»⁵. Папа играл в ней главную роль. Пьеса эта (кажется, переведенная с немецкого) была, если я не ошибаюсь, издана в тоненьких желтеньких книжечках «Универсальной библиотеки». Следовательно, она славилась в те времена. А может быть, это была

классическая пьеса? Не могу вспомнить, что о ней говорили взрослые и фамилию автора. Действие разыгрывалось в Лидии, у царя Креза, в то время, когда гостил у него Солон. Какой-то юноша изобретал хлеб, но не мог (кажется, так) дать его голодной толпе в нужном количестве, за что народ едва не убивал его. Крез и Солон, по соображениям, видимо, очень высоким, но в те времена недоступным мне, отравляли изобретателя. Чашу с ядом подносила юноше его невеста, дочь Креза, не зная, что отравляет жениха. Ставили пьесу долго, добросовестно, как в Художественном театре. Папа, придя домой из больницы, пообедав и поспав, надевал тунику, тогу красного цвета, сандалии, чтобы привыкнуть носить античную одежду естественно. Он репетировал свою роль перед зеркалом, стараясь двигаться пластически. И тут я впервые окунулся в неведомый нам, реалистам, классический мир. На некоторое время моя любовь к доисторическим временам и рыцарским замкам была отодвинута. Как мечтал я о спектакле, на который меня обещали взять! И вот, когда уже афиши были расклеены по городу, я заболел ангиной. Спектакль имел огромный успех. Весь город был в театре. И к величайшему счастью моему, «Благо народа» решили сыграть еще раз. Не в пример первым афишам, большим, на тумбах и заборах появились афиши-крошки, в тетрадный лист. Они сообщали, что спектакль будет повторен, так незаметно и скромно, что я стал беспокоиться, прочтут ли их. Поэтому — или по случаю дурной погоды — народу и в самом деле собралось очень, очень немного.

9 мая

Итак, в дождь и грязь, перебравшись через площадь против дома Соловьевых, мимо городского сада, полный праздничных предчувствий, пришел я с мамой в Пушкинский дом. Сердце мое дрогнуло, когда я увидел освещенный, но угрожающе пустой зал. Однако со

свойственным мне оптимизмом, которым сменяются дурные предчувствия, когда беда и в самом деле начинает грозить, я объяснил пустоту зала тем, что еще рано. Пройдя через белую дверцу из единственной (кажется) ложи над оркестром, мы вошли в узкий проход между стеной и уходящей высоко вверх декорацией. Я взглянул на колосники, и у меня закружилась голова. В квадратном актерском фойе, влево от сцены, куда мы спустились по деревянным ступенькам, собрались люди в тогах и латах. Яков Власьевич Шаповалов⁶ разгуливал в вышитой тунике и поблескивал очками. Осмотревшись и прислушавшись, я испытал такой ужас, такое отчаянье до слез, до замиранья внизу живота. Выяснилось, что сбор так мал, что не оправдает вечерового расхода. Спектакль надо отменять. Папа стоял, улыбаясь, как будто не понимая, в каком я отчаянье, и поддерживал предложение отменить спектакль. Но вдруг на верхних ступеньках лестницы, ведущей на сцену, появился рослый Селивановский⁷ в шлеме и латах. Он обратился к собравшимся с краткой речью. Селивановский сказал, что он уполномочен группой участников спектакля предложить следующее: сложиться и внести те тридцать рублей, которых не хватает на оправдание расходов. Хочется поиграть! «Я лично, — сказал Селивановский, положив руки на сияющую золотом грудь, — вношу пять рублей. Надеюсь, что вы со мною согласитесь». К моей величайшей радости, предложение Селивановского было охотно принято. Всем, видимо, хотелось поиграть. Деньги были собраны, зазвонил звонок, мы с мамой заняли места в полупустом зале.

10 мая

В оркестровой яме у ног Пушкина, осыпаемого морскими брызгами, крупными, как виноград, заиграл оркестр под управлением Рабиновича. Как теперь я понимаю, главная доля вечерового расхода падала на музыкантов.

Оркестр гремел, пока по занавесу кто-то не постучал кулаком изнутри, отчего он весь заколебался снизу доверху. Это служило оркестру знаком, что пора кончать. Закончив музыкальную фразу, Рабинович опустил черную деревянную трубу, на которой играл, и повелительным жестом оборвал музыку. Стало тихо. Кто-то поглядел со сцены в дырочку, проделанную среди волн, изображенных на занавесе. Это я заметил потому, что дырочка, до сих пор светившаяся, потемнела и за нею блеснул раз-другой чей-то глаз. Публика покашливала, и я сам удивился, как отчетливо я отличил мамин кашель. Она села далеко позади — вероятно, для того, чтобы не смущать знакомых актеров. В те времена в Пушкинском доме освещение было керосиновое и поэтому свет в зрительном зале не гасили, актеры видели ясно знакомых. И вот, наконец, занавес дрогнул и взвился под потолок. Новая моя любовь — Древняя Греция — поглотила меня с головой. И не только меня. Отчаянные майкопские парни, наполнявшие галерку, и случайно забредшие обыватели, разбросанные по партеру, смотрели на Креза, Солона, бедного изобретателя и прочих эллинов с величайшим вниманием и волнением. Так же, как и я, не разбирали они, кто как играет. Но зато, когда жена зубного врача Круликовского, исполнявшая роль дочери Креза, протянула кубок с ядом моему папе, с галерки крикнул кто-то сдавленным, неуверенным голосом, словно во сне: «Не пей!» «Не пей!» — поддержали его в партере. После окончания спектакля актеров долго вызывали, и я хлопал, стучал ногами и кричал чуть ли не громче всех.

13 мая

А в городе и в стране тем временем спокойная жизнь не хотела налаживаться, да и все тут. Помню отчетливо разговоры о роспуске Первой Государственной думы, о Выборгском воззвании, над которым папа посмеивался. Убийство Герценштейна, доктор

Дубровин, Союз русского народа, погромы — вот обычные темы разговоров...

И вот пришло лето. На последнем уроке Бернгард Иванович раздал нам табели, пожал руку лучшим ученикам, и мне в том числе, поздравил с переходом во второй класс и простился с нами до осени...

В это лето папа стал сотрудничать в газете «Кубанский край», подписываясь псевдонимом «Не тот». Коротенькие заметки его мама читала с неопределенным, скорее осуждающим выражением, и мне они тоже поэтому казались какими-то не такими.

14 мая

Папа вскоре взял на себя представительство по распространению «Кубанского края» в Майкопе. Для продажи газеты подрядили Якова. Ему дали кожаную сумку, пятьдесят номеров газеты и отправили торговать. Он должен был получать копейку с каждого проданного номера. Ушел Яков утром, а вернулся к вечеру, растерянный и даже похудевший. За весь день он продал всего девять экземпляров «Кубанского края». Старшие огорчились. Материально папа не был заинтересован в этом деле, но ему было неловко перед редактором, его знакомым. Взялся по его просьбе за распространение газеты — и вот что вышло. Но дня через два все наладилось. Не знаю, кто надоумил старших поручить продажу газет уличным мальчишкам. Одному из них дали на пробу десять экземпляров. Через полчаса он примчался весь в поту и завопил: «Давайте еще! Все продал!» С помощью этих газетчиков дело пошло. Они за день обегали весь город, и майкопцы узнавали о событиях, потрясавших страну.

21 мая

К этому времени стала замирать моя любовь к девочке из цирка и я почти влюбился в Милочку Крачковскую.

Надо сказать, что я с первой встречи на лугу за городским садом относился к этой девочке особенно. Я тогда не умел еще влюбляться, но отличал ее от всех. Таким образом, я не то что влюбился, а старое чувство стало ясней. Я любовался на нее с глубоким благоговением.

28 мая

При каждой встрече с Милочкой я любовался ею с таким благоговением и робостью, что и подумать не смел заговорить с нею или хотя бы поздороваться. У Варвары Михайловны (так звали мать Милочки) с моей мамой не завязалось знакомства. Однажды мы, гуляя, встретили все семейство Крачковских. Старшие разговорились, а я не мог сказать ни слова Милочке. А она и не думала обо мне, она сидела, строгая, размышляла о чем-то своем, глядела прямо перед собою своими огромными серо-голубыми глазами. Ее каштановые волосы сияли, словно ореол, над прямым лбом, две косы лежали на спине. Сколько раз, сколько лет все это меня восхищало, и мучило, и до сих пор снится во сне. Итак, старшие разговорились, уселись против большой лавки Кешелова на скамеечке, и тут разыгралось некоторое событие. Приказчики Кешелова забастовали. Как мы узнали впоследствии, они потребовали прибавки жалованья. Хозяин отказал. Тогда они прекратили работу и ушли, заперев в лавке хозяина. Это последнее событие мы увидели своими глазами. Оживленные, как бы опьяненные своей храбростью приказчики высыпали из трех магазинных дверей, заперли их тщательно и одну из них заложили метлой. Хозяин кричал, ругался, стучал в дверь так отчаянно, что метла прыгала, как живая, но освободиться не мог. И тут у матерей завязался спор, который и привел к вечной холодности между ними. Варвара Михайловна забастовщиков осуждала, а мама восхваляла. Обе они сердились, но улыбались принужденно, желая показать, что спорят на принципиальные темы и сохраняют

спокойствие. Мама повторяла упорно: «А мне это нравится. Люди смело борются за свои права. Действуют. Мне это нравится».

29 мая

Теперь я должен рассказать нечто, до сих пор таинственное для меня. Никогда в жизни я больше не переживал ничего подобного. Было это зимой, когда я учился во втором классе. Я шел из училища и встретил Милочку. Обычно я поглядывал на нее украдкой, а она и вовсе не смотрела на меня. Но тут я нечаянно взглянул прямо в ее прекрасные серо-голубые глаза. Мы встретились взглядами. И что-то мягко, но сильно ударило меня, потрясло с ног до головы. И мне почудилось, что и она остановилась на миг, точно в испуге. И глаза Милочки, точно я поглядел на солнце, остались в моих глазах. Я видел ее глаза, глядя на снег, на белые стены домов. Несколько лет спустя я спросил Милочку, помнит ли она эту встречу и пережила ли она что-нибудь подобное тому потрясению, которое я испытал. Она сказала, что не помнит ничего похожего. Причастие, разлившееся теплом по всем жилочкам, и этот мягкий, но сильный удар, глаза, отпечатавшиеся в моих, — вот чего я не переживал больше никогда в жизни.

12 июня

На большой улице, куда ты попадал, пройдя армянскую церковь и свернув направо, открылся постоянный синематограф, или кинематограф, братьев Берберовых. Только назывался он «электробиограф». Об этом сообщали две длинные, окаймленные электрическими лампочками вывески, буквы на которых шли сверху вниз. Висели эти вывески вдоль дверей, обычных, какие ведут в самые простые обывательские квартиры. Но, войдя в эти двери и поднявшись во второй этаж, ты оказывался

у кассы. К моему удивлению, в электробиографе первые ряды стоили дешевле дальних и назывались третьи места. Они отделены были от вторых и первых барьером. Реалисты платили за билет на третьи места двадцать копеек. Получив в кассе билет и программу, ты проходил в узкое фойе, где и ждал начала сеанса. В те годы на вторых сеансах я не бывал. Добыв заранее деньги на билет, я долго ждал, когда же, наконец, застучит мотор, приводящий в действие динамо-машину электробиографа. Электричества городского тогда не существовало, и бр. Берберовым приходилось добывать его своими силами. Услышав шум мотора, я шел мимо армянской церкви и, остановившись на углу, ждал, когда нальются светом лампочки, окаймляющие вывески.

13 июня

Душевное движение, вызываемое видом электрических лампочек, горящих на улице при дневном свете, оказалось очень долговечным. На этих днях я шел по Комарову. Чинилась линия. И вот — было это примерно часа в три, и солнце сияло вовсю — вспыхнули на высоких столбах уличные фонари. И разом, не успев понять почему, ощутил я радость, точнее, предчувствие радости. И только через несколько мгновений понял я, что предчувствую начало сеанса в электробиографе братьев Берберовых. Обычно сеанс этот состоял из трех частей. В коротеньких антрактах между ними открывались двери и в зал впускали непонятных мне людей, позволивших себе опоздать к началу. Пропущенную часть программы опоздавшие имели право досматривать во втором сеансе. Три части заключали в себе видовую или научную картины, драму и комическую. Иной раз добавлялась и феерия, действие которой разыгрывалось чаще всего или на луне, или в подводном царстве. Феерии были почти всегда цветными. Когда я смотрю теперь цветные кинофильмы, то вспоминаю феерии, которые не очень любил

в свое время, как теперь недолюбливаю их сине-голубых и малиново-сизых внучатных племянников. Книги, прочитанные в те годы, я могу рассказать и сейчас, даже те, которые впоследствии не перечитывал. (Например, «Руслан».) Разумеется, я говорю о любимых книгах. Могу рассказать я и пьесы, которые видел тогда. Например, «Благо народа» или «Суету»⁸, которую смотрел в мало-российской труппе Гайдамаки и Колесниченко. В подробностях могу припомнить и «Сорочинскую ярмарку», исполненную там же. А кино, столь обожаемое мною кино, какими картинами оно покорило меня? Не могу припомнить ни одной. Объясняется это, вероятно, тем, что я слишком уж много перевидал их тогда. Программы менялись каждую неделю, а я не пропускал ни одной. Если очень уж постараться, то я вижу пальмы и белые домики Ниццы из видовой картины, железную дорогу где-то в горах, снятую с паровоза, барку, плывущую по узенькой реке во Франции. Это уж из какой-то драмы. Вижу пожилую француженку с энергичным лицом — злодейку множества драм. В драмах часто стреляли, и выстрелы замечательно изображал ударом по басовой ноте хромой пианист Попов.

14 июня

Сидел Попов в маленькой комнатке справа от экрана и в приоткрытую дверь видел, что на нем происходит. Бернгард Иванович похвалил Попова, и я, без того преисполненный любви ко всему, что связано с электробиографом, стал слушать его игру с особенным восхищением. На рояле у Соловьевых мы без всякого успеха перепробовали все басовые ноты, пытаясь повторить звук, с помощью которого Попов изображал выстрел. Скоро Попов приобрел в городе большую известность. Все знали этого маленького армянина, хромящего на обе ноги. Знали и почему он хромяет — после костного туберкулеза. Знали, что он очень хороший пианист,

окончивший консерваторию. Почему он попал в Майкоп и служил аккомпаниатором в кино? Вот этого никто не мог объяснить, а я и не задавался таким вопросом. Мне казалось, что занимает Попов должность в высокой степени славную и завидную.

3 июля

В то майкопское лето я прочел впервые в жизни «Отверженных» Гюго. Книга сразу взяла меня за сердце. Читал я ее в соловьевском саду, влево от главной аллеи, растелив плед под вишнями; читал, не отрываясь, доходя до одури, до тумана в голове. Больше всех восхищали меня Жан Вальжан и Гаврош. Когда я перелистывал последний том книги, мне показалось почему-то, что Гаврош действует и в самом конце романа. Поэтому я спокойно читал, как он под выстрелами снимал патронташи с убитых солдат, распевая песенку с рефреном «...по милости Вольтера» и «...по милости Руссо». К тому времени я знал эти имена. Откуда? Не помню, как не помню, откуда узнал некогда названия букв. Я восхищался храбрым мальчиком, восхищался песенкой, читал спокойно и весело — и вдруг Гаврош упал мертвым. Я пережил это, как настоящее несчастье. «Дурак, дурак», — ругался я. К кому это относилось? Ко всем. Ко мне за то, что я ошибся, считая, что Гаврош доживет до конца книги. К солдату, который застрелил его. К Гюго, который был так безжалостен, что не спас мальчика. С тех пор я перечитывал книгу множество раз, но всегда пропуская сцену убийства Гавроша.

5 июля

Я прочел впервые в жизни томик рассказов о Шерлоке Холмсе и вдруг полюбил его отчаянно, больше «Отверженных». С месяц я думал только о нем. У Соловьевых в саду стоял тополь, на котором, усевшись между тремя ветвями, идущими круто вверх, скрывшись в листьях, я читал и перечитывал Холмса.

7 июля

Итак, я читал Гюго и Конан Дойла с одинаковым восторгом, смотрел на взрослых и слушал, что они говорят, с ужасом и жадным вниманием, был переброшен из детства в переходный возраст одним ошеломляющим ударом, испытывал желание писать стихи, смотрел в телескоп на небо и делал из своих астрономических сведений дурацкие выводы, видел то страшные, то непристойные сны, даже ночью не имел покоя. И я слышал, как жаловалась мама, что я ничем не интересуюсь и равнодушен ко всему. А мне она говорила, что я рохля, росомаха, что из таких детей ничего не выходит. И в самом деле я, вечно не стриженный, рассеянный, грубоватый и неловкий, мог бы привести в ужас кого угодно.

9 июля

Именно в то лето стало появляться у меня смутное предчувствие счастья — вечный спутник моей жизни. Вспыхнув, это предчувствие озарило все, как солнце, выглянувшее из-за туч. Я в то лето полюбил, встав рано, едва взойдет солнце, идти купаться на Белую. В этот час предчувствие счастья всегда сопровождало меня. Вызвав свистом своего невидимого коня, я ехал не спеша к деревянной лестнице над водокачкой и спускался в лесок вниз. На улицах было еще пусто, а в леске и вовсе безлюдно. Я раздевался под кустами у речного рукава, который любил и тогда. В то лето я научился плавать.

1 августа

В третьем же, кажется, классе я писал пересказ поэмы Майкова «Емшан». И в середине этой работы меня вдруг осенила мысль, что я могу писать и не обычным школьным языком. И я написал картинно («Но что это? Гордый князь бледнеет...» и так далее). Харламов⁹ предложил мне прочесть пересказ вслух и похвалил меня. Он сказал:

«Лучшие пересказы у Шварца и Истаманова. У Шварца поэтический, а у Истаманова — деловой». После этого Харламов занялся синтаксическим разбором одного из предложений моего пересказа, и я был поражен и польщен, когда вызванный мой одноклассник обнаружил в предложении этом «обстоятельство образа действия» и еще неведомо сколько вещей. А я писал и не думал об этом. Весть об успехе пересказа разнеслась по училищу. Меня с неделю дразнили «красноносый поэт», а потом забыли об этом.

2 августа

К этому времени Бернгард Иванович меня совсем уже не выносил, обходил взглядом, рассказывая что-нибудь классу, одергивал нетерпеливо, когда я отвечал урок. После успеха моего пересказа он подошел ко мне в коридоре, обнял ласково и спросил: «Ты, говорят, написал хорошее сочинение. О чем?» После такого вопроса я не в силах был ответить, что написал всего лишь пересказ. И я пробормотал, что сочинение было на тему о любви к отечеству. Не успел я договорить: «И о народной гордости», как Бернгард Иванович с недовольным лицом отошел от меня. Он ведь знал, что в третьем классе не пишут сочинений. «Емшан» действительно рассказывал о любви хана к родным степям, но это не давало мне права говорить, что я написал сочинение, пересказывая поэму. Сам же учитель сказал «сочинение» в смысле условном. Таким образом отношения мои с Бернгардом Ивановичем еще ухудшились. Он все жил в армянском семействе недалеко от нас. Он познакомился со всей интеллигенцией города, но ни с кем не сошелся близко, ни у кого не бывал... Он держал в отношениях с майкопцами строгую дистанцию. На лето Бернгард Иванович уезжал за границу. Он кончил Московскую консерваторию у Гольденвейзера. Он знал наизусть множество стихов Гете и Гейне и читал

их нам, когда был доволен классом. Он кончил юридический факультет. Он был первым европейски образованным человеком, которого я увидел в своей жизни, и знания его не были грузом или придатком, он владел своими знаниями. Естественно, что он держался чуть-чуть в стороне от остальных, и все признавали за ним это право.

19 августа

Желание [писать стихи] не исчезло, пока я шел домой. Небо хмурилось. Стал накрапывать дождь. И дома это желание возросло до такой силы, что я взял карандаш и предался, наконец, этой новой страсти. На желтой оберточной бумаге, в которой я принес из булочной хлеб, сочинил я следующие стихи:

Сижу я у моря. Волна за волной,
Со стоном ударив о берег крутой,
Назад отступает и снова спешит
И будто какую-то сказку твердит.
И чудится мне, говорит не волна —
Морская царица поднялась со дна.
Зовет меня, манит, так чудно поет,
С собой увлекает на зеркало вод.

Дальше забыл. Почему я стал писать именно эти стихи? Почему взбрела мне в голову морская царица? Откуда я взял этот размер, эти слова? Не знаю теперь, как не знал и не понимал тогда. Я чувствовал страстное желание писать стихи, а какие и о чем — все равно. И я писал, сам удивляясь тому, как легко у меня они выливаются и складываются, да еще при этом образуется какой-то смысл. Любопытно, что в те годы к стихам я был равнодушен. Не помню ни одного, которое нравилось бы мне, в которое я влюбился бы или хотя бы просто запомнил его. Но, так или иначе, решив стать писателем в семилетнем примерно возрасте, я через пять лет написал стихи, движимый неудержимым желанием писать.

Все равно о чем и все равно как. Я стал писать не потому, что меня поразила форма какого-то произведения, а из неудержимой, загадочной жажды писать. И это определило очень многое в дальнейшей моей судьбе. Хотя бы то, что я очень долго глубоко стыдился того, что пишу стихи. И что еще более важно — литературную работу я до сих пор, при всем моем уважении к профессиональности, считаю еще и делом глубоко, необыкновенно глубоко личным. Итак, летом 1909 года, в мраке и хаосе, в котором я суетился, как дурак, я темно и хаотично, но вдруг почувствовал путь. Началось медленное, медленное движение к жизни. В августе 1928 года, проезжая через Туапсе, я пошел знакомой дорогой на гору и прошел почтительно мимо домика, где я наткнулся на выход из тьмы.

29 августа

Начались занятия. Движение в сторону некоторого просвета продолжалось. Я стал учиться несколько лучше, но высоты, которую занимал в первом-втором классе, так и не достиг. Товарищи относились теперь ко мне как к равному. Я тщательно скрывал, что пишу стихи, но меня упорно считали поэтом и будущим писателем, неизвестно почему.

8 сентября

Строгая, неразговорчивая, загадочная Милочка держалась просто и дружелюбно со мной, и тем не менее я боялся ее, точнее — благоговел перед ней. Я долго не осмеливался называть ее Милочкой — так устрашающе ласково звучало это имя. На вечерах я подходил к ней не сразу, но, правда, потом уж не отходил, пока не раздавались звуки последнего марша. Я научился так рассчитывать время, чтобы встречать Милочку, когда она шла в гимназию. Была она хорошей ученицей, первой в классе, никогда не опаздывала, перестал опаздывать

и я. Иногда Милочка здоровалась со мной приветливо, иной раз невнимательно, как бы думая о другом, то дружески, а вдруг — как с малознакомым. Может быть, мне чудились все эти особенности выражений, но от них зависел иной раз весь мой день. В те годы я был склонен к печали. Радость от Милочкиной приветливости легко омрачалась — то мне казалось, что мне только почудилась в ее взгляде ласка, то в улыбке ее чудилась насмешка. Положение усложнялось еще и тем, что в училище я обычно шел теперь вместе с Матюшкой¹⁰. Часто, хотя он с Милочкой был знаком мало, я относил ее приветливость тому, что со мной Матюшка. Любопытно, что Милочка как-то сказала мне уже значительно позже: «Ты часто так сердито со мной здоровался, что я огорчалась». И я ужасно этому удивился. Что-то новое вошло в мою жизнь. Вошло властно. Все мои прежние влюбленности рядом с этой казались ничтожными. Я догадался, что, в сущности, любил Милочку всегда, начиная с первой встречи, когда мы собирали цветы за городским садом, — вот почему и произошло чудо, когда я встретился с ней глазами. Пришла моя первая любовь. С четвертого класса я стал больше походить на человека. В толстой клеенчатой тетради я пробовал писать стихи... Но в стихах моих не было ни слова о Милочке. Никому я не говорил о ней.

9 сентября

Любовь делала меня еще более мечтательным, чем в раннем детстве, и еще более скрытным. Я прятал от всех мои стихи, но и в стихах ни в чем не признавался. Начиная их, я не знал, чем их кончу, о чем буду писать, и теперь не могу припомнить ни одной строчки. И вот однажды я увидел письмо Сергея Дудкина, студента, который некогда был выслан из Петербурга и, уж давно восстановленный во всех правах, вернулся в университет. Он писал маме. Я рассеянно взглянул на письмо, и

вся душа моя дрогнула. «Пришлите Женину поэзию, — писал он, — знакомый редактор обещает устроить в свой журнал одно-два стихотворения». Тут же лежал мамин ответ: «Подумавши, я решила не посылать Женины стихи. Я боюсь, что ему может повредить...» — забыл, что именно. То ли, что мама тайно узнала о моих стихах, то ли слишком раннее появление в печати. Я стоял как громом пораженный. Мне было все равно, напечатают меня или нет. В тот момент было все равно. Да я, унаследовав недоверчивое и мрачное мамино честолубие, и не верил, что мои стихи могут быть напечатаны. Нет, поразило меня, что мама, Сергей Дудкин и еще, вероятно, многие другие знают о том, что я пишу стихи. Я чувствовал себя опозоренным, оскорбленным. Навеки запомнил я тоненькие, длинные буквы дудкинского письма, его «з» и «т», похожие друг на друга, так что слово «поэзия» я прочел сначала как «поэтия». Ужасное, унылое ощущение преследовало меня довольно долго, а стихи я не мог писать с полгода.

10 сентября

К моему величайшему удивлению, в первой четверти я получил четверку за поведение. Я думал, что веду себя, как другие, но Бернгард Иванович сообщил мне, делая выговор за такую отметку, что на меня жалуются все учителя. А я не шалил, а просто веселился. Сочиняя печальные стихи и часто предаваясь печали, я тем не менее стал веселее, чем был. И в классе меня стали любить. Прежде ко мне были скорее безразличны, а теперь ко мне прислушивались, смеялись моим шуткам, и случилось, что своим безумным весельем я заражал весь класс. Вот за это я и получил четверку по поведению.

21 сентября

Если первые школьные годы я ничего не приобретал, а только терял, то за последний 1909/10 год я все-

таки разбогател. Как появляются новые знания: знание нот, знание языка, — у меня появились новые чувства: чувство моря, чувство гор, чувство лесных пространств, чувство длинной дороги. И чувства эти, овладевая мной, переделывали на время своего владычества и меня целиком... Я писал не много и плохо, но умение меняться, входить полностью в новые впечатления или положения было началом настоящей работы. Чувство материала у меня определилось раньше чувства формы, раньше, чем я догадался, что это материал. Но я понимал смутно и туманно, что какое-то отношение к литературным моим не то что занятиям, а мечтаниям — имеет это недомашнее, небудничное состояние.

15 октября

К четвертому классу отступило увлечение каменным веком. «Руламан»¹¹ стал воспоминанием прошлого. На первое место вышел Уэллс. «Борьба миров», «Машина для передвижения во времени» — вот два первых романа Уэллса, которые мы прочли. В первом — поразили космические впечатления, уже сильно подготовленные тем летом, когда впервые с помощью Сергея Соколова¹² я увидел лунный ландшафт. И еще более — ощущение, похожее на предчувствие, которое возникало, когда в мирную и тихую жизнь вдруг врываются марсиане. Одно время мне казалось, что Уэллс, вероятно, последний пророк. Бог послал его на землю в виде английского мещанина, сына горничной, приказчика, самоучки. Но в своего бога, в прогресс, машину, точные науки, он верил именно так, как подобает пророку. И холодноватым языком конца прошлого века он стал пророчествовать. Снобы не узнали его. Не принимали его всерьез и социологи, и ученые. Но он пророчествовал. И слушали его, как и всякого пророка, не слишком внимательно. А он предсказал нечто более трудное, чем события. Он описал быт, который воцарится, когда придут события.

Он в тихие девяностые годы описал эвакуацию Лондона так, как могли это вообразить себе очевидцы исхода из Валенсии или Парижа¹³. Он описал мосты, забитые беженцами, задерживающими продвижение войск. Он описал бандитов, которые грабят бегущих. И, читая это, я со страхом и удовольствием (тогда) предчувствовал, что это так и будет и что я увижу это. А в «Машине для передвижения во времени» такое же слишком уж сильное впечатление произвели на меня морлоки, живущие под землей.

16 октября

Когда я перечитывал этот роман во время последней войны, мне казалось, что их подземелья ужасно похожи на бомбоубежища, а морлоки — на побежденные народы. Их ненависть к выродившимся победителям казалась убедительной. Но все это пришло позже, все эти рассуждения. Тогда мы восхищались Уэллсом и проникались его верой во всемогущество науки и человеческой мысли бессознательно. Сознательно же любили мы простоту и силу его выдумки. И тон — простой, убедительный, бытовой, отчего чудеса казались еще более поразительными, — мы оценили уже тогда. Восхищались мы и рассказами Уэллса. Примерно в это же время (а может, быть, годом позже) папа выписал мне журнал «Природа и люди» с приложением — полное собрание сочинений Конан Дойла и половина полного собрания сочинений Диккенса. Вторая половина шла приложением к журналу будущего года. Тут мы прочли впервые фантастические и исторические вещи Конан Дойла. Оранжевая с черным, похожим на решетку, узором и серая с голубоватым оттенком и портретом Диккенса в медальоне — таковы были обложки приложений. Помню радость, с которой я вынимал их из бандероли. Впоследствии журнал стал давать еще одно приложение: ежемесячный альманах «Мир приключений». И наряду с

этим я увлекался еще стихотворениями Гейне. Это было еще и под влиянием Бернгарда Ивановича. Он часто теперь читал нам в конце урока Гейне, а кто-то — кажется, еще Кропоткин — говорил об обаянии стихотворений на полужнакомом языке. И я остро почувствовал все особенности Гейне. И прочел «Флорентийские ночи». Другая его проза тогда не задела меня. А «Флорентийские ночи» — полюбил.

17 октября

То, что мы проходили наших классиков в качестве обязательного предмета в школе, мешало нам понимать их. И я помню, что с наслаждением читал в хрестоматии отрывки, которые предстояло проходить, и они же теряли всю свою прелесть, когда учитель добирался до них. Но в четвертом классе это ощущалось уже менее резко. И вот я вдруг полюбил Гоголя. Но как бы со страхом. Так любят старших. Уэллс, Конан Дойл были товарищи детства. А в Гоголе я уже тогда смутно чувствовал Божественную силу. Пушкина — не понимал по глупости... Диккенса я еще не успел полюбить, кроме разве «Пиквикского клуба» в гениальном переводе Введенского. И кроме вышеперечисленного я читал все, все, что попадалось. От переплетенных комплектов старых журналов (и среди них «Ниву» за 1899 год, где было напечатано «Воскресение» Толстого с иллюстрациями Пастернака, которые восхищали меня). И вот я решил прочесть «Войну и мир». И эта книга внесла нечто необыкновенно здоровое во всю путаницу понятий, в которой я тонул. И при этом я не боялся ее, как «Мертвых душ». Эта глыба была насквозь ясна, и герои «Войны и мира» были мне близки без всяких опасений насчет того, что они старше. Если бы удалось мне припомнить, что я пропускал, а что поглощал с жадностью при всех бесконечных перечитываниях «Войны и мира», то я понял бы историю своего развития. Чехова я тоже

еще не научился понимать, как и Пушкина. И вот я жил со всем этим пониманием и непониманием. Терзаемый вечными сомнениями и припадками самоуверенности жил я в то лето.

18 октября

Как ни стараешься писать точно, непременно приврешь. Я неточно написал о моем отношении к Гоголю. Это вовсе не было, хотя бы и смутное, уважение к «Божественному». Просто я чувствовал, что надо бы подумать, что, кажется, здесь есть еще что-то, кроме того, что я понимаю, и немедленно решал: «Потом, потом!» К сожалению, эта мысль: «Потом, потом!» — была постоянной в то время. При каждом случае, требующем напряжения, я отмахивался, зажимурился — «Потом, потом!». Но все же надо сказать, что некоторые места гоголевских ранних вещей меня поражали тогда. Например, первые же слова «Страшной мести» («Шумит, гремит конец Киева»). Я сразу подчинился и переносился в новый мир. Что, впрочем, было нетрудно. Удивительно было бы, если бы провел хоть день, никуда не переносясь. Я был, конечно, чудовищем безграмотности и безвкусицы, как и среда, в которой я жил. Но помню, что журнал «Пробуждение» с претензией на роскошь раздражал меня. Верстка приложений к нему — в тоненькую рамочку — наводила на меня тоску. Однажды я увидел в этом самом журнале многокрасочный портрет любимого моего Виктора Гюго. Он изображен был во весь рост на каком-то камне — очевидно, на вершине скалы, плащ его развевала буря. И небо, и камень освещены были какими-то красными, синими, фиолетовыми цветами. Портрет сначала показался красивым, потом подозрительно красивым. Почему? На этот раз я не подумал каким-то чудом: «Потом, потом». И я понял, что Гюго освещен бенгальскими огнями, что недорого стоит. И это доведенное до выражения

чувство было для меня такой редкостью, что запомнилось на всю жизнь. Итак, я жил сложно, куда сложнее, чем забывчивые взрослые могли представить себе. И не мог бы выразить то, чем живу, даже если бы захотел. И играл с увлечением в плотины. Богатство ручьев в высшей степени благоприятствовало этой игре. Она продолжалась и расцветала.

20 октября

Чем дальше, тем больше я помню, тем труднее отбierać, о чем говорить. В то лето с нами была толстая книга «История воздухоплавания»¹⁴. Кончалась она Лилюенталем и Сантос-Дюмоном. Мы ее читали и обсуждали бесконечно. Весь мир говорил тогда о воздухоплавании. Тогда же шло всеобщее увлечение французской борьбой. Шло множество разговоров об Айседоре Дункан, о Далькрозе, о культуре тела, о красоте и силе тела. (У нас, в нашем кругу, они только начинались.) Появилось множество статей и книжек о здоровье, о способах питания, о жевании, о голодании. Жоржик¹⁵ стал вегетарианцем оттого, что прочел о том, что они сильнее, выносливее. В нашем монашеском кругу, где в жизни никогда никто не обращал внимания на эту сторону человеческого существования, были несколько смущены «культом тела». Но гимнастику приветствовали. Кроме воздухоплавания, говорили мы и о борцах, и о джиу-джитсу, и о боксе. Я не считался сильным, но гимнастикой занимался с азартом. И с тем же азартом строил запруды. Журчит и шумит ручей, над головой — свод из листьев. Камни цокают водяным стуком, когда кладешь их под воду друга на друга. И вот плотина готова.

21 ноября

Осенью 1910 года всех поразило сообщение: Толстой ушел из Ясной Поляны. Куда?

22 ноября

Все говорили и писали во всех газетах только об одном — об уходе Толстого. В Майкопе пронесся слух, что он едет к Скороходовым в Ханскую. Не знаю до сих пор, имел ли основание этот слух. Где-то я читал впоследствии, что Толстой собирался ехать на Кавказ, но куда, к нам или в Криницу? Это глухое упоминание — на Кавказ — как будто подтверждает слухи о Ханской. Как бы то ни было, уход Толстого всколыхнул наш круг особенно. За столом непрерывно вспыхивали споры, наши тяжелые, бестолковые майкопские споры, из-за которых я возненавидел, вероятно, споры на всю жизнь. Разумеется, я был в полном смысле этого слова подросток в те времена. Это значит, что я не был умнее взрослых. Но чувствовал я, как все подростки, временами остро, тяжесть и бессмысленность, когда никто друг друга не слушает, а голоса повышаются, безысходность споров, которые вели старшие. Я это угадывал. Вспоминая студенческие годы, мама с умилением рассказывала о «спорах до рассвета». А я ужасался. Но вот Толстой заболел. Он лежал в домике начальника станции Астапово, и врачи у нас обсуждали бюллетени о его здоровье и пожимали плечами: дело плохо. Все бранили сыновей, лысых и бородатых, которые громко разговаривали и пили водку в буфете на станции. Так рассказывали в газетах. Осуждали Софью Андреевну. Но я прочел в одной из газет, как она в шапочке, сбившейся набок, подходит к форточке комнаты, где лежит муж (внутри ее не пускали), и старается понять, что делается внутри. И мне стало жалко Софью Андреевну. Вести из Астапова шли все печальнее. В ясный ноябрьский день вышел я на улицу и встретил Софью Сергеевну Коробьину¹⁶. Было это возле фотографии Мухина. Софья Сергеевна остановила велосипед и сообщила: «Толстой умер». И хоть мы ждали этой вести, сердце у меня дрогнуло. Я огорчился сильнее, яснее, чем ждал.

23 ноября

Устроили большой вечер памяти Толстого. В Майкоп приехал младший брат Льва Александровича — Юрий¹⁷. Он был и выше, и шире, и собраннее брата. И говорил лучше, Лев Александрович считался плохим оратором. Так вот, на большом толстовском вечере он говорил вступительное слово. А потом шел концерт. Репетиция шла у нас. Папа читал две сцены из «Войны и мира»: охоту на волка и дуэль Пьера и Долохова. Во втором же отделении — сказку об Иванушке-дурачке и черте. Не помню точное название сказки. На репетиции я попался. В «Войне и мире» в те времена я пропускал все военные рассуждения и многое из того, что относилось к Пьеру. Выслушав сцену дуэли, я спросил: поправился ли Долохов после дуэли с Пьером? Папа укоризненно покачал головой. Мама, насмешливо засмеялась. Считалось, что я прочел «Войну и мир». Я тогда с удивительной легкостью не читал то, что мне было трудно или скучно. И вот вечер состоялся. Юрий Коробьин, стоя спокойно и уверенно за столом, начал так: «У России было четыре солнца: Петр, Ломоносов, Пушкин и Толстой». Эти четыре солнца показались мне тогда подобранными случайно. И я с насмешкой рассказывал об этом начале так часто, что запомнил его. Папа, читая сказку об Иванушке, засмеялся вместе с публикой и с трудом овладел собой. Это понравилось, и, кажется, даже в газете написали об этом.

24 ноября

Мы в это же время решили вдруг выпускать журнал. Мы, пятиклассники. Я написал туда какое-то стихотворение с рыцарями и замком. Помню, что там, как в какой-то немецкой балладе, прочитанной Бернгардом Ивановичем, в четырех строках четыре раза повторялось слово «черный». «Поднимались черные тени, вырастая из черной земли», остальные две строчки я забыл. На обложке

был портрет Толстого, нарисованный Ваней Морозовым. На второй странице напечатано было стихотворение. Впрочем, «напечатано» сказано по привычке. Весь журнал был рукописный, вышел в одном экземпляре, в формате листа писчей бумаги. Итак, на второй странице поместил свои стихи Васька Муринов. Посвящены они были Толстому и начинались так: «Зачем так рано, вождь свободный, Ты покидаешь бренный мир!» Помню, что старшие подсмеивались над таким началом. Когда Ваське сказали, что говорить «рано», когда человек умирает восьмидесяти двух лет, неточно. Это грустно. Это трагично, но «рано» сюда не подходит. Помню, как Васька встревожился, когда услышал это, и настаивал на своем определении. И я был с ним согласен, хотя вообще все его стихи казались мне какими-то старомодными. Выспренними.

12 декабря

Когда я вспомнил, что читал и не читал «Войну и мир», передо мною ясно выступило представление о способе, которым я читал книги. При малейшем напряжении я перескакивал через трудное или скучное место. Страницы без «разговоров» были для меня невыносимы. Я уже говорил, что мне выписали «Природу и люди» с приложениями. Романы Диккенса я не начинал читать, пока они не подбирались полностью. А когда они приходили целиком, выяснялось, что потеряно начало. Я начал читать «Пиквикский клуб» сначала. Мне показалось скучно. Потом подвернулся мне томик из середины. Я заинтересовался. Принялся искать по всему дому и собрал роман целиком и перечитывал множество раз. И отдал в переплет. И возил эту книжку за собою всюду, даже когда уже был студентом, хотя к этому времени знал роман чуть ли не наизусть. И тем не менее начало романа я перечитал уже, вероятно, в двадцатых годах. Как отпугнуло оно меня в детстве, так я его и избегал

до зрелого возраста. Так же прочел я «Николая Никльби» — кусок из середины, кусок из конца и, наконец, много позже, всю книгу целиком. Я сказал как-то, что обрадовался, узнав, что «Дэвид Копперфилд», которого мне подарили в детстве, только начало. Неверно. Новый толстый роман под тем же названием, что моя тощенькая книжка в красивом переплете с вытисненным узором из цветов, выющихся вдоль корешка и названия, ошеломил меня. Все, что в жизни Копперфилда выходило за пределы моей книжки, казалось мне недостоверным.

13 декабря

Я вовсе не обрадовался, я долго не читал нового «Копперфилда», хотя старого моего знал чуть ли не наизусть. Чтение было для меня наркотиком, без которого я уже тогда не мог обходиться. Было наслаждением. И всякий вид принуждения убивал для меня это наслаждение. В это время началось у меня увлечение «Сатириконом» (тогда он, по-моему, еще не назывался «Новым»). Я с нетерпением ждал того дня недели, в который он обычно приходил. Газеты раскладывались тогда по столам читальни, а журналы лежали на особом столе, за барьером, возле библиотечарши. Берущий журнал докладывал ей об этом. И вот я еще издали замечал, меняя книгу: на обложке рисунок новый! Пришел свежий номер «Сатирикона».

14 декабря

Сначала я рассматривал только рисунки — Реми, Радакова, стилизованных маркиз и маркизов под стилизованными подстриженными деревьями у беседок и павильонов, подписанные Мисс. А затем принимался за чтение. Рассказы Аверченко, Ландау, позже — Аркадия Бухова. Отдел вырезок под названием, помнится, «Перья из хвоста». Рассказы, подписанные: «Фома Опискин», «Оль Д'ор». И так далее, вплоть до почтового

ящика. Забыл еще Тэффи, которая печаталась еще и в «Русском слове». Она и Аверченко нравились мне необыкновенно. И не мне одному. В особенности — Аверченко. Он в календаре «Товарищ»¹⁸ числился у многих в любимых писателях. Его скептический, в меру цинический, в меру сентиментальный, в меру грамотный дух легко заражал и увлекал гораздо больший слой читателей, чем это можно было предположить. Саша Черный первые и лучшие свои стихи печатал в «Сатириконе», чем тоже усиливал влияние журнала. «В меру грамотный»... «дух» — нельзя сказать. Я хотел сказать, что он, Аверченко, как редактор схватил внешнее в современном искусстве.

15 декабря

Это был дендизм, уверенность неведомо в чем, вера в то, что никто ни во что не верит. Все это я смутно почувствовал много-много позже. А тогда меня необыкновенно прельщал общедоступный эстетизм и несомненный юмор журнала. Боже мой, с какой мешаниной в башке пришел я к четырнадцати годам жизни. У нас огромным успехом пользовалась повесть А. Яблоновского о гимназистах. Название ее забыл. Там гимназисты читали Писарева и безоговорочно принимали его статью о Пушкине¹⁹. С таким же почтением говорилось о Писареве в «Гимназистах» Гарина. В подражание этим героям любимых наших книг и мы решили заняться серьезным чтением. Кто мы? Не помню. Был там Матюшка. Кажется, Жоржик. Кто-то из приезжих ребят, из казачат. Прочли мы статью о Пушкине — писаревскую статью — и признали ее. Девочки Соловьевы участвовали в этих чтениях. И, кажется, Милочка? Не помню. Начали читать Бокля и не дочитали. Все мы были при этом ярыми врагами идеализма. И при этом увлекались хиромантией. Отгадыванием характера по почерку. А я еще и молился. И был суеверен до крайности. Вечерами в темных

майкопских улицах, в темных аллеях городского сада меня охватывал мистический страх. Иногда мучительный, но вместе с тем и доставлявший наслаждение. Бог, которого я познал в Жиздре, был запрятан в самую глубину души, со всеми невыдаваемыми тайнами. А по утрам мы занимались гимнастикой по Миллеру, который рядом с Боклем и Писаревым знаменовал для меня тогда начало новой жизни. Много раз начинал я новую жизнь и всегда одинаково: с Бокля и Миллера. Впрочем, однажды прочел чью-то анатомию и физиологию.

18 декабря

От этой путаницы понятий спасали меня ясные правила поведения, установившиеся неведомо как. Та самая загадочная сила, которая заставляла меня в приготовительном классе пить молоко, которое я мог вылить в подвале на пол, и сейчас играла достаточно сильную роль в моей жизни. Я не курил и даже не пробовал закурить. Почему? Не ругался. Даже нарушая правила поведения, оставался добродетельным. Ужас, испытываемый при этом, убивал радость. Но при этом я вечно бывал счастлив. Я уже тогда начал приобретать предчувствие удивительных, счастливых событий... Поэтические мои ощущения бывали неопределенны, но так сильны и радостны, что будничные мир и обязанности, с ним связанные, отходили на задний план. «Как-нибудь обойдется». Вот второе (после чувства законности) — ясное, точное, осязаемое душевное состояние, которое определяло мое поведение. И наконец, третье — тот ужас, который я пережил, когда мама отошла от меня, перерос в честолюбие. Я хотел славы, чтобы меня любили. Вот так я и жил.

21 декабря

Итак, жил я сложно, а говорил и писал просто, даже не просто, а простовато, несамостоятельно, глупо. Раздражал учителей. А в особенности родителей. А из ро-

дителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня «ничего не выйдет». И мама в азарте выговоров — точнее, споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, — несколько раз говаривала: «Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством». И я, с одной стороны, не сомневаясь, что из меня выйдет знаменитый писатель, глубоко верил и маминым словам о неудачнике и самоубийстве. Как в моей путаной мыслительной системе примирялось и то и другое, сказать трудно. Забыл. Точнее, утратил эту особенность мыслительную. Вот я иду по саду. В конце аллеи, главной аллеи, правее мостика, ведущего в ту часть сада, где трек, где городской сад уже, в сущности, не сад, открылся новый, летний электробиограф. Праздник. Весна. На главной аллее множество народа. Я иду боковой дорогой. Застенчивость моя все растет. Пройти по главной аллее для меня пытка. Мне чудится, что все мне глядят вслед и замечают, что я неуклюжий мальчик, и говорят об этом. И тут же я думаю: «Вот если бы знали, что мимо вас идет будущий самоубийца, то небось смотрели бы не так, как сейчас. Со страхом. С уважением». Думаю я об этом без малейшей горечи. Холодно. Новый электробиограф под названием «Иллюзион» выглядит празднично. Слышен рояль, сопровождающий картину. И рядом с мыслями о том, что я будущий самоубийца, я испытываю бессмысленную уверенность в будущем счастье. Разговоры с мамой кончались ссорой. Разговоры с отцом — всегда почти слезами.

22 декабря

Думаю, что и меня такой сын привел бы в ужас и отчаянье. До здоровой моей сущности тогда я и сам не мог бы добраться. А отец был силен и прост. Иногда его приводил в ярость. И ужасал. Иногда два-три его слова показывали мне, как взрослые далеки от меня, и

тут удивлялся я. Вот пример последнего случая. После долгих разговоров, соврав, что такие-то уроки выучены, а таких-то завтра нет, а по такому задано повторить, я, выслушав упреки за реферат, за склонность к развлечениям, за отсутствие к серьезным вещам хотя бы приблизительного влечения, добился того, что меня отпустили в кино. Вместе с Валею. К этому времени против электробиографа братьев Берберовых был открыт еще чей-то. Вот мы и пошли туда. Купили билеты. Купили ириски. И вышли на улицу ждать начала сеанса. Была хорошая погода. Вскоре мы увидели папу в его темном шерстяном плаще, привезенном из Берлина. Он шел с кем-то из знакомых и озабоченно разговаривал с ним. Поравнявшись с нами, папа засмеялся и сказал знакомому: «Счастливы! Стоят себе, едят конфетки, и больше им ничего не надо». И вся сложная, полная обязанностей, да еще и невыполненных, запущенных дел, нескладная, запутанная моя жизнь вдруг после папиных слов осветилась для меня. И я удивился и обиделся. После каждой поездки в Екатеринодар папа восхищался Тоней. Он рос как настоящий Шварц. В классе шел первым. Отлично декламировал. «За столом зашел разговор об элеваторе, — рассказывал папа, — и Тоня объяснил его устройство толково, понятно, спокойно». С тех пор всю жизнь, взглядывая на знаменитый в те дни, второй по величине в мире, элеватор в Новороссийске, я вспоминал Тоню и то, как рассказывал он об его устройстве за столом.

29 декабря

Теперь, когда многое ожило в моей памяти, я начинаю думать вот что: первые, необыкновенно счастливые, полные лаской, сказками, играми шесть лет моей жизни определили всю последующую мою жизнь. Я был изгнан из рая, но без всякой вины с моей стороны. Сначала я рвался назад, требовал, негодовал. Потом, после долгих

неудач, уверовал, что я этого рая недостоин. И стал мечтать, читать и опять мечтать, причем огромную роль в мечтах этих играло следующее: я начинаю работать. Да, меня все хвалят, приходит слава и так далее и тому подобное, но прежде всего — я начинаю работать. С утра до вечера.

1952

4 марта

И вот впервые после 1904 года приехали мы в Екатеринодар. То есть я приехал впервые, папа бывал там часто. Тоня отсутствовал, но зато впервые после большого промежутка времени все четыре брата — Исаак, Самсон, Лев и Александр — съехались вместе. Мы поселились в бабушкином доме, я совсем не узнал его, ничего общего не имел он с тем, который остался в моих воспоминаниях...

Самсон очень интересовал меня. Он был заметным провинциальным актером. На зиму у него был подписан контракт с солидным антрепренером Бородаем. Он был брит, что в те времена сразу отличало актера, невысок ростом, плотен. Глядел меланхолично и обладал удивительным даром смешить меня, что ему нравилось. Я быстро подружился с ним, точнее, стал его страстным поклонником. Ведь он приближался к славе. Папа с уважением и легкой завистью узнал, что с Бородаем Самсон подписал контракт на пятьсот рублей в месяц. (Ему платили полтора ста, кажется. Папе. В майкопской больнице.) Дружба с Самсоном оказалась прочной. Он был так же вспыльчив, как в ранней молодости, но не было случая, чтобы он повысил на меня голос, рассердился на меня хоть раз в жизни. Я с наслаждением вспоминаю, как, сидя в саду, в беседке, папа и Самсон рассказывают о своем детстве. Как Исаак отобрал у них пятнадцать копеек, подаренные дедом, и купил себе пшенки. «Пойду дам

ему в морду», — сказал Самсон, к величайшему моему удовольствию.

5 марта

Я иду в картинную галерею и удивляюсь, что она такая маленькая, — по воспоминаниям она казалась мне больше. Я еду с Сашей на трамвае и удивляюсь, что он так быстро идет. Но Саша отрицает это. Его я тоже уважаю. Он, считавшийся таким плохим студентом, он, о котором дедушка говорил, что его учение обошлось дороже, чем всех братьев, взятых вместе, оказался очень хорошим адвокатом. И слава его росла. Из него тоже что-то вышло. Или было близко к этому. В то время я очень уважал Шварцев, на которых был так мало похож. О них говорили — все Шварцы талантливы. У них были очень отчетливо выраженные семейные черты. Это они знали и даже гордились этим. Гордились даже своей вспыльчивостью: «Я на него крикнул по-шварцевски». Они были определены, и мужественны, и просты — и я любовался ими и завидовал. Нет, не завидовал — горевал, что я чужой среди них. В летнем театре в городском саду в тот сезон играла опера. И я отправился в оперу в первый раз в жизни. Надежда и Лидия Максимовны¹ ахали и причитали со свойственной им восторженностью: «Что ты переживешь! Счастливец! В первый раз в жизни — в оперу! Я бы потеряла сознание, если бы пошла в оперу в первый раз такой большой». Я ждал невесть каких чудес. Шел «Садко». К моему ужасу, я очень скоро почувствовал, что мне скучно. Да как еще! Я попросту засыпал. (Это несчастное свойство — засыпать в театре, как только пьеса мне не нравится, я сохранил на всю жизнь.) К последнему акту в театр пришел Саша и сел возле. Я покался ему, что обманул ожидание дам. Саша ободрил меня, сказав, что они склонны к преувеличению, а «Садко» — опера и в самом деле скучная. Впрочем, и дамы признали, что лучшая опера — «Сказки Гофмана»².

«На ней-то уж ты бы не уснул». Думаю, что и труппа была слаба для «Садко».

6 марта

Тони в городе не было, но я увидел его карточку: худенький, большеголовый мальчик, со шварцевскими волосами — жесткими, волной поднимавшимися над лбом, — с выражением спокойным, даже вялым. На карточке он стоял, прислонившись плечом к дереву, длинный, узкоплечий. Я представлял его иначе. Сильнее. Уж слишком много рассказывал о его достоинствах папа. Я полагал, что Тоня совершенен во всех статьях.

11 марта

Мы переехали опять в дом Капустина³, и начался последний период нашей жизни в Майкопе... В это же время наметилась дружба, самая сильная дружба в моей жизни. Я разговаривал с Юркой Соколовым и с Фреем⁴, стоя возле раздевалки для младших. Я был в том вдохновенно веселом состоянии, которое нападало на меня уже тогда. Мы стояли и смеялись. Это был мой первый разговор с Юркой. Его очень уважали в училище... Он внушал уважение сдержанностью, соколовской серьезностью, ловкостью в гимнастических упражнениях и главное — талантливостью. Он был замечательный художник.

13 марта

После того как внезапно, от разрыва сердца, околел великолепный, черный, умнейший Марс, Истамановы взяли у Шапошниковых нового щенка, родного брата Марса, но белого, с коричневыми пятнами. Это был нервный, шалый пес. Я поглядел ему в глаза, и меня как бы ударило предчувствие открытия, и при этом печального для меня. И в самом деле, через мгновение я угадал, что мешает псу быть таким же великолепным и умным,

как Марс. Бестолковая, шалая, нескладная его душа. Мне вдруг тогда же показалось, что я похож на него. На пса. Вот я и тянулся к устроенным семьям вроде Соловьевых и ясным душам, как у Юрки Соколова. Вскоре после веселого разговора возле гардероба для младших вдруг заболел Фрей. Боялись, что у него рецидив костного туберкулеза. У него повысилась температура, появились боли в его страшно изрезанной, укороченной ноге. Я подошел к Юрке и предложил навестить Фрея. Так началась наша дружба. Сначала мы дружили втроем. Потом девочки Соловьевы втянулись в нашу компанию. Юрка играл на скрипке, Фрей на виолончели. Чаще всего им аккомпанировала Варя, которая лучше всех, смелее всех играла с листа. <...>

15 марта

Дома я был счастлив, когда все расходились: Валя — спать, прислуга — к себе на кухню, старшие — в гости. Я бродил по комнатам, наслаждаясь одиночеством. Только в столовой горела висячая лампа, остальные комнаты были едва освещены. И я бродил, бродил по этим комнатам, думая — и не думая. Тут было и ощущение, выросшее к этому времени: «Мы, Млечный Путь, вселенная». И второе, новое: «Дождь, деревья за окном, я», — все это не менее многозначительно. И я наливал спирт в блюдечко, и зажигал его, и синее пламя вызывало особое, исчезнувшее позже чувство. Жег я и газеты на подносе. У меня была тут своя комната. И я уходил спать, полный необыкновенного подъема, поэтического подъема, в котором сливалось все: восторг перед огнем, перед собственной значительностью, перед миром. И никакого желания писать. Никакого!

19 марта

<...> Любимый папин разговор был о том, что я «ничем не интересуюсь». Я каждый раз испытывал бессильное

возмущение. Почему он так думает? Я живу полной жизнью. Разговоры с друзьями кажутся мне глубоко содержательными. Я живу... Чем? И вот тут и начиналась ярость человека немного или плохо говорящего на языке собеседника. «В твои годы я уже начинал интересоваться политикой. Ты бы прочел хотя бы Петра Лаврова. Его “Письма”». Но тут мама вдруг вмешалась и сказала: «Подожди. Прочтешь невесте, заперев предварительно двери». И папа засмеялся добродушно, чего никогда не бывало, если мама вмешивалась в разговор. Вот почему я запомнил именно этот, один из многих, разговоров. Чем я жил? Неужели восторженное состояние, которое я испытывал, гуляя, было единственным признаком веры во что-то? В эти же дни начало на меня находить отвращение к той колее, в которой я жил. Мне хотелось убежать. Бродить по морю. Наняться грузчиком. Или в хозяйство какого-нибудь казака в станице. Зачем? Иногда желание это усиливалось до того, что я думал не без удивления: «Неужели я и в самом деле убегу?» Однажды разговор «об интересах», поднятый отцом, кончился тем, что я сказал о своем желании все бросить и бежать. Во имя чего? Куда?

22 марта

Итак, перейдя в шестой класс на шестнадцатом году жизни, я не знал, зачем живу, во что верю, но испытывал страстную потребность верить и знать, куда иду. Бездеятельность моя, видимо, пугала меня уже и тогда, и ужасала лень. Все мои мечты начинались с того, что я действовал — смело, разумно, и работал не разгибая спины. Так было в мечтах. А наяву, как я вижу теперь, мои идеи о бессмысленности той жизни, которую я веду, о побеге были неосознанным желанием сбросить с плеч все обязанности. То есть — не работать. То есть — та же лень. Безграмотность и бездеятельность в той области, которую я считал своей, в литературе, в поэзии, — вот что

могло бы оправдать меня, — но я и тут ограничивался мечтами и неопределенно величественно-поэтическими представлениями. Чувствование у меня смешивалось с уверенностью в будущей славе. Недоверие к себе с неведомо на чем основанной уверенностью в собственной гениальности. И ко всему этому — влюбленность, которая усиливалась с каждым днем. <...>

23 марта

<...> Теперь скажу о книжках, о которых сказал уже несколько слов, но путано и несвязно. Я тогда делил книжки на старые (то есть классические или такие, как Шеллер-Михайлов и Станюкович) и современные. В последние я валил все: и Шницлера, и Уайльда, и Генриха Манна, и Октава Мирбо. Все, кто выходил в издательстве «Современные проблемы» или В. М. Саблина (в зеленых коленкорových переплетах с золотым тиснением). В этом издании я прочел Стриндберга и, кажется, Шоу. И Метерлинка. Я считал, что все это писатели одного возраста, молодые, и был удивлен, когда узнал, что они — например, Мирбо, и Франс, и Шницлер — вовсе не молоды. Путаница от этого чтения поднималась отчаянная. А тут поверх этого лег Джек Лондон — и всё заслонил. (И Миллер приобрел основу: сильный человек стал героем литературным.) Первые романы его: «Дочь снегов», «Сын солнца», «Мартин Иден» — особенно последний — были проглочены с восторгом. Вот что я с трудом могу восстановить, вспоминая, на чем воспитывался тогда я, глупый подросток. И книги я принимал как явление природы. Я не обсуждал их, не критиковал, а принимал такими, как они есть. Некоторых авторов я просто не мог читать, но не осуждал их за это.

27 марта

В это же время я вдруг стал понимать Чехова. До сих пор, до шестого класса, я перечитывал и помнил только

первые три тома. И вдруг — словно туман рассеялся — я стал понимать остальные. Началось, кажется, со «Скрипки Ротшильда». Я легко плакал, разговаривая — точнее, ссорясь — с отцом или Бернгардом Ивановичем, но книги читал без слез. Не то говорю. Книги не могли меня заставить плакать. Прочтя о смерти Гавроша, я рассердился, обиделся на Гюго за его жестокость. Но не заплакал. А «Скрипка Ротшильда» вдруг довела меня до слез. Еще до этого, когда у Истамановых Мария Александровна⁵ читала вслух «Новую дачу», я понял ее. Еще до этого я угадал, что Чехов необыкновенно правдив. Но по-настоящему я понял его и влюбился на всю жизнь в шестом классе. Я так часто говорил, хваля Чехова (и других, которых уважал): «Хорошо замечено», — что Фрей и Юрка смеялись надо мной и дразнили этими двумя словами. Впрочем, трудно, как я вижу сейчас, понять и поймать, какого писателя когда полюбил. А Гоголь? Его я полюбил, вероятно, первым из русских классиков. Но полюбил со страхом. Он поражал, и пугал, и заставлял ужасаться. И Чехов поражал, но не пугал. Он... Нет, о настоящей любви говорить не смею больше.

28 марта

В Майкопе образовался или открылся — не знаю, как сказать вернее, — народный университет.

29 марта

И вот в жизни моей прибавилось несколько памятных дней. Вечер. Мы толпимся в фойе Пушкинского дома. Оставшийся от какого-то торжества огромный портрет Шевченко, писанный углем, натянутый на раму, стоит у стены. Под усатой, большелобой головой идет надпись: «Як умру — похороните мене на могили». (Я не знал тогда, что это значит «на кургане», и удивился этим строкам.) Здесь и Женька Фрей, и Юрка Соколов, и Матюшка

Поспеев. Пришла на лекцию и моя мама, и Беатриса, и Соловьевы. Я стою, болтаю и смеюсь.

30 марта

И вдруг меня словно током ударяет, сжимается сердце — я вижу две косы, светящийся ореол волос над лбом — это Милочка в своем синем форменном платье, маленькая и все преобразившая, все изменившая вокруг. Я кланяюсь ей, и она отвечает ласково и чуть удивленно. И она, видимо, не ожидала меня увидеть тут. Она проходит в зал. Я стою перед портретом Шевченко, не смея идти в зал вслед за Милочкой. Мама с Беатрисой проходят мимо. И вдруг мама говорит испуганно и вместе с тем сердито, как всегда, когда обеспокоена: «Что с тобой? Почему ты такой бледный?» — на что я отвечаю обычным своим тоном: «Ничего я не бледный!» И думаю с удивлением: «Вот как, значит, я люблю Милочку — бледнею, когда вижу ее». И вот и я вхожу в зрительный зал и занимаю такое место, чтобы видеть Милочку. Перед раздвижным занавесом, заменившим поднимающийся с морем, Пушкиным, брызгами величиной с виноград, стоит столик с графином. Стул. Володя Альтшуллер появляется за столом. Воцаряется тишина. Володя своим мягким, достойным тоном читает очередную лекцию по политической экономии, которую я полностью пропускаю мимо ушей. Увы, только две вещи занимают меня: я сам и Милочка. Я издали вижу такое знакомое и такое каждый раз покоряющее меня удивительное существо. Сияющий нимб волос, косы. Она поворачивается к подруге, спрашивает ее о чем-то и оглядывается, может быть, почувствовав мой пристальный взгляд. Она не видит меня, но я и вижу, и угадываю ее серо-голубые огромные глаза. Когда же, наконец, перерыв? Встретившись, я не смею к ней подойти, сестрядом с ней и думать нечего. Но в перерыве я подхожу и разговариваю храбро.

31 марта

Я говорю и жадно вслушиваюсь в каждое слово, ловлю каждый взгляд, и вторую половину лекции переживаю это великое и памятное событие — встречу с Милочкой. Так проходит лекция по политической экономии. Помню чью-то лекцию о Лермонтове. Приезжий лектор картинно описывал, как нежно любила поэта бабушка, как любовалась своим черноглазым внуком, сидящим на ее коленях. И я заметил, что мать Милочки, Варвара Михайловна, улыбнулась мечтательно. И горькое чувство, похожее на предчувствие, поразило меня. Я знал, что Варвара Михайловна меня не любит. Догадывался, что, слушая лектора, она мечтает о том, что вот Милочка выйдет замуж и у нее будут дети, — но не такого мужа, как я, представляет в мечтах Варвара Михайловна. Нет, не жениться мне на Милочке! Вот все, что уношу я с лекции о Лермонтове.

3 апреля

Музыку я любил всегда, и почтительной, безнадежной любовью, веря в свою немзыкальность. За хороший слух я уважал любого человека. Даже злодея. Читая «Камо грядеши», я возмущался Нероном. Но в одном месте там Сенкевич написал, что среди приветствий толпы музыкальное ухо Нерона уловило и крики, обидные для него. Этого упоминания о музыкальности было довольно для меня. Он уже был для меня злодеем, заслуживающим почтительного удивления. Фальшиво петь я отучился. Училище у нас было в основном казачье, а казаки — народ музыкальный. Пели у нас на переменах, на прогулках, пели Соловьевы и Соколовы. Все больше украинские песни. Вторить я так и не научился, но в унисон пел, попадая в тон. У меня вдруг обнаружился сильный баритон, и наш учитель пения, чех Терсек, когда я иной раз, шутя, давал всю силу голоса, на которую

способен, разводил руками и говорил даже как бы растерянно: «Да у него здоровенный баритон!» Как я читал вообще и все вначале, так и музыку любил вообще. Но вот начался отбор. Первая музыкальная пьеса, которую я узнал и отличил, был «Жаворонок» Глинки. Его играла Леля Соловьева. И вместе с девочками Соловьевыми развивался музыкально и я. К тому времени я стал вдруг понимать Бетховена. *Largo e maestoso* [so] — из Седьмой, кажется, сонаты; Первая соната, Восьмая, Четырнадцатая, «Аппассионата». Шопена один вальс — кажется, орп. 59. И со свойственным мне подсознательным желанием остановиться, передохнуть, успокоиться — я очень неохотно соглашался слушать новое.

5 апреля

Учился я плохо. Тоска охватывала меня на всех почти уроках. «Сколько до звонка?» — спросишь одними губами, поймав взгляд одноклассника, имеющего часы. Он четыре раза сжимает и разжимает пальцы. Двадцать минут! Счастье, если это такой урок, на котором можно разговаривать или незаметно читать. Стены класса примерно до высоты человеческого роста выкрашены, кажется, клеевой краской, а повыше — выбелены. И я принимаюсь мечтать, что до границы краски наш класс наполнен водой и я плаваю, плаваю от стены к стене, потом выплываю в коридор. В шестом классе были развешаны на стенах литографии с картин Иванова — старая Москва, бояре, церкви, улицы. Я начинал раздумывать о старой Москве и о боярах. Большие таблицы, не раскрашенные, черные, без растушевки, штрихами изображали исторических лиц: Валленштейна, Гумбольдта. У кого-то из них — кажется, у большелобого Гумбольдта — улыбка менялась: она была то холодной, то ласковой — так мне казалось. И я считался с этим.

7 апреля

Зов таланта, если он у меня был, оказался достаточно сильным, чтобы увести от будней, но недостаточно сильным, чтобы найти дорогу к новой работе, к настоящей работе. Я понял прелесть свободы, но не догадывался, зачем она мне. Сколько верст прошел я по комнатам, зажигая то спирт, то газеты. Сколько я ходил по городскому саду, пьянея от движения, от воздуха, в котором с февраля уже угадывалась весна, а потом читал так же, пьянея и только.

4 мая

Я не могу слышать, когда о детстве или о молодости вспоминают снисходительно, с усмешкой, удивляясь собственной наивности. Детство и молодость — время роковое. Угаданное верно — определяло всю жизнь. И ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь.
<...>

24 мая

Наши школьные вечера всегда казались необыкновенными, все обязанности снимающими, все угрызения совести уташающими событиями. Что там думать о запущенных делах своих и о страшных уроках, когда завтра вечер! Да еще устраивались они, как правило, по субботам или под праздник. Значит, после вечера еще целый день, в который можно чего-нибудь придумать: дописать сочинение, на которое дано было две недели, а я еще к нему и не приступал. Довольно рассуждать. Реальное училище, переродившееся, потерявшее все признаки будней. На вешалках младших — пальто гимназисток, пахнет духами. В синих платяницах с белыми фартуками, таинственные, приводящие в мучительное смущение, оцепенение, едва только подумаешь о том, чтобы заговорить с ними, девочки. Я только кланяюсь и вглядываюсь. Где же Милочка? Издали вижу — не смею

видеть, — угадываю я знакомый ореол волос и синесерые глаза. И тогда праздничность и волшебность происходящих событий подтверждается. Я здороваюсь издали. Подойти не смею. Потом. Когда начнутся танцы. Умеющие рисовать дарят своим избранницам программы вечера — бристольский картон. Нарисованные на самом лучшем бристольском картоне розы, или фиалки, или пейзажи окружают старательно написанный текст: «Первое отделение — то-то и то-то, второе то-то — танцы». В зале стоят стулья для первых рядов, скамейки для последних. Для гостей и для хозяев.

25 мая

Освещены все длинные коридоры училища, а не только начала, как в те вечера, когда приходишь на занятия в физический кабинет. Налицо не только учителя, но и их жены. Все они вместе с членами родительского комитета будут сегодня помогать приему гостей: в одной из комнат, в одном из классов, вынесены парты, стоят столы с конфетами, пирожными, кипит огромный самовар, стоят в огромном количестве стаканы, блюдечки. Ложечки лежат грудой — прозаические, вероятно, оловянные ложечки нашей школьной столовой (на большой перемене мы получаем горячие завтраки). Но даже они не нарушают общего праздничного характера вечера. Впрочем, комната эта придет в действие много позже, во время танцев, а сейчас вечер только начинается. Бегают распорядители с бантами. Гуляют по коридорам гости — в начале вечера отдельно. Так же — отдельно девочки, отдельно мальчики — рассаживаемся мы в зале. Эстрады нет. Рояль стоит ближе к середине, перед первым рядом. Тут же выстраивается наш хор, которым дирижирует Терсек. Участвовал в этом хоре и я, когда был исполняем «Хор охотников» из оперы Вебера «Волшебный стрелок»... Маленький, стройненький, непоколебимо серьезный Миша Чернов обладал прелестным

дискантом. Однажды он пел что-то, а подпевали ему четыре мощных баса из семиклассников. Вот это был единственный случай, когда хор имел настоящий успех и бисировал. Обычно же ему вежливо хлопали. И только. За хором кто-нибудь читал. Или мелодекламировал, что было модно.

26 мая

Мне не хочется перечитывать все, что я писал о себе. Я не могу вспомнить, рассказывал ли я о своих выступлениях на училищных наших вечерах. Я выступал на них дважды: вероятно, в четвертом и пятом классе. Мелодекламировал. Один раз читал «Трубадур идет веселый» Немировича-Данченко, музыка Вильбушевича. Второй раз — «Каменщика» Вал. Брюсова, как сообщалось в украшенных акварельными рисунками программах из бристольского картона. Читал я и на вечере памяти Кольцова. Бернгард Иванович много возился со мной, добиваясь, чтобы из меня вытащить хоть что-нибудь, но результаты, видимо, получались средние, потому что Марья Александровна сказала: «Что это все ты да ты читаешь. Пусть Жоржик попробует» И Жоржик тоже однажды появился перед публикой. С обычной своей гримасой, выражающей у него смущение, которое он решил во что бы то ни стало преодолеть, Жоржик прочел под аккомпанемент Бернгарда Ивановича какие-то стихи и сделал это, несомненно, не хуже, чем я. Кроме «Трубадура» и «Каменщика» я читал в одном случае на бис «Нет, я не верю в смерть идеала». Вспомнил! Четвертое стихотворение было «Галилей»⁶. Четыре стихотворения на два выступления. Так полагалось.

28 мая

Затем выступал кто-нибудь из наших музыкантов — играл на скрипке маленький Терсек, иной раз составлялся квартет, струнный, забыл какой. Пел сильным металли-

ческим тенором Тер-Егiazаров: «За чарующий взор искрометных очей я готов на позор, под бичи палачей»⁷ — здоровенный, с синими свежевыбритыми щеками, почти без лба, невероятно волосатый... Читал юмористические стихи и рассказы Женька Гурский. В заключение играл оркестр мандолинистов, балалаечников и гитаристов. Оркестр готовился к выступлениям тщательно. Помню, как мой одноклассник Евгений Федоров (не писатель) звал со своей характерной картавостью: «Рлебята, вечрлом на сыгрловку». Два отделения заполнялись, таким образом, довольно плотно. Но самым привлекательным для меня был антракт. В антракте я, как правило, решался, наконец, подойти к Милочке. Я был с ней на ты. В те дни нашего долгого романа она была со мною ласкова; что же меня пугало? То самое, что определило судьбу моей любви и привело ее к печальному концу, — беспредельная, религиозная почтительность перед Милочкой. Впрочем, я и сейчас не пойму, — печальный ли это конец? Да, она не вышла замуж за меня... А впрочем, конечно, это было печально.

30 мая

Но вот оркестр из балалаек, мандолин и гитар в последний раз исполнял на бис обычно какую-нибудь украинскую песню и вставал, улыбаясь. Оканчивалось и второе отделение программы. Зал освобождали от стульев — частью выносили их, частью уставляли вдоль стен под репродукциями картин из Третьяковской галереи в светло-коричневых рамках... Когда зал освобождали, деревянная створчатая стена раздвигалась, и в классе, из которого парты к тому времени убирали, располагался с детства знакомый оркестр под управлением Рабиновича. Пол посыпали белым порошком. Мыльным, чтобы ноги скользили по крашеному деревянному полу, как по паркету. Воля Рудаков (сын нового податного инспектора, переведшегося недавно в Майкоп), стройный, красивый,

высокий и легкий, дирижировал вдохновенно танцами. «Вальс!» — объявлял он тенором и приглашал старшую Авшарову. И начиналась самая интересная, главная, богатая событиями часть вечера, от которой зависело все.

1 июня

К этому времени, то есть к началу танцев, я был уже в зале и после ряда ходов, не менее сложных, чем шахматные, оказывался рядом с Милочкой. То, что я подходил к ней в антракте, уже казалось мне событием устаревшим, не дававшим никаких прав, несмотря на то, что был ею встречен приветливо. Но вот я возле — до сих пор не смею сказать: «Мы вместе». Это слова грубые и отрезвляющие. Подойти мне удалось вместе с кем-нибудь из Соловьевых или заговорив с кем-нибудь из стоящих возле Милочки. Иногда я решался пригласить Милочку на какой-нибудь из легких танцев.

Но так или иначе, подойдя к Милочке, я не отходил уже от нее весь вечер. Но и тут я тщательно избегал (избегал, словно кощунства) всякого намека на мою влюбленность. Я был путаным, слабым, ленивым человеком, но одно во мне горело сильно и ясно полным огнем: это любовь к Милочке. Я иной раз писал на листе бумаги слово «Милочка» — и мне казалось, что даже в этом сочетании букв есть нечто необыкновенное, необъяснимо волнующее душу. О чем мы говорили? Обо всем. Об учителях, об училище, о товарищах и подругах. И если разговор завязывался, то вечер я считал счастливым и у меня появлялась тень надежды, что Милочка меня тоже не то чтобы любит, куда там, а выделяет. Разговаривали мы, гуляя по коридорам.

21 июня

В шестом классе мы держали выпускные экзамены. Первые выпускные. Никаких прав шестиклассное образование не давало, но тему для сочинения получали мы

из округа, задачи тоже, и рассаживали нас за столиками в зале, и весь педагогический совет присутствовал при начале экзаменов. В седьмом классе, который считался добавочным, все повторялось сначала...

Предполагалось, что выпускного вечера у нас не будет. Но вот кто-то из товарищей забежал сказать, что он все-таки состоится. И я, и без того полный счастья от того, что кончились благополучно экзамены, от лета, от хорошего дня (был дождь, но прояснилось) — совсем опьянел. И понял, что это только начало. Я не то что предчувствовал, что вечер будет счастливым, а был спокойно уверен в этом, как это изредка случается и сбывается в удачные дни. И вот он пришел. И я, как всегда, стоял у входа. И угадал Милочку еще издали, когда она шла, приближалась к калитке училищного двора, мимо решетчатого нашего забора, вместе с Олей Янович светлым июньским вечером. Но он успел уже потемнеть, пока кончилось первое отделение программы и я поговорил с Милочкой, и второе, когда я подошел к ней наконец. Во время перерыва в танцах мы вышли во двор сначала большой компанией, потом мы остались вдвоем, и наконец ушла и Оля. Ночь была ясная. Окна училища освещены. Мы подошли к бассейну, где у нас плавала единственная рыбка. И я, сделав над собой сверхъестественное усилие, спросил Милочку, что бы она ответила, если бы я объяснился ей в любви? Милочка сказала, что она не поверила бы мне, потому что я, как ей кажется люблю другую.

Кого же? Олю Янович. Я стал возражать, и постепенно мое объяснение из предположительного превратилось в утвердительное. Я был как в тумане. Страх я уже не чувствовал. Я упорно не соглашался ни на какие отговорки, настаивал на одном: «Милочка, я тебя люблю. Скажи мне, любишь ли ты меня». Конечно, я не смел говорить об этом так прямо, как написал сейчас. Я спрашивал: «Как ты ко мне относишься?» Васька, очевидно, не пришел на вечер, потому что я провожал Милочку домой. По дороге она попробовала сказать, что нам о

любви говорить рано, мы еще дети. Я резко возразил против этого, хотел сказать, что мне уже пятнадцать лет, но не сказал. Цифра эта показалась мне не слишком внушительной. И так мы шли темной, но ясной ночью и дошли наконец до Милочкиного дома. Но я не отпустил ее. Я преградил ей путь к калитке, упершись рукой в забор, и требовал ответа. Я требовал только, чтобы она ответила мне: да или нет. Если нет, я никогда больше не буду говорить с ней о своей любви. Если да, то я ее буду любить всю жизнь и никогда не оставлю ее. Таков смысл того, что я бормотал, стоя прямо против нее, упершись рукой в забор. Милочка молчала, опустив голову. Один раз начала, но запнулась на первой букве, а какой — «н» или «д», я не мог понять. «Если она скажет — да, надо будет ее поцеловать», — подумал я. Но она все молчала. Я чувствовал, что она не может сказать «нет», но радости не было в моей душе, потому что я был отуманен, ошеломлен необычностью происходящего, собственной моей непонятной мне настойчивостью. И вот вдруг Милочка сказала: «Да». Я сделал шаг вперед, протянув руки, и напугал бедную девочку. Она метнулась вправо и молча скрылась, я слышал, как побежала она по двору. А я пошел домой, не понимая, что произошло. Она сказала: «Да». Но я напугал ее. Она обиделась. Убежала. Но все-таки она ответила: «Да». Зачем я протянул к ней руки? Что будет? На все это я получил ответы, завтра, 9 июня. Вот что произошло сорок лет назад.

22 июня

Утром 9 июня старого стиля, то есть ровно сорок лет назад, я проснулся с ощущением неблагополучия. Я уже не помнил, что Милочка сказала мне: «Да», не придавал этому значения. Передо мной стояло одно: Милочка, когда я хотел ее поцеловать, протянул к ней руки, сделал шаг вперед, — ужаснулась, рванулась в сторону и убежала. Я шагнул вперед молча, неуклюже. Зачем я это

сделал? В середине дня меня известили, как вчера, что у гимназисток будет вечер выпускниц и мы приглашены. Мне стало как будто полегче. И вот я пришел на вечер в женскую гимназию...

Первое, что я обнаружил, придя на вечер, — Милочка не пришла! Я стал искать ее. Вышел на улицу. Крачковские жили совсем близко от гимназии. Дошел до поворота к ним. Милочки нет. Тогда я попросил Олю Янович и Лелю Соловьеву пойти узнать, что с ней. Это было так же несвойственно мне, как и мое вчерашнее поведение: я посмел показать свои чувства! Но Оля и Леля не удивились и не смутились, а очень просто согласились. И через полчаса вернулись с Милочкой. Но Милочка едва поздоровалась со мной. Я пришел в отчаянье. Студент Шапошников залюбовался Милочкой и попросил меня познакомить его с ней. Я резко отказал, чем крайне удивил его. А я подошел к Милочке, которая упорно не отходила от подруг, и сказал, что хочу поговорить с ней. Она пожала одним плечом, но послушалась. И вот, ходя взад и вперед по дворику, освещенному гимназическими окнами, мы объяснились. Я ходил, срывал листики акаций, сдергивал в пучок и был счастлив. Ровно сорок лет прошло.

23 июня

10 июня сорок лет назад я проснулся с ощущением счастья. После вчерашнего разговора я был переброшен в новый мир. Я, бродя с Милочкой взад и вперед по гимназическому длинному дворику, выяснил все: что она в самом деле рассердилась на меня вчера. (За что? Это не было названо.) Но теперь — прощает. (Почему? Это не было тоже сказано. Я был так сокрушен своей дерзостью, что даже назвать ее не смел. Подумать даже не мог о таких словах: «Милочка, прости за то, что я хотел тебя поцеловать».) Теперь я понимаю, что мы говорили обо всем этом, но другими словами. И она подтвердила, что

любит меня тоже. И мы с наслаждением стали говорить о том, что до сих пор только смутно угадывали. О том, когда она впервые заметила, что я люблю ее, о разных встречах в прошлом, несчастных и счастливых, и о том, почему это получалось так. Но вот загредел последний марш, и Милочка простилась со мною. Кто-то из подруг ночевал у нее, поэтому проводил я ее только до уголка. Я сказал шутливо, что, как рыцарь, буду стоять тут на углу, ждать, пока она не дойдет до дому. И мы расстались. Днем я встретил ее с Олей, и мы немножко поговорили, и Милочка была со мной ласкова. И этот день я причислил к счастливым. Вечером у папы играли бетховенские квартеты. Он играл первую скрипку, сердился, останавливал партнеров, но вот, наконец, они сыгрались, а я сидел в уголке и слушал. Впервые со всей ясностью ощутил я, что произошло, и поверил, что можно радоваться. Эти дни сорок лет назад во многом определили мою жизнь. Началась полоса радостей, а больше мучений такой силы, что заслонили от меня весь остальной мир. История с неудавшимся поцелуем тоже определила многое. Я был немислимо почтителен к Милочке. Я не смел «назначать ей свидание», самая мысль об этом приводила меня в ужас. Поэтому я бегал по улицам, искал встречи. Я не смел сказать ей ласкового слова. Но любил ее все время. Всегда. Из всех сил.

26 июня

... Этим летом, то есть летом 12 года, мы — я, мама и Валя — поехали в Анапу. Я долго ловил на улице Милочку, чтобы сказать ей об этом, да так и не поймал. И уехал. О том, чтобы переписываться с ней я, конечно, все равно и не заикнулся бы. И передать записку через Олю или кого-нибудь еще, что, мол, до свидания, Милочка, уезжаю, я и не подумал. Это было бы неслыханной дерзостью. Ехали мы в Анапу не через Туапсе, а железной дорогой, через Екатеринодар, до станции Тоннельная. Там

мы наняли извозчика и отправились в Анапу. Эта дорога тоже очень памятна мне. Шла она полями и степью все вверх да вверх. Хуторок в деревьях с палисадниками, дети бегут за фаэтоном, бросают букетики полевых цветов, и снова пыльная дорога все вверх да вверх. Но вот подъем достиг высшей точки, и мы видим синюю, знакомую, вечно праздничную пелену моря. Не пелену. Нет. Мы видим море, и каждый раз, хоть мы и ждем этой встречи, но удивляемся радостно, и я, и мама, и Валя: «Море!» Поселились мы в комнатке с выбеленными стенами и кривым зеркалом, и началась анапская жизнь. Мы отправлялись с утра к морю, а потом я сбегал. Я никогда в жизни не любил в жару подолгу лежать на солнце. Меня через двадцать минут охватывала тоска. Я купался, плавал как можно дольше, одевался не спеша, но к двенадцати часам мне уже нечего было делать на море. И я тянулся, не спеша, по главной улице с бульваром, мимо магазина с рыбками, раковинами, сушеными крабами, тросточками, открытками к городскому саду.

27 июня

В то лето мой дядюшка-адвокат, как и все Шварцы того поколения, страстно влюбленный в театр, решил попробовать себя в качестве антрепренера. Стройный, густоволосый, толстогубый, как все Шварцы того поколения, скорее негритянского, чем семитического типа, он вызывал у меня зависть, которую я тогда не понимал ясно. Я завидовал и восхищался. Цельность, простота и сила моих старших родственников — вот что вызывало чувство, похожее на ревность. Бог дал им силу, а меня обошел. И в тоске по простоте я искал у себя шварцевских черт и не находил. А они любили говорить: «Пошварцевски», «Мы, Шварцы» и так далее. В маленьком летнем анапском театре в это время обычно шла репетиция. Саша взялся держать антрепризу для того, чтобы играть. Он играл героев-любовников под псевдонимом,

если я не ошибаюсь, «Молотов». К этому времени в труппе все успели уже перессориться. Если мне удавалось проникнуть в пустой зал, то репетиция не доставляла мне никакого удовольствия. Артисты либо репетировали в полтона — нет, в четверть тона, — с таким видом, будто делают кому-то величайшее удовольствие. (Я хотел сказать — одолжение.) А еще чаще они не репетировали, а препирались. Саша — бритый, в белом костюме, с широким резиновым поясом, заменяющим в те времена жилет, — брал в этих боях верх — во всяком случае, на словах. Он принадлежал к числу тех людей, которые умнеют, когда сердятся. Он заставлял противников умолкнуть, но положение от этого не упрощалось. Актеры умолкали, но пожимали плечами и сохраняли негодующее выражение на бритых своих лицах. Беда была в том, что дело прогорало, а в таких случаях сохранять уважение к антрепренеру было бы нарушением всех актерских привычек. Анапская газета, в довершение всех бед, ругала труппу и холодно отзывалась об игре г-на Молотова. Из всей труппы запомнил я только Урванцова, фамилию которого встречал в журнале «Театр и искусство». Он писал для «Кривого зеркала» пьесы, имевшие успех, и считался настоящим петербургским артистом. Но и он был сердит и репетировал едва слышно.

28 июня

Кончилось дело тем, что комическая старуха ушла из труппы как раз перед Сашиным бенефисом и он попросил маму выручить — сыграть характерную роль в какой-то пьесе, которую я забыл начисто. На спектакле я не был: оставался с Валея. Но в газете появилась рецензия, в которой о бенефицианте писали холодновато, а маму очень хвалили, радовались, что труппа приобрела такую сильную актрису. Похвалу эту мама приняла не пошварцевски: прочла ее недоверчиво и весь день была не в духе. Больше она не играла. Я посмотрел у Саши только

один спектакль: «Темное пятно». В театре, полупустом, на стенках висели объявления: «Просят занимать места согласно взятых билетов», что мне казалось неграмотным и увеличивало недоверие ко всему учреждению. Но немецкая комедия, где главного героя (адвоката-негра) играл Саша, увлекла меня. Саша играл с английским акцентом и был и в самом деле похож на негра. Не только цветом лица. Актеры забыли, что они в ссоре. Малочисленная публика подобралась удачно, много аплодировали, смеялись. Если бы я думал о Саше с осуждением: как мог молодой адвокат, на хорошем счету, заняться антрепризой — то во время этого спектакля понял бы его поступок. Но я и без того не осуждал Сашу. Это ему шло.

11 июля

...Лето 1912 года незаметно-незаметно перешло в осень, а каникулы — в последний год учения в майкопском реальном училище; я был полон одним: своей неизменной любовью, поэтому все внешние изменения проходили где-то за пределами жизни. Занятия, уроки, будни, праздники — все это было фоном, который был сознаваем по одному признаку: мешал он или способствовал встречам с Милочкой. Но я менялся.

12 июля

Правда, все по-прежнему я развивался душевно и отставал умственно, как и всю мою жизнь. Но душевная жизнь заставляла меня и задумываться. Вот тут и образовалась особенная манера думать: лицом к лицу с предметом, о котором я писал. А кроме того, произошло событие, определившее мою жизнь. Произошло это так. Осень стала вполне осенью. Прошел день моего рождения, 8 октября, и мне исполнилось шестнадцать лет. Я часто теперь встречался с Милочкой. О свидании я, конечно, и думать не смел. О том, чтобы назначить свидание. Я ловил ее на улице, по дороге в библиотеку. Первая

ученица в классе, Милочка кроме того читала так же много и беспорядочно, как я. Я уговаривал ее, когда она выходила, переменяя книгу, пойти погулять в городской сад, и она соглашалась, молча поворачивая в боковую аллею. Иногда она сама поворачивала туда. Это время было самым трудным в истории наших отношений. Мы еще дичились друг друга. Говорить было не о чем. И осенний сад с мокрыми деревьями — в эти часы и в такие дни я не бывал в нем до сих пор — глядел незнакомо и неласково. Но я стал писать в эти дни. И произошло вдруг то событие, о котором я говорил. Я писал стихотворение, как всегда, очень приблизительно зная, как я его кончу. Писал просто потому, что был полон неопределенными поэтическими ощущениями. И вдруг мне пришло в голову, что я могу описать облако, которое, как палец, поднялось на горизонте. Я его не видел, а придумал. И это представление, с непонятной мне сегодня силой, просто ударило меня. Не самый этот образ, а сознание того, что в стихотворении я хозяин. Что я могу придумывать. Эта мысль просто перевернула меня. Я хозяин! И я написал стихи о распятии, очень плохо вырезанном деревенским плотником, но перед которым, плача, с деревенской верой молилась женщина. Я был в восторге.

13 июля

Эта выдумка тоже с неожиданной силой осветила, или, не знаю как сказать, переделала, мою привычную систему писать. Нет, даже способ жить. Я не могу теперь объяснить, что особенно необыкновенно значительное чудилось мне в этой выдумке. Но я помню чувство счастья, когда описывал погоду, в которую молилась у креста женщина. Я до такой степени ясно представил себе камни возле дома Санделя — камни, на которых появились точки от дождевых капель, камни «рябые от дождя», как я написал, — что даже сегодня это стихотворение, когда я стал вспоминать его, показалось мне связанным с

квартирой Соколовых. Потом я описал заросли мака по дороге к «камням» за Белой. И это ощущение огромного хозяйства, мне принадлежащего, — состоящего из вещей и пережитых и найденных, не случайных, а передающих то, что мне нужно, — перевернуло мою жизнь. Я словно заново научился ходить и смотреть, а главное — говорить. Полная моя невинность в стихотворной технике не только не мешала, а скорее помогала. Я просто ломал размер. Я обожал Гейне в чтении Бернгарда Ивановича, и размер его стихов помог мне втискивать то, что я хочу, в мои разорванные стихотворные строки. Кроме того, мне помогло следующее событие. Я за это время получил право заходить внутрь библиотеки, к книжным полкам, выбирать себе книги. И я вытащил книжку небольшого формата с непривычного цвета переплетом. Открыл ее и прочел: «Целовала их ночь в глаза»⁸. И эта строчка ударила меня и словно раздвинула границы моего хозяйства еще шире. Это были пьесы Блока. Я прочел заглавие и положил книжку на место. Мир мой расширился, но лень и страх перед напряжением, усилием, перед новыми открытиями пребывали в нем по-старому. Я прочел из Блока всего одну строчку и стал его хвалить чуть не в каждом разговоре с Фреем и Юркой Соколовым, но прошел год, прежде чем мне попались его стихи. А пьес я так и не трогал. Итак, я писал помногу — целые поэмы.

14 июля

Названия этих первых вещей я помню до сих пор: «Мертвая зыбь», «Четыре раба», «Офелия», «Похоронный марш»⁹. Были эти стихи необыкновенно мрачны. Я был до того счастлив в то время, что не боялся описывать горе, мрак, отчаяние, смерть. Для меня все эти понятия были красками — и только. Способом писать выразительно. Я нашел способ что-то высказывать, говорить свое — и вместе с тем как это было скрыто, запрятано за

картинами вроде той, что я описывал: дождь, распятие, вырезанное деревенским плотником, женщина, плачущая у этого уродливого креста. Рассказывалось все это тяжело, нескладно, но я был счастлив и доволен... Я овладел (или нашел дорогу к овладению) тем, что стало для меня и верой и целью, самым главным в жизни, как я теперь вижу. Я нашел дорогу к писательской работе. Понял, что есть вещи и я. И я тут полный хозяин. И все. То, что я писал, было, конечно, чудовищно. Это было бормотанием одиночки в пустыне. Но я бормотал не что придется, а высказывался. Прошло, вероятно, с полгода, пока я прочел свои стихи Милочке. Прочел сам, ибо непривычный человек не мог бы поймать мой размер. Читал я, объясняя и доказывая, что тут я хотел сказать и как хорошо сказал. И Милочка иногда соглашалась со мной, а иной раз, по правдивости своей, не скрывала, что стихотворение ей не понравилось. Любопытно, что чужие стихи раздражали меня. Хвалил я одного Блока, не читая его. Пушкин не открылся мне. Лермонтова не понимал. Конечно, я схватывал нечто у своего времени, у своих современников, но бессознательно. Прочел я два стихотворения Маяковского, напечатанные, кажется, примерно в это время в «Новом сатириконе», — и пришел в восторг. Мне почудилось, что у нас есть что-то общее. Но не искал других его стихов, не испытывал потребности. «Потом как-нибудь». И писал с каждым днем косноязычней. Я-то понимал, о чем бормочу, и радовался.

15 июля

Овладев этой своей дорожкой, я стал смелее и увереннее. Теперь я не сомневался, что «из меня что-то выйдет». Самомнение мое умерялось одним только сознанием: «Еще никто не знает, что я за молодец».

Я стал много спокойнее и увереннее, особенно вне дома. Я изменился, а в семье все осталось по-прежнему. Вот тогда-то Юрка, по своей манере начиная, и отдумыв-

вая, и снова набирая дыхание, сказал, наконец, по зрелом размышлении: «У вас нет семьи. Поэтому ты ищешь ее у нас или у Соловьевых». У нас и в самом деле семьи не было... Всё ухудшалось и отношения с Бернгардом Ивановичем. Он с чуткостью ненависти заметил, что я стал много самоувереннее, чем раньше, и считал, что никаких оснований для этого у меня не имеется. С остальными же, от одноклассников до знакомых, отношения мои сильно улучшились. Несмотря на то, что я писал мрачные стихи и иногда и в самом деле приходил в отчаянье, в основном я был весел, и не просто, а безумно весел, и часто заражал этим свойством моих друзей. Кажется, в это же время я спросил Юрку Соколова, когда мы гуляли в леске за Белой, умен ли я. Усмехнувшись, Юрка дал уклончивый ответ. И когда я удивился и обиделся, он ответил: «Чудак ты, — да разве дело только в уме?» О Фрее же он говорил: «Вот очень хорошо устроенная голова». Оба они уже окончили в это время реальное училище и готовились в университет. Точнее, готовили латынь, чтобы поступить в университет. Мы снялись втроем у Лабунского, который считался лучшим фотографом, чем Амбражевич. Вот эта фотография. Оба расписались на память и оба пародировали меня. «Хуже всего быть лишним и смешным», — сказал я Оле Янович как-то, когда мы возвращались от Зайченко¹⁰. А они подслушали. А «хорошо замечено» — я говорил, хваля прочитанное.

17 июля

Зимою приехала в Майкоп опера. Откуда? Не помню. Шли «Аида», «Кармен», даже «Борис Годунов». Это было событием. Бернгард Иванович имел с нами предварительную беседу о предстоящих спектаклях. Одни оперы он хвалил больше, другие меньше. Вспомнив, как он играл нам дома «Кармен» и хвалил эту оперу, я поторопился назвать и ее. Но в ненависти своей ко мне Бернгард Иванович, не глядя на меня, заявил: «Многие

до сих пор считают, что «Кармен» не опера, а оперетта». Я к этому времени знал историю оперы. Фрей рассказал мне, что говорил о ней Ницше — со слов Фрея я имел представление об этом философе, примерно такое же, как по одной строчке о Блоке, и относился к нему с уважением. (Сейчас понял, как я развивался. Я делал прыжок, а потом надолго задерживался на одном месте, отбрасывал в страхе то, что могло бы заставить меня идти дальше. Поэтому ровно идущие сверстники то отставали, то перегоняли меня.) Я любил «Кармен» еще и вот почему. Летом в Анапе я иной раз вечером шел в городской сад, где в белой музыкантской раковине, выходящей на большую площадь среди низких кустов, играл довольно хороший оркестр. Они вывешивали в рамке, справа от раковины, программу концерта, что мне казалось признаком высокого мастерства. И вот там, впервые в жизни, я услышал Антракт к четвертому действию «Кармен». Когда после первых аккордов и мелодии все инструменты — нет, скрипки — трелями пошли подниматься все выше и выше, захваченная врасплох вялая душа моя очнулась и тоже вплелась в это движение, понеслась ввысь. Это было такое ясное, почти зрительное ощущение движения именно вверх, под углом, что я изумился и обрадовался этому чувству, как подарку. А Бернгард Иванович обругал оперу! Тем не менее я пошел ее слушать. Слушал и «Аиду», и «Бориса Годунова» — и вот тут оперу я полюбил. На всех представлениях в первом ряду сидел Бернгард Иванович. Он сказал, что удивлен: оркестр небольшой, но хороший, отличный дирижер, есть и приличные певцы, в особенности баритон. После этого разъяснения мы стали слушать оперу еще доверчивее. С восторгом.

18 июля

Тут я впервые услышал об успехе «Бориса Годунова» в Париже, о Дягилеве, о Баксте, о Русском балете.

О балете говорили не с монашеским интеллигентским насмешливым осуждением, а как о высоком искусстве. Говорил Фрей, который читал и знал много больше меня. Для Юрки все это не было новостью. Я помню, как после «Бориса» он говорил, что французам вещи, нам столь близкие, должны казаться загадочными, — Восток! Так прибавилось имя Дягилева, Анны Павловой, Бакста к представлениям об искусстве, существующим у меня. С фантазией лентяя представлял я себе, что это за постановки, что это за художники, что это за актеры. С боязливой фантазией — а вдруг все это окажется не так, как я представляю себе? И я не читал ничего о них, бегло просмотрел эскизы Бакста — и со страхом почувствовал, что они кажутся мне слишком красивыми, и задушил эту мысль. И всем расхваливал Дягилева и «Мир искусства», как Блока — по одной строчке. Сейчас вдруг мне показалось, что, может быть, в этом страхе было здоровое ощущение, что мне предстоит своя дорога, что на учение я туповат? Кто знает. К приезду оперы мы с Милочкой уже часто ссорились, что было естественно, и я стремился скорее, любой ценой выпросить прощение, помириться в тот же день, что уже было неестественно. У нас в реальном было особое выражение: «солка». Это значило — насолить той, в кого влюблен, если поссорился с ней. Не подходить к ней на вечер. Умышленно ухаживать за другой. Кто-то из наших, на вид грубоватый куркуль, сказал, что в любви «солка» — самое главное. И Юрка сказал, что после этих слов он почувствовал к нему уважение. Вот это было для меня больше чем недопустно — мне просто и в голову не приходило хитрить, обижать Милочку умышленно, чтобы наказать. Я был прямо и открыто влюблен, да и только. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен. Узнал я это на одной из опер. За день до этого мы собирались к Зайченко. Милочка сказала, что она не пойдет. Отказался идти и я. В театре из разговоров в антракте выяснилось, что Милочка все-таки была у Зайченко. Я не

посмел обидеться. Каково же было мое удивление, когда Милочка, выбрав минутку, попросила меня: «Не сердись». «Не сердись», — повторяла она с наслаждением.

19 июля

И меня осенило — таков был мой излюбленный способ мыслить (я хотел сказать — единственный способ думать) в те дни. Единственный доступный для меня. Когда Милочка с явным, глубоким наслаждением сказала: «Не сердись», меня осенило: она в глубине души жаждет властного мужского обращения. А я, дурак, молюсь на нее, выпрашиваю чуть-чуть любви, не смею даже спросить, в котором часу она пойдет в библиотеку. И часто потом Милочка говорила мне «Не сердись» без всякого повода с моей стороны. Но от понимания до действия у меня было так далеко! Я был связан по рукам и ногам страшной силой своей любви. Или своей слабостью? Однажды мы шли вечером через большой пустырь, тот самый, где в 1905 году я увидел первый в моей жизни митинг, где ходили канатоходцы, крутились перекидные качели и вертелись карусели на Пасху. Теперь тут было пустынно, темно. Мы остановились возле остатков какого-то решетчатого забора. Видимо, кто-то когда-то собирался огородить эту площадь, да и раздумал. Мы, как это бывало часто, ссорились. Выясняли отношения. Слова «наши отношения» я повторял так часто, что Милочка воскликнула однажды: «Не могу я больше слышать этих слов», — после чего меня осенило, что я дурак. Но тем не менее я продолжал расспрашивать Милочку, любит ли она меня, не кажется ли ей это и так далее, при каждой встрече. Что-то подобное, вероятно, происходило и на этот раз. И в пылу ссоры, чтобы уверить Милочку в чем-то, я взял ее за руку — и сразу умолк. Замолчала и она. Это было счастье, какого я не переживал еще. Счастье особенной, освященной силой любви — близости. Так мы и пошли — потихоньку, молча, держась за руки, как

дети. С этого скромнейшего прикосновения началась новая эра в истории нашей любви. Ссориться мы стали меньше. При каждой встрече я брал Милочку за руку. Ее чуть полная, по-детски, кисть, чуть надушенная духами, которые я узнаю и теперь, серо-голубые глаза, ореол светящихся надо лбом волос — вот что заслоняло от меня всю жизнь. И однажды я обнял Милочку за плечи.

20 июля

Дело уже шло к концу учебного года. Пришла ранняя майкопская весна. Теперь мы добирались домой дальними дорогами, спускались вниз, к Белой, шли дорожкой между кустами, где, по майкопскому обыкновению, то пахло цветами и тополем, то тянуло человеческими отбросами. Проходя узкой дорожкой между деревьями, мы иногда останавливались, и я обнимал Милочку, и она опускала мне голову на плечо, и так мы стояли молча, как во сне. И много-много времени прошло, пока я осмелился поцеловать ее в губы. И то не поцеловать, а приложиться осторожно своими губами — к ее. И все. За все долгие годы моей любви я не осмелился ни на что большее. В 21 году, когда мы переехали в Ленинград и мне казалось, что я погубил свою жизнь, я уходил на Васильевский остров, на Средний проспект, к тому дому, где встречались мы с Милочкой в последние месяцы моей любви. Я смотрел на окна ее комнаты, и мне казалось, что, будь она моей женой, вся моя жизнь была бы другой. Не знаю, было бы это на самом деле? Но тогда я бывал от этих детских ласк, от стихов, от весны как в тумане. И если бы мне сказали, что Милочка выйдет за другого, — я просто не поверил бы. Это было бы уж слишком страшно. О нашей, нет, о моей любви знали все. И вот однажды Василий Соломонович позвал меня в свой кабинет после уроков. Он спокойно и серьезно, без тени раздражения, спросил меня, не хочу ли я остаться на второй год? Нет ли у меня для того особых причин?

Если нет, то он предлагает мне подтянуться, иначе меня не допустят к экзаменам. Я сказал, что причин таких у меня не имеется, и обещал подтянуться. Оказывается, на совете (в дружеских, правда, тонах) говорили о моей влюбленности и высказывали предположение, что я хочу остаться на второй год из-за Милочки: в женской гимназии было восемь классов — следовательно, она кончала школу свою годом позже меня. И я стал изо всех сил стараться исправить свои отметки. Страх второгодничества еще крепко сидел во мне.

21 июля

Вот пришел день последней классной работы по аналитической геометрии. Решил я задачу правильно — мой ответ совпал с ответами остальных. Как всегда, раздавая тетрадки с отметками, Василий Соломонович говорил каждому несколько слов о его работе. Моя тетрадка лежала последней. Взяв ее, Василий Соломонович улыбнулся и сказал: «Вот как мы с вами кончили учебный год». Задача была решена на пятерку. Мне удалось догнать класс — не слишком-то, впрочем, надежно.

24 июля

Пришли дни последних выпускных экзаменов, месяц прощания с майкопским реальным училищем. Как и год назад, добыл я картонку от счетной книжки — от переплета счетной книжки такого же примерно формата, как та, на которой я пишу. На картонке этой я написал расписание выпускных экзаменов и вычеркивал потом с суеверной тщательностью, как в прошлом году, каждый из них после того, как я сдавал его. Изменившийся строгий зал наш с далеко отставленными друг от друга столами. Дружная майкопская весна, уже, в сущности, лето. Первый экзамен — по русскому языку. Василий Соломонович прочитывает вслух и потом пишет на доске не совсем обычную тему: «Влияние воспитания на об-

разование характера по роману Тургенева «Дворянское гнездо» — и не помню еще по каким сочинениям. Помню, что я доказывал, что воспитание не является единственным влиянием в образовании характера. Получил я за сочинение свое четверку. Зато едва не провалился по аналитической геометрии, сделав неправильный чертеж: в припадке затмения я не поместил вершину эллипса на пересечении координат. За письменную работу я получил двойку и выплыл с трудом на устной. Выплыл я и на физике и получил тройку по Закону Божьему, — два самых опасных для меня экзамена. Со второй половины экзаменов страх почти пропал, волновался я больше из суеверия. Дни, назначенные на подготовку, мы занимались с утра до вечера. Потом собирались рано утром в опустевшем уже училище: — занятия в младших классах и их экзамены уже кончились. И мы выясняли, как сегодня вызывают: по алфавиту или с начала и с конца. Если по алфавиту, то я был свободен на час-другой. Ведь в седьмом классе от сорока пришедших в приготовительный класс осталось человек восемь, а с второгодниками было нас всего двадцать с чем-то. И когда, ответив и получив очередную тройку, я выходил из училища, то было обычно около часу. И я шел в городской сад.

25 июля

Итак, шло лето 1913 года, и я сдавал последние мои экзамены. В неопытной детской человеческой майкопской среде я занимал свое место. И все происходящее — и страшные экзамены, и мучения, которые причинял рост моей любви, — все это радовало скорее. Я живу! Иногда напряженная радость жизни приводила к тому, что я приходил в восторг от самого себя. Я верил, что я замечательный человек: из-за моих стихов, из-за любви — не знаю из-за чего. Мне нравилось теперь разговаривать с людьми. Я перестал их бояться, но еще больше теперь зависел от них.

26 июля

До первых чисел июня собирались мы в опустевшем училище, никак не понимая, что кончается огромный период нашей жизни и мы расстаемся навеки. Очень уж весело нам было в то время. До того весело, что мы не говорили, а орали, не ходили, а бегали. Шум в пустых и гулких коридорах училища поднимали мы такой, что Михаил Осипович Чехагидзе, наш надзиратель, то и дело бегал нас успокаивать. На балконе, расположенном на крыше широкого крыльца, на стенах у стеклянных дверей, ведущих в зал, мы расписались все на память, а я нарочно крупнее всех, да еще обвел фамилию свою рамкой. На беду расписался я химическим карандашом, и, когда прошел дождь, фамилия моя выступила с ужасающей ясностью. И Бернгард Иванович вызвал меня на балкон и, не глядя на меня из ненависти, так отругал, что я совсем забыл о том, что живу взрослой, сложной и счастливой жизнью. Так я получил свой последний выговор в училище. И печальнее всего было то, что [я] любил Бернгарда Ивановича и восхищался им, несмотря ни на что. Так мы и расстались, не объяснившись и не договорившись. Но самым счастливым временем тех дней были поиски Милочки. Свидания все не назначались, я должен был искать ее. В городском саду я угадывал ее издали-издали, стоило только ее косам мелькнуть и просиять на солнце. Помню день, когда я уже не надеялся найти Милочку, пришел в отчаянье и вдруг увидел ее за оранжереей, за домиком садовника. И когда я подошел к ней, задыхаясь, запаренный, и спросил: «Наверное, у меня дикий вид?» — она молча и с нежностью взглянула на меня.

27 июля

Встречи наши усложнялись еще и тем, что Варвара Михайловна терпеть не могла меня. Она обожала Милочку и каждого, кого считала возможным женихом, каждого, кто влюблялся в нее, начинала ненавидеть всеми си-

лами своей измученной, сердитой души. Когда о моей любви заговорили на педагогическом совете, там, на мою беду, присутствовала и Варвара Михайловна как член родительского комитета. Она всячески нападала на меня и до этого. Нападала в разговорах с Милочкой. Уничтожала меня в ее глазах, действуя очень разумно: доказывала, что я неряха — вон, мол, брюки чуть не до колен в майкопской грязи. И волосы растрепаны. И козырек на фуражке висит — надорван с одной стороны. И неловок — не танцую, горблюсь. И плохо учусь. От Милочки я знал об этой вражде, которая еще выросла после педагогического совета. «Если при мне так говорят, то что же говорят за глаза!» — сказала она Милочке. Из-за всего этого встречаться нам приходилось, соблюдая осторожность. Боюсь, что Милочке доставалось от матери сильнее и чаще, чем я думал. А она, Милочка, жалела ее и любила. Итак, шли последние экзамены, дни стояли удивительные. В эти как раз дни Леля играла «Grillen» Шумана, и достаточно мне услышать эту вещь, как прошлое не вспоминается, а воскресает во мне и теперь... Как раз в эти дни уезжал сдавать латынь Юрка Соколов. Уезжал он на этот раз в Армавир. Вечер. Мы стоим возле соловьевского дома и говорим о предстоящем событии. И Юрка говорит, что если и теперь он не выдержит экзамена, то это будет ужасно. Хоть умирай. Почему? Выясняется, что он старше меня чуть ли не двумя годами. Ему скоро восемнадцать. И эта цифра поражает и меня. Но он возвращается веселый из Армавира. Экзамен сдан, и он посылает свои документы на естественный факультет Петербургского университета. Закончились и наши экзамены двумя выпускными вечерами — нашим и гимназическим. Все. Безумно веселый, все понимающий и ничего не понимающий, стою я на пороге жизни и не сознаю этого.

28 июля

Мне выдали аттестат об окончании реального училища. Кем быть? Я давно решил стать писателем, но говорить

об этом старшим остерегался. Считалось само собой разумеющимся, что я должен после среднего получить и высшее образование. Но куда идти? Казалось бы, что самым близким факультетом к избранной мной профессии был филологический. Но для реалиста он был невозможен из-за латинского и греческого языков. И как все, не знающие, куда идти, я выбрал юридический факультет. В этом году, ввиду незнания латыни, я не мог поступить в университет. Но в Москве открылся Коммерческий институт, куда ушли все лучшие профессора из университета после разгрома Кассо¹¹. Старшие решили так: послать мои документы в Коммерческий институт. Если меня туда не примут, то все-таки жить в Москве, слушать лекции в университете Шанявского и готовить латынь, которую и попытаться сдать в декабре. И вот и мои документы уехали в Москву. Теперь мне более печально расставаться с реальным, чем тридцать девять лет назад. Подожду еще. Буду рассказывать то, что я забыл. В седьмом классе Бернгард Иванович заново поразил нас — он преподавал в седьмом классе законоведение. Юрка Соколов сказал по поводу этих уроков: «Его нервная система работает вдесятеро быстрее, чем моя». Его красноречие было редким, да, пожалуй, я в жизни не видел подобного оратора. Как в шутках своих, и в манере преподавать он был смел, повелителен и парадоксален. И в речах своих (а уча нас законоведению, он именно произносил речи, а не рассказывал по-учительски) он был своеобразен, смел. Он говорил бурно, быстро, ясно и, когда хотел, шутливо. И металлический тенор его весной, когда были открыты окна, отчетливо слышался на другой стороне улицы. Кончив речь, он заставлял нас выступать, причем непременно выходя со своего места, становясь перед партами лицом к классу. «Приучайтесь говорить. В высших учебных заведениях вам придется выступать на семинарах, читать рефераты». Я был смел в те дни и поэтому выступал довольно часто, применяя все тот же единственный мой метод мышления: лицом к лицу с предметом.

11 августа

У папы на письменном столе лежали длинные полоски бумаги для рецептов. Вот на них-то я и писал свои стихи, писал часто, чуть не каждую ночь — ведь они давались мне легко. И становились все неуклюжее — как я убедился в 23 году, перечитывая их с ужасом.

20 августа

Мне купили костюм, готовый, у Богарсукова. У Чумалова купил я галстук и воротничок 37-й номер. Мы собираемся в Москву. Из Коммерческого института ответа все нет, но у папы отпуск, и он решает провести его в Москве, поработать у кого-нибудь из светил-хирургов, что тогда было принято, и заодно пристроить меня куда-нибудь, если не в Коммерческий институт, то к Шанявскому, чтобы год не пропадал. И мы едем. Незадолго до этого произошло крушение на станции Сосыка. Мы видим обожженную траву под откосом. Обломки вагонов. В первый раз в жизни попадаю я в вагон-ресторан — и радуюсь блеску судков, огромным окнам, мягкому стуку колес. Мы едем в III классе, и я считаю это вполне понятным, даже хорошим тоном. Так ездят и Соловьевы, и Истамановы, и даже Зайченко, люди состоятельные...

Едем по Курской дороге.

21 августа

<...> В Москву мы приехали вечером и остановились на Тверской в меблированных комнатах «Мадрид» или что-то в этом роде. Помещались они во втором этаже, примерно на том месте, где Театр им. Ермоловой. Утром вышел я взглянуть на Москву. Чужой, чужой мир, люди, люди, люди — и всем я безразличен. Отвратительная суета, невысокие грязные дома, множество нищих, жалкие извозчики одноконные, с драными пролетками. Я спустился к Охотному Ряду — грязь, грязь, и дошел до Большого театра. Вот он мне понравился...

В Коммерческом институте чужие и враждебные канцелярские служащие порылись в каких-то списках и сообщили: «Не принят за отсутствием вакансии».

22 августа

Кажется, Малая Бронная была продолжением Владимиро-Долгоруковской, вела к Тверскому бульвару. Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый полупьяный, в картузах и сапогах, народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных, возле кино. Босяки, страшные, хриплые проститутки — тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица! Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Обман, мираж, выдумка старших. Где сорок сороков? Бедные, подмокшие на осенних дождях церквушки теряются среди грязных домов.

23 августа

Храм Христа Спасителя поражал своим невиданно огромным золотым куполом, но я знал, что знатоки не одобряют его и считают просто несчастьем, что витберговский проект не был осуществлен¹². Я пошел в неряшливо содержащийся Кремль. По его булыжной мостовой трещали колеса пролетов, проезжали ломовики с рогожными тюками, что казалось мне тоже признаком чисто московским. Рогожное богатство. Не понравился мне и дворец. Старая Русь и николаевская перемешаны, как в московской солянке. Общее было — рогожная, неряшливая, осенняя московская окраска. И духа истории поэтому не ощутил я в Кремле. Старая — отодвинута, новая — в Петербурге. Соборы внутри были как бы в дремоте, народу нет. Святые глядят отчужденно, не то что в Жиздре. Только Василий Блаженный привел меня в чувство, разбудил ненадолго. И внутри — узкие переходы, узорная роспись стен. <...>

24 августа

Я тосковал и горевал, потому что с каждым днем становилось яснее, что нет на свете той Москвы, о которой я привык думать как об окончательной, абсолютной инстанции, более высокой, чем Петербург, сборище совершенств во всех областях. На домах, знакомых по фотографиям, по открыткам, — точнее, на знаменитых домах Москвы штукатурка облупилась, темнели пятна, казались дома озабоченными, служащими. Только дом Пашкова — Румянцевский музей — казался на своем холме прекрасным. Печально я шел из Окружного суда на Владимиро-Долгоруковскую. На углах лоточники продавали виноград — новое разочарование. Ташкентский виноград по сравнению с нашим, майкопским, казался мне деревянным, не случайно засыпанным опилками, которые с трудом отмывались. Взяв у отца рубль, отправился я однажды в театр. Я, судя по Майкопу и Екатеринодару, считал, что подойдешь к кассе, купишь билет — и все. Но всюду все билеты были проданы. Маруся Зайченко рассказывала, что в Художественном театре билеты всегда проданы, но все было продано и у Корша, и в опере Зимина. Только у Незлобина мне удалось купить билет на галерку. Шло «Горячее сердце». Хорошо, но не слишком, почувствовал я с первых же явлений. Почему? Я знал, что мечта каждого актера служить в Москве. Почему же столько средних артистов ходит по сцене? Мне понравился Нелидов, но Лихачев! Какой же это Вася? Что это значит? Что за несправедливость, глупость, недоразумение? В конце спектакля вместе с актерами вышел кланяться лысоватый, улыбающийся человек. Только утром из «Русского слова» я узнал, что это был режиссер спектакля Зонов. Я, сам того не подозревая, попал на премьеру. В рецензии Зонова хвалили, называли талантливым, и я пожалел, что не рассмотрел его получше. Борис Григорьевич Вейсман¹³ пригласил нас обедать. В Москве он процветал. Занимал он большую

квартиру где-то на углу Тверской и одного из переулков, идущих к Дмитровке.

25 августа

Я шел к веселому, приветливому Вейсману, которого помнил с 1909-го (кажется) так, будто видел его вчера... Вейсман, вырвавшийся из майкопской жизни в другой мир, встретил нас приветливо, но в обращении его я угадал ту же враждебность, что мучила меня в московской толпе, что разлита была в осеннем, туманном московском воздухе. Мы были чужие тут. Я знал, что Вейсман развелся с Анной Ильиничной, рассказывали, что его новая жена — красавица. Но эта пышная московская женщина была нам тоже чужда. Когда за обедом подали артишоки, папа, вместо того чтобы поглядеть, как их едят другие, сказал громко: «Объясните, как с этой штукой обращаются». А Вейсман, вместо того чтобы так же весело и шутливо ответить, стал объяснять без улыбки, что листики обрываются и съедается их мясистая часть. Не улыбнулась и его жена. Вейсман со своей квартирой и красавицей женой принадлежал к тому миру, который так страшен был мне; более того, он являлся одним из хозяев этого мира. Он рассказал за обедом, как они были на днях в Большом театре. Пел Собинов, и его освещали прожектором. Они сидели в ложе бенуара. Они стали громко возмущаться безвкусицей этого приема. Директор театра, который сидел в ложе рядом, встал и вышел, и прожектор погас. Ха-ха! Встал, вышел и приказал погасить дурацкий прожектор!

26 августа

В мою сторону хозяин московской жизни, по слову которого директор вставал и бежал гасить прожектора на сцене театра, и не глядел. Через несколько дней он позвонил к нам на Владимиро-Долгоруковскую. Папы не было дома. Вейсман сказал, что сожалеет об этом, — у

него есть место в ложе в Большой. «Ах, жалко, жалко!» — повторял он задумчиво. Я ждал, что он позовет меня, но не дождался. И больше мы никогда в жизни не разговаривали и не видались. Но краткая эта встреча прибавила к темной той московской осени еще одну тучу. Нет, счастье отвернулось от меня, просвета нет. Я в чужом городе, где такие, как я, никому не нужны. И я все бродил, бродил по улицам. На Тверской, примерно там, где теперь почта, один из домов почему-то выступал фасадом вперед до середины панели. Здесь образовывался угол, особенно теснилась толпа прохожих, и на зеленой стене, перегораживающей панель, висела низко вывеска-реклама нескольких магазинов с зеркалом посередине. Сколько раз видел я свое унылое лицо в этом зеркале, а московская толпа колебалась, шагала, теснилась на ходу вокруг. «Да, тут знакомого на улице не встретишь!» — повторял много раз папа с некоторой даже гордостью за Москву, а меня это как раз и ужасало. Познакомились мы еще с одними хозяевами Москвы, совсем другого рода. Известный акушер и гинеколог (родильный дом на Молчановке до сих пор носит его имя) — доктор Григорий Львович Грауэрман приходился отцу двоюродным братом. В студенческие годы был он репетитором в семье Сатиных, да так и остался в этой известной дворянской, интеллигентской, московской семье на всю жизнь. О нем Беллочка¹⁴ говорила как о человеке, «из которого что-то вышло». Блеск его имени увеличивался еще и тем, что Рахманинов был племянником Сатиных.

27 августа

Дом у Страстного монастыря. Позади Страстного монастыря. Второй или третий этаж. Высокий, выше моего высокого отца, стройный, аристократический Григорий Львович, молчаливый и сосредоточенный. За ним неотступно следует пес, шерстью напоминающий сеттера, но гораздо более крупных размеров. Григорий

Львович так же чужд, глядит на нас так же издали, из другого мира, как и Вейсман, но мне это менее обидно. Григорий Львович просто занят, озабочен. Молчаливостью и повадками своими напоминает он мне Василия Федоровича Соловьева. За обедом мы знакомимся с четой Сатиных. Он низенький по сравнению с Григорием Львовичем, отяжелевший человек с седыми короткими волосами. Она седая представительная дама. Но если бы меня спросили, кто из трех этих людей принадлежит к старой, интеллигентской дворянской семье, я сразу указал бы на Григория Львовича. За обедом, не помню по какому поводу, разговор заходит о «Сережиных концертах». Говорят о них так просто, что я не смею верить, что речь идет о Рахманинове. Полушутя, когда речь заходит о газетах, Григорий Львович говорит, что привык к «Русским ведомостям»: «Русское слово» я не умею читать». Темная, тяжелая, солидная мебель, степенные, солидные люди. Возвращаясь домой, я не был обижен, как после обеда у Вейсманов, но все же огорчен. И среди внушающих доверие москвичей мне места не было.

30 августа

<...> Приближался конец папиному отпуску. Он все это время работал у хирурга Герцена.

31 августа

Незадолго до его отъезда отправился я в университет Шанявского на Миусскую площадь. Там я записался на лекции юридического факультета. Мне очень понравилось в коридорах здания, показались необыкновенно уютными диванчики в углублениях за колоннами в холле второго этажа. Там свисали с потолка лампы в кубических матовых фонарях. С одной из лестниц в длинное окно увидел я Миусскую площадь — унылую, осеннюю, брандмауэры домов, закат за домами. Рамка придавала этому виду особую выразительность, примирившую

меня с его московской окраской. В другое окно (кажется, из холла второго этажа) виднелся второй корпус университета, или второе его крыло. Я вглядывался в огни этого корпуса с особым уважением: говорили, что там работает профессор Бахметьев, болгарин. О его опытах по анабиозу рассказывали чудеса. Увидел я библиотеку, лекционные залы. Одна аудитория была очень велика — круто падающим амфитеатром напоминала она мне большой зал Политехнического музея. Но была она парадна, нова. Стилль модерн, в котором был выстроен университет Шанявского, очень нравился мне. И было он выстроен недавно, году в 10-м, вероятно. В канцелярии были вежливы, но я чувствовал, что не нравился строгим девицам, записывающим меня, как не нравился Вейсману, Грауэрману, Сатиным, Москве вообще. Мы отправились с папой искать комнату и нашли ее на 1-й Брестской у площади Брестского вокзала, он же Александровский, ныне Белорусский. Прежняя наша комната на Владимиро-Долгоруковской была для одного меня велика. Новая комната оказалась длинной, кишкоподобной, хоть и чистой. В углу у окна стоял дамский письменный столик с затейливым стеклянным шкафчиком модерн.

1 сентября

Крошечный столик с маленьким шкафчиком со стеклянной дверцей, поделенной на четырехугольнички. Лампочка в виде декадентски вытянутой бронзовой девушки. Собрание сочинений Уайльда в издании Маркса и Куприн в том же издании. Тетрадки. Полоски бумаги со стихами и тоска, тоска, одиночество, одиночество. Сколько часов просидел я у этого столика, в тысячный раз перечитывая Куприна и Уайльда, которых купил у букиниста, или сочиняя отчаянные письма Милочке, или стихи и даже рассказы. Любил я Уайльда и Куприна? Не очень. Но они подвернулись мне и не беспокоили меня в моей знаниефобии. Занятия в университете

Шанявского шли вечерами. И я убедился в ужасе, что не могу слушать профессоров — и каких! Мануйлов, читающий политическую экономию, Кизеветтер, о котором говорили, что он второй оратор Москвы (первым считали Макдакова), Хвостов, Юлий Айхенвальд (критик) и многие другие внушали мне только тоску и ужас, и я не в силах был поверить, что их дисциплины (тут я впервые услышал это название) имеют ко мне какое-то отношение... Я не имел ни малейшей склонности к юридическим наукам и чем ближе их узнавал, тем более ненавидел. Папа уехал. Я проснулся утром в своей комнате с чувством свободы. Я сам себе хозяин! Сделав гимнастику, я вышел.

2 сентября

Вся Москва тогда была покрыта сетью молочных магазинов Чичкина и его конкурента Бландова. Чуть ли не на каждом квартале в облицованных кафелем (белым изнутри, зеленым с улицы) магазинах продавались молочные продукты и колбасы. В утро первого дня самостоятельной моей жизни я вышел на Тверскую и купил хлеба, газету и, подумавши, коробочку конфет — помадки в гофрированных белых бумажных одежках. Тут же меня озарила великая мысль, что обедать меня тут никто не может заставить. Точнее, есть первое. И я купил фунт колбасы у Чичкина, решив, что это и будет моим обедом. Горничная, с огромными светлыми ненавидящими глазами, молча принесла мне самовар. Я долго-долго пил чай, ел, причем съел нечаянно и целый фунт колбасы, принесенный на обед. Прочел «Русское слово», и в положенный час явился учитель латинского языка, еще одно московское горе. Предполагалось, что, выучив в полгода гимназический курс латыни, я сдам его в декабре при Московском учебном округе, где такие экзамены принимались. (Весной их разрешалось сдавать при любой гимназии.) Учителя папа нашел по газетному объявлению.

Это был сердитый еврей с бородкой сероватого цвета. Когда он закрывал рот, бородка до странности сильно приближалась к усам, как это бывает с беззубыми. Но у учителя моего все зубы были на месте. Презирал он меня откровенно и не без основания: я не умел учиться. А высокая школьная техника уклонений и обманов не годилась для взрослого парня, встречающегося с учителем один на один. В течение часа, раздражаясь, захлопывая рот так, что усы и бородка смыкались в одно целое, требуя, и объясняя, и насмехаясь, и пожимая плечами, он ругал меня и удалялся, наконец, причем я, в сознании вины своей, не радовался даже этому.

4 сентября

За несколько дней до папиного отъезда приехала в Москву Маруся Зайченко. Поселилась она в Георгиевском переулке на Спиридоньевке. Она встретила меня приветливо, но тут я впервые ощутил разницу между летней и зимней дружбой. Она была озабочена курсами, музыкой, московскими своими делами. В Москве она была своя, пришлось ко двору, и ей не в силах я был втолковать, чем я тут огорчаюсь и мучаюсь. Но она видела, что в Москве я нелеп, и все уговаривала опомниться, взять себя в руки, найти себе тут место. Она водила меня по московским переулкам, чтобы показать, в чем особая прелесть города. И в самом деле — я полюбил Гранатный переулок и до сих пор не могу забыть его. И в первый день моей самостоятельной жизни я отправился, огорченный учителем, туда, в Гранатный. Мечтать. Собаки лечатся травой, а я успокаивал угрызения совести своей ходьбой. Сначала я останавливался у старинного особняка с колоннами. Одни говорили, что он уцелел от московского пожара, другие — что это позднейшая подделка. Правы оказались первые, но в 13 году я не знал, кому верить, и это раздражало меня. Я выбрал для мечтаний особняк на другой стороне улицы. И сегодня

я представлял себе в подробностях, как я в этом особняке живу, окруженный почетом и славой. Ранними осенними сумерками побрел я в университет Шанявского. Деревянные Тверские-Ямские. На одном из самых печальных деревянных бедных домов мемориальная доска сообщает, что жил здесь народный поэт Дрожжин. И вот я в аудитории, с тоской еще более острой, чем в училище, жду перерыва между лекциями. И ничего, ничего не слышу. С почтением и презрением гляжу я на сосредоточенные лица профессоров: «Дисциплины ваши не то что противоречат, а несоизмеримы всему моему миру». В перерыве я сижу на черном диване в нише за колоннами в холле второго этажа в тоске и одиночестве. И не иду на лекцию.

5 сентября

И возвращаюсь домой. И вижу, что у швейцара на столе уже лежит вечерняя почта, но конверта со знакомым, таинственным и прекрасным, острым почерком — не обнаруживаю. Я угадываю это сразу, едва взглянув на почту, и тоска уже открыто мертвой хваткой берет меня за горло. Таков был первый день моей вольной жизни в Москве. Не привыкший к систематическому труду, изнеженный мечтательностью, избалованный доброжелательными и терпеливыми друзьями, югом, маленьким городом, где половину прохожих я знал если не по имени, то в лицо, я оказался один — и при этом безоружным и оглушенным силой своей любви — в сердитой Москве. И понемногу я стал умнеть. Прежде всего я заметил, что я окружен людьми несчастными. Толкущиеся у пивных, у кино москвичи в картузах и сапогах томились и ругались, иногда и дрались, собирая вокруг молчаливую толпу. Вот женщина несет узел, который ее задавил. Она присела на выступе забора. Терпит. Счастливыми казались только молочно-розовые приказчики у Чичкина и Бландова да охотнорядские молодцы. И я стал думать — думать, вероятно, впервые в жизни. <...>

7 сентября

<...> С каждым днем мучительнее было мне слушание лекций, не имеющих отношения ко мне. С каждым днем хуже делалась погода. А тут еще выяснилось, что я не умею обращаться с деньгами. Папа присылал мне по тому времени очень много: пятьдесят рублей в месяц. И они расходились у меня неведомо куда с загадочной быстротой.

9 сентября

И вот, наконец, мне достался каким-то чудом билет в Художественный театр. Кажется, кто-то из многочисленных знакомых Маруси Зайченко не мог идти в этот день на спектакль, и мне уступили билет как новому человеку, которому пора приобщиться к главному чуду города. Трудно представить, каким благоговейным почетом окружен был в те годы Художественный. Слово «театр» не всегда прибавлялось, когда называли его. «Был вчера в Художественном. Достал билеты в Художественный»...

Итак, я шел в Художественный. С утра я готовился к этому чуду: то есть совсем уж ничего не делал. И глупость моя, и полное неумение жить привели к тому, что я в конце концов так плохо рассчитал время, что опоздал, подумать только — ухитрился опоздать в театр, который славился той особенностью, что опоздавших в зал не пускали. Вежливый пожилой капельдинер объяснил мне не без удовольствия, что придется обождать антракта. Шел спектакль «Николай Ставрогин», инсценировка «Бесов». Незадолго до премьеры в газетах появилось письмо Горького, полное упреков по адресу театра. Как можно инсценировать реакционнейший роман Достоевского? Режиссеры отвечали. Вся эта полемика была в те дни так же чужда мне, как спор Сакулина с Айхенвальдом. Я просто несколько удивился, что у Достоевского могут быть реакционнейшие романы, и не слишком поверил этому. В спектакле я пропустил только первую сцену, на

паперти, — как я узнал потом, одну из лучших. Остальное произвело смешанное [впечатление] из-за двух развившихся в Москве чувств — из недоверия и желания верить. Безжалостный и не знающий скидок, суровый, выросший в стороне от Москвы — один, так сказать, демон и другой — так страстно желающий восхищаться. Я не смотрел, а страдал.

10 сентября

Качалов мне показался маловыразительным, против чего демон почтения и славопочитания поднял такую бурю, что я сдался. Остальные тоже казались мне просто приглушенными, а не правдивыми. Исключение представляла Лилина, которая играла хромоножку удивительно и одна только походила на героиню Достоевского. Произвел на меня впечатление и Берсенев — Верховенский-младший. Не помню, кто играл Шатова, но самые страшные сцены спектакля вызвали у меня не ужас, а смущение. Вот и еще одно московское чудо зашталось! Но через некоторое время, когда я проходил Камергерским переулком, у самых дверей театра остановил меня мальчик и предложил билет на «Вишневый сад». Несмотря на цену (три рубля), я купил билет. Место оказалось удивительным — в партере, как раз против прохода, в самом центре. И тут оба демона умолкли, душа у меня открылась, и я уверовал. Фирса еще играл Артем, а Епиходов был неожиданный: Чехов. Понравился он мне необыкновенно — так я увидел этого удивительного артиста впервые. Сцену со сломанным кием, когда он беспомощно бунтует, зная, что ничего из этого не выйдет, просто от отчаяния, провел он так, что я с удивлением подумал: «Так вот, значит, как можно играть?» Так я впервые в жизни увидел артиста, лучшего из всех, каких я знал. Смотрел я третьим спектаклем «Синюю птицу», которая понравилась, но меньше.

11 сентября

Я полюбил Третьяковскую галерею, она казалась мне дружественной во враждебной Москве. Правда, в репродукциях картины нравились мне больше, чем в подлинниках, но я скоро привык к ним. Я ходил туда часто, каждый раз, когда тоска особенно сильно меня душила. Невысокий красный кирпичный дом каждый раз как-то успокоительно взглядывал на меня. Он стоял во дворе скромно. Он меня не разочаровал — я ничего не знал о нем заранее... Однажды я прочел афишу футуристов. Вечер должен был состояться на Дмитровке — забыл название учреждения, кажется, Литературно-художественный кружок. У них над домом, у кружка этого, была на фронтоне мозаичная с золотом, как мне казалось, претенциозная вывеска. В афише запомнились слова: «Доители изнуренных жаб». Я купил билет. Через туман и тревогу свою, как издали, без возмущения и восторга смотрел я на картины глухого, серо-синего тона с полосами и лучами, выставленные вокруг кафедры в зале. Чьи — забыл.

12 сентября

В картинах этих ничего я не почувствовал, да и не мог почувствовать, но угадал, что у художников есть какая-то своя задача, и вовсе не наглость, безграмотность, стремление к саморекламе заставляет их писать таким именно образом. Рядом со мной стоял человек в визитке, адвокатского типа. Он смотрел на картины серьезно, без осуждения, как мне показалось. Я подумал наивно: «А вдруг эти картины можно легко объяснить?» И попросил своего соседа сделать это, но он пожал плечами, и я понял, что он, как и все газеты, считает картины безграмотными, наглыми, саморекламными. В вечере участвовали Маяковский, братья Бурлюки и не помню, кто еще. Зал, небольшой и неуютный, был неполон. Народ подобрался вялый, но явно недоброжелательный.

И все участники вечера, кроме Маяковского, чувствовали это. Они эпатировали буржуа несвободно. Им было неловко, и только Маяковский был весел. Играл. Не актерски играл, а от избытка сил. Рост, желтая кофта с широкими черными продольными полосами, огромная беззубая пасть — все казалось внушительным и вместе с тем веселым. Понравились мне и его стихи. И еще стихи Бурлюка-младшего — рослого блондина в студенческом сюртуке. Маяковский был храбр, остальные храбрились, и чувство неловкости и напряжения все не проходило. В середине вечера среди публики выросла вдруг стройная фигура молодого человека во фраке. Столь же напряженно, но решительно храбрясь, стал он выкрикивать обвинения против устроителей вечера. Обвинял он их в самозванстве. Настоящие футуристы, эгофутуристы, — в Петербурге. Маяковский, стоя на трибуне, жестами пытался остановить оратора. «Здесь только один настоящий поэт — Маяковский», — выкрикнул оратор. Тогда Маяковский развел руками: тут, мол, не поспоришь — и удалился. В дальнейшем выяснилось, что фамилия оратора — Вадим Шершеневич. Выступление его зал выслушал в гробовом молчании. Вообще весь этот бунтовской вечер казался любительским. Кроме Маяковского.

13 сентября

Только Маяковский и в самом деле не боялся зала. Время шло, выпал снег, извозчики выехали на санках. Санки были такие узкие, что дам полагалось поддерживать за талию. Седоку полагалось. Время шло, а я не привыкал к Москве. Напротив — окончательно ее возненавидел. Одиночество душило. А новые знакомства не завязывались, да и только. Однажды у Шанявского я поспорил со швейцаром, который во что бы то ни стало хотел подать мне пальто. Мой сосед, щупленький, со впалыми щеками, слушал этот спор, улыбаясь. И к моему величайшему удовольствию, заговорил со мной, ког-

да вышли мы на темную и мокрую Миусскую площадь. Разговор было завязался, и спутник мой сказал: «Вы, я вижу, тоже не любите, когда швейцар подает вам пальто». Я признался и объяснил это тем, что у меня не было денег, чтобы дать на чай. Спутник мой потемнел и сказал сердито: «Не в том дело! Противно это лакейство в человеке». — «И это, конечно, тоже», — торопливо подтвердил я, но было уже поздно. Спутник мой сухо попрощался со мной, и это знакомство не состоялось. Я вечерами с тоской глядел на окна противоположного корпуса. Тут семья сидит за самоваром, *там* дети готовят уроки, а я один. Хозяйка была немка с крашеными щеками и недоумевающими глазами; хозяин, плешивый немец, вспоминается мне всегда со спины, без пиджака, в помочах. А лица его я как будто и не видел. Знакомство с ними я и не пробовал завести. Горничная меня ненавидела. И вот я жил и жил в тоске и одиночестве. Никто не говорил мне: «Пойди постригись», и я ужасно оброс волосами. Калоши прохудились, и одна из них упала, когда я садился на трамвай, да так и осталась лежать на мостовой.

16 сентября

Все это вместе: отвращение к лекциям, одиночество, неудержимые мечтания о будущем счастье, сознание собственной слабости и любовь — любовь, все заслоняющая, мучительная любовь, — привело к тому, что я стал опускаться. Я сказал учителю, что заниматься с ним не буду больше. Распрощался с университетом Шанявского. Вставал в двенадцать, лениво валялся до часу — это в семнадцать лет! Потом покупал в киоске газеты и тонкие журналы: «Огонек», «Всемирную панораму», еще какие-то. Кажется, «Солнце России». Те из них, которые в данный день вышли, и прежде всего «Новый сатирикон». И плитку шоколада. Возвращался домой, валялся и читал. Потом покупал колбасы на обед. Она казалась

мне, по сравнению с майкопской, невкусной, что было не случайно. Карлович был учеником Вейденбаха, который владел секретом варить колбасу без крахмала. Вечером я шел бродить по улицам или в оперу Зимина, куда легко было достать билеты, или в цирк Никитина, где выступал укротитель Генриксен с недрессированным тигром по имени Цезарь. Этот последний выскакивал из клетки — точнее, из длинного железного решетчатого коридора, ведущего на арену, превращенную в круглую клетку. И укротитель заставлял Цезаря обойти арену и вернуться в решетчатый коридор. Все это я видел как бы издали, слышал, как будто уши мои были заткнуты ватой. И из оперы и цирка уходил я в Гранатный переулок к облюбованному мной особняку. В мечтах моих было одно здоровое место: начало. Начинались они всегда одинаково: я мечтал, что вот каким-то чудом начинаю работать. Меняюсь коренным образом, пишу удивительные вещи и — главное — с утра до вечера, не разгибая спины. Возвращался я домой утешенный, полный надежд, давая себе торжественное обещание завтра же начать новую жизнь. И с утра начиналось то же самое. Вот во что превратился я при первой же встрече с жизнью.

17 сентября

Года два назад пошел я взглянуть на Гранатный переулок и, к некоторому даже ужасу своему, увидел юношу, шагающего по противоположной стороне. Он был давно не стрижен, одет неряшливо, в длинном пальто и мятой шляпе. Он неопределенно улыбался, — видимо, своим мечтам, и вот пути наши, как нарочно, сошлись, и я увидел нечто подобное себе старых лет, особенно нелепое в Москве пятидесятого года. Итак, дни моей одинокой, самостоятельной, постыдной жизни приходили к концу. Предполагалось, что я останусь в Москве на зимние каникулы, но я послал маме умоляющее, ласковое письмо с просьбой разрешить мне провести каникулы дома. До

этого у нас произошла ссора без всякой вины с моей стороны. По маминому адресу пришел каталог книжного склада. Забыв, что в свое время ко дню рождения она выписала мне из Петербурга полное собрание сочинений Гейне, не зная, что фирмы такого рода рассылают потом годами свои каталоги заказчикам, мама решила, что это я подшутил над ней. В одном из писем она спросила, какие книги нужны мне для занятий, она пришлет деньги. Каталог показался ей моим ответом. Она обиделась, и я тоже. Но после моего ласкового письма она сразу ответила мне так же ласково. Предполагалось, что я поеду домой на деньги, высланные мне на декабрь. Увы, они были к 15 декабря истрачены. И я сам не мог понять куда. Пришлось просить о новых деньгах, которые я и получил с сердитым папиным письмом.

19 сентября

И я уехал. Злой нашей горничной я не мог дать причитающийся за последний месяц рубль, обещал прислать из Майкопа. И она громко ругала в кухне людей, которые шоколад жрут, а долгов не платят. Так кончился бесконечный, как мне казалось тогда, и постыдный период моей жизни. Много лет я и вспоминать его не любил.

20 сентября

Стою у вагонного окна и смотрю, смотрю и потихоньку ем копченую колбасу. Мне стыдно есть ее на людях без хлеба. Снег, снег, черные деревушки, все те же белые, неприветливые вокзалы — Тула, Орел, Курск. Я ошеломлен несчастной, постыдной своей жизнью в Москве и все думаю, думаю. Я за эти месяцы стал старше. Я отчетливо понимаю, что сам виноват в своих бедах. Лень, распушенность, смутное представление обо всем. Обо всем знаю одну строчку. И я мечтаю, как переделаю свою жизнь в Майкопе. О возвращении в Москву и думать не хочу. Я ошеломлен, что Москва приняла меня

так сурово. Все вокруг ново и трезво. До сих пор ездил я поездом летом или осенью. Зимняя дорога непривычна для меня и печальна, как все, что я пережил. Невесело думаю я и о Милочке. Она все та же и по-прежнему не знает, любит меня или нет. Но за всеми этими мыслями вспыхивает от времени до времени радость. Предчувствие счастья. Сознание праздничности самого бытия моего — эти вспышки радости вопреки всему — вечные мои спутники...

Вот и таинственные, значительные майкопские улицы. Всю жизнь вспоминала мама, как встретила меня на вокзале. «Я даже испугалась: волосы чуть не до плеч, штаны с бахромой, ступает как-то странно, мягко. Что такое? Оказывается, башмаки без каблуков и почти без подошв — вернулся сын из Москвы». Два дня никуда я не выходил: меня переодевали, переобували, стригли. Тоня Тутурина сказала Соловьевым, что я ехал в ужасном виде. Старшие подумали и решили, что я останусь дома.

21 сентября

Решили, что латынь я могу выучить и в Майкопе и сдать ее весной при армавирской гимназии. А лекции слушать начну в настоящем университете, раз университет Шанявского мне так страшно не понравился. Папа, как мне кажется, не был доволен этим решением. Считал, что оно не мужественно, не просто. Так разумно придумали: чтоб не терять года, я живу в Москве, учу латынь, слушаю лекции — и вот на тебе: я являюсь домой патлатым, страшным, разутым, лекций не слушал и латынь не учил. Что это значит? Что я за человек? Я и сам не мог на это ответить. Но мама испугалась моего вида, угадала, что первая встреча с самостоятельной жизнью далась мне дорого, и настояла, чтобы я остался в Майкопе еще на полгода. Не знаю, кто был прав. Мне в октябре 13 года исполнилось семнадцать лет. Я считал себя взрослым, да,

в сущности, так оно и было, если говорить об одной стороне жизни, и был полным идиотом во всем, что касалось практической, действенной, простейшей ее стороны. Поэтому, например, не хватало мне денег на месяц. Я просто не умел считать и надеялся, разбрасывая деньги по мелочам, но быстренько, что как-нибудь оно обойдется. Поэтому так же разбрасывал я время. Поэтому мне и в голову не пришло пойти в какую-нибудь редакцию или к какому-нибудь писателю, показать, что пишу, сделать хоть какой-нибудь шаг по писательской дороге, хотя уж давно не представлял для себя другой. Слабость и несамостоятельность, с одной стороны, и крайняя восприимчивость и впечатлительность, с другой, могли бы, вероятно, привести и к роковым последствиям, если бы в идиотстве моем не было бы и здоровой стороны. Например, ужас перед пьянством. Чтобы напиться, действия не требовалось. Купить водку не трудней, чем плитку шоколада. Ну, как бы то ни было, я вернулся домой невредимым, причем считал себя очень поумневшим и очень изменившимся. Но не прошло и недели, как зажил я прежней майкопской жизнью, ссорясь с мамой и братом, будто и не уезжал.

22 сентября

Ближе к весне я вдруг стал брать у Марьи Гавриловны Петрожицкой уроки музыки. Вышло это из-за «Grillen» Шумана. (Вот когда я полюбил эту пьесу, а не годом раньше.) Дав Леле Соловьевой разбирать эту вещь, Марья Гавриловна сказала, что вряд ли она кому-нибудь из слушателей будет нравиться. Узнав, что я влюбился в эту вещь, Марья Гавриловна решила, что мне следует учиться музыке. Наши согласились. И вот я стал учиться.

23 сентября

И к моему величайшему удивлению, я оказался музыкальным — так по крайней мере утверждала Марья

Гавриловна. Ученье пошло с неожиданной быстротой. Инструмента у нас еще не было, но Варя Соловьева, взявшая надо мною шефство, не давала мне «повернуть в конюшню», как впоследствии, много лет спустя, определил эту мою склонность Корней Чуковский. Она ловила меня на улице, один раз сняла с забора, через который я перелезал, убегая от нее, и с упорным, неподвижным лицом вела к роялю. И я сидел и играл упражнения тогда обязательного у всех учительниц Ганона. И какого-то Шпиндлера. Первая вещь, которую сыграл я по нотам, был его «Крестьянский танец». Месяца через полтора разбирал я уже «Fur Elise» Бетховена, потом «Сольфеджио» Филиппа Эмануэля Баха. И, ко всеобщему удивлению, с этой последней вещью Марья Гавриловна выпустила меня на ежегодном концерте своих учеников весной 14 года. Приняли меня весело и добродушно — я играл после малышей, — долго хлопали и удивлялись, какие успехи сделал я за два месяца. И я впитывал эти похвалы с особенной жадностью после московского безразличия. Квартира дедушки ликвидировалась после смерти бабушки. И нам прислали рояль, тот самый рояль, на котором я играл спичечными коробками, когда мне было шесть лет.

24 сентября

Теперь я начинаю играть упражнения и гаммы дома. Папа доволен тем, что у меня обнаружились какие-то таланты. Итак, я занимаюсь латынью и музыкой. Я не один. Московская жизнь кажется мне сном — таков внешний ход моей жизни от зимних каникул до весны. Четырнадцатый год мы встретили весело, ходили ряжеными по знакомым. Помню, что были у Шаповаловых, у Оськиных. Я был одет маркизом, мне напудрили волосы, и все говорили, что это мне идет. И Милочка была со мною ласковее обычного. Потом снова отошла от меня, как бы уснула, потом опять стала чуть ласковее. Вот это и являлось для меня настоящей жизнью.

27 сентября

Итак, приближалась весна 1914 года. Как я вижу теперь, Юрка Соколов появился в Майкопе очень рано. Теперь мне кажется, что по причинам денежного характера он не дожил второго семестра в Петербурге. Это при тогдашней предметной системе в университете было возможно, экзамены разрешалось сдавать и осенью. Во всяком случае, приехал он много раньше Сергея. Мы встречались часто; почти все время, говоря точнее, проводил я либо у них дома, либо на участке. Говоря точнее, мы скорее почти не расставались. Юрка рисовал, а я валялся на диване в той самой комнате, где прошло столько дней моего детства. Валялся и читал. Либо мы разговаривали о том мире, в который входили. После долгих колебаний показал я Юрке свое стихотворение «Четыре раба», скрыв, что оно мое. А когда он сказал, что в стихотворении «что-то есть», я назвал автора с такой охотой, что Юрка улыбнулся. И с тех пор я все свои стихи показывал ему. И он обсуждал каждое мое стихотворение со своей обычной повадкой, начиная или собираясь начать говорить — и откладывая, пока мысль не находила наиболее точного выражения. И я обижался, если он ругал меня, и отчаянно, но не слишком уверенно спорил и полностью соглашался с ним, когда проходила обида. К этому времени у меня была теория, объясняющая необыкновенную неуклюжесть моих стихов. Я услышал где-то еще одну строчку, на этот раз Верлена: «Музыка прежде всего», — и стал доказывать, что это верно. Но музыка не в аллитерации и не в звуках — тут стихам за музыкой никогда не угнаться. Музыка — в содержании. А та музыка, за которую сражаются сегодня («лила, лила, качала два тельно-алые стекла»)¹⁵, гибельна и не нужна. Юрка принял эту теорию не без интереса. Итак, у меня было уже два читателя: Милочка и Юрка, а от всех остальных я скрывал свои стихи, как самую большую тайну.

Только в одной области был я скрытен еще более — в любви. Ни одному человеку не рассказывал я о своих любовных радостях и бедах и очень удивлялся, когда читал юмористические рассуждения о влюбленных, всем надоедающих своими излияниями. И сверстники мои, рассказывающие в подробности о своих связях с женщинами, тоже были непонятны мне. Связи мои не были любовными, но и о них молчал я как убитый. Мной с первой встречи овладело чувство прелести тайны в этой части моей жизни («никто не знает, что мы делаем»). Итак, приближалась весна 1914 года, и я после Москвы наслаждался жизнью среди друзей, на юге, в маленьком, с детства понятном городе. Начались выпускные экзамены. И мне пришлось подналечь на занятия. И вот пришел ясный, совсем летний день, когда мы поехали в Армавир сдавать латынь. Нас было четверо: Жоржик Истаманов, Гостищев, Левка Камрас и я. Дорога была еще новая, нестрогая. На середине пути машинист взял нас на паровоз.

28 сентября

И, стоя рядом перед грудью паровоза, мы мчались через кубанские степные знакомые места и чувствовали себя до того свободными, и счастливыми, и беспечными!

2 октября

Утром пошли мы на экзамен. Присутствовали на нем латинист, хмурый и нескладный, и инспектор — черный, моложавый, легкий. Был еще третий — забыл кто. Латинист сказал сердито, раздавая нам листки для перевода с латинского на русский: «Если что не поймете, меня спрашивайте». Я имел глупость подумать, что и так все понимаю, отчего едва не провалился. Читая мой перевод, латинист только кряхтел и пробормотал в конце: «Говорил вам, спрашивайте меня». Спас меня устный экзамен.

16 ноября

Я не верил в события большие, идущие извне, — в моей жизни их не было. Те, что ворвались в мою жизнь в детстве, казались мне доисторическими. От восьми до семнадцатилетнего человека — огромное расстояние. И вдруг объявлена была всеобщая мобилизация. Улицы заполнились плачущими бабами, казаками, телеги, как во время ярмарки, заняли всю площадь против воинского присутствия. Пьяные с гармошками всю ночь бродили по улицам. Многие из знакомых вдруг оказались военными, впервые услышал я слово «прапорщик». В мирное время ниже подпоручика не было чина в армии...

Пришло письмо от папы. Его нижегородская служба оборвалась. Он был назначен по мобилизации в военную больницу Екатеринодара.

17 ноября

Я еще не мог представить себе, что спокойнейшей майкопской жизни с тоскливым безобразием праздников, с унынием плюшевых скатертей пришел конец. Но вот к вечеру ясного дня закричали на улице мальчишки-газетчики. До такой степени поразила издателей майкопской газеты небывалая новость, что забыли они о расходах и доходах. Мальчишки бесплатно раздавали цветные квадратики бумаги, на которых напечатаны были всего четыре слова: «Германия объявила нам войну». <...>

18 ноября

Да, ворвавшиеся в нашу жизнь события не усваивались, но непрерывно ощущались. Все было окрашено войной. Тут и начало развиваться губительное чувство, которое можно назвать так: «Пока». Все, что делалось, делалось на время. То, что совершалось вокруг, не принималось как настоящая жизнь. Когда кончится война, тогда я и начну жить и работать, а пока... Все пока да пока, а когда оставшиеся в живых несчастные мои ровесники

приходили в сознание, то часто оказывалось, что жить уж поздно. Ошеломленный войной и любовью, поехал я в Екатеринодар к родителям. Армавир был неизвестным. Я говорю о вокзале. Маленький армавирский вокзал впервые показал мне то, к чему так приучили нас войны. Целые семьи, проводившие отцов на фронт, спали на узлах и мешках. Прапорщики с новенькими чемоданами. Пассажиры, задержанные событиями в пути, потемневшие, помятые, пробирающиеся с курортов дамы с детьми. Расписание отсутствует. У кассы столпотворение. Я дал рубль носильщику, чтобы он достал мне билет. Когда пришел поезд, носильщик прибежал, схватил мой нескладный, слишком легко раскрывающийся чемодан и втиснул меня на площадку, набитую до отказа. Потом сказал, что я доеду и без билета, достану его по дороге, и исчез. Поезд тронулся. Я был в штатском костюме, что справили мне после окончания училища, в черной кастировой шляпе, которую достал неведомо где. Я взял в дорогу «Пиквикский клуб», который лежал на чемодане, поставленном стоймя. Не успел я прийти в себя, едва отошел поезд, как на площадку втиснулся обер, сопровождаемый щеголеватым кондуктором. Со строгим лицом обер рванулся ко мне, дернул меня за плечо так, что я перевернулся и опрокинул чемодан, отчего упал и рассыпался «Пиквикский клуб». В результате этих действий, против которых я громко протестовал, обер пробрался к двери.

19 ноября

Он отпер дверь своим ключом и втащил на площадку какого-то подростка в белой рубаше и казацких штанах. И сразу же после этого напал на меня: «Человек на ступеньках висит, на краю гибели, а вы тут крик поднимаете». После этого, багровый, с трясущимися щеками, стал он проверять билеты. Узнав, что я безбилетный, приказал он щеголеватому кондуктору высадить меня на следую-

щей станции, что тот и выполнил не без удовольствия. Наш вагон был одним из последних в длинном-длинном составе. Я бросился бежать к далекой станции, оставив чемодан и «Пиквикский клуб» на земле у вагона. Билет я успел взять. И когда мчался обратно, поезд тронулся. Из всех вагонов кричали мне: «Прыгай! Садись!» Но я несея к своему чемодану. И когда добежал, было уже поздно. Поезд удалялся. С последней площадки щеголеватый кондуктор с усмешечкой смотрел на меня. Я уставился прямо ему в глаза с ненавистью, проклиная его в бессильной злобе, а поезд все набирал ходу. Когда я подходил к станционному домику, вокруг было уже тихо, как в степи. Над карнизом на доске чернело название станции: «Отрада Кубанская». Я вошел в пустую комнату с единственным диваном, с закрытым уже окошечком кассы, и вдруг тишину нарушил женский плач, горький, отчаянный вой. Вошел какой-то железнодорожник, и я узнал, что за стеной — гроб с телом молодого армавирского богача Баронова, разбившегося при автомобильной катастрофе. Жена плачет-убивается. И я ужаснулся. А железнодорожник, весь в машинном масле, тощий, пожилой, подсел ко мне.

20 ноября

Добродушно и наивно глядя на меня, он расспросил, как я попал сюда, кто такой, и посочувствовал моему горю. Следующий поезд придет ночью. Железнодорожник скрылся за одной из дверей с надписью: «Посторонним вход воспрещен», а я отправился бродить вокруг, бросив на деревянном диване свой чемодан и «Пиквикский клуб». Кому они тут были нужны? Кто их возьмет? За станцией дорога, убегающая в степь, уводящая из полосы отчуждения, от железнодорожного мира, тронула своей прелестью, шевельнулось было предчувствие счастья, но жалобный плач отрезвил меня разом. Ждать здесь до ночи казалось ужасным, непереносимым горем.

И Шелковское ощущение: «Нехорошо, не к добру» — стало все яснее говорить в душе. Кончилось все: мирная жизнь, счастье, — что будет впереди? Почему я попал как раз на ту площадку, где оберу понадобилось открыть дверь? Неспроста высадили меня на станции, где стоит гроб и горько плачет женщина. Я вернулся на платформу. Железнодорожник подсел ко мне. Со стороны Армавира показался дымок паровоза. Железнодорожник скрылся и показался снова с видом человека, несущего хорошие новости. Приближался воинский поезд! Если сесть на площадку офицерского вагона, можно доехать до Кавказской. Так и начальник станции советует сделать. Пришел поезд из теплушек и одного классного вагона. Мой доброжелатель, подмигивая мне и кивая обнадеживающе, помог внести чемодан на площадку, сказал: «Ничего, ничего, доедете», — и исчез. Я, держа в руке билет, ждал с нетерпением, чтобы мы тронулись. Пусть высадят, но хоть на другой станции.

21 ноября

Но вдруг на площадке появился незначительного, скорей чиновничьего, чем офицерского вида капитан. Увидев меня, он взъерошился и велел уйти вон. Показывая билет, я забормотал, что мне разрешил ехать тут начальник станции, что я пробираюсь к мобилизованному отцу — вот телеграмма, что я... Ничего не желая слушать, фыркнув: «Начальник станции — подумай!» — он решительно приказал мне высаживаться. «Не понимаю, чем я вам мог помешать», — сказал я и, взяв чемодан и книжку, двинулся к выходу. «Ах, это и есть весь ваш багаж? — спросил вдруг капитан мягко. — Ну ладно, тогда оставайтесь». Я снова поставил свои вещи у окошка, а капитан скрылся в вагоне. Поезд тронулся наконец. И я расплакался позорно, глядя в окошко и ничего не видя. Минут через десять капитан опять появился на площадке — может быть, для того, чтобы пригласить

меня в вагон. Я не повернулся к нему, желая скрыть слезы. Но он их заметил, видимо, потому что стал объяснять, какая ответственность лежит на нем как на начальнике эшелона. Тут поневоле будешь строгим. Я молчал, и капитан, не желая смущать меня, удалился. Слезы мои высохли. Я достал плитку шоколада, купленного в Армавире, и стал есть по кусочку. Но туман на душе не рассеивался, да я и боялся ясности. Смерть, плач вдовы, все мелкие и крупные обиды сегодняшнего дня — на все это лучше было не смотреть. И больше всего пугало сознание, что все эти события — только признаки, приметы недоброго времени, надвигающегося на всех. И в Екатеринодаре все было освещено новым, сумрачным светом. Наши поселились в одной из комнат большой Сашиной квартиры. Я встретился с Тоней, как в первый раз. Мы подолгу говорили. Вышло так, что я показал ему мои стихи, поразившие его своей бесформенностью. И вместе с тем что-то задело его в них. Это он не сразу признал. Спирил.

22 ноября

Он даже написал пародию на мои стихи: «Стол был четырехугольный, четыре угла по концам. Он был обит мантией палача, жуткой, как химеры Нотр-Дам». Все это (кроме химер Нотр-Дам) было похоже. Особенно описание стола. Но я упорно доказывал, что я пишу по-своему, что таково мое понимание музыки. К моей радости, через некоторое время я заметил, что Тоня начинает относиться к моей ни на что не похожей манере писать с некоторым уважением. А я выслушал и запомнил разгром моих рифм, которые вовсе и не были рифмами. Наметилось некоторое подобие дружбы с Тоней, нет я с майкопской, почти сектантской, нетерпимостью не принимал многого из его высказываний. Самая манера выражаться, книжная, и, о ужас, «неестественная», не нравилась мне, вызывала подозрение. Но я скоро заметил,

что, не боясь пользоваться книжными, а не своими оборотами, Тоня говорит всегда умно. Он оказался куда образованнее меня, с чем я скоро вынужден был считаться. Итак, с Тоней завязывалась дружба, я бывал в городском саду, в театре, ездил в рощу, название которой забыл, — единственная чахлая рощица в степных окрестностях Екатеринодара. Снова трамвайный звон вечером у городского сада как будто обещал счастье, но я чувствовал твердо: что-то отнялось. Я чувствовал, что пересажен, а привиться не могу, как только что в Москве... Ходили мы с Тоней на Кубань. Большая река, но чужая. Папа ходил в военной форме. Саша рассказывал, что в адвокатской комнате суда вывесили расписание, кому заходить ночью в редакцию за последними новостями. Сделали на три недели, а внизу написали: «К этому времени война кончится». Мы собирались в Москву.

23 ноября

Снова меня принялись одевать и обувать для Москвы. На этот раз в студенческую форму. Я подал заявление в канцелярию начальника области о выдаче свидетельства о благонадежности. Мне сказали, что его пошлют в Московский университет. На руки таковые не выдаются. Запах сургуча, унылые люди, чувство неловкости. С поездами дело было худо, но вагон «Петербург — Новороссийск» ходил. Беллочка устроила так, что кто-то из ее знакомых купил нам билеты в Новороссийске. Вообще вокруг нашего отъезда подняла она суету, характерную для нее. Писала в Москву двоюродному своему брату Аркадию об оказании нам покровительства, все время искала знакомых влиятельных московских людей, которые могли пригодиться нам на всякий случай. Этот коротенький екатеринодарский период жизни окрашен чувством конца чего-то, пустоты, чужого налаженного быта — Сашиного, Исаака. Мы ехали откуда-то на трамвае: Саша, Исаак, папа с мамой и я. Папины братья сош-

ли на остановке, отправились в клуб. И он сказал мрачно: «Шварцы богатые ушли, а Шварцы бедные остались». Тогда я рассердился: ни Саша, ни Исаак богаты не были. Очевидно, отец хотел сказать: счастливые. Но, вспоминая, понял, что пугало отца. В сорок лет остался он вдруг без дома, без единой вещи, без уверенности в завтрашнем дне, с недружной и непонятной семьей. Было чего заскучать. В назначенный вечер явились мы на вокзал. У вагонов шла чуть ли не драка, но нам вручили билеты, и мы заняли плацкартные места. И я поехал снова в Москву, в ту Москву, о которой вспоминал с ужасом. Но на этот раз Тоня, курсистки, с которыми мы познакомились дорогой, отличная погода — все утешало меня.

24 ноября

Белые здания вокзалов Курской дороги уже не казались мне чужими. Я ехал в студенческой форме, с Тоней. Вагон был полон студентами, все больше Коммерческого института, в большинстве грузинами и армянами. Все познакомились друг с другом, и главное московское горе — одиночество — теперь не грозило мне. Поднятая на ноги Беллочкина родня в первый же день, точнее — в утро нашего приезда, устроила целый консилиум. Один дядя, благообразный и красивый, давал множество советов: где снимать комнату, сколько она стоит. Советовал Тоне называть себя Антон Исаич, чтобы не будить настоящим своим отчеством в людях антисемитизм. Я смутно чувствовал, что это смешно, но не признавался себе в этом, — столько наговорила мне Беллочка об уме своих кузенов. Дядя Аркадий, лысый, светлоглазый, скептический, с лицом человека, который не дурак пожить, больше помалкивал и позвал к себе обедать. Оба дяди считались дельцами. Но что они делали? Аркадий состоял, кажется, биржевым маклером. Его квартира выглядела по-московски знакомой. Все та же мебель модерн, пол затянут бобриком, пианино. Прилично и

достойно жил дядя с молодой, разбитной, вечно напевающей женщиной, у которой был мальчик лет пяти. Русская, тоже очень московская, необыкновенно шла она к зиме, к магазинам Абрикосова, к опере Зимина, куда у дяди Аркадия был абонемент. Мы сняли с Тоней комнату наверху над дядиной квартирой в Дегтярном переулке на Тверской и стали постоянными его гостями. У меня всю жизнь отсутствовало канцелярское счастье. Когда мы пришли оформляться в университет, выяснилось, что свидетельство о благонадежности не пришло сюда.

25 ноября

Я дал об этом телеграмму в Екатеринодар. В канцелярии начальника области выяснилось, что свидетельство мое по ошибке заслали в Петроград. Мама, со своей подозрительностью, решила, что это подстроенно мной, так как Милочка поступила на Бестужевские курсы. Я огорчился этой задержкой. Меня еще по пути мучило предчувствие, что в канцелярии меня как-то обидят. Но когда мы с Тоней зашли поглядеть на юридический факультет (правая дверь во дворе нового здания), меня утешил старик швейцар. Он повел нас в гардеробную. Там, по тогдашней традиции, уже висели отпечатанные на машинке карточки, указывающие каждому его вешалку, и мы увидели три таблички: «Шварц Антон Исаакович», «Шварц Борис Львович», «Шварц Евгений Львович». По странному совпадению студент, носящий имя и отчество моего старшего брата, умершего шестимесячным, поступил в этом же году в тот же университет, что и я. Оказался он, впрочем, остзейским немцем, неприятным и туповатым. Это выяснилось позже, а пока табличка с моей фамилией успокоила меня. Очевидно, университетская канцелярия, помещавшаяся где-то в мрачных катакомбах старого здания, не придавала значения задержке свидетельства. Оно и в самом деле скоро пришло, и канцелярское приключе-

ние забылось. Да, на этот раз у меня был студенческий матрикул. Я был студентом Московского университета. Он, правда, считался слабым. Я говорю о юридическом факультете, разгромленном Кассо. Но все-таки это был университет, Московский университет. И тем не менее тоска, московская тоска, скоро охватила меня. Я не прививался! Одиночество прошлого года исчезло. В Москве жили Истаманов, Лешка Кешелов, Камрасы. Комнату я снимал вместе с Тоней — и ничему это не помогло. С первого же дня возненавидел я юридический факультет с его дисциплинами. Студенты, которые были, конечно, не глупее моих одноклассников, показались мне дураками, ломаками, ничем.

26 ноября

Чужим я чувствовал себя и у дяди Аркадия. Это был Тонин дядя. И Тоня, выдержанный, хорошо говорящий, образованный, ясный, был принят в его семье как свой. У меня особенно испортились отношения с ним после одного случая. Маруся Зайченко делала сбор для какой-то курсистки, растратившей или потерявшей общественные деньги. Аркадий взял нас на «Лакме» к Зимину. В антракте я рискнул попросить у него для этой курсистки 25 рублей. Благодушное лицо Аркадия с устрашающей легкостью превратилось в каменное, надменное. И он отказал. Это было для меня открытием. Людей подобного рода я еще не видал в своей жизни. Ряд отвлеченных представлений вдруг наполнился содержанием. Я своими глазами увидел собственника во всей его силе. Сказался он по ничтожному поводу, но тем больше поразил. На Тоню он тоже произвел сильное впечатление. Дело было не в отказе, а в технике отказа. Я задел его веру, его божество — от этого и стало надменным его бритое, равнодушно-благожелательное лицо. И я впал у него в немилость. Он почувствовал во мне не врага, но чужого. Я продолжал бывать у него, но он все поучал меня по

мелочам: как причесываться, как одеваться — а иначе ничего, мол, из вас не выйдет...

После монашеской интеллигентской майкопской среды эта и пугала, и удивляла меня. Но, легкая, практичная, трезвая, веселая, она шла московским оживленными улицам с театрами миниатюр, ресторанами, тумбами с афишами, польскими кофейнями, спекулянтами.

27 ноября

Впрочем, два этих последних понятия только-только начали появляться и утверждаться. Ведь война только-только начиналась. Первых раненых мы увидели на маленькой станции по дороге в Москву, ночью, и мне стало жутко. Но первые беженцы, первые «варшавские кафе», первые разговоры о спекулянтах — уже существовали. Москва была еще богаче, еще оживленнее, еще грязнее и еще мрачнее, чем в прошлом году. Но квартира внизу, где мы так часто обедали, не замечала невыносимой для меня тогда московской тоски. Любимым разговором было — сравнивать Москву и Петроград в пользу первой. Итак, я ходил в университет, слушал Байкова, читавшего римское право, лекции которого, и без того мне чуждые, окончательно отравлялись разговорами о том, что это карьерист, ставленник министерства, в науке — пустое место. Бывал и на практических занятиях по римскому праву у Бобина. Но больше всего пользовался я правами и преимуществами предметной системы, благодаря которой никто не интересовался, бываю я в университете или нет. Вот я и не бывал. И однажды в припадке тоски отправился вечером на Николаевский вокзал, не зная расписания, наугад. Мне, когда я поступал к Шанявскому, выхлопотали паспорт сроком на четыре года, до призыва на военную службу, что облегчало мне путешествия, — университетское удостоверение было действительно только в Москве и на сто верст вокруг. Я знал, что поезда в Петроград отходят по вечерам, — и в самом

деле, через час я впервые в жизни ехал по дороге, столь знакомой мне впоследствии, ехал в Петроград повидать Милочку, заставить ее меня любить. Она ведь снова не знала, любит ли меня. Было это, вероятно, 10—11 сентября. Я хотел побывать на именинах Милочки 16-го. Я вышел в Клину, который славился своими пирожками.

28 ноября

Вот тут я вдруг понял, что вырвался из чужой, не принимавшей меня московской жизни и увижу сегодня Юрку Соколова, Соловьевых. Встречу с Милочкой я не представлял себе, это было слишком уж важно. Тоска исчезла, как исчезает иной раз боль, едва приходишь к доктору. Испытывая легкую дрожь, увидел я город. Солнце светило, к моему удивлению. И вот я вышел на Невский, сел на трамвай седьмой номер. И скоро почувствовал в самой глубине, в трезвой и неподкупной глубине: да, это не Москва. Я еще не понимал, в чем дело, но чувствовал новый город. Юрка жил на Петербургской стороне, в огромном доме сразу за Тучковым мостом, выходящем и на Большой, и на набережную, и на Средний проспект. Вход был со Среднего. Юрка обрадовался, что всегда меня глубоко трогало. И пошел показывать мне город. На трамвае проехали мы садоводство.

29 ноября

На это садоводство я до сих пор взглядываю, проезжая. Оно против собора. Через остановку мы слезли и вышли к Неве. Я как-то не понял ее из трамвая по дороге с вокзала. Но тут понял. И уже ясно почувствовал своеобразие города, о котором умалчивали у Аркадия. Мы дошли до спуска к Неве, с китайскими зверями, и сели на пароходик, который довез нас до пристани у Сенатской площади. И смутное чувство, что этот город не чужой, что и он принимает меня, зародилось во мне. Юрка

вывел меня на Морскую. Богатство, как всегда в России, будило чувство неловкости, и дамы вызывающе глядели из колясок: «Мы в своем праве! Троньте только!» Возле памятника Николаю ходил старичок в старенькой солдатской форме, в кивере. Такой же старичок шагал у Александровской колонны. Дворец глухого красного цвета не очень понравился мне. Статуи на крыше, казалось, толпятся и не связаны со зданием. К боковому подъезду подкатила маленькая каретка, лакей в ливрее помог выйти маленькой старушке. Кто приехал? Мы знали, что царь живет в Царском Селе. Какая-нибудь старая фрейлина? Но это было так далеко от нас, что едва задело воображение. Зато раздавшийся на Дворцовом мосту странный дуэт — флейты и барабана — ударил по сердцу. Шли юнкера, неспешным шагом, штыки в ниточку...

Обедали мы в польской столовой. И вечером пошли к Соловьевым. Жили они очень высоко, на Восьмой или Седьмой линии, у самого Среднего проспекта, дом 31-Б. Они приняли меня ласково. У них сидела в гостях Милочка, странная, непонятная, петроградская. Она все постукивала носком башмачка, все думала о чем-то и улыбалась своим мыслям. И начались мои терзания. Юрка Соколов нарисовал карандашом карикатуру на нас.

30 ноября

Собственно говоря, это был рисунок, а не карикатура. За столом сидела Милочка, с новой своей неопределенной улыбкой, с шапкой выющихся волос, а из угла комнаты глядел на Милочку я, худой, угнетенный, мрачный, явно стараясь понять изо всех сил, что она думает, что с ней. Рисунок этот ужаснул меня, я даже хотел разорвать его. Во всяком случае — помял, чем рассердил Юрку. В любви своей дошел я до странного состояния. Я отчетливо видел все недостатки Милочки. Она была не вполне нашей, не понимала того, что легко схватывали я, Юрка, из Соловьевых — Варя. Юрка

рассказал мне, как в музее Милочка, глядя на какую-то картину, прошептала: «Хорошенькая головка!» Я был беспощаден к ней, какой-то трезвый голос говорил мне: «Сейчас она даже некрасива. Смотри! То, что она говорит, не слишком умно. Слушай! Она не понимает того, что понимаем мы. Она не очень хорошо играет на рояле. Играя, она открывает рот, не разжимая губ. Это не слишком красиво». С удивлением я заметил однажды, что люблю Милочку для себя. Мне легче было бы пережить ее смерть, чем измену. Я никогда не жалел ее. Я любил ее свирепю, бесчеловечно — но как любил! То, что в других меня разочаровало бы, вызывало только боль, когда я замечал это в Милочке. Я не жалел ее, странно было бы жалеть бога. Поездка в Петроград оказалась мучительной. У Милочки бывал Третьяков¹⁶, тот самый юнкер, которого я ненавидел в Майкопе. На этот раз были поводы для ревности. И я по своей слабости переживал это чувство открыто, не скрывал его. В Петрограде было много магазинов с вывеской «Цветы из Ниццы». Недалеко от Милочки (она жила на Среднем проспекте Васильевского острова, в доме 47) был как раз такой магазин. Я купил букет хризантем.

1 декабря

Ничего другого, кроме этих цветов, лиловатых, растрепанных, с длинными лепестками, в магазине и не было — вероятно, по случаю войны. 16 сентября 1914 года пошел я вечером к Милочке, понес свои хризантемы. И мы поссорились в этот день, в день ее ангела. И, придя в ужас и отчаяние от невозможности понять новую, петроградскую Милочку, как не понимал, впрочем, за год до этого Милочку майкопскую, я выхватил из вазы растрепанные большеголовые цветы, бросил на пол и растоптал. И Милочка сказала дрогнувшим голосом: «Вот так у нас и будет. Все, что ты мне отдаешь, ты потом растопчешь». И это до того не было похоже на

правду, что я подумал: «Нет, Милочка все-таки ничего не понимает. И сказала она это как-то неестественно». Я был беспощаден к ней — и как безумно я любил ее. Уже у Наташи и Лели были строгие лица, когда мы у них бывали. С такими лицами переносили они обычно зубную боль, температуру, неприятности в гимназии. В данном случае хотели они скрыть, как неприятно им видеть то, что Юрка так беспощадно изобразил в своем рисунке. И он, встретивший меня радостно, теперь стал суховат со мной. Не одобрял моего поведения. Но я видел это как бы сквозь сон. Я почти не разговаривал с Соловьевыми и Соколовыми. Кто-то из родственников петроградских Юрки болел легкими. Какая-то Юрина тетка. Ему надо было проводить ее в Финляндию, в санаторию. Он предложил мне поехать с ним, но я отказался, чего не могу простить себе до сих пор. Так во мгле и тумане провел я дней десять и вернулся в Москву. Вздурженный, ошеломленный, я еще дальше чувствовал себя от московского круга. <...>

2 декабря

Петроград все мучил меня. И вот я сочинил поэму, шуточную и грустную в такой мере, что в любом месте можно было сказать, что это я так. Тоже для смеху. В ней я описывал свою поездку.

3 декабря

О самом главном в поэме умалчивалось. Ни о любви моей, ни о Милочке не говорилось. Более того, перечисляя друзей, собравшихся у Соловьевых, я Милочку не назвал, но написал умышленно: «Мы в сборе, теперь мы все». Написав, послал Юрке. И вдруг получил от него ласковое письмо, в котором он поэму хвалил. Написали мне об этом и девочки Соловьевы. Однажды я встретил девушку, лицо которой показалось мне знакомым. Это была Зина Лабзина, та, что некогда дружила с Милоч-

кой, жила рядом с ней. Она узнала меня. Я зашел к ней в гости. Говорили о Майкопе, о школьных наших годах и, естественно, о Милочке. Вышел я от нее полный такой тоски, что заехал домой, взял сверток с бельем и несессер, который купил в минуту расточительности, в сафьяновом футляре, с мыльницей, щеткой, флаконами для одеколона, впрочем, пустыми. Тоня на этот раз встретил мой отъезд неодобрительно, что на мое решение не повлияло. На этот раз попал я на почтовый поезд, шедший бесконечно долго. Приехал я в Петроград часа в три дня. Встретил меня Юрка весело: «Написал поэму, а теперь приехал посмотреть, какое впечатление произвел?» Он, оказывается, переписал ее и сделал к ней концевочки пером. Я был счастлив; первый раз Юрка меня так похвалил. Именно в этот приезд сказал он мне: «Тебя любят всегда, а уважают иногда». Милочка вспыхнула, когда увидела меня, — обрадовалась, она не ждала моего приезда. Но уже на другой день все полетело кувырком. Третьяков, несомненно, стоял на моем пути, и я обезумел, потерял голову от ревности. Пришел он к Милочке. Посидев некоторое время, я сбежал, потом вернулся во двор, пробрался в какой-то закоулок под Милочкиным окном. Тускло светились двойные рамы, занавески. Стоял туман. Я глядел и не знал, что делать, готов был на все. Жила Милочка в полуторном этаже. Швырнуть полено? Взобраться по трубе? И я вернулся к Милочке.

4 декабря

Вернулся туда, к ним, спокойный, как ни в чем не бывало. Милочка и Третьяков сидели чинно за столом, беседовали. Надо сказать, что соперник мой не имел ничего юнкерского в своем характере, был, может быть, еще более робок, чем я. Он только, вероятно, начинал влюбляться в Милочку, поглядывал на меня сквозь очки несколько смущенно. Он не мог не знать, что я в нее влюблен много лет. Когда Третьяков стал прощаться, я

заявил, что побуду еще немного. Милочка сделала недоумевающее лицо и пошла проводить Третьякова до двери. Вернувшись, отказалась она говорить о Третьякове, о своих чувствах к нему и ко мне. На другой день я пришел рано, Милочки не было дома. Злая хозяйка ее, ожесточившаяся от одиночества, не здороваясь, пустила меня в Милочкину комнату. Подождать. Там я увидел на столе тетрадь, Милочкин дневник, как я подозревал. Без колебаний и угрызения совести открыл его я. Боль моя к этому времени достигла такой силы, что кроме нее ничего я не испытывал. Я столько раз ревновал Милочку без всяких причин, что и на этот раз хотел одного: успокоиться — и верил в это. Прежде всего увидел я запись в день моего приезда: «Я почему-то очень обрадовалась», — писала она. Дальше она рассказывала, что обращалась со мной ласково, и заканчивала пренебрежительно: «Он, конечно, страшно рад». И, не веря себе, ужасаясь, прочел я правду: Милочка влюбилась в Третьякова и жаловалась на его непонятное поведение: «Он избегает называть меня по имени». Уж я-то понимал почему! Никаких признаков любви она в Третьякове не замечала. Но я-то их видел отлично. Да и не в его чувствах было дело, а в ее! Я ушел, не дождавшись Милочки, бродил по переулкам, которых никогда потом не видел. Вышел на узенький канал с деревянным мостиком, постоял у перил. Все выглядело новым, ясным, безнадежно ясным: беда пришла. Вернувшись к Милочке, я не признался ей, что прочел ее дневник. Я сказал, что меня «осенило».

5 декабря

«Меня осенило! — сказал я Милочке. — Я больше не буду тебя ни о чем спрашивать. Мне все и так понятно». И я, приводя разные случаи, замеченные и вычитанные в дневнике, закончил решительным и твердым утверждением: «Меня ты больше не любишь. Ты влюблена в Третьякова». Все это Милочка выслушала покорно, с

легким смущением, не отрицая и не подтверждая. Да я и не давал ей говорить. Мы попрощались с ней на углу, у остановки 7-го номера. И я уехал на вокзал. Все было по-новому ясно, и улицы, и город лишились значительности, не обещали мне больше счастья. Я ходил взад и вперед мимо своего вагона, и вдруг на перрон, откуда-то снизу, с пустого пути, прыгнул Юрка. У него не было денег на перронный билет и на трамвай. Он пешком пришел на вокзал и по путям пробрался к поезду. Он не собирался провожать меня, появился на вокзале неожиданно. Он был скорее печален, чем сердит. Разговор завязался неопределенный. Я не в силах был рассказать ему о своей беде, а он чувствовал, что произошло нечто более тяжелое, чем обычная ссора с Милочкой. В поезде не стало легче. Вся с детства любимая прелесть железнодорожного путешествия исчезла. Гудел паровоз, стучали колеса — ну и что? Оставив на своем месте пальто, я вышел на какой-то станции. Вернувшись, увидел, что место мое занято. Я подошел к студенту, занявшему место, и со всей ясностью и простотой, новой у меня, попросил его пересестъ. Он попробовал спорить, но потом смутился и послушался. И мне на миг стало легче. Легче мне стало и когда какой-то молодой человек, уже под Москвой, помог мне собрать вещи, завернул мой узелок в газету. «Наверное, видно, как я измучен», — подумал я. И, приехав в Москву, я почувствовал, что жить не могу. И я решил идти на войну.

6 декабря

Когда я решил идти на войну, мир, потерявший цвет, ласковость, таинственность, стал понемногу как бы приходить в чувство. Я не был уже в одиночестве; один против своей беды. Я стал мечтать, к сожалению. У меня появились надежды — бессмысленные, но успокоительные, одурманивающие надежды — поразить, наказать Милочку за ее измену военной славой или

славной смертью. Кроме того, уход на войну одним ударом разрубал запутавшийся узел моих университетских дел. Я безнадежно отстал, не бывал на семинарах, лекциях и так далее. Я ненавидел юридические «дисциплины» — само это слово наводило тоску. И я не верил, что подготовлюсь к экзаменам. Точнее, понимал, как это будет трудно, труднее, как мне казалось, чем воевать с немцами. И, наконец, третье, чтобы до конца оставаться правдивым. Меня и в самом деле мучило достаточно ясное чувство вины. Правда, мой возраст не был еще призван, но кое-кто из наших реалистов уже воевал. Мне казалось, что я мог бы взять на себя часть общей тяжести. Сначала я решил поступить в военное училище. Я поехал куда-то далеко, опять к Яузе, там, мне сказали, я могу получить все справки о поступлении на военную службу. Весь мир уже не был так оголен, как в первые дни моего горя. Мне показалось значительным, что воинское присутствие недалеко от больницы, где я заглянул год назад в прозекторскую. В угрюмой, сургучной, канцелярской, недоброжелательной комнате писарь неохотно дал мне все справки. Выяснилось, что я — православный, рожденный русской и по документам русский — в военное училище поступить могу только с высочайшего разрешения, так как отец у меня еврей. Для поступления же добровольцем препятствий не имелось. Писарь дал мне книжечку: правила поступления охотником. Я выбрал артиллерийский дивизион, расположенный на Ходынке, — кто-то посоветовал мне идти в артиллерию. Тоня сказал мне насмешливо: «Ты уже потому охотник, что несешь дичь!» Но я был тверд.

7 декабря

Я сообщил домой, что иду на фронт добровольцем. Написал Юрке и получил ответ. Он отговаривал меня от этого. Он осторожно намекнул на подлинную причину моего решения: «Мяса ешь поменьше!» В то же вре-

меня сообщил он мне, что Наташа бросила курсы, пошла в сестры милосердия — в Еленинскую общину. Там был почти монашеский устав — домой не отпускали, посещение знакомых не допускалось. Когда (несколько месяцев спустя) она уезжала на фронт, Соколовы стояли вдали, только знаками с ней попрощались. И это укрепляло мое решение. Если бы не отвратительная, невыносимая для меня канцелярская застава, через которую в первые месяцы войны надо было пробиться, чтобы попасть в армию, я пошел бы добровольцем. Несмотря на то, что мне исполнилось уже восемнадцать лет, я терялся, выходя из привычного мне круга. Меня оскорблял и пугал тон, с которым писари разговаривали со мной. А тут еще пришла телеграмма отца: «Запрещаю как несовершеннолетнему поступать добровольцем». И вторая телеграмма, извещающая о приезде мамы. Она приехала растерянная, и давно утраченная близость между нами помешала настоящему объяснению. Спорить нелепо, раздраженно я мог, но тут было не до того. В общем, все же мое желание идти на фронт дрогнуло. Я сдался. Мама провела в Москве недели две. Я доставал ей билеты в театр. Обидел ее без всякой вины с моей стороны: обещал ее встретить и проводить после спектакля в Художественном, и мы разошлись с ней в толпе, а она так и не поверила, что я пришел вовремя. Побывали на торжественном спектакле в Большом в пользу инвалидного фонда (шел один акт оперы, акт из Островского «Свои люди — сочтемся» и акт из балета). Я был на галерке, а мама в партере. Очень долго играли гимны союзных держав, и, глядя на маму сверху, я боялся, что ей трудно стоять.

8 декабря

Было ей тогда тридцать девять лет, здоровье ее с годами окрепло. Выяснилось, что порок сердца, который прослушивали у нее все врачи, исчез. Да, исчез начисто, шумы в сердце пропали, мои детские страхи оказались

напрасными. Но я привык бояться за нее и угадывал, что ей неудобно и трудно стоять между креслами, что и подтвердилось. Мама сказала после спектакля, что она боялась упасть. Садовская играла сваху в «Свои люди — сочтемся», пела и даже сплясала или показала вид, что это сделала. И мама впервые увидела артистку, которая, как думал Дризен, повлияла на восемнадцатилетнюю любительницу. Садовская была прекрасна. Побывали мы с мамой и в Третьяковке. Румянцевский, помнится, почему-то был закрыт в это время. Повидала мама Камрасов, Истаманова, побывала у Аркадия и поняла, как я живу. И пришла в ужас. И, как я узнал потом, писала папе, что я ничего не делаю, «ничем не интересуюсь» (вот вечное обвинение тех лет) — и, может быть, лучше было бы пойти мне и в самом деле на войну? Теперь мне кажется, что она была права. Но она не решилась, не посмела отправить меня в эту жестокую школу. И уехала. Приближались рождественские каникулы. Мы с удовольствием думали о поездке домой.

14 декабря

Я не слышал Шаляпина: ждал, пока билеты свалятся мне в руки. Да так и не дождался. Я не читал почти ничего нового, а все перечитывал Толстого и Чехова. «Анна Каренина» так и лежала у меня на столе, ездила со мной всюду, как недавно «Пиквикский клуб». Читал «Новый сатирикон» и тоненькие журналы, а толстые не читал. Разве, если попадутся под руку. Дочка Марии Гавриловны Маруся Петрожицкая, незадолго до того кончившая с серебряной медалью Московскую консерваторию, решила, что мне следует заниматься музыкой. Чуть странная, в платьях вроде античных хитонов, с большим бледным лицом и небольшими глазами, она взялась за это дело энергично, даже комнату ходила снимать со мною, искала подходящую для занятий музыкой. Впрочем, в Лебяжьем переулке поселился я самостоятельно. Туда я

привез пианино, взятое напрокат, — кажется, Блютнера, с тремя педалями, средняя являлась модератором. Я брал уроки у прекрасной пианистки, повесил над пианино портрет Бетховена, но уроков не учил и так и не научился хоть ноты читать. Комната у меня была странной формы, многоугольная. Окно выходило в сторону Москвы-реки — виден был Каменный мост, набережная, вода.

15 декабря

Я слышал, как гудел лифт, поднимаясь, — углы моей комнаты были вызваны необходимостью построить шахту для него. В консерватории объявили вечер памяти Чюрлениса. Маруся Петрожицкая должна была играть по рукописи его вещи. Она взяла меня на репетицию перелистывать ноты. Оказывается, я и этого не умел. Были мы на выставке этого художника, где-то на Тверской. Он писал музыку, и тогда мне, в тумане моем, казалось, что я понимаю его. Все больше и больше военных встречалось теперь на улицах и в театрах. По офицерской традиции они стояли у своих мест, повернувшись лицом к сцене, пока в зрительном зале не гаснул свет. Объясняли эту традицию по-разному. Кто говорил, что офицеры стоят лицом к тому месту, где положено быть царской ложе, кто — исходя из предположения, что в зале находится некто невидимый старше их чином. В переулках, на площадях, у казарм — всюду, всюду учили солдат. Однажды, это уж ближе к весне, пошел я к вечеру в Кремль. Возвращаясь, я увидел, как со Знаменки навстречу мне идут не спеша рослые люди, на которых все оглядываются. Иные даже останавливаются, смотрят им вслед. И когда они подошли ближе, священный трепет, майкопский благоговейный ужас охватил меня. Шел человек, из которого воистину «вышло что-то»: Шаляпин! Предполагали снимать картину «Иван Грозный»¹⁷. Видимо, с тогдашними киношниками и шагал Шаляпин в Кремль. Он угадывал наш трепет, но был царственно спокоен. И я подумал, что надо же, наконец, увидеть Шаляпина на сцене.

19 декабря

Без огня моей любви я опустел. Мне не хочется рассказывать о тех годах. Я просто жил и хотел нравиться, только нравиться, во что бы то ни стало; куда меня несло, туда я и плыл, пока несчастья не привели меня в себя и я не попал в Петроград 21 года артистом Театральной мастерской¹⁸. Я был женат¹⁹, несчастен в семейной жизни, ненавидел свою профессию, был нищ, голоден, худ, любим товарищами и весел, весел до безумия и полон странной веры, что все будет хорошо, даже волшебю.

30 декабря

Петроград оказался воистину призрачным. В искусстве. В нашей области — одни еще не умерли, а другие еще не родились. Старые имена не имели под собой почвы. А на новой почве росли странные искусственные цветы.

1953

30 августа

Особняк Черновых на бывшей Садовой улице, ныне улица Энгельса в Ростове-на-Дону. Двадцатый год. Театр Театральная мастерская захватил особняк, не без участия хозяев. Дочка их, ее муж, брат мужа — все артисты театра. Старики Черновы забились в одну комнату в глубинах особняка. Изредка покажется в коридоре маленький седой армянин с изумленными, осуждающими глазами и скроется...

Зал черновского особняка, большой для богатого дома, превращен был в крошечную театральную залу. А мы, случайно встретившиеся, едва вышедшие из юношеского бесплодного, несамостоятельного бытия, стали профессиональными актерами. И не верили этому. Быт в те дни был сложен.

31 августа,

Ростовские мальчики и девочки, знакомые еще с гимназических времен, разных характеров, разных дарований, полные одним и тем же духом — духом своего времени. Сначала собирались они и обсуждали книги и читали рефераты о литературных событиях двух-трехлетней давности. Назвали они свою компанию (это была, конечно, компания вроде тех, что вертелись этим летом вокруг нашего дома) «Зеленое кольцо». Тогда только что прошла пьеса Гиппиус под этим названием о

молодежи, которая жаловалась, что «попала в щель истории» и не находит себе места в жизни. И эта компания пыталась от избытка сил найти подобие веры, но пышная и мутная символически-религиозно-философская культура тех дней только манила их, импонировала, но оставалась им в сущности чуждой. Оставались они теми же юношами-подростками... Компания эта так и разошлась бы, но в ядре ее подобралось несколько людей, по-настоящему любящих, нет, влюбленных в театр. В 17 году поставили они «Незнакомку» Блока. В 18-м — уже при нашем участии — «Вечер сценических опытов». Мы — это краснодарская компания, переехавшая в Ростов учиться: Тоня, Лида Фельдман, я. Ставил все спектакли Павлик Вейсбрем, которому только что исполнилось 19 лет. Во второй спектакль, в «Вечер сценических опытов», входили «Пир во время чумы», отрывок из «Маскарада» и отрывок из какой-то пьесы Уайльда, не вошедшей в собрание его сочинений, совсем не помню какой. Вроде мистерии. Вейсбрем говорил вступительное слово, переполненный зал слушал внимательно. Он говорил о счастье действовать и объединять людей. Вот по нашей воле сошлись тут люди, забыли о своих интересах, подчинились искусству. Второй спектакль еще более объединил компанию. Это уже был кружок.

1 сентября

Но и кружок этот, вероятно, распался бы, не сойдись так исторические события. Наиболее определившиеся из молодежи и раньше держались крепко за это дело. Самым любопытным из всех них был Павлик Боратынский, о котором Вейсбрем говорил, что он «человек трагический». Он, как все герои своего времени, был временем порожден и нарушал его законы как хотел. Впрочем, время как раз поощряло к этому роду нигилизма. Он необыкновенно спокойно, весело и бескорыстно лгал, чем восхищал и ужасал меня. Красивый, стройный, спокойный, почти

мальчик, с женщинами он был безжалостен, за что они и не слишком обижались... Актер он был не просто плохой, а ужасный, Вейсбрем совершил с ним чудо — он очень сильно сыграл Вальсингама в «Пире во время чумы», но и только. И, несмотря на это (или именно поэтому), он страстно любил театр. Еще до того, как Театральная мастерская стала государственным театром, он совершил преступление. Не было денег на декорации и на оплату зала. И Павлик украл шубу у богатого клиента, пришедшего к его отцу, адвокату. И театр был спасён. Боратынский был решителен, насмешлив, умен. Восхищался Андреем Белым — «Серебряный голубь» и «Петербург» были его любимыми книгами. Но вместе с тем был и хорошим организатором, и это ему во многом были мы обязаны тем, что театр не распался, пока обстоятельства не объединили нас крепче, чем было до сих пор. Жизнь не то что изменилась или усложнилась, а начисто заменилась. И в этой новой жизни нам нашлось вдруг место и как раз потому, что существовал театр. И вот мы реквизировали особняк Черновых, к изумлению хозяина.

3 сентября

Да, теперь мы были настоящим театром, хотя не слишком-то верили этому. И зарплата, которую мы получали, была столь призрачна, и люди столь по-другому знакомы, что думалось: «Да, мы, конечно, театр, но все же и не вполне». И театральные критики, в новых условиях растерявшиеся, не могли нас уверить, и хваля и браня, что мы существуем. Самым значительным подтверждением факта нашего существования был хлеб. Внизу, в высокой сводчатой комнате черновского особняка, нам раздавали наш хлебный паек... Театр давал нам крошечную зарплату, право обедать в столовой Рабис и этот хлеб. И постепенно, постепенно реальность его существования утвердилась именно этими фактами. Во всем остальном было куда меньше основательности.

Вряд ли у нас были какие-нибудь театральные вкусы и верования. Мы были эклектичны по-провинциальному, и потому что сорок лет назад в театре все дрогнуло, перемешалось и еще неясно было, кто победил. В Художественном театре ставили «Синюю птицу». «Гамлета» ставил у них Гордон Крэг. Начался период стилизаций. Появились режиссеры-«эрудиты». О маленьких театрах вроде театра Комиссаржевского говорили и писали больше, чем о больших. Возрождали, насилуя себя всячески, комедию дель арте, о чем недавно я прочел прелестную запись в дневнике Блока о знакомых, которые лежат под столом и бегают на четвереньках, и о том, как не соответствует это умной и печальной русской жизни. Но сам он был связан как-то с театром Мейерхольда, который репетировал в Териоках Стриндберга. Обрывки всего этого доходили до нас, и мы во все это верили и не верили. И у нас было два режиссера — Любимов и Надеждов*...

На редкость разными людьми были наши режиссеры. Любимов, вышедший из недр Передвижного театра¹, был нервен до болезненности, замкнут, неуживчив, молчалив и упрям. Тощенький, большелобый, в очках, смертельно бледный, сидел он на репетициях в большом черновском кресле, сжавшись, заложив ногу за ногу. По нервности он все ежился, все складывался, как перочинный ножик. Добивался он от актеров того, чего хотел, неотступно, упорно, безжалостно. Только не всегда ясно, по своему путаному существу понимал он, чего хотел. Второй режиссер — открытый, живой красавец Аркадий Борисович Надеждов. Этот играл и в провинции, и с Далматовым, и у Марджанова, от которого подхватил словечко «статуарно». Работал Надеждов и у нас, и в полухалтурном театре (кажется, называли его «Свободный»)², и ставил массовые зрелища в первомайские или октябрьские дни... Он внес в Театральную мастерскую веселый, лег-

* В подлиннике ошибочно — Надеждин.

кий дух профессионального театра. На так называемых режиссерских экспозициях был он смел и совершенно беспомощен. Нес невесть что. А ставил талантливо. Не было у него никакой системы, нахватал он отовсюду понемногу — это сказывалось в его речах. Но вот он приступал к делу. Его красивое лицо умнело, становилось внимательным. Любовь к театру, талант и чутье помогали ему, а темперамент заражал актеров. Как это ни странно, но столь непохожие друг на друга режиссеры наши никогда не ссорились. Впрочем, Надеждов был уживчив, да и вряд ли считал Мастерскую основным своим делом. Чего же тут было делить ему с Любимовым? Надеждов поставил у нас «Гондлу» Гумилева и «Иуда — принц искаротский» Ремизова. А Любимов — «Гибель “Надежды”» Гейерманса и «Адвокат Пателен».

4 сентября

Пятым, а вместе с тем и первым по времени выпуска (по-моему, с него и начал наш театр свою жизнь в качестве государственного) был «Пушкинский спектакль». Туда вошел без изменения перенесенный из «Вечера сценических опытов» «Пир во время чумы», «Моцарт и Сальери» был поставлен заново. Между двумя этими пьесами Антон Шварц и Холодова читали стихи. Второй постановкой была «Гибель “Надежды”». Третьей — «Гондла», затем «Адвокат Пателен» и «Иуда — принц искаротский». От постановки к постановке привыкали мы к тому, что Театральная мастерская — настоящий театр. Директор наш, Горелик, был вместе с тем и секретарем Наробраза. Он принадлежал к виду молчаливых и властных людей. Несмотря на свой возраст (ему было 22—23 года), он заставлял себя слушаться как старший. Он вел театр со свирепой и молчаливой энергией... Идеологом театра являлся сам заведующий Наробразом К. Суховых. Я знал его как фельетониста «Кубанского края», где подписывался он — «Народин».

Это был высокий, постноватый на взгляд человек, с длинными прямыми волосами и морщинистым лицом. Было ему, вероятно, под сорок.

5 сентября

Суховых перед каждым спектаклем выступал перед занавесом, говорил вступительное слово, увязывая пьесу с сегодняшним днем. Одна была близка ему как трагедия, другая — как широкое историческое полотно, третья — как продукт народного творчества, — Луначарский приучал широко мыслить.

У нас была страстная жажда веры, а пророка все не находилось. Художники у нас были случайные, из проезжих. «Гибель «Надежды» делал Николай Лансере, «Гондлу» — г. Арапов, «Иуду» — Лодыгин. Как я тосковал в театре! Как не верил, что дело это имеет какое-то отношение ко мне. Николай Лансере написал задник — море.

6 сентября

Я ждал своего выхода в «Гибели “Надежды”» возле самого этого задника. И, несмотря на близость к холсту, цвет моря вызывал у меня тоску по временам, вдруг ушедшим в туман, — по беспечным временам, когда шли мы пешком по шоссе, приближаясь к Адлеру. А теперь я женат, я артист, я ненавижу свое дело. Я не пишу, как в те дни, когда шли мы с Юркой по морю, а главное, не знаю, как писать. Спасительное чувство, что все это «пока», и мечты утешали меня, особенно возле этого задника, изображающего море. Таковы были наши декорации. Думаю, что были они профессиональнее, чем постановки наши и игра. Попробую рассказать об актерах. Самой заметной фигурой был Марк. Он успел побывать в настоящем театре, да еще в каком — в Художественном. И более того, во Второй студии, той самой, где Мчедлов поставил «Зеленое кольцо»³. Если Художественный

в те дни начинал утрачивать былое обаяние, то студии в наших глазах стояли необыкновенно высоко, — и вот Марк Эго пришел прямо оттуда. Шумной, простоватой, но сильной своей натурой завоевал он заметное место на незримом, но вечно волнующемся актерском форуме. Небольшого, нет, среднего роста, густоволосый, черноволосый, румяный, он не очень походил на актера в старом представлении. МХТ любил принимать в студию именно таких: интеллигентных, темпераментных, недовольных... Но Марк был еще и простоват. Не в смысле разума. Никак! В смысле вкуса. Сказывалось это прежде всего в псевдониме: Эго! И в отсутствии чувства юмора: он брал у времени всерьез его случайные, шумные, третьесортные признаки (Марк Эго). Так он и играл, и жил, и обсуждал театральные дела.

8 сентября

Заметную... роль играл в театре Антон Шварц. Он был образованнее, да и умнее всех нас. Говорил на заседаниях художественного совета всегда ясно и убедительно. Спокойствием своим действовал умиротворяюще на бессмысленные театральные междоусобицы. Читал он великолепно. Играл холодно. Он и Марк Эго были героями, а на амплуа героини — Холодова, играющая тогда под фамилией своей настоящей — Халайджиева⁴. Она была талантливее всех, но именно о ней можно было сказать, что она человек трагический. По роковой своей сущности она только и делала что разрушала свою судьбу — театральную, личную, любую. Она была девять лет моей женой.

Вот входит в репетиционную комнату Костомолоцкий⁵, костлявый и старообразный, и на пороге колеблется, выбирая, с какой ноги войти... Голос у него был жестковатый, неподатливый, но владел своим тощим телом он удивительно. Это был прирожденный эксцентрический артист.

9 сентября

Этот новый вид актерского мастерства чрезвычайно ценился в те дни. Через несколько лет Костомолоцкий прославился в постановке «Трест Д. Е.» у Мейерхольда в бессловесной роли дирижера джаза.

Более традиционным комиком являлся армянин, адвокат Тусузов, осторожный, неслышный, косо поглядывающий из-под очков своими маленькими глазками. И все-то он приглядывался, и все-то он прислушивался, выбирая дорожку небезопаснее. Одиноким, он и в театре держался бобылем, не вызывая, впрочем, враждебных чувств в труппе. Уж очень он был понятен и безвреден со всеми своими хитростями. И актер был хороший — он до сих пор играет в Театре сатиры. Рафа Холодов, рослый, красивый, играл любовников, что давалось ему худо. Он мгновенно глупел и дурнел на сцене и все злился — явные признаки того, что человек заблудился. И только в дни наших капустников, играя комические и характерные роли, он преображался. Исчезал недавно кончивший гимназию мальчик из солидной семьи, которому ужасно неловко на сцене. Угадывался вдруг талант — человек оживал. И в конце концов он так и перешел на характерные роли и стал заметным актером в Москве с тридцатых годов. Фри́ма Бунимович, или Бунина, тогда жена Антона Шварца, преданнейше в него влюбленная, огромноглазая, больше-лобая, маленькая, худенькая, была одарена разнообразно. Она все светила, светила, никогда не была спокойна, и черные глазища ее все мерцали, как от жара. Иногда бывали у нее припадочки, когда ее сгибало, она поднималась, как мостик, от пяток к затылку, дугой. Она и рассказы пробовала писать, и стихи. И томила без ролей, и все обхаживала в вечной тревоге Тоню.

16 сентября

Разные то утешительные, то враждебные мне люди собрались и образовали театр. Вечер. Дежурный режис-

сер сегодня Надеждов — по очереди присутствуют они на спектаклях, то он, то Любимов. Насмешливо щурясь, по-актерски элегантно, любо-дорого смотреть, бродит он возле актерских уборных, торопит актеров, называя их именами знаменитостей: «Василий Иванович, на сцену! Мариус Мариусович! Николай Хрисанфыч!» Но вот Суховых придает спокойное, даже безразличное выражение своему длинному лицу.

17 сентября

И выходит на просцениум. Свет в зрительном зале гаснет. Начинается. Мы собираемся у дверей единственного входа на крошечную нашу сцену. Глухо доносятся из-за занавеса слова Суховых. Он говорит об эпохе реакции, о борьбе темных и светлых сил. О победе пролетариата, которому нужно искусство масштабное, искусство больших страстей. Вежливые аплодисменты. Насмешливое лицо Надеждова становится строгим и внимательным. Суховых торопливо проходит через сцену. «Занавес», — шепотом приказывает Надеждов, и начинается спектакль, и только катастрофа — пожар, смерть, землетрясение — может его прервать. Так мы служили в театре в 20/21 году. И все события, которые разыгрывались за его стенами, занимали нас смутно, только врываясь к нам через его стены. Так, во время врангелевского наступления предложили нам идти в Красную Армию добровольцами. Многие записались, но тут же ночью мобилизация была отменена. Во время изъятия излишков у буржуазии ночью дали вдруг свет. В нашу комнату вошли рабочие с винтовками, спросили добродушно: «Артисты?», посмотрели удостоверения и вышли, ни на что и не взглянув. Впрочем, с первого взгляда можно было догадаться, что излишков у нас нет.

18 сентября

Иногда мы зарабатывали в «Подвале поэтов». Длинный, синий от табачного дыма подвал этот заполнялся

каждый вечер, и мы там за тысячу-другую читали стихи, или участвовали в постановках, или сопровождали чьи-нибудь лекции. А лекции там читались часто, то вдруг о немецких романтиках, то о Горьком (и тут мы ставили «Девушку и Смерть»), то о новой музыке. Однажды на длинной эстраде появился Хлебников. Говорили, что он возвращается из Персии. Был он в ватнике. Читал, сидя за столом, едва слышно, странно улыбаясь, свою статью о цифрах⁶. На другой день Халайджиева видела его на рынке, где он пытался обменять свой ватник на фунт винограда. Очевидно, Рюрик Рок не заплатил Хлебникову за вчерашнее выступление. Рюрик Рок был как будто председателем Союза поэтов — во всяком случае, все дела «Подвала» сосредоточены были в его руках и он платил нам за участие в их вечерах. Рюрик Рок, настоящая его фамилия была Геринг, являлся полной противоположностью Хлебникову. Нет, он никогда не улыбался странно, был румян, черноволос, спокоен, деловит. Одет он был далеко-далеко не в ватник. Примыкал к школе ничевоков, а может быть, стоял во главе ее⁷. Школа эпатировала буржуа, но эти последние были уж до того эпатированы, что сидели смирно в уголках и только радовались. Ничевоки не угрожали их жизни и излишкам. Вскоре поступил я в политотдел Кавфронта. Об этом театре рассказывать долго, да и приглушенные, тлеющие впечатления тех упадочных лет до сих пор неприятны мне. Я ненавидел актерское ремесло и с ужасом чувствовал, что меня занесло не туда.

20 сентября

По моему особому счастью, когда переезд Театральной мастерской в Петроград был решен и подписан, денег у меня не оказалось. У меня тут был особый дар — работал я как все, но деньги не шли ко мне, а придя, не задерживались. И я пошел в последний раз на рынок. Называю его так по ленинградской привычке. Я пошел на базар продавать студенческую тужурку. Базар начинался

длинной человеческой рекой, тянущейся вдоль бульваров, под акациями. Впадала эта река в огромное человеческое озеро, над которым виднелись островки: мажара с арбузами или клетками, из которых высовывались длинные гусиные шеи, или кадками со сметаной и маслом. На циновках прямо на земле горою вздымались помидоры, и капуста, и синенькие, и на таких же циновках разложены были целые комиссионные магазины: тут и фарфор, и старые ботинки, и винты, и гвозди, и книжки. Вещи обычно удавалось продать еще на бульваре. Если дойдешь до самого базара, — худой признак. Значит, нет спроса на твой сегодняшний товар. Студенческую тужурку купили скоро, и сердце у меня вдруг сжалось, когда увидел я, как парень с маленькой головой уносит ее. Мне почудилось, что это моя молодость уходит от меня. Было мне двадцать четыре, почти двадцать пять лет, и я все как-то не верил, что мы уедем в Петроград и я как-нибудь выберусь из колеи, которую ненавидел. Но вот уже поданы вагоны — две теплушки, с нарами для актеров в одной и театральным имуществом в другой. Стоят они вправо от вокзала, вход через ворота. Вот вагоны и погружены. Осенний, почти летний вечер — засушливое, жаркое лето 21 года все тянется. Я измучен не столько сборами, сколько слезами и истериками близких. Вагоны стоят.

21 сентября

Тоня и Фрима уехали в Москву, и неясно было, присоединятся ли они к нам по пути. Надеждов оставался в Ростове. Уехали вперед Литваки⁸ и Беллочка Чернова. Казалось, что театр вот-вот распадется. Куда ж мы едем? И едем ли? Но вот нас прицепили к какому-то составу.

22 сентября

И мы так долго маневрировали, что я не поверил себе, когда началось движение вперед, без остановки у

стрелок, без свистков, без помахиваний флажками. В высоких, метра в полтора, бидонах плескалось подсолнечное масло — весь капитал театра. Деньги падали каждый день, и поэтому заказаны были специальные бидоны и все, что нам причиталось, обращено в масло. Бидоны подтекали, что нас несколько беспокоило, но знатоки утешали, утверждали, что это неизбежно. Под нарами уместились наши личные бидоны. Один — с превратившейся в подсолнечное масло студенческой моей тужуркой, подъемными, зарплатой за месяц. Перед самым нашим отъездом приехал папа и привез, зная, как плохи мои дела, второй бидон, покрашенный в красно-коричневую краску. Это было все наше имущество. По тогдашним ценам этого могло хватить месяца на два жизни, что меня глубоко утешало. Ни разу я не был так богат. И вот мы все удалялись от Ростова, и я все оживал. Это был непривычный путь — теплушки наши останавливались вдали от вокзалов, где-нибудь на пятом пути, и поэтому все остановки выглядели одинаковыми. Пробираясь под колесами, обходя бесконечные составы, бежали мы к рынку, или к водокачке умыться, или за кипятком, или к уборным. А Павлик Боратынский и Львов — администратор наш и Барсов — второй администратор мчались к дежурному по станции, чтобы нас не отцепили или перецепили к новому составу. Однажды и я от нечего делать присоединился к ним. Дежурный в гимнастерке, бледный и словно опьяненный всеми трудностями, что окружали его, то начинал слушать, то вскакивал и бросался к телефону, то снова говорил нашим: «Слушаю вас, товарищи», — и, получив сверток с колбасой и салом, исполнил нашу просьбу, успокоившись.

24 сентября

Так мы ползли и ползли. Все чаще приходилось закрывать дверь теплушки, потому что хлестали дожди, так что видели мы одни вагоны на станциях. Но вот дней

через пятнадцать в нашей железнодорожной жизни, вошедшей в колею, стало медленно-медленно назревать настоящее событие. Более мелкие события — Курск, Орел, Серпухов — ничего не изменили в нашей жизни, хотя их мы ждали тоже с нетерпением. Но тут мы приближались к Москве! Тут предстояло нам прожить дня три-четыре — таков был срок пребывания на этой станции, узловой из узловых. Думали мы, что прибудем туда вечером, но и ночью не увидели Москвы. И только на рассвете остановились мы среди путей и составов, которым не было конца. Москва-Сортировочная. Мы вышли к виадуку. И я сквозь утренний и душевный туман увидел с моста огромный золотой купол храма Христа Спасителя. И вспомнил, что с самой первой встречи город принял меня холодно, враждебно, да так и сохранил этот обычай навсегда. И напрасно ждал я от Москвы прояснения моей жизни, поворота к лучшему. Ничего хорошего тут с нами не случится. Но вот мы перешли виадук, увидели мощенную булыжником дорогу, услышали цоканье подков — ломовики везли какие-то ящики к станции. И мне вдруг захотелось, так захотелось в Москву. Несколько возчиков курили у лестницы, ждали нанимателя: «Сколько возьмете до Москвы?» — «Десять рубликов». Это значило десять тысяч. Но тем не менее, установив, где будут наши вагоны, к вечеру мы были в Москве. Она была озабочена, нездорова, слаба, но меня встретила непримиримо. Куда хуже, чем летом, когда приезжал я к Чаброву. Мы думали оторваться от театра, остаться тут, в Москве.

25 сентября

В те дни в Москве еще можно было найти комнату, но страшно показалось в эти осенние дни оставаться там в одиночестве, без театра. Не устроился в Москве и Тоня, решил ехать с нами. Жили мы в Москве, пока шли хлопоты о прицепке наших вагонов. Побывали в Камерном

театре, посмотрели «Саломею»... К моему огорчению, «Саломея» ужаснула меня. Кроме Ирода — Аркадина, все остальное не походило, не подходило к той простоте и пустоте, в которой очутился мир. Это выглядело оскорбительно, бестактно, провинциально. Вчерашний обед. В высшей степени черствые именины. Не помню, тогда или чуть позже увидел я «Мистерию-Буфф» у Мейерхольда и тоже огорчился. Я так любил влюбляться. Тут я увидел отказ от всех законов, возмущающих в Камерном. Но радости от этого не ощутил. Оголенная сцена не была использована — слишком большая свобода не вызывала сочувствия, уважения. При такой свободе — все можно и ничем не убедишь. Только года через два, увидав «Великодушного рогоносца», я был потрясен и убежден — родились новые законы. Сильное впечатление, наиболее унылое, произвело кафе «Стойло Пегаса».

26 сентября

Я ненавидел актерскую работу и, как влюбленный, мечтал о литературе, а она все поворачивалась ко мне враждебным, незнакомым лицом. «Стойло Пегаса» мало чем отличалось от ростовского «Подвала поэтов». То же эпатирование буржуа, в высшей степени для них утешительное. Та же безграничная свобода, при которой все можно и ничем не удивишь, но еще более обескураживающая. За несколько дней до нашего приезда в «Стойле Пегаса» состоялся вечер, посвященный памяти Блока, с кошунственным, и лихим, и наглым, и ничего не стоящим названием⁹. Кафе в тот день было переполнено. Имажинисты позволяли себе все, но никто не удивлялся. Тем не менее, ощущение скандала — и скандала невеселого, возле могилы, нарастало. И вдруг Тоня поднялся и прочел стихотворение «Рожденные в года глухие». Когда закончил, полная тишина воцарилась в «Стойле», и председатель, не то Кусиков, не то Мариенгоф, толь-

ко и нашелся сказать что «Да-а!». В тот вечер, что были мы, выступал с речью об имажинистах Брюсов. Я увидел его в первый и последний раз в жизни. Высокий, узкоплечий, он походил на свои портреты и зловеще вместе с тем отошел от них. Как он стар! Взгляд особенно тусклый, даже оловянный. Вся значительность, словно штукатурка, обвалилась со всего его существа. Говорил он убедительно, холодно и безразлично. Он доказывал, что новая поэтическая школа прежде всего определяется языком. Маяковский создал новую форму, а вместе с тем и школу. А имажинисты — эпигоны. Попадают у них красивые строчки — например, у Кусикова: «Радуга — дуга тугая» — и только. Слушали Брюсова терпеливо и вяло. Оживились, когда на кафедре появился сутулый, черный, бледный, неряшливо одетый москвич и стал возражать.

27 сентября

Широко расставив руки, и опираясь на кафедру, и низко наклоняясь, он почти касался ее своей черной, редкой, кустистой бородкой. Он как бы хвалил Брюсова, но все смеялись — очевидно, этот сутулый считался в кафе человеком острым. Я не понимал его намеков. Он все издевался над академизмом Брюсова, но еще что-то местное было в его словах, понятное только местным. Уж слишком они оживились. А Брюсов сидел за своим столиком неколебимо, как олимпиец, и поглядывал бесстрастно. Оловянность глаз его повергала меня в отчаяние. Еще раз увидел я, что Москва — не бог весть что. И чужда, так чужда, что я готов был в ножки ей поклониться, только бы приняла она меня. Но понимал, что это не помогло бы. Что мне эти рисуночки на стенах, дым, жестокость испитых морд, девицы, перепуганные до извращения. Ад. За столиками оживились. Взгляды устремились в угол. Пронесся как бы ветерок: «Есенин пришел!» — «Где?» — «Вон, с Мариенгофом за столиком».

Я к этому времени оцепенел, впал от ужаса в безразличное состояние. Нет, не уйти мне из театра. Некуда. Со страхом, как бы сквозь сон, взглянул я в указанном направлении и увидел два цилиндра и два лица: одно — круглое и даже детское другое — длинное и самоуверенное. Нет, из театра бежать некуда. Тоня куда более цельный и спокойный — и тот не остается тут, несмотря на московские знакомства. А меня Москва, как всегда, и давно не примет.

28 сентября

Садись мы на старом, столь памятном Николаевском вокзале. Огромный состав подали к пассажирской платформе. Приехали Тоня и Фрима со всем своим багажом. Тоненькую ее фигурку, согнувшуюся над чемоданами, запомнил я почему-то до сих пор. Она бегала и беспокоилась, а мы помогали погрузке, и шел дождь, и все спешили: через несколько минут состав должен был по расписанию отойти. И отошел, к нашему величайшему удовольствию, даже гордости, — вот как мы теперь едем. И всюду останавливались мы на станциях и стояли по расписанию, хоть и подолгу. И уж мы не пропустили ни одной станции, ни одного самого крошечного разъезда.

29 сентября

Мы прибыли в Петроград очень быстро, к исходу третьих суток. 5 октября 1921 года. Теплушки наши поставили на товарном дворе у покатых, мощенных булыжником платформ, построенных так, чтобы ломовики могли подъезжать к самым дверям вагонов. Впрочем, может быть, построены были они для погрузки артиллерии и грузовых машин. Утром пришли к нам Макс и Толя Литваки. Какие-то вещи их прибыли с нами. Удостоверившись в их целости, отправились они домой, а я от нечего делать — с ними. Мы свернули на Суворовский проспект. Маленький, тесный, не по-ростовски угрю-

мый, темнел рынок в самом его начале. И Ленинград казался мне темным, как после тифа, еще в лазаретном халате. Я шел по улице, где через восемь лет предстояло мне, переломив свою жизнь, начать ее заново, и ничего не предчувствовал.

30 сентября

До сих пор приезжал я в Ленинград — нет, в Петроград — ненадолго и ехал быстро: усну в Клину, а проснусь в Любани. А в октябре 21 года я успел разглядеть города, и леса, и поля, мимо которых прежде пролетал во сне. Мы ехали на север, переселялись в чужой край. Исчезли выбеленные глиняные хаты, города белые и кирпичные, все в садах. Тут дома пошли бревенчатые, темно-серые, почти черные. Деревянные улицы. И продавали на станциях картофельные лепешки, пироги из ржаной муки с морковью. Все казалось чужим, хоть и не враждебным, как в Москве, но безразличным. Этому бревенчатому северу не до нас, самому живется туго. И, шагая по Суворовскому, испытывал я не тоску, как несколько дней назад в Москве, а смутное разочарование. Мечты сбылись, Ростов — позади, мы в Петрограде, но, конечно, тут житья будет не так легко и просто, как чудилось. Петрограду, потемневшему и притихшему, самому туго. Навстречу нам то и дело попадались красноармейцы, связисты — тянули провода: ночью сгорела телефонная станция. Вот и Таврический сад. Вот знаменитый дом — «башня», как называли его символисты, — где жил Вячеслав Иванов. И в самом деле с угла похож его фасад на башню. Башня опустела так основательно, что не тревожит воображения...

Я узнаю, что играть мы будем на Владимирской, 12, а жить на углу Владимирской и Невского в номерах палкинской гостиницы, позади бывшего ресторана Палкина. Комнаты отличные, огромные, светлые, но холодные. К вечеру должны мы переехать.

2 октября

По темной лестнице попадаем мы в просторную кухню с соответствующей плитой. Из нее в коридор. В одной комнате, большой и высокой, с прекрасной, почти помголовской мебелью, помещаются Тоня и Фри-ма, рядом — в такой же — мы... Труппа съезжалась по-немногу. Большая часть задержалась в Москве.

3 октября

Словом, два-три дня прожили мы во втором этаже палкинского дома вдсятером, вшестером. И — о, чудо! — вели совместное хозяйство, и я был уверен, что завтра тоже удастся пообедать. Фрима свою влюбленность в Тоню переносила и на близких его — она жалела меня, была со мной ласкова, я светился отраженным светом для нее. И мы вместе пошли на Кузнечный рынок — вот как я его увидел в первый раз. Он был богаче того, что огорчил меня в начале Суворовского, но все же темен, особенно сейчас, в осенние дни. На тротуаре перед рынком продавали репу — и ее увидел я в первый раз в жизни, и показалось мне, что она соответствует рынку. Но мы купили ячневой крупы и картошки и сварили обед, причем Фрима ела совсем немного, утверждала, что не может есть того, что готовит сама. Купили мы с помощью дворника сажень дров и свалили в чулане или бывшей ванной возле угловой. Подобных дров не встречал я потом ни разу. Они были березовые, каждое полено — в пуд, и огнеупорны полностью. На мой ростовский взгляд, топить дровами было расточительством. Они нужны, чтобы разжечь каменный уголь. Но тут нам пришлось встретиться с дровами, и вот какой печальной оказалась встреча.

Наш палкинский дом был переполнен крысами. Ночью дрались они за витринами Помгола на коврах, и бюро, и штучных столиках, бегали по нашим большим комнатам, стучали в коридоре. Мрачный Юля Решимов

строил для крыс ловушки из наших пудовых дров. Закутавшись до ушей в кашне, сидел он в кресле, держа в руках веревочку, не сводя глаз с чулана. Раз! Готово, одной нет. Труппа съехалась.

4 октября

Днем шли мы на репетицию. Дом на Владимирской, 12, холодный и огромный, с нелепым фойе, как бы вылепленным из грязи, изображающим грот, и с целым рядом фойе, ничего не изображающих, с небольшим театральным залом и такой же сценой. Впрочем, и сцена и зал нам показались достаточно просторными. В этом же доме помещалась когда-то редакция или контора «Петербургской газеты». Над переходом посреди здания, тоннелем, ведущим с улицы во двор, сохранилась вывеска, а в одной из зал — переплетенные за много лет комплекты газеты. Тут мы и репетировали. Я в ожидании выхода просматривал «Петербургскую газету» за [18]81 год. Поразила меня статья Лескова. В конце марта или раньше был открыт подкоп через Садовую, и Лесков жаловался отчаянно, что теперь никто, никто не может быть спокоен за свою жизнь. Репетировал Любимов. Он переставлял роль Холодовой. Нет, о свалке, которая все нарастала в театре, нет сил писать и сегодня, через тридцать два года.

5 октября

Говоря коротко, театр готовился к открытию сезона, а внутри было неблагополучно. Бытовая сторона наладилась проще и легче, чем в Ростове: мы вели общее хозяйство, во главе которого стоял Николаев. Наняли кухарку — шепелявую, словно ушибленную Машу...

Мариэтта Шагинян относилась к нашему театру доброжелательно еще с ростовских времен. В журнале «Жизнь искусства» (а может быть, «Искусство и жизнь») появилась ее статья о нашем театре под названием

«Прекрасная отвага». Мы с Тоней однажды пошли к ней в Дом искусств, где она жила. Он помещался в елисеевском особняке на углу Мойки и Невского. Увидев деревья вдоль набережной, высокие, с пышной и свежей зеленью, несмотря на осень, я испытал внезапную радость, похожую на предчувствие. Длинными переходами попали мы в большую комнату со следами былой роскоши, с колоннами и времянкой. И тут я впервые увидел Ольгу Форш, которая была у Шагинян в гостях. Мариэтта Сергеевна принадлежала к тем глухим, которые говорят нарочито негромко. Выражение она имела разумное, тихое, тоже несколько нарочитое, но мне всегда приятное. Приняла она нас ласково.

6 октября

Зато Ольга Дмитриевна пленила меня и поразила с первой встречи. Она принадлежит к тем писателям, которые в очень малой степени выражают себя в книжках, но поражают силой и талантливостью при личном общении. Форш, смеясь от удовольствия, нападала на Льва Васильевича Пумпянского¹⁰, которого я тогда вовсе не знал. Смеялась она тому, что сама чувствовала, как славно у нее это получается. Говорить приходилось громко, чтобы слышала Шагинян. Казалось, что говорит Форш с трибуны, и это усиливало еще значительность ее слов. И прелестно, особенно после идиотских театральных наших свар, было то, что нападала она на Пумпянского с высочайших символистско-философских точек зрения. Бой шел на небесных пространствах, но для обличений своих пользовалась Ольга Дмитриевна, когда ей нужно было, земными, вполне увесистыми образами. И мы смеялись и понимали многое, понятия не имея о предмете спора. Обвиняла Ольга Дмитриевна Пумпянского в том, что он, сам того не желая, служит дьяволу и тянет за собой молодежь. Откидывая голову, важно, как важная дама, и весело, как всякое существо, играющее от из-

бытка силы, описывала она спину этого служителя сатаны, которая выдавала его полностью, и цитировала его, и изображала. Домой мы шли по Гороховой, проводив куда-то Шагинян и думая, по незнанию города, что улица эта так же близка к углу Невского и Владимирской, как и к углу Невского и Мойки. И уж мы шли, и шли, и шли. И я совсем затосковал. Конечно, эта литературная атмосфера казалась мне куда более человеческой, чем в «Стойле Пегаса». Но я не посмел и слова сказать у Шагинян.

7 октября

Я был влюблен во всех почти без разбора людей, ставших писателями. И это, вместо здорового профессионального отношения к ним и к литературной работе, погружало меня в робкое и почтительное оцепенение. И вместе с тем в наивной, провинциальной требовательности своей, я их разглядывал и выносил им беспощадные приговоры. Я ждал большего. От них, от Москвы в свое время. А писатели стали бывать у нас в гостях. Взял нас под покровительство Кузмин, жеманный, но вместе с тем готовый ужалить. Он все жался к временке. Рассказывал, что в былые времена обожал тепло, так топил печь, что она даже лопнула у него однажды. С ним приходил Оцуп, поэт столь положительного вида, что Чуковский прозвал его по начальным буквам фамилии Отдел целесообразного употребления пайка. Появился однажды Георгий Иванов, чуть менее жеманный, но куда более способный к ядовитым укусам, чем Кузмин. В труппе к этим дням произошло некоторое расслоение: существовала комната миллиардеров — Тусузов, Николаев, Холодов. Они жарили картошку в масле под названием пом-де-терр — миллиардер, пекли пирожки. Однажды к доброй и прелестной Зине Болдыревой собрались писатели, и она была в отчаянии, что нечем их угостить. И она попросила миллиардеров, чтобы уступили они ей

пирожков. Они решительно отказали. Тогда Зина, едва вышли они, зачем-то схватила тарелку с пирожками и унесла.

8 октября

Гости ели пирожки, ничего не зная, а миллиардеры, к ужасу бедной Зины, шипели у двери...

Чтобы поправить наши дела, мы халтурили. На Владимирской, 12, помещался до нашего приезда Дом Политпросвета, если я не путаю названия учреждения. Стоял во главе его седой и доброжелательный человек Гольдербайтер. Он пригласил нас читать на вечере Некрасова, и мы согласились, и я в первый раз выступил в Петрограде, читал стихи: «Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман». И — вот чудо! — имел успех. Флит — один из писателей, с которыми познакомились мы еще до открытия сезона, устроил нас играть в живой газете РОСТА. А Юлька Решимов нашел работу в новом театре миниатюр, который собирались открыть на Петроградской стороне, и меня устроил туда же. И вот вышли мы на репетицию. По Садовой трамваи ходили. Мы доехали до Большого проспекта, добрались до кинотеатра «Молния». Он казался необитаемым, деревянная белая молния на стене почернела, а от лампочек, что некогда судорожно вспыхивали на ней, сохранились одни патроны. Мы вошли в боковую дверцу, с переулка. Репетицию вел Раппопорт, один из авторов «Иванова Павла», крошечное белолицее существо с черной бородкой.

9 октября

Ставили какую-то крошечную пьеску Андреева, в которой я играл. Остальные пьесы забыл. Репетировали в пальто — так было холодно. Вышли на полумертвый Большой проспект. Темнело. Я вспомнил, как увидел проспект этот впервые, как бегала, вздрагивая, красная

молния по стене кинотеатра, и тоска охватила меня. Унылый театр, унылая роль, пустая душа, даже музыка для меня как бы распалась на составные части, не затрагивала, как чужая. И даже мучения мои прошлых лет показались прекрасными рядом с сегодняшней пустотой. Мы втиснулись в переполненный трамвай и отправились домой, где было уныло, как в бреду.

И на другой день, сам понимая, что это безнадежно, отправился я в адресный стол и запросил адрес Соколова Юрия Васильевича. И я получил их целых шесть — и ни одного настоящего.

На репетиции в бывшую «Молнию» съездили мы всего раза три... Театрик погиб, не успев открыться, как это часто случалось в те дни. В живой газете РОСТА выступали мы часто, почти каждый день. Вдруг ударили морозы, да еще какие. За нами приезжал грузовик. Флит много лет вспоминал, как Холодова сидела, прижавшись, съехившись в уголке, в летних своих туфельках. Ездили мы всё по заводским клубам, там в актерских уборных отогревались у буржеек. В одном клубе буржуйку топили банковским архивом, толстыми бухгалтерскими книжками. Провели мы концертов тридцать, но и тут нам не заплатили.

11 октября

В недрах руководства происходили обычные совещания: как провести открытие, кого звать на спектакль, кто будет писать рецензии, но меня на эти совещания не приглашали. В оркестровой яме появились музыканты — репетиции шли уже с музыкой. Эти наши новые работники были шумны, безразличны, насмешливы и, как все оркестранты, прекрасно организованы. Платить им приходилось каждый день — точнее, за каждую репетицию, иначе собирались они в коридоре и шумели. Среди них был человек, на которого все показывали: сын Римского-Корсакова. Высокий-высокий, с маленькой

головой, с маленькими светлыми усиками, с растерянным взглядом, румяный. Играл он, кажется, на кларнете. Премьера приближалась. А Дом Политпросвета все еще жил своей жизнью, не сдавался. В какой-нибудь из многочисленных комнат непременно читалась лекция.

12 октября

Кони, тяжело опираясь на две свои палки с резиновыми наконечниками, медленно двигался по бесконечным пустым, полутемным залам, отыскивая отведенную для его лекции. Он казался очень старым в те дни, но выступал повсюду, на множестве вечеров и собраний, посвященных столетию со дня рождения Некрасова.

И рядом с этой цифрой странно было слышать, как встретил он, Кони, Некрасова возле сквера Александринского театра, как бывал Кони у него дома на углу Литейного и Бассейной. Однажды, увидев Кони среди театральных зал, я поплелся за ним следом послушать его. На этот раз говорил он не о Некрасове, лекция была на какую-то юридическо-этическую тему. И со старомодным красноречием рассказал Кони о Монте-Карло. «Позвольте повести вас за собой по аллее роскошного сада» — и так далее. Теперь мне кажется, что рассказ, который я ни с того ни с сего отправился слушать, был рассказан недаром. В нем заключалось пророчество. Скоро эти бесконечные залы осветились роскошно, и в них открылись и рулетка, и столы для девятки — словом, заработал в полную силу настоящий игорный дом. А мы неуклонно приближались к премьере, и вот она состоялась. И нас приняли отлично. И рецензии в журналах и в какой-то из газет оказались доброжелательными, а Халайджиеву изругали — и потому, что она «встала на дыбы и пошла не в ту сторону», и потому, что рецензенты, хорошо относясь к театру, угадывали, что, обругав Халайджиеву, никого они там не огорчат.

14 октября

Так мы жили, а зима становилась все холоднее, а нэп — все последовательнее. Мы уж не получали дотации и не могли никак отопить все наше многозальное помещение. Политпросвет уже выбрался, мы занимали его одни. Вода в пожарной бочке на сцене превратилась в глыбу льда. Холодов в роли Иуды — принца искаротского отморозил себе палец на сцене — роль его была слишком уж велика, он не успевал бегать наверх, в актерские уборные, отогреваться у времянки. Впрочем, слово «времянка» появилось как будто только во Вторую мировую войну. Тогда же, в двадцатых годах, все называли эти печурки буржуйками. Отопление в нашем театральном зале было старинное, так называемое амосовское. По новым экономическим законам, мы должны были перейти на самоокупаемость, а даже полных сборов не хватило бы на отопление. А мы собирали публику только первое время. Кассовая, так называемая, публика, уходила теперь после первого акта и говорила билетерам: «Летом досмотрим»... Но так или иначе к весне 22 года наш театр развалился, погиб, и никто из нас не огорчился этому.

24 октября

Я решил начать учиться заново и пошел да и поступил в Институт восточных языков — дело по тогдашним временам простое. Со мною сердито, даже несколько брезгливо поговорил сидевший за письменным столом человек с седыми висками. Он спросил, на какие части разделяется Коран, и тут я впервые услышал, что на суры! Но в общем мои ответы удовлетворили его, и он велел мне идти в мандатную комиссию. Но я не пошел. Я почувствовал, что не овладеть мне и этой наукой. Но тут же устроился в студенческие артели грузить уголь. Грузили мы в порту, и я был поражен, почувствовав, как худо слушается тачка — как велосипед, когда едешь в первый раз.

На деревянную высокую эстакаду уголь подавался крапом, и мы в тачках по доске везли его к железнодорожным путям. И вот колесо тачки упорно съезжало с доски, и мы учились править тачкой. И научились. Четыре часа работали мы на эстакаде, четыре — в трюме, а потом шли домой, ночью, впрочем, совсем светлой, пешком. Уголь долго не отмывался. Глаза казались подведенными. Работали мы и в депо Варшавского вокзала, подавали колеса под ремонтируемые вагоны. Вернее, в мастерских дороги. И мы там обнаружили в траве поворотный круг и починили его — точнее, выпололи вокруг него траву и смазали его маслом, — и так перевыполнили норму, что бригадир пришел в некоторое смятение.

11 ноября

Театр новой драмы¹¹ объединял молодых режиссеров: Грипича, Тверского, Константина Державина, Владимира Соловьева. Актеры подобрались все молодые, так же мало похожие на профессиональных, как мы в свое время. Были тут и люди, любящие театр, и просто так называемые интересные люди, не знающие, куда себя приспособить. Художниками была Володя Дмитриев, Моисей Левин и Якунина, тогда его жена. Близко к театру стояли Александра Яковлевна Бруштейн и Адриан Пиотровский — авторы. После долгих волнений Халайджиеву — она переменяла фамилию на Холодову — приняли в Театр новой драмы, да и меня заодно не то зачислили в труппу, не то я сам зачислился, часто бывая в театре, — трудно установить. Я стал близко к театру в числе любопытных людей и несколько раз играл, хотя считалось, что собираюсь я стать писателем, играю уж так, заодно, пока. Да и выяснилось вскоре, что быть в штате или не в штате труппы, в сущности, все равно. Театр был на подъеме, не умер и не рассыпался, как многие, возникавшие в те дни. Получил театр постоянное помещение в центре города, в первом этаже бывшего Тени-

шевского училища на Моховой. В большом лекционном зале играл ТЮЗ, а в первом, вход прямо с Моховой, — мы. И, несмотря на все эти признаки своего существования, театр не имел одного: никому жалования не платили. Точнее, платили от случая к случаю всем поровну. И это в те дни было естественно и являлось признаком молодого театра. И мы терпели. Вряд ли в театре было хоть подобие штатного расписания.

12 ноября

Помесь любительского кружка и левого, ищущего новых путей театра — вот что такое был Театр новой драмы. Количество режиссеров в нем показывало на полную веротерпимость в этой области. Соловьев ставил «Восстание ангелов» в инсценировке Бруштейн, Тверской — пьесу Стриндберга, Грипич — «Смерть Тарелкина» и Державин — «Приключение Гофмана» по рассказу Дюма, где призрак обезглавленной балерины приходит к Гофману на свидание. Черная бархотка на шее скрывает след гильотины... И все эти разные пьесы по-разному и решались. Стриндберг — со всем арсеналом молодых театров символического толка, а Дюма — Державин — приемами романтического театра. Интереснее всех был Грипич, по-настоящему талантливый человек. «Смерть Тарелкина», поставленная самостоятельно, до Мейерхольда, не в декорациях, а в конструкциях, произвела на меня сильное впечатление. Но вот Адриан Пиотровский написал пьесу «Падение Елены Лей». Человек это был любопытнейший — так я и не понял, в чем суть его существа, пока вихрь не унес его неведомо куда. Хорошего роста, с большой головой, странными белыми глазами, носил он в те дни прозвище «райский мальчик», мало что определяющее в нем и скоро исчезнувшее. Был он сыном знаменитого эллиниста профессора Зелинского, и отец, по слухам, считал Адриана Ивановича одним из лучших эллинистов в Европе. Владел Пиотровский и латынью и

отлично переводил античных классиков. С таким даром и знаниями, казалось бы, у него один путь — кафедра и академия.

13 ноября

Но нет, он увлекся театром, пришел к нему туманными какими-то путями. Отец, любивший его и отличавший от других подобных сыновей своих, был, как рассказывали, глубоко огорчен этой изменой науке и написал единственную, вероятно, в своей жизни дилетантскую статью, весьма неясно утверждающую, что современный театр погиб и несет гибель всем причастным ему. Но Адриан Иванович все писал о театре и для театра и служил где-то по театральной части. Большая голова его со светлыми редющими волосами то узнавалась в ложе Большого драматического театра, то в балете, то у нас, в Новой драме, и всем он был столь же мало понятен, как мне, и все за ним не то подозревали что-то по линии политической и над чем-то подсмеивались по линии личной его жизни. Но считались с ним. Я любил разговаривать с этим несомненно непростым человеком, и в его белых глазах чудилось мне что-то похожее на слепые глаза статуй. И вот он принес пьесу «Падение Елены Лей», где ощущение историчности переживаемых нами событий переплеталось с античным эпосом. Елена Лей была, хоть дело и происходило в наши дни, вместе с тем и троянской Еленой. Ее уход предопределял гибель некоей капиталистической столицы. Женщина — носительница жизненной силы — уходила к рабочему, влюбившись в него. И Театр новой драмы поставил эту пьесу, и принята она была как событие. Ее понимали и те, которые в искусстве жили вчерашним днем, и те, которые отказались от него.

14 ноября

И в самом деле. Главный отрицательный герой понимал историчность, величественность всех происходящих событий, писал на мраморном столике в кафе некие

таинственные слова. «Это по-гречески?» — спрашивал его собеседник. «Нет, по-арамейски», — отвечал миллиардер, родной дядя Елены Лей. Рабочие поднимались из своих трущоб чуть ли не к колосникам по перекладинам веревочной клетки — так оформил эту сцену Левин. Великие события: восстание, свержение правительства капиталистов, победа молодого класса — все, о чем ежедневно читали мы в газетах, тут приобрело эпический, поэтический характер, переплелось с Гомером и чуть ли не с Библией. И это как бы уясняло многим сегодняшний день, и зал ежедневно был полон. Тут помогло успеху и оформление Левина, и постановка Грипича, и, наконец, актеры. Появился в труппе Володя Чернявский, худой, стройный, с лицом поэта, вскормленного — точнее, истомленного — временем между двумя революциями, между пятым и семнадцатым. Среди разношерстной любительской труппы оказался настоящий артист, вполне угадывающий все сложности пьесы, живущий ими. И значительный, таинственный, обреченный на гибель миллиардер у Володи ожил и приобрел нужное количество плоти и крови. Хорошо играла Холодова — Елена Лей. Прекрасно, как тогда говорили, эксцентрично, играл Алеша Волков сыщика. (С гибелью условного театра не находит себе применения его совсем особое дарование.) Словом, с пьесой нашлись и актеры, и все ободрились.

15 ноября

Александру Яковлевну Бруштейн нужно видеть, для того чтобы понять. Только тогда постигаешь силу ее любви к театру, к литературе, наслаждаешься темпераментом и веселостью этой любви. Честность, порядочность ее натуры угадываешь сразу. Она в театре была не столько автором, сколько другом, само присутствие которого как бы утверждало, объясняло существование нашего случайного коллектива. Она и тогда плохо

слышала, а вместе с тем более чуткого собеседника трудно было найти. Всегда подтянутая, собранная, вглядываясь в собеседника своими карими быстрыми глазами через очки, появлялась она в театре — и сразу ее окружали. И насмешливый и веселый картавый говор ее сразу оживлял и освежал. И она болела всеми горестями театра. Чтобы помочь нашей нищете, придумала она «гримированный вечер». Гости платили за вход, и их за особую плату еще и гримировали. И нэпманы вели себя, как замаскированные, необыкновенно оживлялись. Таких вечеров было два. Я конферировал. На первом имел успех, а на втором провалился так позорно, что вызвали с какого-то концерта Бонди и уж он довел программу до конца. Я по глупости и беспечности своей и не подозревал, что конферансье как-то готовят свои выступления, а выходил и нес, что бог на душу положит. Но в театре не рассердились на меня. Без всяких на то оснований они любили меня, верили. Когда два года спустя были напечатаны первые мои детские книжки¹², Александра Яковлевна сказала радостно: «Ну и хорошо. А то рассказываешь: Женя Шварц, Женя Шварц, а на вопрос, что он сделал, ответить-то и нечего».

17 ноября

Старые театры считались разрушенными, новые побеждали, но как уверенно занимал свое место считавшийся мертвым Александринский театр и как призрачны были победители! Привычные формы существования уважались бессознательно даже людьми, считавшими себя врагами этих форм. Новое искусство кричало о своей победе, но и в самом шуме было нечто, внушающее подозрение. На одном из спектаклей «Елены Лей» появился Мейерхольд. Вот он во втором ряду, хищная птица, скорее всего орел, резко, по-царски отличный от всех и обликом и судьбой. И спектакль понравился ему. Глава школы утвердил работу. Но в те же дни открылся в

том же помещении ТЮЗ. И Брянцев оказался куда более воплощенным в жизнь, чем все режиссеры Театра новой драмы. Грипич, рослый, румяный, черноволосый, отлично ставил и худо говорил. Когда он выступал, все вытирая левый глаз с набегающей слезой (он у него болел что-то), то трудно было поверить, что этот же человек отлично ставит. И Брянцев сумел доказать вкрадчиво и вместе с тем уверенно, что он — существует, а Театр новой драмы — явление призрачное. Привело это к тому, что Брянцев отобрал помещение Новой драмы для декоративных мастерских ТЮЗа. И театр в том виде, как я рассказываю, исчез. Переименовался, переехал в помещение Пролеткульта, получил там театральную залу, ставил пьесы Толлера, — но утратил свежесть и удачливость. Смерть и новое воплощение не пошли ему впрок. И он скоро захирел окончательно. «Елена Лей» многим принесла счастье.

18 ноября

Левин стал одним из самых известных театральных художников. Володю Чернявского упорно звал к себе Мейерхольд, и тому пришлось напрячь всю свою робкую, хрупкую, обреченную поэтическую душу, чтобы отбиться от славы, которая шла к нему. Его бледное, измятое личико и стройная тощая фигура остались принадлежностью ленинградских театральных кругов, но как-то вне театров. Он считался хорошим чтецом, выступал по радио, но, как и театры его молодости, так и не воплотился полностью в жизнь, пока смерть не пришла за ним. «Елену Лей» напечатали в «Красной нови». Казалось, что Адриан Пиотровский нашел свой путь, выбрался на свет. Написал он еще одну пьесу: «Смерть командарма», которая без особенного успеха прошла в Большом драматическом. И либо этот полууспех, либо его сумеречная душа привели к тому, что в ленинградском искусстве снова занял он заметное, но трудноопределимое

место — не то театроведа, не то руководителя чего-то там. Воплотился он в несколько неожиданном месте — на кинофабрике. Он стал тут заведующим сценарным отделом, фактически художественным руководителем. И, глядя на его не то слепые, не то античные глаза, я удивлялся, что ему этот кабинет с большим директорским столом. Что ему Гекуба — я понимал, а что ему полудиректорская должность — никак не мог осмыслить. А он себя чувствовал тут как дома. Однажды позвонил телефон в противоположном углу его кабинета, и он, выйдя из-за стола, пошел по ковру через комнату. И все увидели, что он в носках. Он преспокойно разулся под столом, пока шло совещание. В 35 году встретился я с ним в Тбилиси.

19 ноября

Он путешествовал с женой. И попал в автомобильную катастрофу. Я зашел к нему в больницу, и в разговоре он упомянул о том, что врач сказал ему: «Впервые встречаю человека со столь развитым комплексом неполноценности». Но я до сих пор не вполне ясно понимаю, почему этот человек променял научную или литературную деятельность на административную? Неужели тут виною комплекс неполноценности? Умер Моисей Левин, высокий, седой с молодости, умер Володя Чернявский, исчез Тверской, исчез Пиотровский — нет никого почти, кто помнит Театр новой драмы. Нет, впрочем, — жив Грипич. Он все так же румян и черен, считается одним из лучших режиссеров, работает, кажется, в Саратове. Его очень старались перевести в Ленинград, главным режиссером в Комедию, но дело почему-то разладилось. Впрочем, суть не в том, кто жив, кто умер. Исчезла среда, питавшая наивные, туманные, призрачные новые театры начала двадцатых годов. И с этой средой бесследно, не успев породить традиций и наследников, растаяли в жестком суровом воздухе тридцатых годов эти нево-

плотившиеся до конца организмы. Не знаю, стоит ли их жалеть. В их конструкциях вместо декораций, в их экспрессионистических пьесах, в их системе игры уже начинали прорезываться штампы, которые утвердились бы, вероятно, если бы молодые театры окрепли. Но если их не жалко, то жалко самого духа, беспокойного и производительного, который их порождал. Сейчас царит степенный и солидный дух, занимающий штатную и нормально оплачиваемую должность. И когда говорят об оживлении театра, то без всякой веры в необходимость этого дела.

СТАТЬИ, ЗАПИСКИ

ИЗ ЗАПИСОК 1952 Г. О «СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЯХ»¹

22 января

Возвращаюсь к 21 году. Я чувствовал себя смутно, ни к чему не прижившимся. Театр, несмотря на статью Шагинян «Прекрасная отвага» и похвалы Кузмина², шатался. Морозы напали вдруг на нас — и какие.

В нашей комнате лопнул графин с водой. Времянки обогревали на час-другой. Попад с улицы в тепло, я вдруг чувствовал, что вот-вот заплачу. Холодова³ была в ссоре со всей труппой и неистовствовала, что я не следую ее примеру. И в такие вот смутные дни я стал слушать лекции среди людей непонятных и чуждых, как бы несуществующих. Скоро я убедился, что не слышу ни Чуковского, ни Шкловского⁴, не понимаю, не верю их науке, как не верил некогда юридическим, и философским, и прочим дисциплинам. Весь литературный опыт мой, накопленный до сих пор, был противоположен тому, что читалось в Доме искусств. Я допускал, что роман есть совокупность стилистических приемов, но не мог поверить, что можно сесть за стол и выбирать, каким приемом работать мне сегодня. Я не мог поверить, что форма не органична, не связана со мной и с тем, что пережито. То, что я слышал, не ободряло, а пугало, расхолаживало. Но не верил я в прием, в нанизывание, остранение, обрамляющие новеллы, мотивировки, оксюморон и прочее — тайно. Себе я не верил еще больше. Словом, так или иначе я перестал ходить

на лекции. А театр погибал, его вымораживало из Владимирской, 12, разъедало, разбивало...

Я шагал по улице и увидел афишу: «Вечер “Серапионовых братьев”». Я знал, что это студии той самой студии Дома искусств, в которой я пытался учиться. Я заранее не верил, что услышу там нечто человеческое.

23 января

Дом искусств помещался в бывшем елисеевском особняке, мебель Елисеевых, вся их обстановка сохранилась. С недоверием и отчужденностью глядел я на кресла в гостиных. Пневматические, а не пружинные. На скульптуры Родена — мраморные. Подлинные. На атласные обои и цветные колонны. Заняв место в сторонке, стал я ждать, полный недоверия, неясности в мыслях и чувствах. Почва, в которую пересадили, не питала. Вышел Шкловский, и я вяло выслушал его. В то время я не понимал его лада, его ключа. Когда у кафедры появился длинный, тощий, большеротый, огромноглазый, растерянный, но вместе с тем как будто и владеющий собой Михаил Слонимский, я подумал: «Ну вот, сейчас начнется стилизация». К моему удивлению, ничего даже приблизительно похожего не произошло. Слонимский читал современный рассказ, и я впервые смутно осознал, на какие чудеса способна художественная литература. Он описал один из плакатов, хорошо мне знакомых, и я вдруг почувствовал время. И подобие правильности стал приобретать мир, окружающий меня, едва попав в категорию искусства. Он показался познаваемым, в его хаосе почувствовалась правильность. Равнодушие исчезло. Возможно, это было не то, еще не то, но путь к тому, о чем я тосковал и чего не чувствовал на лекциях, путь к работе показался в тумане. Когда вышел небольшой, смуглый, хрупкий, миловидный не по выражению, вопреки суровому выражению лица да и всего существа, человек, я подумал:

«Ну вот, теперь мы услышим нечто соответствующее атласным обоям, креслам, колоннам и вывеске «Серапионовы братья». И снова ошибся, был поражен, пришел уже окончательно в восторг, ободрился, запомнил рассказ «Рыбья самка» почти наизусть.

24 января

Так впервые в жизни услышал я и увидел Зошенко. Понравился мне и Всеволод Иванов, но меньше. Что-то нарочитое и чудаческое почудилось мне в его очках, скуластом лице, обмотках. Он бы мне и вовсе не понравился, но уж очень горячо встретила его аудитория, и соседи говорили о нем как о самом талантливом. Остальных помню смутно. Не понравился мне Лунц, которого я так полюбил немного спустя. Но и полюбил-то я его сначала за живость, ласковость и дружелюбие. Проза его смущала меня, казалась очень уж литературной. Но потом я прочел «Бертрана де Борна» и «Вне закона» и понял, в чем сила этого мальчика. На вечере он читал какой-то библейский отрывок, где все повторялось: «Моисей бесноватый», что меня раздражало. В конце вечера выступил девятнадцатилетний Каверин, еще в гимназической форме, с поясом с бляхой. И он действительно прочел нечто стилизованное. Уже на первом вечере я почувствовал, что под именем «Серапионовых братьев» объединились писатели и люди мало друг на друга похожие. Но общее ощущение талантливости и новизны объясняло их, оправдывало их объединение. Среди умерших, но продолжавших считать себя живыми, и пролеткультовскими искусственными цветами они ощущались как люди живые и здоровые. Экспрессионизм, казавшийся самым подлинным видом современного искусства. Впрочем, меня занесло вдруг в ту область, которую ненавижу. Говоря яснее: на этом вечере я вдруг почувствовал, что не все так далеко от меня в тогдашней литературе, как немецкий экспрессионизм, например. Делается нечто, до-

казывающее, что я не урод, не один. Есть кто-то, думающий, как я.

25 января

Нет, я записал вчера неточно. Дело было не в том, что нашлись люди, думающие так, как я. Я ничего еще не думал. Думать можно, когда работаешь. Просто я почувствовал атмосферу менее враждебную, чем во всем остальном тогдашнем Петрограде. Более живую. Вскоре я познакомился с ними ближе. И в самом деле они оказались разными людьми. Что общего было у Лунца с Никитиным, у Каверина — со Всеволодом Ивановым? Ближе всего сошелся я со Слонимским. Он в те дни просыпался поздно, часов в одиннадцать, но и тогда не вставал, все курил и думал, глядя рассеянно огромными своими глазами в неприбранную свою душу. Ему лучше всего удавались рассказы о людях полубезумных, таких, например, как офицер со справкой: «Ранен, контужен и за действия свои не отвечает» (герой его «Варшавы»). И фамилии он любил странные, и форму чувствовал тогда только, когда описывал в рассказе странные обстоятельства. Путь, который он проделал за годы нашего долгого знакомства, — прост. Он старался изо всех сил стать нормальным. И в конце концов действительно отказался от всех своих особенностей. Он стал писать ужасно просто, занял место, стал в позицию нормального. Только какие-то железы у него на шее гипертрофировались, а исхудал он еще больше, чем в первые годы нашего знакомства. И чувство формы начальное потерял, а нового не приобрел. У него всегда была ясная голова, он умел играть в шахматы вслепую, был грамотнее всех товарищей в точных науках, и рассудок помог ему наступить на шею своей теме. Да иначе и не могло получиться. Он все думал и думал в те дни, в 22 году, но рассеянный его вид тем не менее внушал уважение.

28 января

Итак, я заходил к нему чаще всего по утрам. Он вставал поздно. Чтобы наказать его за это, Лева Лунц расклеил объявления от Дома искусств до Дома литераторов на Бассейной. В объявлении сообщалось владельцам коз, что им предоставляется бесплатно для случки черный козел. Являться только от 7 до 8 утра — и приводился Мишин адрес. Так как многие в те годы держали коз, то Мише долго не давали спать. Ему пришлось пройти по следам Лунца и тщательно сорвать, содрать со стен все объявления. Но он не обижался. Он держался с достоинством не сразу заметным, но несомненным. И не стал бы он обижаться на дружескую шутку. История в те дни шагала быстро.

29 января

И «Серапионовы братья», хоть и возникли всего за год до моего с ними знакомства, уже имели предания и исторические рассказы. Уже успела уехать на юг Муся Алонкина⁵, которую все очень любили, даже старики. Вова Познер⁶, тоже ушедший в мои дни в историю, или, проще говоря, уехавший в Париж, написал Мусе Алонкиной стихи, где говорилось: «...Волынский, Кони, тысячелетия у ног твоих лежат!» А кончались они так: «...Вы кажетесь мне, Мусенька, отделом охраны памятников старины». И Миша Слонимский был в нее влюблен и даже считался ее женихом. А. Грин, удалившийся к 22 году в Старый Крым, в 20—21 годах тоже влюбился в Мусю. И существовало предание, что однажды утром Миша проснулся, почувствовав на себе чей-то взгляд. Первое, что он увидел, — руки у самого своего горла. Это А. Грин пришел, чтобы задушить Мишу из ревности, но не довел дело до конца. А вот и исторический факт. Миша и Грин в шашлычной выясняли отношения и, не выяснив их до конца, обнаружили, что денег у них больше нет. Тут Грина осенила идея: самый про-

стой выход — это поехать и выиграть в лото. Нэп уже был в действии. На Невском, 72, работало электрическое лото. Грин и Слонимский отправились туда, не сомневаясь, что выиграют, и, о чудо, и в самом деле выиграли. Удивились они этому только на другой день, увидев, как много у них денег, и припомнив, как они их добыли. В мое время Дом искусств шел уже к своему концу и чудес там больше не случалось.

30 января

Обсуждали друг друга молодые большей частью у Миши в комнате, причем он по привычке слушал чтение почти всегда лежа. Обсуждалось прочитанное пристально. Если рассказ нравился мне, я, тогда совсем потерявший дорогу и всякое подобие голоса, испытывал некоторое желание писать. Но всегда желание это вытравлялось начисто последующим обсуждением. Друзья мои с непостижимой для меня уверенностью пользовались тогдашним лексиконом своих недавних учителей. Я не отрицал этого вида познания литературы, я его не мог принять, органически не мог... Утешала меня идиотская уверенность, что все будет хорошо. Отсутствие языка имело для меня и утешительную сторону — я в силу этого не мог думать. В 25 лет без образования, профессии, места, я чувствовал себя счастливым хотя бы около литературы.

31 января

Я впитывал каждое слово, каждую мысль, но не все принимал, нет, далеко не все, — органически не мог. Я вырос иначе, в маленьком городе. Но вместе с тем, благодаря огромному расстоянию между знанием и выводами из него, действием, — я уважал, почти религиозно, своих новых друзей. Они были там, в раю, среди избранных! В литературе. Меня раздражала важность Николая Никитина. Когда он пускался в рассуждения,

орудуя своими тяжеловесными губами и глядя бессмысленно в никуда через очки водянистыми рачьими глазами, никто его не понимал. Думаю, что, несмотря на глубокомысленность выражения, он сам не понимал, что вещает. Да, он был важен в те дни. Коля Чуковский спросил у него, когда Никитин вернулся из Москвы: «Какая там погода?» И Никитин ответил важно, глубокомысленно, значительно, глядя неведомо куда своими бесцветными глазками: «Снега в Москве великие». Я отлично понимал Никитина, но готов был преклоняться перед ним: старшие его хвалили, считалось, что он чуть ли не самый талантливый из молодых. А я? В те дни, помогая Чуковскому составлять комментарии к Панаевой, я спросил его однажды с тоской: «Неужели я и в примечания никогда не попаду?» И Корней Иванович ответил со странной и недоброй усмешкой: «Не беспокойтесь, попадете!» Я смотрел на них, на молодых, суеверно, снизу вверх, из них уже «что-то вышло», их сам Горький хвалит, а вместе с тем и сверху вниз: учиться ни у них, ни у старших я не мог. Мне все казалось, что писать надо не так. А как? И тут я был бессилен. Федин — красивый, очень худой, так что большие глаза его казались излишне выпуклыми, напоминал мне московского студента — из тех немногих, что нравились мне. Он явно знал, что красив, но скромно знал. Весело знал, про себя.

1 февраля

Нельзя было осуждать его за это. Его самочувствие напоминало особое удовольствие славного, простого парня, который надел новый костюм. Да еще знает, что он идет ему. При всей своей простоте Федин всегда чуть видел себя со стороны. Чуть-чуть. И голосом своим пользовался он так же, с чуть заметным удовольствием. И он сознательно стал в позицию писателя добротного, честного, простого. Чуть переигрывая. Но с правом на это место. Я слушал отрывки из романа «Города и годы» с

величайшим уважением, как классику, и очень удивился, когда роман прочел. Без правильного, славного фединского лица, без голоса его, без убеждения и уверенности, с которыми он читал, роман перестал светиться изнутри. Казался ложноклассическим. «Трансвааль» слушал я в квартире Федина за славным, просторным его столом с самоваром. Славная беленькая дочь его Ниночка, бегая, ушиблась и не заплакала, а вся покраснела из желания скрыть боль. Выдержать. И выдержала. Дора Сергеевна говорила с нами с улыбкой несколько как бы примерзшей к ее губам: она подозревала, что мы ее не любим, но ничем этого не показывала. Хозяин был Федин, и дом велся просто, гостеприимно, доброжелательно, по его, по-хозяйски. И опять «Трансвааль», когда читал его хозяин, показался драгоценнее, чем когда я прочел его в книге. Но я не смел или почти не смел говорить о том даже самому себе. Я с радостью все старался рассмешить, развеселить моих новых друзей, не ощущая странности, а может быть, и унизости моей позиции. Впрочем, нет. Все они, кроме, может быть, Никитина, принимали меня как равного. Лева Лунц жил в глубинах дома в маленькой, полутемной и сырой комнате. Он был умный мальчик, более всех умный и более всех мальчик. Он с блеском кончал университет и еще не решил окончательно, кем быть — ученым или писателем.

2 февраля

Это был совсем еще мальчик. И никак не теоретик группы. У группы не было теории. То, что Лева Лунц говорил, выслушивалось не без интереса и только. Да и Лева, настаивая на необходимости сюжета и прочих тогда модных стилистических приемах, больше с азартом убеждал, чем сам был убежден. Это пока что была игра. А его рассказы, написанные по правилам игры, отличались столь редкой тканью, жидкой фактурой, что не нравились ему самому. Зато в драматургии, где

у Лунца теория вытекала из самой его работы, он, несмотря на молодость, имел уже настоящий опыт. Одно правило, найденное им, я запомнил. «Не следует выбирать место действия, не ограниченное стенами или еще чем-нибудь. Слишком легки выходы». Спорить с этим правилом можно сколько угодно, но оно живое и родилось из опыта. И в пьесах он уже был не мальчиком, и ткань его пьес казалась в те дни драгоценной. В мальчике живом и веселом бродила, играла сила. Любили в те дни такую игру: Лева Лунц садился посреди, остальные вокруг. И все должны были повторять его движения. И тут он был воистину вдохновлен и вдохновлял всех, доходил до шаманского состояния. И при этом весело, легко, играя, не выходя за пределы игры. У него была ясная, здоровая голова, но слабенькое, еще мальчишеское, хрупкое тело. И сырая его комната, и недоедание сломили мальчика.

3 февраля

И кончилась игра, которая отличает настоящие драгоценные камни от поддельных. Лунц уехал совсем больным, с парохода вынесли его на руках, и до самой смерти он, такой живой и быстрый, не вставал. Он писал друзьям. Получил письмо и я, коротенькое, веселое, но последние слова были такие: «И я был свободным волком, как сказал Акела, умирая». В 24 году, уже написав свою первую книжку, я приехал во второй раз в Артемовск⁷. Работал в газете. И однажды утром, развернув номер сменовеховской газеты «Накануне», с ужасом прочел, что Лева Лунц умер. В заметке было строк пять-шесть. Я оглядел новых своих друзей и понял, как трудно объяснить, какое случилось несчастье, какого чудесного юноши больше нет на свете. Он радовал чистотой и благородством силы, весело игравшей в его душе. Как это объяснить и рассказать? Это были самые близкие мои друзья: Лунц и Слонимский.

Всеволод Иванов и Никитин совсем не были близки. Первый держался в стороне и скоро уехал в Москву, второй — просто недолюбливал, хотел сказать, меня. Нет — всех. Ласков со мной был и Зощенко, но я побаивался его, как и все, впрочем. В те дни был он суров, легко сердился, что сказывалось чаще всего в том, что смуглое лицо его темнело еще больше. Но иногда он и высказывался. Однажды утром, сидя у него в комнате, я наблюдал благоговейно, как представитель какого-то московского издательства вел переговоры с ним и Никитиным. Он просил рассказы для журнала или альманаха, это было еще для молодых редкостью, новостью в те дни. Никитин спросил о гонораре и стал требовать прибавки. Это показалось мне как бы кощунственным. И Зощенко потемнел и встал, и заявил строго: «А я отдаю вам рассказ за пять червонцев».

4 февраля

Чем ближе знакомился я с Михаилом Михайловичем, тем больше уважал его, но вместе с тем все отчетливее видел в нем нечто неожиданное, даже чудаческое. Рассуждения его очень уж не походили на сочинения. В них начисто отсутствовало чувство юмора. Они отвечали строгой и суровой, и, как бы точнее сказать, болезненной стороне его существа. Точнее, были плодом борьбы с болезненной стороной его существа. Это была совсем не та борьба, что у Миши Слонимского. Михаил Михайлович боролся с простыми вещами: бессонницей своей, сердцебиением, страхом смерти. И он опыт свой охотно обобщал, любил лечить, давать советы, строить теории. Был он в этой области самоуверен. При молчаливости своей — словоохотлив. Какая-то часть его сознания тянулась к научному мышлению. И казался он мне при всей почтительной любви моей иногда наивным, чудаковатым в этой области. Но это шло ему. Ведь и рассказы его, в сущности, поучали,

указывали, проповедовали, только создавались они куда более мощной, могучей стороной его существа. Heilige Ernst*, о которой говорила Мариэтта Шагинян, сопровождала всей его работе, всей жизни. Вот он с женщинами был совсем не мальчик, но муж. И его любили, и он любил. Но всегда — любил. У него были романы, а не просто связи. В достаточной мере продолжительные. Однажды при нем стал читать свою непристойную поэму один молодой поэт. И Зощенко так потемнел, что молодой поэт прекратил чтение и стал просить прощения у Михаила Михайловича, как будто провинился перед ним лично.

5 февраля

В стороне держался Илья Груздев, неестественно румяный, крупный, сырой, беловолосый, белоглазый, чуть заикающийся. Молчаливо улыбаясь, он охотно поглядывал на женщин черных, суховатых, крайне энергических, восполняющих, как я думал, нечто, отсутствующее в его рыхлом существе. Но с течением времени я убедился, что молчаливый и смирный этот человек самолюбив и властолюбив до потери сознания. Вырос Груздев в тяжелых условиях. Не помню уже, отец или мачеха притесняли его, и притесняли сверх всякой меры. Страшно. Он этим объяснял болезнь свою, повышенное кровяное давление, сказавшееся у него еще в молодости, и многие стороны своего характера. В серапионовских кругах считался он критиком средним. Уже тогда начинал он писать о Горьком осторожным языком человека застенчивого и самолюбивого. Но какой-то дар у него был. Однажды я зашел в Госиздат, где он тогда работал в «Звезде» или «Ковше», и Груздев рассказал о Самозванце, заикаясь чуть, но вдохновенно и так ясно, что целая эпоха осветилась мне.

* Святая серьезность (нем.).

6 февраля

Он был историком и в этой области чувствовал себя, очевидно, свободнее, чем в той, в которой работал. И не только свободнее — он говорил, как художник, и Шуйские, которым бояре дали кличку Шубины за романовские полушубки, и Басманов, не по времени чистый, умирающий на пороге спальни царевича, — всех с того памятного разговора я почувствовал, как живых. Я кончаю говорить о Груздеве. Мы были некоторое время в ссоре — выяснилось, что поддразнивание мое, которому я не придавал значения, он принимал так тяжело, что я просто растерялся, когда на меня пахнуло этой стороной его воспаленного, замкнутого существа. Словно клапан вышибло из котла с азотной кислотой. Затем восстановились отношения, осторожные с обеих сторон.

7 февраля

Веня Каверин, самый младший из молодых, чуть постарше Лунца, кажется, был полной противоположностью Груздеву. Он был всегда ясен. И доброжелателен. Правда, чувство это исходило у него из глубокой уверенности в своем таланте, в своей значительности, в своем счастье. Он только что кончил арабское отделение Института восточных языков, писал книгу о бароне Брамбеусе, писал повести — принципиально сюжетные, вне быта. И всё — одинаково ровно и ясно. Как это ни странно, знания его как-то не задерживались в его ясном существе, проходили через него насквозь. Он и не вспоминает сейчас, например, об арабском языке и литературе. Его знания не были явлением его биографии, ничего не меняли в его существе. Еще более бесследно проходили через него насквозь жизненные впечатления. Очень трудно добиться от него связного рассказа после долгой работы.

8 февраля

Приехав откуда-нибудь, он искренне старается вспомнить, как живут наши общие друзья, и не может. События их жизни прошли через его ясную душу, не шевельнув ни частицы, не оставив следа. Особенно раздражало это во время войны: «Как живут такие-то?» — «Да ничего!» Бог послал ему ровную, на редкость счастливую судьбу, похожую на шоссе-дорогу, по которой катится не телега его жизни, а ее легковой автомобиль. Зощенко как-то, желая утешить Маршака в тяжелую минуту его жизни, сказал: «В хороших условиях люди хороши, в плохих — плохи, а в ужасных — ужасны». Каверин был хорош потому еще, что верил в то, что ему хорошо. Не все удачники понимают, как они счастливы, и ревниво косятся на соседа-бедняка. Для Каверина это было просто невозможно. Мы часто отводили душу, браня его за эгоизм, самодовольство, за то, что интересуется он только самим собой, тогда как мы пристально заняты также и чужими делами. Но за тридцать лет нашего знакомства не припомню я случая, чтобы он встретил меня или мою работу с раздражением, невниманием, ревнивым страхом. Нас раздражало, что ясность ему далась от легкой и удачной жизни. Но у Вирты жизнь сложилась еще удачней, а кто видел от него хоть каплю добра? Ни тени предательства, ни попытки бросить товарища в трудную минуту, отказаться отвечать на его горе мы не видели за все тридцать лет дружбы от Каверина. Мы отводили на нем душу еще и потому, что недостатки его были так же ясны и просматриваемы, как и все его существо. И вдруг поняли — жизнь показала, время подтвердило: Каверин — благородное, простое существо. И писать он стал просто, ясно, создал в своих книгах мир несколько книжный, но чистый и благородный. И мы любим теперь его и весь его дом. Лидочка, его жена, заслуживает отдельного рассказа, так же, как Юрий Николаевич Тынянов, брат ее, которого я любил так осторожно и бережно, как того требовало хрупкое

его удивительное существо. Поэтому вряд ли я осмелюсь рассказывать о нем. А жалко.

9 февраля

Юрий Николаевич Тынянов⁸ был удивительнее своих книг. Когда он читал вслух стихи, в нем угадывалась та сила понимания, которую не передать в литературоведческих трудах. Его собственное, личное, связанное с глубоко его ранившими превратностями судьбы, понимание Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина — тоже было сложнее и удивительнее, чем выразилось в его книгах. Я познакомился с ним, когда он был здоров и счастливо влюблен в молодую женщину. С ней мимоходом, не придавая этому значения, разлучил его грубый парень Шкловский. И она горевала об этом до самой смерти, а вечный мальчик Тынянов попросту был убит. Это бывает, бывает. Юрий Николаевич был особенным, редким существом. Измена, даже мимолетная, случайная, от досады, имела для него такое значение, которое взрослому Шкловскому и не снилось.

Когда я Юрия Николаевича видел в последний раз, он все так же по-прежнему походил на лицейский портрет Пушкина, был строен, как мальчик, но здоровье ушло навеки, безнадежная болезнь победила, притушила победительный, праздничный блеск его ума, его единственного, трогательного собственного знания. И больше я о нем не буду писать. Не хочется рассказывать о нем трезво. Не тот человек. В начале двадцатых годов молодые писатели, мои друзья, почти все были холосты, Веня Каверин женился едва ли не первым. Я увидел Лидочку на одном из серапионовских вечеров, бледную, темноволосую, маленькую, похожую и не похожую на брата. Очень тихая, она ничем не выдавала своей силы. Только с течением времени я увидел, как на плечах несла она свой дом и все несчастья, что выпали на долю ее брата. Маршак полушутя говорил, что Лидочка пишет лучше

Вени. Во всяком случае, она могла бы писать. Я знаю это не по книгам ее, а по ней самой. Она умеет заметить, запомнить и передать все то, что проходит через Веню, не изменив, не пошевелив и частицы его души. Брак с Лидочкой с самых первых дней не усложнил, а облегчил жизнь этого счастливца. Софья Борисовна пришла на помощь.

10 февраля

Мать Юрия Николаевича Тынянова имела все радости и горести, какие дают большие, но несчастливые дети. Правда, Лидочка скорее утешала ее, но и Лидочкину семью, пока Веня не стал на ноги, опекала и поддерживала она. В 39 году, уже умирающая, с помраченным сознанием, летом в Луге, на Вениной даче, говорила она только об одном: а Наташа поела? А Лидочка поела? А Коля поел? Пока сознание теплилось в ней, она все беспокоилась, все заботилась о близких, до самой смерти. И Лидочка унаследовала ее душу, еще украшенную тыняновской талантливостью, прелестью.

Полонская жила тихо, сохраняя встревоженное и просительное выражение лица. Мне нравилась ее робкая, глубоко спрятанная ласковость обиженной и одинокой женщины. Но ласковость эта проявлялась далеко не всегда. Большинство видело некрасивую, несчастливую, немолодую, сердитую, молчаливую женщину и сторонилось от нее. И писала она, как жила. Не всегда, далеко не всегда складно. Она жила на Загородном в большой квартире с матерью, братом и сынишкой, отец которого был нам неизвестен. Иной раз собирались у нее. Помню, как Шкловский нападал у нее в кабинете с книжными полками до потолка на «Конец хазы» Каверина, а Каверин сердито отругивался. Елизавета Полонская, единственная сестра среди «серапионовых братьев», Елисавет Воробей, жила в сторонке. И отошла, совсем в сторону от них уже много лет назад. Стихов не печатала. Больше

переводила и занималась медицинской практикой, служила где-то в поликлинике. Ведь она была еще и врачом, а не только писателем.

Вот я и поговорил о всех «серапионах», чтобы доказать себе, что не глухонемой. Интересно было бы для ясности сказать о каждом в теперешнем, сегодняшнем его виде. Интересно то, что они не изменились. Только одни их свойства развились, а другие ослабели. Мишина мнительность приобрела совсем уже невозможные размеры. Оправданием ему служит то, что для этого были основания. Никитин совсем не изменился. Так же значительно орудует губами, только над беззубым уже ртом.

БЕЛЫЙ ВОЛК

Когда в 1922 году наш театр закрылся, я после ряда приключений¹ попал секретарем к Корнею Ивановичу Чуковскому².

Он был окружен как бы вихрями, делающими жизнь возле него почти невозможной. Находиться в его пределах в естественном положении было немыслимо, как в урагане посреди пустыни. И к довершению беды вихри, сопутствовавшие ему, были ядовиты.

Цепляясь за землю, стараясь не закрывать глаза, не показывать, что песок пустыни скрипит на зубах, я скрывал ото всех и от себя странность своей новой должности. Я всячески старался привиться там, где ничто не могло расти.

У Корнея Ивановича никогда не было друзей и близких. Он бушевал в одиночестве, не находя пути по душе, без настоящего голоса, без любви, без веры, с силой, не открывшей настоящего, равного себе выражения, и потому недоброй.

По трудоспособности я не встречал ему равных. Но какой это был мучительный труд! На столе его лежало не менее трех-четырёх работ: вот статья для «Всемирной литературы», вот перевод пьесы Синг, вот предисловие и примечания к воспоминаниям Панаевой, вот детские стихи. Легкий, как бы пляшущий тон его статей давался ему нелегко. Его рукописи походили не то на чертежи, не то на карты. Вклейки снизу, сбоку, сверху. Каждую

страницу приходилось разворачивать, раскрывать, расшифровывать.

Отделившись от семьи большой проходной комнатой, он страдал над своими работами, бросался от одной к другой как бы с отчаянием. Он почти не спал. Иногда выбегал он из дома своего на углу Манежного переулка и огромными шагами обегал квартал по Кирочной, Надеждинской, Спасской, широко размахивая руками и глядя так, словно он тонет, своими особенными серыми глазами. Весь он был особенный: седая шапка волос, молодое лицо, рот небольшой, но толстогубый, нос топорной работы, но общее впечатление — нежности, даже миловидности.

Когда он мчался по улице, все на него оглядывались, — но без осуждения. Он скорее нравился прохожим высоким ростом, свободой движения. В его беспокойном беге не было ни слабости, ни страха. Он людей ненавидел, но не боялся, и у встречных поэтому и не возникало желания укусьить его.

Я появлялся у него в просторном и высоком кабинете в восемь часов утра. В своем тогдашнем безоговорочном, безоглядном поклонении далекой и недоступной литературе я в несколько дней научился понимать признанного ее жреца, моего хозяина. Показывая руками, что он приветствует меня, прижимая их к сердцу, касаясь пальцами ковра в поясном поклоне, надув свои грубые губы, Корней Иванович глядел на меня, прищулив один глаз, с искренней ненавистью. Но я не обижался. Я знал, что чувство это вспыхивает в душе его само по себе, без всякого повода, не только ко мне, но и к близким его. И к первенцу Коле, и к Лиде, и, реже, к Бобе, и только к младшей, к Муре — никогда. Если даже дети мешали его отшельничеству без божества и подвигам благочестия без веры, — то что же я-то? Я не огорчился и не обижался, как не обижаются на самум, и только выжидал, чем кончится припадок.

Иной раз он бывал настолько силен, что Корней Иванович придумывал мне поручения, чтобы поскорей избавиться от моего присутствия. Иногда же припадок проходил в несколько минут, и мне находилось занятие в пределах кабинета.

В последнем случае я усаживался за маленький столик с корректурами. Корней Иванович посвятил меня в нехитрое искусство вносить в гранки поправки, ставя знаки на полях и в тексте. И я с гордостью правил корректуру, но делал это плохо. Я через две-три строчки зачитывался тем, что надлежало проверять. И тут иной раз у нас завязывались разговоры о ней, о литературе. Но не надолго. Среди разговора Корней Иванович, словно вспомнив нечто, мрачно уходил в себя, прищулив один глаз. Впрочем, и до этого знака невнимания, говоря со мной, он жил своей жизнью. Какой? Не знаю. Но явно страдальческой.

У него были основания задумываться и страдать не только по причинам внутреннего неустройства, но и по внешним обстоятельствам. За несколько месяцев до моего секретарства разыгралась громкая история с письмом, что он послал за границу Алексею Толстому. Он приветствовал Алексея Николаевича, сменившего вехи, звал Толстого в Советский Союз и подробно и недоброжелательно описывал людей, с которыми ему, Чуковскому, приходится жить и работать. Я забыл, что именно он писал. Помню только фразу о Замятине: «Евгений Иванович, милый, милый, но такой чистоплюй!» И каждому посвящал он две-три фразы подобного же типа, так что на обсуждении кто-то сравнил его послание с письмом Хлестакова к «душе Тряпичкину»! Вся беда в том, что письмо Корнея Ивановича приобрело неожиданно широкую известность. Толстой взял да и напечатал его в «Накануне».

Дом искусств и Дом литераторов задымились от горькой обиды и негодования. Начались собрания Совета дома, бесконечные общие собрания. Проходили они бурно, однако в отсутствие Корнея Ивановича. Он захворал.

Он был близок к сумасшествию. Но все обошлось. В те дни, когда мы встретились, рассудок его находился в относительно здравии. Ведь буря, которую пережил Чуковский, была далеко не первой. Он вечно и почему-то каждый раз нечаянно, совсем, совсем против своей воли, смертельно обижал кого-нибудь из товарищей по работе. Андреев жаловался на него в письмах, Арцыбашев вызывал на дуэль, Аверченко обругал за предательский характер в «Сатириконе», перечислив все обиды, нанесенные Чуковским ему и журналу, каждый раз будто бы по роковому недоразумению. И всегда Корней Иванович, поболевав, оправлялся.

Однако проходили эти бои, видимо, не без потерь. И мне казалось, что уходя в себя, Корней Иванович разглядывает озабоченно ушибленные в драке части души своей. Нет, он не был душевнобольным, только душа у него болела всегда.

Но вот дела требовали, чтобы Корней Иванович оторвался от своего письменного стола. И он, полный энергии, выбегал, именно выбегал из дому и мчался к трамвайной остановке. Он учил меня всегда поступать именно таким образом: если трамвай уйдет из-под носа, то не по причине вашей медлительности.

И, приехав, примчавшись туда, куда спешил, Корней Иванович уверенно, весело и шумно проникал к главному в этом учреждении.

— Вы думаете, он начальник, а он человек! — восклицал он своим особенным насмешливым, показным манером, указывая при слове «начальник» в небо, а при слове «человек» — в пол. — Всегда идите прямо к тому, кто может что-то сделать!

И всегда Корней Иванович добивался того, чего хотел, и дела его шли средне.

Да, дела его шли средне, хотя могли бы идти отлично. Такова обычная судьба людей мнительных, подозрительных и полных сил.

Не мог Корней Иванович понять, что у него куда меньше врагов, чем это ему чудится, и соответственно меньше засад, волчьих ям, отравленных кинжалов. И, защищаясь от несуществующих опасностей, он вечно оказывался, к ужасу своему, нападающей стороной. Это вносило в жизнь его ужасную разладицу и в тысячный раз ранило его нежную душу. Впрочем, в иных нередких случаях мне казалось, что он заводит драку вовсе не потому, что ждет нападения. Просто его охватывало необъяснимое, бескорыстное, судорожное желание укусь. И он не отказывал себе в этом наслаждении.

Кого он уважал настолько, чтобы не обидеть даже при благоприятных тому обстоятельствах?

Может быть, Блока (вскоре после его смерти). Отчасти Маяковского. Любил хвалить Репина. Вот и все.

Однажды он, улыбаясь, стал читать Сашу Черного, стихи, посвященные ему — «Корней Белинский». Я их помню очень смутно. Кончаются они тем, что, мол, Чуковский силен только когда громит бездарность, и халат тогой падает в таких случаях с его плечей. Начал читать Корней Иванович, весело улыбаясь, а кончил мрачно, упавшим голосом, прищулив один глаз. И, подумав, сказал:

— Все это верно!

Маршак не раз говорил о нем:

— Что это за критик, не открывший ни одного писателя!

И вместе с тем какая-то сила угадывалась, все время угадывалась в нем. И Маршак же сказал о Чуковском однажды:

— Он не комнатный человек.

Стихи Корней Иванович запоминал и читал, как настоящий поэт. Но прозу он вряд ли понимал и любил так, как Некрасова, например. Одна черта, необходимая критику, у него была: он ненавидел то, что других только раздражало. Но настоящий критик еще и влюбляется

там, где другие только любят. А Чуковский только увлекался.

И критик обязан владеть языком. Иметь язык. Быть хорошим прозаиком. А настоящего дара к прозе у Корнея Ивановича и не было.

Во многих детских своих стихах он приближался к тому, чтобы заговорить настоящим языком, и, бывало, это ему удавалось в полной мере (последние строки «Мойдодыра»). Но в прозе его чувствовался и потолок и доньшко. Да, в ней была сила, но та самая, что так легко сгибала и выпрямляла его длинную фигуру, играла его высоким голосом — актерская сила. С фейерверком, конфетти и серпантином.

Отсутствие языка сказывалось и на его памяти. Не назвал — значит, и не запомнил. Именно поэтому, рассказывая, он часто, за невозможностью вспомнить, — сочинял.

Однажды он рассказал, как Скиталец пьяный приехал на какой-то вечер и хотел прочесть свое стихотворение «Мне вместо головы дала природа молот», а прочел: «Мне вместо головы дала природа ноги».

Я посмеялся, а потом вспомнил, что эти строки насчет головы и молота вовсе не Скитальца, а пародия Измайлова на Скитальца. Значит, когда Корней Иванович рассказывал, то даже отличная память на стихи изменяла ему. Настоящая его сила, та, что заставляла его умолкать посреди разговора, уходить в себя, работать до отчаяния, бегать огромными шагами вокруг квартала, — была нема и слепа, и только изредка пробивалась в детских стихах. А в остальные дни не радовала она Чуковского, а грызла, отчего он и кусался.

Сегодня припадок ненависти ко всем, забредающим в полосу отчуждения, в том числе, разумеется, и ко мне, так силен, что Корней Иванович придумывает наскоро ряд поручений, только бы я скрылся с глаз долой.

И я отправляюсь в путь.

Первое поручение — достучаться во что бы то ни стало к художнику Замирайло и узнать, когда будут

готовы рисунки к какой-то детской книге. Корней Иванович предупредил, что это вряд ли мне удастся.

И в самом деле. Словно сказочные слуги, получавшие от своих владык подобные же невыполнимые приказания, я попадаю в дебри, сырые и темные. В коридоре дома, полного еще воспоминаниями о голодных годах, я стучу и стучу, упорно и безостановочно, в обитую клеенкой дверь, как было мне приказано. Полутемно. В двух шагах на полу — перевернутая кверху дном ванна, неведомо зачем вытащенная из подобающего вместилища. На помойном ведре пристроилась кошка и ест с отвращением, стряхивая так, что брызги летят во все стороны, соленый огурец. Я стараюсь стучать погромче, но войлок под клеенкой заглушает звук. Стучу ногами. Из двери напротив выглядывает женщина в платке. Сообщает, что, по ее мнению, художник дома, но не откроет. Он никому не открывает.

«Мохнатое сердце! — думаю я с горечью. — Ведь это я стучу, я. Как можно прятаться от меня? Разве я тебя обижу?»

Мохнатое сердце — так назвал себя Замирайло, оправдываясь перед товарищем, которого напрасно обидел, — не чувствует, не отзывается.

Так я и ухожу, не достучавшись

Года через два я увидел в редакции человека невысокого, с лицом апатичным, бледным, несколько одутловатым. Это он и был, таинственный Замирайло. В редакции он держался, как все, отвечал на вопросы вполне учтиво. А когда ушел, то молодые художники отозвались о нем непочтительно, сказали, что он эпигон Дорэ.

А после бесславной попытки проникнуть к Замирайло, я направляюсь к Лернеру, пушкинисту и литературоведу. Я должен узнать у него, кто такая — известная своим богатством, благочестием и влиянием в кругах высшего духовенства особа, упоминаемая у Панаевой. Фамилия ее в мемуарах не названа.

К Лернеру я попадаю через кухню. Все парадные двери в Петрограде еще заколочены. Возможно, что здесь я увидел кошку на мусорном ведре, а к Замирайло стучался со двора. В одном не сомневаюсь: голодный и холодный город ощущался и там и тут, и на подступах к талантливому художнику, и на кухне у литературоведа, и в квартире Чуковских, куда тоже попадали через кухню с давным-давно, годы назад остывшей плитой. На Невском зиял пустынными окнами недостроенный дом, — недалеко от улицы Марата, там, где теперь кинотеатр «Художественный». Недостроенный дом вздымался и на углу Герцена и Кирпичного, и никто еще не собирался достраивать эти дома. Город только-только начинал оживать.

В своем кабинетике с буржуйкой Лернер, выслушав меня, быстро и пренебрежительно, как математик, которому задали арифметическую задачу для первоклассников, отвечает, что у Панаевой, конечно, речь идет о графине Орловой, старой деве, замаливающей грехи отца.

Насмешливый, беловолосый, немолодой, расспрашивает он о том, как работает Чуковский над примечаниями. По всей повадке его я угадываю, что считает он Корнея Ивановича ненастоящим работником, легкомысленным журналистом, взявшим ношу не по плечам.

Он втолковывает мне, что, давая примечания, нужно чувствовать, когда именно у читателя возникает вопрос, а не отвлекать его от книжки ненужными комментариями, не показывать без толку свою ученость.

Куда бы я ни шел, с кем бы ни говорил, — меня преследует предчувствие неприятности, даже позора. Мне приказано явиться в Губфинотдел и похлопотать перед фининспектором, чтобы с Корнея Ивановича сняли неправильно начисленный налог.

У меня в кармане необходимые справки, мной получены подробнейшие инструкции, но мне все равно не по себе. Я начисто лишен был счастливого дара — весело и спокойно разговаривать с начальниками, в каком бы чине они ни состояли. Я трусил, когда приходилось

просить. Терял всякий дар слова. Внушал своим растерянным видом мрачные подозрения. И наконец — радовался в глубине души отказу, — так или иначе, он кончал тяжелый для меня разговор. И я отступал, еще по-настоящему и не начав боя, там, где более или менее настойчивый человек одержал бы победу.

У меня мелькает малодушная мысль соврать Корнею Ивановичу, что фининспектора не оказалось на месте. Что его вызвали в Смольный. Но я не поддаюсь искушению. Меня поддерживает надежда, что фининспектор и в самом деле взял и ушел, провалился сквозь землю.

Я в те дни был крайне растерян и недоверчив, и невнимателен к красотам города, о которых столько твердили наименее живые из моих знакомых. Однако одним я все же успел заметить и даже полюбить за то, что, несмотря на душевное смятение мое, он каждый раз вызывал прочное, надежное чувство восхищения. Это радовало меня. Все-таки я, значит, мог чувствовать ясно. Дом мой любимый возвышался за узорной решеткой на канале Грибоедова, против мостика со львами. Вот туда-то и шагнул я на мучения и позор. Там помещался Губфинотдел.

Фининспектор оказался на месте, в своем кабинете, Корней Иванович отлично знал часы его приема. Молодой человек с припудренными изъясками на бледном лице сидел за столом и отказывал в просьбе какому-то упрямому и несдающемуся человеку. Налогоплательщик говорил тихо, но много, безостановочно, а фининспектор ответил ему только раз, во весь голос, презрительно и гладко:

— Если вам известны подобные случаи, вы должны в интересах фиска информировать нас.

Когда налогоплательщик вышел, не глядя ни на кого, полный негодования и энергии, ничуть не обескураженный, пришла моя очередь.

По непонятным причинам, видимо потому, что я хлопотал не о себе, я говорю не слишком путанно и предъявляю документы, едва бледный молодой фининспектор заговаривает о них. Он долго хмурится, щурится, качает

головой, задумывается и, наконец, пишет резолюцию, и я вижу с восторгом, что сумма налога уменьшилась на шестьдесят миллионов.

В Публичную библиотеку я вступаю как победитель. Теперь я не боюсь никого. Заведующий русским отделом, сердитый старик, прочтя записку Корнея Ивановича, протягивает мне толстую книгу «Русский Некрополь». Тут я найду инициалы, год рождения и смерти некоторых лиц, упоминаемых в примечании.

Мне остается выполнить еще одно приказание своего хозяина. Всем тогда случалось торговать. Так же, как в старые времена шли в ломбард, — отправлялись теперь на рынок. И когда Корней Иванович поручил мне продать авторские экземпляры только что вышедших своих книг, я отнесся к этому весьма просто и спокойно.

Здесь-то и подстерегали меня позор и неудача. В первой же книжной лавке меня приняли за подозрительную личность, укравшую книги в типографии. Напрасно я доказывал, что получил их от самого автора. Холодно и решительно маленький владелец магазина отказался вступать со мной в какие бы то ни было переговоры. Я ушел, в ярости хлопнув дверью, но в другие магазины пойти не посмел.

Ошеломленный и отуманенный всем многообразием пережитых приключений, возвращаясь я на Манежный переулок, к своему повелителю.

Высокие потолки, высокие окна без занавесок, свет бьет в лицо, Корней Иванович смотрит на меня своими непонятными глазами, и странное чувство нереальности всего происходящего охватывает меня. Зачем ходил я к Лернеру, в Публичную библиотеку, стучался к Замирайло? Нужны ли Чуковскому все эти лежащие на письменном столе груды, и к чему ему секретарь? Да и сам Корней Иванович — существует ли он? Тот ли это Чуковский, которого я так почитал издали, в студенческие годы, за то, что находился он в самом центре литературы и представлял ее и выражал? «Журнал журналов» хвалил

его, а что такое Корней Иванович на новой почве, в те-
перешней жизни?

Я недоедал в то время, и мысли о нереальности про-
исходящего особенно остро переживались мною в сере-
дине дня, после путешествий и приключений.

Я встречаю на Невском Давыдова³. Он медленно идет
под руку со своим племянником, красивым юношей в
дохе. Давыдов! Тот ли это артист, о котором я читал в
чеховских письмах, или в наши дни это явление совсем
другого порядка?

Из бывшей «Квисисаны»⁴ выходит в компании ху-
дожников Радаков⁵. Он весел, но более по привычке
держится самоуверенно, но как бы в целях самозащиты.
Прошли века с тех пор, как закрылся «Новый сатири-
кон». Существует ли Радаков, хотя его грузная фигура
занимает весьма заметное место на Невском проспекте?

Доклад о выполненных и невыполненных поруче-
ниях Корней Иванович выслушивает спокойно, серые
глаза его сохраняют загадочное выражение. Но, увидев
резолюцию фининспектора, он вскакивает и кланяется
мне в пояс, и восклицает своим особенным тенором, что
я не секретарь, а благодетель.

Существую ли я? В те дни я и в самом деле как бы
не существовал. Театр, в котором я работал, закрылся.
К литературе подступал я осторожно, с поклонами, за-
искивающими улыбочками, на цыпочках. Я дружил в те
времена с Колей Чуковским и все выпрашивал: как он
думает, — выйдет ли из меня писатель?

Коля отвечал уклончиво. Однажды он сказал так. «Кто
тебя знает! Писателя все время тянет писать. Посмотри
на отца: он все время пишет, записывает все. А ты?»

Я не осмеливался делать это. Но Корней Иванович,
и в самом деле, записывал все. У него была толстая пере-
плетенная тетрадь по имени «Чукоккала»⁶, которой Кор-
ней Иванович очень дорожил. И не без основания. Там,
на ее листах, формата обыкновенной тетрадки, красова-
лись автографы Блока, Сологуба, Сергея Городецкого,

Куприна, Горького, рисунки Репина. Все современники Чуковского так или иначе участвовали в «Чукоккале». По закону собраний такого рода, чем менее известен был автор, тем более интересны были его записи. Во всяком случае — ощущалось старание. Но так или иначе тетради этой не было цены. Однажды Корней Иванович доверил ее мне. Лева Лунц уезжал. Были устроены проводы, и Корней Иванович поручил мне собрать в «Чукоккалу» автографы присутствующих.

Проводы оказались настолько веселыми, что я не рискнул выполнить поручение. На другой день после проводов я у Чуковского не был. Он сказал, что я не буду нужен. А вечером того же дня пришел ко мне Коля и сказал, что папа очень беспокоится за судьбу альбома.

Я принес «Чукоккалу» утром, к восьми часам, но Корнея Ивановича уже не застал. Он умчался по своим делам, а может быть, размахивая руками, как утопающий, шагал огромными шагами вокруг квартала. Я сел за стол и принялся ждать.

И тут я убедился, что и в самом деле Корней Иванович записывает все. На промокательной бумаге стола, на нескольких листках блокнота, на обложке тетради стояли слова: «Шварц — где Чукоккала!!!» Первое движение, первое выражение чувства для него была потребность записать. «Где Чукоккала?», «Пропала Чукоккала» — вопили на столе со всех сторон взятые в квадратные и овальные рамки слова. «Где Чукоккала? О, моя Чукоккала!»

Корней Иванович в эти дни неустанно горевал о дневниках своих. Он вел их всю жизнь, и вот остались они на даче в Финляндии. Полагаю, что дневники его и в самом деле станут кладом для историка литературы. Придется ему долго разбираться в той смеси, сети, клубке правдивости, точнее — искренности — и лжи, но лжи от всего сердца. Я при тогдашней своей любви ко всему, что связано с литературой, наслаждался всеми рассказами Корнея Ивановича, даже в недостоверности их угадывая долю правды, внося поправки в его обвинения, смягчая

приговоры, по большей части смертные. Однажды Коля пожаловался: «Папа наговорил о таком-то, что он и негодяй, и тупица, и готовый на все разбойник. А я познакомился с ним и вижу — человек как человек». И я учитывал эту особенность рассказчика. Однако в самые черные дни его даже я несколько огорчился, наслушавшись обвинительных актов против товарищей Корнея Ивановича по работе. Если верить ему, то они прежде всего делились, страшно повторить — на сифилитиков и импотентов. Благополучных судеб в этой области мужской жизни Корней Иванович, казалось, не наблюдал. Соответственно определял он их судьбы и в остальных разделах человеческих отношений. Вот несколько наиболее добродушных его рассказов. Корней Иванович, стоя у книжной полки, открывает книжку, и вдруг я слышу теноровый его хохот. Широким движением длинной своей руки подзывает он меня и показывает. К какой-то книге Мережковского приложен портрет, писатель сидит в кресле у себя в кабинете. Вправо от него на стене большое распятие, и непосредственно под крестом, касаясь его подножия, чернеет кнопка электрического звонка.

— Весь Митя в этом! — восклицает Корней Иванович с нарочито громким и насмешливым смехом. Но вот смех обрывается, и Корней Иванович темнеет, прищуря один глаз. И я слышу жалобы, правдивость которых не вызывает у меня ни малейшего подозрения. Мережковские приготовились бежать из Советского Союза и тщательно скрывали это от друзей. В течение двух недель ходили они по издательствам, заключали договоры и получали гонорары. В советских условиях они были робки, все обращались за помощью к Корнею Ивановичу, и он выколачивал для них наличные деньги у самых упрямых хозяйственников.

И ни слова не сказали они Корнею Ивановичу о планах побега. А ведь считались друзьями, да что там считались — были, были настоящими друзьями. И Чуковский показывает искреннее и трогательное стихот-

ворение Гиппиус об одиночестве, в котором очутилась она. Только и есть одно у нее утешение — приход «седого мальчика с душою нежной».

— Вот как она писала. А потом удрала за границу, ни слова не сказав о своих планах друзьям. Ни намека! И там стала обливаться нас, оставшихся, грязью. Ругалась как торговка. Вся Зинаида Гиппиус в этом. Вся!

Однажды Брюсов сказал Корнею Ивановичу, что сегодня ему исполнилось сорок лет. А тот ему ответил: «Пушкин в эти годы уже и умереть успел!»

У Корнея Ивановича, как у великих фехтовальщиков, была выработана своя система удара. Фраза начиналась с похвалы и кончалась выпадом. Он сказал однажды Короленко:

— Владимир Галактионович, как хорош у вас слесарь в рассказе «На богомолье», сразу видно, что он так и списан с натуры.

И Короленко ответил спокойно:

— Еще бы не с натуры — ведь это Ангел Иванович Богданович!

Ответ этот привел Корнея Ивановича в восхищение. Это был один из немногих случаев, когда Корней Иванович отдавал писателю должное. При оказиях подобного рода он отводил душу, ругая певучим тенором своим других прозаиков. Пусть попробует так поступить такой-то с его лимфатическим благородством или такой-то с его куриной грудкой. Взять редактора толстого марксистского журнала, Ангела Ивановича, которого наборщики прозвали Черт Иванович, и перенести его совсем в другую среду, где характер его вырисовывается выразительнее и отчетливее. Пусть попробует так сделать такой-то с его жидким семенем! Он и с натуры писать не может своими хилыми пальчиками.

Расстались мы с Чуковским летом 23-го года, когда я уехал погостить к отцу в Донбасс⁷.

Разногласий у нас не было. Если выговаривал он мне, то я сносил. А он со своей повышенной чувствительностью чуял, конечно, как бережно, с каким почтением я к нему отношусь. Словно к стеклянному. Он нередко повторял, что я не секретарь, а благодетель, но оба мы понимали, прощаясь, что работе нашей совместной пришел конец. Есть какой-то срок для службы подобного рода. И я удалился из полосы отчуждения. Только перед самым уже отъездом заспорили мы по поводу статьи его о Блоке. Мне показалось, что поэт, сказавший об имении своем, сожженном крестьянами, «туда ему и дорога», — заслуживает более сложного разбора. Спор этот Корней Иванович запомнил. Когда я уже уехал, он сказал Коле, что гонорар за статью о Блоке переведет мне. Однако не перевел.

По возвращении моем мы встречались довольно часто, и Корней Иванович бывал добр ко мне, со всеми оговорками, вытекающими из особенностей его натуры. Кончая редактировать одно из изданий книжки «От двух до пяти», Чуковский сказал мне, что, прочтя кое-какие изменения и добавления к ней, я буду приятно поражен. Дня через два мне случайно попались гранки книжки. И я прочел: «В детскую литературу бросились все, от Саши Черного до Евгения Шварца».

По правде сказать, я вместо приятного удивления испытал некоторое недоумение. Впоследствии он заменил эту фразу абзацем, который и остается до сих пор, кажется, во всех переизданиях. Там он спорит со мной, но называет даровитым, что меня и в самом деле поразило.

Все анекдоты о вражде его с Маршаком неточны. Настоящей вражды не было. Чуковский ненавидел Маршак не более, чем всех своих близких. Просто, вражда эта была всем понятна, и поэтому о ней рассказывали особенно охотно.

Во время съезда писателей, узнав, что Маршак присутствовал на приеме, куда Чуковский зван не был, этот

последний нанес счастливцу удар по своей любимой системе.

— Да, да, да! — пропел Чуковский ласково. — Я слышал, Самуил Яковлевич, что вы были на вчерашнем приеме, и так радовался за вас, вы так этого добивались!

Встретив в трамвае Хармса, Корней Иванович спросил его громко, на весь вагон:

— Вы читали «Мистера Твистера»?

— Нет! — ответил Хармс осторожно.

— Прочтите, — возопил Корней Иванович — Прочтите! Это такое мастерство, при котором и таланта не надо! А есть куски, где ни мастерства, ни таланта: «Сверху над вами индус, снизу под вами зулус» — и все-таки замечательно.

Так говорил он о Маршаке. Зло? Да. Может так показаться. Пока не вспомнишь, как относился этот мученик к самым близким своим. К своему первенцу, например. Во время войны я привез Корнею Ивановичу письмо от Марины, жены его старшего сына. Она рассказывала в нем чистую правду. Ей удалось узнать случайно, что Коля сидит без работы в части, где газеты нет и не будет, под огнем, рискуя жизнью без всякой пользы и смысла. Она просила, чтобы Корней Иванович срочно, через союз, хлопотал о переводе Коли не в тыл, нет, а в другую фронтową часть.

Мы встретились с Корнеем Ивановичем в столовой Дома писателей, во втором ее этаже, где кормили ведущих и приезжих. Я спросил Корнея Ивановича о письме. К ужасу моему, лицо его исказилось на знакомый лад. Судорожное, самоубийственное желание укусьть ясно выразилось в серых глазах, толстых губах. И этот мученик неведомого бога, терзаемый недоброй своей силой, запел, завопийал, обращаясь к старику Гладкову, сидевшему напротив:

— Вот они, герои! Мой Николай напел супруге, что находится на волоске от смерти, и она молит: спасите, помогите! А он там в тылу наслаждается жизнью!

— Ай-ай-ай! — пробормотал старик растерянно. — Зачем же это он?

Вот как ответил Корней Иванович на письмо о находившемся в опасности старшем своем сыне. Младший его — следует помнить об этом — к тому времени уже погиб на фронте. Нет, я считаю, что Маршака Корней Иванович скорее ласкал, чем кусал.

В апреле 52-го года, слушая доклад Суркова на совещании о детской литературе, я оглянулся и увидел стоящего позади седого, стройного Корнея Ивановича. Ему только что исполнилось семьдесят лет, но лицо его казалось все тем же свежим, топорным и нежным, особенным. Конечно, он постарел, но и я тоже, и дистанция между нами сохранилась прежняя. Все теми же нарочито широкими движениями своих длинных рук приветствовал он знакомых, сидящих в разных углах зала, пожимая правой рукой левую, прижимая обе к сердцу. Я пробрался к нему. Сурков в это время, почувствовав, что зал гудит сдержанно, не слушает, чтобы освежить внимание, оторвался от печатного текста доклада и, обернувшись к сидящим в президиуме Маршаку и Михалкову, воскликнул:

— А вас, товарищи, я обвиняю в том, что вы перестали писать сатиры о детях!

И немедленно, сделав томные глаза, Чуковский пробормотал в ответ:

— Да-да-да! Это национальное бедствие!

На несколько мгновений словно окно открылось, и на меня пахнуло веселым воздухом двадцатых годов. Но не прошло и пяти минут, как Корней Иванович перестал слушать, перестал замечать знакомых, и я почувствовал себя в старой, неизменной полосе отчуждения. Прищурив один глаз, ступил он в сторону за занавеску к выходу и пропал, как будто его и не было. Удалился в свою пустыню обреченный на одиночество старый белый волк.

ИЗ ЗАПИСОК О МАРШАКЕ

<...> Я пришел к Маршаку в 24 году с первой своей большой рукописью в стихах — «Рассказ старой бала-лайки». В то время меня, несмотря на то что я поработал уже в 23 году в газете «Всесоюзная кочегарка» в Артемовске¹ и пробовал написать пьесу, еще по привычке считали не то актером, не то конференсье. Это меня мучало, но не слишком. Вспоминая меня тех лет, Маршак сказал однажды: «А какой он был тогда, когда появился — сговорчивый, легкий, веселый, как пена от шампанского». Николай Макарович [Олейников]² посмеивался над этим определением и дразнил меня им. Но так или иначе мне и в самом деле было легко и весело приходить, приносить исправления, которые требовал Маршак, и наслаждаться похвалой строгого учителя. Я тогда впервые увидел, испытал на себе драгоценное умение Маршака любить и понимать чужую рукопись, как свою, и великолепный дар радоваться успеху ученика, как своему успеху. Как я любил его тогда! Любил и когда он капризничал, и жаловался на свои недуги, и деспотически требовал, чтобы я сидел возле, пока он работает над своими вещами. Любил его грудной, чуть сиплый голос, когда звал он: «Софьюшка!» или «Элик» — чтобы жена или сын пришли послушать очередной вариант его или моих стихов. Да и теперь, хотя жизнь и развела нас, я его все люблю. <...>

15.01.1951

Тогда Маршак жил против Таврического сада, в небольшой квартире на Потемкинской улице. Часто, поработав, мы выходили из прокуренной комнаты подышать свежим воздухом. Самуил Яковлевич утверждал, что если пожелать как следует, то можно полететь. Но при мне это ни разу ему не удалось, хотя он, случалось, пробегал быстро маленькими шажками саженой пять. Вероятно, тяжелый портфель, без которого я не могу его припомнить на улице, мешал Самуилу Яковлевичу отделиться от земли. Если верить Ромену Роллану, индусские религиозные философы прошлого века утверждали, что учат не книги учителя и не живое его слово, а духовность. Это свойство было Маршаку присуще. Недаром вокруг него собрались в конце концов люди верующие, исповедующие искусство, а разговоры, которые велись у него в те времена, воистину одухотворяли. У него было безошибочное ощущение главного в искусстве сегодняшнего дня. В те дни главной похвалой было: как народно! (Почему и принят был «Рассказ старой балалайки».) Хвалили и за точность и за чистоту. Главные ругательства были: «стилизация», «литература», «переводно». <...>

Маршак, чувствуя главное, вносил в <...> споры о нем необходимую для настоящего учителя страсть и «духовность». Само собой, что бывал он и обыкновенным человеком, что так легко прощают поэту и с таким трудом — учителю. Вот почему все мы, бывало, ссорились с ним, зараженные его же непримиримостью. Ведь он бесстрашно бросался на любых противников. Как я понимал еще и в те времена, сердились мы на него по мелочам. А в мелочах недостатка не было. Но ссоры пришли много позже. Я же говорю о 24 годе.

16.01.1951

К этому времени с театром я расстался окончательно, побывал в секретарях у Чуковского, поработал в «Кочегарке» — и все-таки меня считали скорее актером. В «Су-

масшедшем корабле» Форш вывела меня под именем Геня Чорн³. Вывела непохоже, но там чувствуется тогдашнее отношение ко мне в литературных кругах, за которые я цеплялся со всем уважением, даже набожностью приезжего чужака, и со всем упорством утопающего. И все же я чувствовал вполне отчетливо, что мне никак не по пути с Серапионами. Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что можно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим. Я, начисто лишенный дара к философии, не верующий в силу этого никаким теориям в области искусства, — чувствовал себя беспомощным, как только на литературных вечерах, где мне приходилось бывать, начинали пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов. Но что я мог противопоставить этому? Нутро, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту? Также не любил я и не принимал ритмическую прозу Пильняка, его многозначительный, на что-то намекающий, историко-археологический лиризм. И тут чувствовалась своя теория. А в ЛЕФЕ⁴ была своя. Я сознавал, что могу выбрать дорогу только органически близкую мне, и не видел ее. И тут встретился мне Маршак, говоривший об искусстве далеко не так отчетливо, как те литераторы, которых я до сих пор слышал, но, слушая его, я понимал и как писать и что писать. Я жадно впитывал его длинные, запутанные и все же точные указания. Математик Ляпунов, прочтя какую-то работу Пуанкаре, сказал: «А я не знал, что такие вещи можно опубликовывать. Я это сделал еще в восьмидесятых годах». Маршак, кроме всего прочего, учил понимать, когда работа закончена, когда она стала открытием, когда ее можно опубликовывать. Он стоял на точке зрения Ляпунова. Начинающего писателя этим иной раз можно и оглушить. Но я — по своей

«легкости» — принял это с радостью, и пошло мне это на пользу. Все немногое, что я сделал, — следствие встреч с Маршаком в 1924 году.

17.01.1951

В 1924 году весной вокруг Маршака еще едва-едва начинал собираться первый отряд детских писателей. Вот-вот должен был появиться Житков, издавался (или предполагался?) детский журнал при «Ленинградской правде». Начинал свою работу Клячко — основал издательство «Радугу». Маршак написал «Детки в клетке», «Пожар». Лебедев сделал рисунки «Цирк». Его уверенные, даже властные высказывания о живописи положили свой отпечаток и на всей нашей работе.

Но все это едва-едва начиналось. Была весна. Я приходил со своей рукописью в знакомую комнату окнами на Таврический сад. И мы работали. Для того чтобы объяснить мне, почему плохо то или иное место рукописи, Маршак привлекал и Библию, и Шекспира, и народные песни, и Пушкина, и многое другое, столь же величественное или прекрасное. Года через два мы, неблагодарные, подсмеивались уже над этим его свойством. Но ведь он таким образом навеки вбивал в ученика сознание того, что работа над рукописью — дело божественной важности. И когда я шел домой или бродил по улицам с Маршаком, то испытывал счастье, чувствовал, что не только выбрался на дорогу, свойственную мне, но еще и живу отныне по-божески. Делаю великое дело. Написав книжку, я опять уехал в «Кочегарку». Вернувшись в Ленинград, я ужасно удивился тому, что моя «Балалайка» вышла в свет — и только! Ничего не изменилось в моей судьбе и вокруг. Впрочем, я скоро привык к этому. Во всяком случае, люди, которых я уважал, меня одобряли, а остальные стали привыкать к тому, что я не актер, а пишу. К этому времени Самуил Яковлевич со всей страстью ринулся

делать журнал «Воробей». (Впрочем, кажется, журнал назывался уже «Новый Робинзон» в те дни?) Каждая строчка очередного номера обсуждалась на редакционных заседаниях так, будто от нее зависело все будущее детской литературы. И это мы неоднократно высмеивали впоследствии, не желая видеть, что только так и можно было работать, поднимая дело, завоевывая уважение к детской литературе, собирая и выверяя людей. Появился Житков. Они с Маршаком просиживали ночами, — Житков писал первые свои рассказы. Тогда он любил Маршака так же, как я. Еще и подумать нельзя было, что Борис восстанет первым на учителя нашего и весна, вдруг, перейдет в осень. Но это случилось позже. (А я говорю о весне 1924 года.)

18.01.1951

Итак — была весна 24-го года, время, которое начало то, что не кончилось еще в моей душе и сегодня. Поэтому весна эта — если взглядеться как следует, без всякого суеверия, без предрассудков — стоит рядом, рукой подать. Я приходил к Маршаку чаще всего к вечеру. Обычно он лежал. Со здоровьем было худо. Он не мог уснуть. У него мертвели пальцы. Но тем не менее он читал то, что я принес, и ругал мой почерк, утверждая, что буквы похожи на помирающих комаров. И вот мы уходили в работу. Я со своей обычной легкостью был ближе к поверхности, зато Маршак погружался в мою рукопись с головой. Если надо было найти нужное слово, он кричал на меня сердито: «Думай, думай!» Мы легко перешли на ты, так сблизила нас работа. Но мое «ты» было полно уважения. Я говорил ему: «Ты, Самуил Яковлевич». До сих пор за всю мою жизнь не было такого случая, чтобы я сказал ему: «Ты, Сема». — «Думай, думай!» — кричал он мне, но я редко придумывал то, что требовалось. Я был в работе стыдлив. Мне требовалось уединение. Угадывая это, Самуил Яковлевич

чаще всего делал пометку на полях. Это значило, что я должен переделать соответствующее место — дома. Объясняя, чего он хочет от меня, Маршак, как я уже говорил, пускал в ход величайшие классические образцы, а сам приходил и меня приводил в одухотворенное состояние. Если в это время появлялась Софья Михайловна и звала обедать, он приходил в детское негодование. «Семочка, ты со вчерашнего вечера ничего не ел!» — «Дайте мне работать! Вечно отрывают». — «Семочка!» — «Ну я не могу так жить. Ох!» — и задышавшись он хватался за сердце. Когда работа приходила к концу, Маршак не сразу отпускал меня. Как многие нервные люди, он с трудом переходил из одного состояния в другое. Если ему надо было идти куда-нибудь, требовал, чтобы я шел провожать его. На улице Маршак был весел, заговаривал с прохожими, задавая им неожиданные вопросы. Почти всегда и они отвечали ему весело. Только однажды пьяный, которого Самуил Яковлевич спросил: «Гоголя читали?» — чуть не застрелил нас. Проводив Маршака, я шел домой, в полном смысле слова переживая все, что услышал от него. Поэтому я и помню, будто сам пережил, английскую деревню, где калека на вопрос: как поживаете? — кричал весело: отлично! Помню Стасова, который шел с маленьким гитлеровцем Маршаком в Публичную библиотеку, помню Горького, всегда [далее неразб. строчка].

19.01.1951

У меня был талант — верить, а Маршаку мне было особенно легко верить — он говорил правду. И когда мы сердились на него, то не за то, что он делал, а за то, что он, по-нашему, слишком мало творил чудес. Мы буквально поняли его слова, что человек, если захочет, — может отделиться от земли и полететь. Мы не видели, что уже, в сущности, чудо совершается, что все мы поднялись на ту высоту, какую пожелали. Ну вот и все. Вернемся к се-

годняшним делам. Несколько дней писал я о Маршаке с восторгом и с трудом — не желая врать, но стараясь быть понятным...

20.01.1951

Все продолжаю думать о Маршаке. Чтобы закончить, ко всему рассказанному прибавлю одно соображение. Учитель должен быть достаточно могущественным, чтобы захватить ученика, вести его за собой положенное время и, что труднее всего, выпустить из школы, угадав, что для этого пришел срок. Опасность от вечного пребывания в классе — велика. Самуил Яковлевич сердился, когда ему на это намекали. Он утверждал, что никого не учит, а помогает человеку высказаться наилучшим образом, ничего ему не навязывая, не насилуя его. Однако по каким-то не найденным еще законам непременно надо с какого-то времени перестать оказывать помощь ученику, а то он умирает. Двух-трех, так сказать, вечных второгодников и отличников породил Маршак. Это одно. Второе: как человек увлекающийся, Маршак, случалось, ошибался в выборе учеников и вырастил несколько гомункулусов, вылепил двух-трех големов. Эти полувоплощенные существа, как известно, злы, ненавидят настоящих людей и в первую очередь своего создателя. Все это неизбежно, когда работаешь так много и с такой страстью, как Маршак, ни с кого так много не требовали, и никого не судили столь беспощадно. И я, подумав, перебрав все пережитое с ним или из-за него, со всей беспощадностью утверждаю: встреча с Маршаком весной 24 года была счастьем для меня. Ушел я от него недоучившись, о чем жалел не раз, но я и в самом деле был слишком для него легок и беспечен в 27—31 годах. Но всю жизнь я любил его и сейчас всегда испытываю радость, увидев знакомое большое лицо и услышав сказанные столь памятным грудным силоватым голосом слова: «Здравствуй, Женья!»

21.01.1951

ПРЕВРАТНОСТИ ХАРАКТЕРА

10 октября 1952 года я получил письмо от Веры Степановны Арнольд, сестры Бориса Житкова. Готовится сборник его памяти, и она просит принять в нем участие, написать о Борисе воспоминания. И я пришел в некоторое смятение. Я помню о нем твердо, как будто он и до сих пор живет возле, как помнишь о близких, о тех людях, которые многое изменили в моей жизни. Но что об этом расскажешь? Не все скажется, а что скажется — пригодится ли? Тем не менее на другой же день, я, поборов привычное желание — уклониться по объективным причинам, начал писать день за днем все, что вспомнилось. А теперь переписываю это на машинке.

В 1924 году, вернувшись из Донбасса, где гостил у отца и работал в газете «Всесоюзная кочегарка», я находился в особом душевном состоянии. Был я полон двумя чувствами: недовольством собой и уверенностью, что все будет хорошо, даже волшебным в сказочном смысле этого слова. Оба эти чувства делали меня: первое — легким и покладистым, а второе — радостным и праздничным. Никого я тогда не осуждал — так ужасали меня собственные лень и пустота, и всех любил от избытка счастья. Вероятно, это и привело к тому, что я и Борис Житков, люди друг на друга вовсе непохожие, так легко стали приятелями.

Имя Борис Житков услышал я впервые от Маршака. Вдохновенно, с восторгом рассказывал он направо и налево, что появился новый удивительный начинающий

писатель. Ему сорок один год (однако, подумал я). Он и моряк — штурман дальнего плавания, и инженер — кончил политехникум, и так хорошо владеет французским языком, что, когда начинал писать, ему было легче формулировать особенно сложные мысли по-французски, чем по-русски. Он несколько раз ходил на паруснике вокруг света, повидал весь мир, испытал множество приключений. Теперь начал Борис Степанович новую жизнь. Он разошелся с семьей и женился на некой турчанке, в которую был влюблен еще студентом. Она уже немолодая женщина, врач-окулист. Поселились они на Петроградской стороне, вместе строят жизнь заново. Он пишет и учится играть на скрипке, а она на рояле. И она удивительный, необыкновенный, всепонимающий человек.

Гимназию кончил Борис Житков в Одессе, вместе с Корнеем Чуковским, и, попав в Ленинград, первую свою рукопись принес к нему. Была эта рукопись еще традиционна, литературна, мало что обещала. Но Маршак почувствовал, познакомившись с Житковым у Корнея Ивановича, силу этого нового человека. И со всей своей бешеной энергией ринулся он на помощь Борису Степановичу.

Целыми ночами сидели они, бились за новый житковский язык, создавая новую прозу, и Маршак с умилением рассказывал о редкой, почти гениальной одаренности Бориса. Талант его расцвел, разгорелся удивительным пламенем, едва Житков понял, как прост путь, которым художник выражает себя. Он сбросил с себя «литературность», «переводность».

— Воздух словно звоном набит! — восторженно восклицал Маршак.

Так Житков описывал ночную тишину.

По всем этим рассказам представлял я себе седого и угрюмого великана — о физической силе и о силе характера Житкова тоже много рассказывал Маршак. Без особого удивления убедился я, что Борис Степанович совсем не похож на мое представление о нем. В комнату

вошел небольшой человек, показавшийся мне коротконогим, лысый со лба и с длинными, чуть не до плеч, волосами, с острым носом и туманными, чтобы не сказать мутными, глазами. Со мною он заговорил приветливо, — это было, кажется, у Маршака дома, а главное, как равный. Я не ощутил в нем старшего, потому что он сам себя так не понимал. Да, я сразу почувствовал уважение к нему, но не парализующее, как рядовой к генералу или как школьник к директору, а как к сильному, очень сильному товарищу по работе.

Не могу вспомнить, как скоро это вышло, но я стал бывать у него, в новом его доме, в новой семье, на Матвеевской, 2, и познакомился с Софьей Павловной, тоже непохожей на мое представление о ней. Она оказалась больше похожей на добродушную, маленькую, полную, несколько рассеянную советскую докторшу, чем на турчанку, что совсем не огорчило меня. С Борисом я скоро перешел на «ты», и всегда мне было с ним легко. Да, он был неуступчив, резок, несладок, упрям, но не было в нем и следа того пугающего окаменения, которое угадывается в старших. Какое там окаменение — он был все время в движении, и заносило его на поворотах, и забредал он не на те дорожки. Он жил, как мы, и это сближало его с нами.

Когда мы познакомились, дружба его с Маршаком казалась нерушимой. Всюду появлялись они вместе, оба коротенькие, решительные и разительно непохожие друг на друга. Вернувшись из Донбасса, я стал работать секретарем в редакции журнала «Ленинград», который тогда издавался «Ленинградской правдой». Наш стол помещался в глубине просторной комнаты, а редакция журнала «Воробей» — налево от входа, ближе к дверям. И тут я с завистью и почтительным ужасом наблюдал за тесной кучкой людей, которая, титанически надрываясь, напрягая все душевные силы, сооружала, — не могу найти другого слова, — очередной номер тоненького детского журнала. Касается это определение, собственно говоря, двух людей — Маршака и Житкова.

Я ни разу, кажется, не досидел до конца очередных работ, но ни Маршак, ни Житков не ослабляли до глубокой ночи напряжения, не теряли высоты. Если Маршак позволял себе иной раз закашляться, схватившись за сердце, или, глухо охнув, уронить голову на грудь, то Житков не давал себе воли до конца вахты. Улыбаясь отчаянно особой своей улыбкой, опустив углы губ — он искал все новые повороты и решения, и чаще всех, к умилению Маршака, находил нужное слово. Именно слово. Журнал строился слово за словом от начала до конца.

Посторонний зритель не всегда замечал, чем одно слово лучше другого, но и Маршак, и Житков умели толковать невежде, кто прав. Маршак неясной, но воистину вдохновенной речью — с Шекспиром, Гомером и Библией, а Житков насмешкой, тоже не всегда понятной, но убийственной.

Желая уничтожить слово неточное, сладкое, ханжеское, он, вертя плечами и бедрами, произносил чаще всего следующее:

Вот как сеет мужичок!

Он однажды слышал, как пели такую песенку приютские дети, а дамы-патронессы радовались.

В те дни и Маршак и Житков были вдохновенны и ясны, а Житков был еще и сурово-праздничен, как старый боевой капитан в бою! И Маршак любовался им: вот как повернулась судьба человека. Сказками, волшебством. Вот и славу он начинает завоевывать настоящую, тот сказал о нем как-то, другой эдак-то. И договора он подписывает уже на тех же условиях, что писатель с большим именем. А семья, а дом, а жена. А как скромно и разумно живет Житков — курит махорку.

— Не меняй жизнь, если будешь много зарабатывать! Живи, как жил, а то затянет тебя колесо!

Говорил Маршак с искренним ужасом, а я слушал его с несколько отвлеченным интересом, как путешественника, который предостерегал бы меня от жары в тропических лесах. Я в жизни своей еще не был богат, да и Маршак сам

только издали повидал это искушение. Зато испытал он как следует, на своей душе, что такое прежняя литературная среда.

— Ты не представляешь, что это за волки! Что нынешняя брань! Вот тогда умели бить по самолюбию!

И Маршак из тех времен вынес умение держаться в бою. «Надо, чтобы тебя боялись», — сказал он мне однажды, а я, к сожалению, не внял этому совету.

Зато Борис в нем и не нуждался. Он с восторгом ввязывался в драку и людей, которых считал чужими, держал в страхе. Они сразу угадывали — этот кусается.

Оба наполеоновски-малого роста, оба храбрые, упрямые, неустанно и с честью дрались они за настоящую детскую литературу, в пылу борьбы считая ее — единственной.

— Когда у меня есть время, я могу халтурить на взрослой литературе! — сказал однажды Маршак, преисполненный гордыни тех дней.

А выросший в атмосфере той борьбы Золотовский пожаловался (правда, несколько лет спустя):

— Какому-то Каверину дали квартиру, а мне отказали.

После «Воробья» Маршак и Житков стали работать в Детском отделе Госиздата. И там поставили они себя строго, никому не спускали и даже ездили драться за права свои и за великую детскую литературу в Москву.

Борьба только воодушевляла их, все им удавалось, даже чудеса.

Как-то по дороге из Москвы Маршак предложил своей попутчице по вагону, что угадает ее имя-отчество. И угадал. Тогда Житков угадал имя-отчество другой попутчицы. Они рассказывали об этом, смеясь, но и гордясь: знай наших!

Правда, привычка к боям проявлялась у них не только в нужные минуты, а всегда. Со всеми. Только тронь. Поехал я с ними искать дачу в Сиверскую. Чуть успел поезд отойти, как Маршак и Житков уже ввязались в ссо-

ру с маленьким гражданином чиновничьего вида и всю душу вложили в этот бой.

Однажды пришли они в детский отдел возбужденные, опьяненные — поссорились со Шкловским.

— Его великолепно отчитал Борис! — умилялся Маршак. — Это будет Шкловскому хорошим уроком.

За что, собственно, тот был отчитан, понять было трудно. Угадывалось: прежде всего за то, что чужой.

«Вот я придумал тему: радиоприемник на металлическом зубе. Дарю ее вам», — эта фраза Шкловского больше всего возмущала Житкова.

— «Дарю ее вам»! — повторял он неестественным голосом. — «Дарю ее вам»! Ишь ты!

Через некоторое время забрел в отдел сам пострадавший. Был Шкловский мастер ссориться, привычен к диспутам, рассердившись, как правило, умнел, но в данном случае — растерялся. Он-то, видимо, не считал наших бойцов — чужими себе. Он сидел на подоконнике, нахохлившись, если так можно выразиться о человеке лысом, и доказывал Маршаку и Житкову, что они поступили с ним неправильно. Евгению Замятину, который зашел за ним, Шкловский пожаловался наивно:

— Житков говорит, что я неостроумен. Разве это верно?

И Замятин покачал головой со своей сдержанной европейской повадкой и ответил:

— Никак не могу с этим согласиться.

И, подумав, добавил:

— Уж скорее можно обвинить вас в недержании остроумия.

Почувствовав, однако, что и его добротная репутация тут ему не защита, Евгений Замятин в дальнейшие препирательства не вступил, а удалился не спеша и увел за собой Шкловского. И он был прав. Да, и он, Замятин, раздражал наших бойцов. Репутация его не признавалась в отделе. Он был тоже — чужой. И знаменитый русский его язык, со всеми орнаментами, отрицался у нас

начисто. Да, Замятин писал не переводно, но холодно, поддельно, не народно. И английский его язык отрицал Маршак:

— Иду ночью по Моховой и слышу, как Замятин разговаривает с дамочкой по-английски. Во весь голос! На всю улицу! И плохо — как английский дворник.

Я боюсь вспоминать о событиях роковых. О таких, которые при возникновении своем казались мелкими, нелепыми, а оказались непоправимо несчастными, необратимыми. И все-таки мне придется рассказать о том, как поссорились, точнее — как разошлись Маршак и Житков.

Размолвки, возникавшие между ними, вначале казались ужасно забавными, а в конце оказались просто ужасными. Непримируемость и нетерпимость наших учителей шла впрок делу, пока была обращена на врагов великой детской литературы, но вот осколки собственных снарядов стали валиться внутрь крепости и защищать своих. И этого нужно было ожидать. Очень уж они оба были несмирные люди. И Маршак, и Житков. И уж слишком готовы к бою, всегда, при любых обстоятельствах.

Однажды, после очередного приезда из Москвы, Маршак пожаловался угрюмо, что он и Житков поссорились в вагоне со школьниками, с целым классом, возвращавшимся из экскурсии.

— Я забыл, что с ребятами этого возраста, да еще с целым классом, нельзя связываться! — сказал Маршак, как всегда возвышая частный случай до явления, что мне очень нравилось в те дни. А Житков вообще промолчал об этой проигранной битве.

Борис Степанович впервые за сорок лет своей жизни был окружен всеобщим доброжелательством. На него любовались. Его не только что слушали — ловили каждое слово. Но нет, он не был создан для подобной сладости. Вот один пример того, как он отвечал на ласку.

В те годы в институте Герцена профессорствовала Ольга Иеронимовна Капица, мать знаменитого физика, и начинала свою научную деятельность Екатерина Петровна Привалова. Первая занималась детским фольклором, а вторая работала в детской библиотеке института, единственной в своем роде по богатству материала. Начали собирать библиотеку эту, кажется, в XVIII веке.

Ольга Иеронимовна была женщина благодетельная, доброжелательная, сырая и крупная. Цвет лица у нее был слишком красным, казалось, что она страдает приливами крови к голове. А Екатерина Петровна напоминала нескладную и не слишком счастливую бестужевку.

Немногочисленные детские писатели тех дней собирались часто в детской библиотеке института такой же тесной кучкой вокруг стола, как и в редакции «Воробья», только стол тут был круглый и стоял посреди огромной комнаты.

В те дни у всего института вид был как бы полуморочный, он еще не вполне ожил, не был освоен на всем своем огромном пространстве.

Опечатанные пыльные шкафы в бесконечных коридорах. Забитые окна. Неведомо куда ведущие двери с висячими замками. Руководство института, видимо, побаивалось своего богатства и при случае даже не прочь было от него отделаться. Во всяком случае, редчайшую детскую библиотеку свою руководители не раз порывались закрыть и вывезти вон. Но каждый раз Маршак и Житков с немногими живыми людьми института поднимали шум на весь Советский Союз, клеймили позором чиновников от просвещения, ненавидящих свое собственное дело. И они отступали, ворча.

Для того чтобы яснее представить себе обстановку тех дней, скажу несколько слов об окружении, в котором строилась детская литература.

В те дни мрачные противники антропоморфизма сказки утверждали, что и без сказок ребенок с огромным трудом постигает мир. И им удалось захватить

ключевые позиции в педагогике. Вся детская литература была взята под подозрение. Единственное, что, по их мнению, разрешалось делать детским писателям, — это создавать некоторые необязательные довески к учебникам.

В области теории они были достаточно страшны, но в практике были еще решительнее. Например, они отменили табуретки в детских садах, ибо они приучают ребенка к индивидуализму, и заменили их скамеечками. Теоретики не сомневались, что скамеечки разовьют в детском саду социальные навыки, создадут дружный коллектив.

Они изъяли из детских садов куклу. Незачем переразвивать у девочек материнский инстинкт. Допускались только куклы, имеющие целевое назначение, например, безобразно толстые попы. Считалось несомненным, что попы разовьют в детях антирелигиозные чувства.

Жизнь показала, что девочки взяли да усыновили страшных священников. Педагоги увидели, как их непокорные воспитанницы, завернув попов в одеяльца, носят их на руках, целуют, укладывают спать — ведь матери любят и безобразных детей.

Но суровых теоретиков не смущали факты.

Они добились создания в Москве Государственного ученого совета, ГУСа, который наравне с новыми учебниками просматривал и все рукописи новых детских книг. И каждое новое название, каждую книжку плана приходилось отбивать у ГУСа с тяжелыми боями и большими потерями.

Вот в каком окружении приходилось работать, вот как редки были тогда педагоги, подобные нашим друзьям, затерявшимся в просторах Герценовского института.

Они восхищались Житковым, ловили каждое его слово, но нет, он не был создан для подобной сладости. В скитаниях своих пропитался он горечью и не умел, и не хотел жить иначе.

Однажды Ольга Иеронимовна устроила встречу детских писателей с учащимися Герценовского института.

В большом зале читали мы студентам, точнее — студенткам, их было подавляющее большинство, и слушали они нас скорее испуганно, чем с интересом. Испуганные мрачными теоретиками, они боялись, что встреча с писателями затеяна неспроста. Может быть, еще придется ее на экзамене отвечать, — еще и не такие чудеса случались. Угрюмо глядели они на нас, а мы смущались.

Но добрая Ольга Иеронимовна ничего не замечала. Она в этот день была от волнения еще краснее, чем обычно, словно из бани.

Она подплыла к Житкову и спросила почтительно, а вместе с тем и радостно:

— Как вам понравилась наша аудитория?

И безжалостный Борис буркнул в ответ:

— Горняшки!¹

Не проронив ни слова, проплыла Ольга Иеронимовна дальше, только румянец ее приобрел сизый оттенок, а улыбка стала беспомощной.

Вот каков был наш Борис.

Он рассказывал однажды, как бродил по улицам какого-то городишки на Красном море, в тоске, без копейки денег.

— А как ты попал туда?

— Ушел с парусника.

— Почему?

— Превратности характера.

И вот к такому характеру Маршак стал все чаще, все откровеннее поворачиваться самой трудной стороной своего многостороннего существа.

Он стал капризничать, что понимают и прощают друг другу женщины и мужчины женственного характера, а чего-чего, но женственности в Борисе не было и следа. Борис не понимал, что такое усталость, во всяком случае, не терпел, когда люди показывали, не скрывали свое утомление. И не желал он понимать,

что капризы Маршака — единственный доступный для этой натуры вид отдыха.

Должно же было хоть в чем-нибудь сказаться непрерывное, круглосуточное напряжение — ведь Маршак почти не спал. Но Житков раздражался, когда Маршак никак не мог выйти из редакции: то терял портфель, то палку, то закашливался глухо и ложился на диван. А Маршаку и в самом деле жутко было переменить положение, перейти из одного состояния в другое. Однажды он так и не выехал от Житкова, где происходило какое-то совещание, остался ночевать, но не уснул, а до утра задыхался на диване. И Житков рассказывал об этом в редакции уже с откровенной ненавистью. Все это было одной стороной существа его друга, но Житков даже как бы с радостью обижался и сердился. Эта дорожка была ему привычнее. И свободолюбие его подняло свой голос. Житкова стали угнетать те самые всенощные бдения, которые только что дали столь много ему самому.

— Все время он меня тащит под знамена, все время я должен бегать присягать!

И в самом деле чуть не каждый день трубил Маршак тревогу, призывал к оружию, немедленно, не оставив, не сегодня, а сию минуту. Сводилось дело к сборной правке чьей-либо рукописи, в которой ГУС нашел нечто непедagogичное, или к подготовке к печати очередной книжки.

И уже чудилось Борису Степановичу, что Маршак слишком уступчив, слушается педагогических дам, излишне маневрирует перед ГУСом. Он все ворчал, все сердился. Отчаянно улыбаясь, он требовал более решительной борьбы, других производственных планов. Но все еще было исправимо.

Еще не были сказаны вслух самые оскорбительные слова. Их не надо говорить противнику в лицо. Довольно сказать их за глаза, но вслух, чтобы вражда стала непоправимой. Житков еще признавал за Маршаком человеческие свойства, понимал, что сердится по мелочам,

что во многом виноваты «превратности характера». Он еще помнил, как боролся Маршак за его славу, в какую приходил ярость при каждой попытке усомниться в житковском таланте. Он чувствовал, что Маршак любит его, гордится его успехами как своими. Казалось, что вот-вот все прояснится. Но нет, тучи все сгущались. Становилось темно, как перед грозой, и в этой темноте трудно было разобрать, где тут мелкие обиды, а где крупные разногласия.

Я останавливаюсь на этих событиях, на этой ссоре, глупости, безобразии, пытаюсь поймать самый механизм этого дела, потому что всю жизнь болезненнее всего переживал подобного рода беды. Их легко объяснить, если допустить существование черта. Без него события, потрясшие тесную группу детских писателей тех дней, выглядят просто загадочно. Что им было делить? Зачем расходиться? Зачем поносить друг друга усердно, истово, не сдаваясь ни на какие убеждения? Впрочем, я не совсем точен. В результате всех событий поносили истово, неустанно, непреклонно Маршака. Он сердился, как и подобает человеку несмирному, но не жил враждой, как это бывало на другом полюсе. Возле Бориса. Чтобы дело стало понятнее, мне придется рассказать о третьем крупном человеке тех дней. О моем друге и злейшем враге и хулителе, о Николае Макаровиче Олейникове.

Николай Макарович Олейников², человек демонический, был умен, силен, а главное — страстен. Со страстью любил он дело, друзей, женщин и по роковой сущности страсти — трезвел в положенный срок. И в ледяной и неподкупной трезвости своей ненавидел с той же силой, как только что любил. И в том, что овладевала им неизбежная трезвость, винил он тех, кого только что любил. Мало сказать — винил. Он их поносил, холодно и непристойно глумился над ними. По тем же роковым законам в состоянии трезвости находился он дольше, чем в состоянии любви или восторга. Много дольше. И в страсти, и в трезвости своей был он заразителен. Но

поскольку ненавидел много, много дольше, то являлся он великим разрушителем. Он все замечал и, ничего не прощал. Даже моменты неизбежной у каждого слабости не в силах был он отпустить грешникам. Если бы он, скажем, слушал музыку, то в требовательности своей не простил бы музыканту, что тот перелистывает ноты и в этот миг либо не играет, либо играет одной рукой. Он возвел бы это неизбежное движение в преступление и глумился бы над ним и нашел бы множество сторонников.

Был Олейников необыкновенно одарен. Гениален — если говорить смело.

Как случается с умными, сильно чувствующими людьми, он и мыслил ясно, хотя бы и ошибочно. Каждому заблуждению своему умел он найти обоснование, возвести его в закон, обязательный для всех. Говорил он смело. И если Житков еще бывал осторожен в своих нападках на Маршака, то Олейников тут не знал преград.

В те дни своей жизни был Олейников особенно сердит, потому что огромному дарованию своему не находил выражения. Сам он тогда ничего еще почти не делал, не мог, а именно потому все, что делалось в детской литературе, казалось ему подделкой, уступкой, «решением арифметических задач» (любимое его выражение) — ничем.

Начав со страстного увлечения Маршаком — «что будет, если он умрет», — сказал он однажды в ужасе в первые месяцы нашей совместной работы, когда Маршак захворал, — он вскоре отрезвел, и взял того, кого только что так любил, под подозрение.

Борис, человек деятельный, испытывал вместе с тем недоверие к действию. Ему казалось, что действовать, то есть двигаться, — значит маневрировать, изменять некой идеальной прямой, которую он точно представляет себе. Он уж готов был подозревать своего друга в слабостях и ошибках, а тут Олейников обвинил Маршака в предательстве, в измене из корыстных целей великому делу детской литературы.

Преступление было найдено, слово — сказано. За глаза. Эта удивительная ссора так и не имела за всю свою историю ни одного открытого боя. И, возможно, поэтому оказалась особенно ядовитой. И Борис поверил всем обвинениям, которые и самому Олейникову в ясные минуты, вероятно, казались раздутыми. И сам понес невесть что, чему в свою очередь поверил Олейников. Вот и все.

Ссора эта разбросала нас. Олейников обладал еще одним демоническим даром: он брызгал и в своих, и в чужих, в самые их незащищенные места, — серной кислотой. Дружба моя с Борисом после всех ссор сохранилась, но не такая легкая и простая, как была. Уж слишком изуродовал нас обоих серной кислотой Олейников. Изуродовал в глазах друг друга. Только я знал, что изуродован, а Борис не подозревал, что и он тоже. Он прожил горькую жизнь, привык к врагам, но друзей столь демонических не имел до сих пор и так, к счастью, и не разгадал их до самого конца.

И так, постепенно, незаметно, ото дня ко дню, недавние близкие друзья, братья по работе, Маршак и Житков разошлись навеки. То, что их развело, было похуже смерти. Об умершем друге горюют, а Маршак и Житков в те дни вспоминали друг о друге с чувством похуже, чем горе.

Вся эта демоническая, или, говоря проще, черт знает что за история, развиваясь и углубляясь, не могла убить одной особенности тогдашней нашей жизни: мы были веселы. Веселы до безумия, до глупости, до вдохновения.

Пантелеев вспоминает, как пришел он в 26-м году в Госиздат и спросил в научном отделе, как ему найти Олейникова или Шварца. В этот миг дверь возле распахнулась и в коридор выскочил на четвереньках молодой кудрявый человек. Не заметив зрителей, с криком «Я верблюд», сделав круг, он повернул обратно.

— Это и есть Олейников, — сказал редактор научного отдела.

Я не хочу отходить в этих записях дальше, чем требуется, от Житкова, поэтому не рассказываю о Хармсе и Введенском, появление которых сыграло очень заметную роль в развитии тогдашней детской литературы, о Савельеве, о художниках Лебедеве, Тырсе, Лапшине, о Пантелееве, об Ираклии Андроникове, Заболоцком — редакторе «Чижа» — и о многих других. Каждый из них заслуживает подробного рассказа, а у меня сейчас душа не лежит к этому.

Из названных Олейников, Хармс, Заболоцкий, Савельев бывали довольно часто у Житкова. Он и в пивной угощал нас широко, когда бывали деньги, повторяя одесскую флотскую поговорку: «Фатает, не в армейских», и любил принять гостей у себя, на Матвеевской, 2. Повторяю, с удовольствием: он любил гостей, это не такой частый дар Божий, как можно подумать. Он радовался друзьям. Со свойственным ему отчаянным нетерпением он почти всегда встречал нас на улице, выходил навстречу. Я любил его небольшую, очень петербургскую квартиру, выходившую окнами в полутемный колодец двора. Коридор. Из него двери в кухню, столовую, кабинет, комнату, не имеющую назначения, — все это по правую руку. А по левую вешалка, а за нею ход в ванную.

Эти сведения ничего не прибавляют к образу Бориса Житкова, но я люблю вспоминать его квартиру.

В кабинете, который я называю этим именем условно, — никто у Житковых его так не называл, — стояло пианино, а возле пюпитр с нотами. На пианино чернел скрипичный футляр. На огромном письменном столе, стоявшем перпендикулярно к стене, между двумя окнами, лежали рукописи Бориса. Листы писчей бумаги всегда перегибал он пополам, писал в два столбика. Кончив дневную работу, он непременно ставил внизу столбца месяц и число.

Комната, не имеющая назначения, была, кажется, и спальней Бориса. Во всяком случае, смутно припоминается мне постель у стены и стол. Бывали мы там редко. Из столовой переходили в кабинет. Или сидели в кабинете, пока не звали к столу.

Основные разговоры происходили в столовой. Из-за стола не спешили вставать, и спорящий, проповедующий, отрицающий и разрушающий Борис представлялся мне именно там, на своем хозяйском, всегда одном и том же месте или вскочившим и шагающим взад и вперед в пылу рассказа или проповеди. Попробую восстановить не самые разговоры, что невозможно, а их дух, что тоже не слишком просто.

Я уже сказал, что мы были веселы до вдохновения, до безумия, и в этом безумии была некоторая система. Остроумие в его Французском понимании глубоко презирилось. Считалось, что юмор положений, юмор каламбура противоположен русскому юмору. Русский юмор, с нашей точки зрения, определяется, говоря приблизительно, в отчаянном нарушении законов логики и рассудка. Реплика Яичницы: «А невесте скажи, что она подлец», — считалась образцовой в этом роде. Юмор Козьмы Пруткова и Алексея Толстого умилял, понимался и приветствовался.

Кто-то, кажется Жуковский, говорил: русская шутка смешна потому, что ее повторяют. Множество таких шуток повторялось в нашем кругу методично, ежедневно, при каждой встрече. Например, один из наших друзей неуклонно говорил, войдя в отдел и глядя на Олейникова:

— Много казаков нарубал я на своем веку!

На что тот каждый раз отвечал одинаковым лихим голосом:

— А я их всех воскрешал!

Из шуток другого рода. Славился рассказ Хармса о неряхе, который до того распустил своих вшей, что они, когда хозяин чесал голову, кусали его за пальцы. Он

рассказывал о дрессированной блохе, которая укусит, а потом почешет укушенное место лапками.

— Мой телефон — 32-15, — сказал однажды Хармс. — Легко запомнить. Тридцать два зуба и пятнадцать пальцев.

За просторным житковским столом смеялись очень много, но не анекдотам и не островам. Царствовало веселое безумие, может быть, от избытка сил, от избытка дерзости во всяком случае, которое свойственно иногда людям творческим.

Одно время увлекались у Житкова задачами и загадками особого вида, на первый взгляд бессмысленными, а на самом деле решаемыми. Особенно славилась задача, которую я, к сожалению, забыл: давались имена поездной бригады и нескольких пассажиров, без указания кому какое принадлежит, и несколько на первый взгляд случайных сведений. Требовалось узнать фамилию машиниста.

— Какая фигура получится, если угол комнаты и потолок пересечь плоскостью? — спрашивал Борис.

Ответить надо было быстро, не глядя в потолок.

Но непременно ставился Борисом и какой-нибудь вопрос первостепенной важности и очень высокий, но только ни разу я не понял какой. Начинал он обычно с яростных обвинений Маршака, где понять кое-что еще было возможно. (Пантелеев недавно напомнил мне одно такое обвинение: «У Маршака работать можно, а с Маршаком — нельзя»). Но после части отрицательной начиналась утверждающая и туманная. Говоря резко, отрывисто, Борис спешил перейти на примеры и притчи сами по себе интересные, но мало что объясняющие.

В чем была его вера?

Попробую назвать ее приметы, на большее не осмеливаюсь.

На скрипке Борис учился играть потому, что ноту надо было на этом инструменте находить своими силами.

По его мнению, клавиши рояля действовали на ученика развращающе, изнеживающе. В сочетании уже существующих тонов имелась кем-то найденная правильность, в некотором роде подсказанная, чего не могла допустить свободолюбивая душа Бориса.

— «Офицер в белом кителе»! «Офицер в белом кителе»! — повторяет Борис, отчаянно и уничтожающе улыбаясь. — Так легко писать: «Офицер в белом кителе».

Эта чеховская фраза, видимо, возмущала Бориса тем, что используется готовое представление. Писатель обращается к уже существующему опыту, к читательскому опыту. А все общее, как бы общеобязательное, утверждаемое или утвержденное всеми, бралось Борисом на подозрение. И возмущалось, видимо, еще и спортивное чувство. Задача решалась больно уж просто.

— Борис все хочет поставить на ребро! — говорил сердито Маршак в те дни.

— Что он меня все спрашивает, зеленое это или синее! Я пишу о том, холодное это или теплое!

Ответ, который дал Борис Ольге Иеронимовне Капице, ответ резкий и непозволительно прямой, тоже был подсказан Борису его верой.

Одна очень влиятельная педагогическая деятельница рассказала следующее. Она шла по улице с очень большим человеком³. Нищий попросил милостыню. Она хотела подать ему. «Не плодите нищих», — сказал большой человек.

— Какая гадость! — воскликнул Борис, выслушав этот рассказ. Воскликнул громко, открыто, приведя в состояние изумления служащих редакции.

Вера его ощущалась в терпении, с которым одолевал он скрипку. В ежедневной работе в полную силу без малейшего послабления. Во всенощных бдениях, когда отдавался он правке чужих рукописей, сочинению подписей к журнальным картинкам, не жалея себя, всем разумением, всем сердцем. Даже в дрессировке домашних зверей угадывалась его вера. Упорно переламявал он

характер своего рыжего кота и добился от него полного послушания. «Стань обезьяном!» — приказывал Житков, и кот безотказно прыгал на стул, подымался мягко, словно переливаясь, на задние лапки, а передние, расставив широко, клал на спинку стула. «Алле гоп!» — и кот прыгал в обруч, обтянутый бумагой. Еще больше чудес добился он от пуделя своего по имени Кус, который понимал у него, кажется, двести слов.

Вера его, упрямая, неуступчивая, угадывалась и в его праздниках. Новый год он не встречал, считая этот обычай глупым недоразумением. Он собирал друзей в весеннее равноденствие, требуя строго, чтобы каждый надевал что-нибудь белое.

Мы выходим от Житкова поздно, холодной ночью весеннего равноденствия. Снег лежит на мостовой, и Савельев удаляется по пустынному Большому проспекту в черной шубе и белых брюках. «Ай-ай-ай! Мальчик, забыли штаны надеть!» — кричим мы ему вслед.

Вскочив со своего хозяйского места, шагая у стола, рассказывая всем сердцем, всем разумением, Борис Степанович в самые светлые минуты свои тоже словно правил службу. Многие его книжки родились из этих рассказов. Многое из того, что услышал тогда, я словно сам пережил. Он свои воспоминания чудом превратил в мои.

В Аравии солнце до того яркое, что тень кажется ямой.

Вода в заливе так прозрачна, что когда идешь к берегу под парусом, то будто по воздуху летишь.

Арабы показали длинную песчаную насыпь и сказали, что это могила Евы.

Во время тайфуна в Тихом океане пальмы на острове ложатся, как трава, воздух становится твердым, словно доска, держит, если ты обопрешься на него. Станешь против ветра, откроешь рот — ветер тебе забивает глотку, раздувает щеки.

Вера его сказывалась в непримиримости суждений. У него и Маршака «беспартийность» была ругательным словом.

Но вряд ли вера его была хоть сколько-нибудь приведена в систему. Это, вероятно, не обязательно, если человек по вере своей живет. Но если он еще и проповедует, то хотелось бы, чтобы символ веры существовал.

Он и существовал, но едва уловимый, на сегодняшний вечер, именно на сегодняшний, со всеми его особенностями. Поэтому человек, сегодня восхваляемый, едва ли не святой, завтра мог быть объявлен чуть ли не Антихристом. Нет, даже самим Борисом установленный символ веры стеснял бы безграничное его свободолюбие. Он веровал и проповедовал и отлучал от церкви кого угодно, кроме нескольких друзей, которым оставался верен всегда, и принимал в ее лоно, и даже бывал прав в самые светлые свои дни. Но бывал и деспотичен, и вопиял, как прирожденный ересиарх, подчиняясь демону своенравия, вихрю огня, которым горел всегда. Но этот огонь, как аравийское солнце; иной раз тени делал похожими на ямы.

Однажды он сообщил, что Елена Яковлевна Данько⁴ — ведьма.

— Как ведьма?

— А так. Очень просто. Не знаешь, какие ведьмы бывают?

И Борис с обычным своим огнем завел темный разговор о ведьмах. Да, они существуют. Одна его знакомая ведьма умела делать так, что человек, переступая через порог, лишался мужской силы. Другая лишала человека языка. Но если ведьме сказать, что она ведьма, то ей ничего с тобой не поделать. Не испортить тебя. И он в целях самосохранения сказал Елене Яковлевне, что она ведьма.

— Что она тебе ответила?

— Ничего. Только странно посмотрела.

И если бы только Борис! Рассеянная, утомленная, простоватая, столь похожая на обычного врача поликлиники Софья Павловна тоже верила, что обладает какой-то особой силой, давала камушки, приносящие счастье.

Разойдясь с Маршаком, Борис пытался затевать журналы невиданного типа, небывалого жанра книжки, но не довел ни одного дела до конца, точнее даже до настоящего начала. Борис не был организатором, сила его была взрывчатой. Я все реже бывал у него, жизнь моя шла своей дорогой, но мы оставались друзьями, в той степени, о которой я говорил.

Над «Вавичем» Борис работал нетерпеливо, безостановочно, читал друзьям куски повести, едва их закончив, очень часто по телефону.

Однажды он позвал Олейникова к себе послушать очередную главу. Как всегда, не дождавшись, встретил он его у трамвайной остановки. Здесь же, на улице, дал он ему листы своей повести, сложенные пополам, и приказал: «Читай! Я поведу тебя под руку!»

От Бориса исходил свет, яркий свет, но иногда что-то мрачное чудилось около него и за ним. Его несло и заносило невесть куда по превратностям характера и странностям судьбы. В один печальный день встретил я его на канале Грибоедова, не доходя до нашего переулка. Шел он с Софьей Павловной. Она удивила меня незнакомым выражением своего доброго простоватого лица. Она была сосредоточена, тяжело сосредоточена на какой-то невеселой мысли, выглядела больной. Шли они тихо, мне сразу подумалось, что ведет ее Борис в больницу Перовской, что, впрочем, ничем не подтвердилось. Шли они, как я думаю сейчас, к Груздевым, с которыми подружились в то время.

Увидев меня, оба, как мне показалось, несколько смутились. Борис ничего не сказал, а Софья Павловна проговорила тихо:

— Вы знаете — я заболела.

Она не сказала, чем, а я не посмел спросить.

И через несколько дней услышал я с ужасом, что Софья Павловна помешалась и ее увезли в психиатрическую лечебницу, где поместили, правда, в нервном отделении.

Сошла она с ума на ревности к Борису.

Она занавесила окна в полутемный их двор, чтобы Борис не переглядывался с соседками. Она не выпускала его одного из дому, не ходила на службу, чтобы следить за ним. Жизнь его превратилась в сплошное мучение. Она допрашивала его ночами о воображаемых изменах и, наконец, довела до того, что он обратился за помощью к друзьям и родным. Из Москвы приехала его сестра, а в Ленинграде пришли ему на помощь Шкапская и Татьяна Кирилловна Груздева, которую Борис с гораздо большим основанием мог обвинить в том, что она ведьма.

И вот разгорелась эта демоническая, черт знает что за история, и дом, семья на Матвеевской, 2, — разрушились, исчезли.

Софья Павловна вышла из больницы, но с Борисом они разошлись.

И жена подала на мужа заявление в городскую прокуратуру, что ее, здоровую женщину, он пытался заточить в сумасшедший дом.

Дело в прокуратуре приняли всерьез. Вызвали на допрос множество свидетелей, вплоть до девиц, живших на Матвеевской, 2, в полутемном дворе, от которых занавешивала окна несчастная Софья Павловна. Однажды утром мне сообщили в Союзе, что дело Житкова прекращено, а вечером позвонил некто, как мне показалось явно имитирующий следователя. Говоря подчеркнуто гладко, со всеми знаками препинания, он попросил меня прийти в городскую прокуратуру в качестве свидетеля по делу Житкова.

— Но ведь оно прекращено?

— Сведения ваши неверны. Дело находится в стадии расследования.

Я выразил предположение, что меня разыгрывают. Незнакомец в ответ дал мне телефон городской прокуратуры, позвонив по которому я услышал вновь его голос.

— Я не хотел посылать вам официальную повестку через жилуправление. Надеюсь, теперь вы убедились, что вас и в самом деле приглашают к прокурору города в кабинет следователя такого-то?

Я извинился и отправился по указанному адресу. В высокой, высокоофициальной комнате, за большим столом сидел коротко остриженный толстый выпуклоглазый следователь. Ничего человеческого в нем я не ощутил. Говоря со мной абстрактными книжными своими интонациями, словно читая вслух, он принялся доказывать, что жалоба Софьи Павловны имеет основание, что дело не прекращено, и я обязан помочь следствию окончательно выяснить истину. Я спросил:

— Зачем было Житкову отправлять жену в сумасшедший дом?

— Чтобы общественное мнение не осудило его за то, что он ей изменяет.

Это показалось мне до такой степени нелепым, что я даже растерялся. Я не знал, с чего начать, как объяснить следователю, что за человек Борис. Я стал беспокойно и недостаточно уверенно излагать свой взгляд на дело. Следователь глядел своими выпуклыми светлыми глазами и на меня, и нет. Он как бы не видел и, во всяком случае, не слышал меня. Нельзя сказать, чтобы он думал о своем. Нет. Он пребывал в своем абстрактном юридическом осуждающем мире, и я чувствовал, что единственный способ умиловить его, найти с ним точки соприкосновения — это признать его взгляд на дело Бориса, что было для меня невозможно.

Убедившись в этом, следователь сухо предложил мне записать показания, что я и сделал, чувствуя, что почерк мой находится в явном противоречии с самими стенами высокой комнаты городской прокуратуры...

Выйдя на улицу, я почувствовал себя отравленным, сбитым с толку. Если бы я мог поверить в черта, то все было бы объяснимо. А как иначе понять, осмыслить эти отвратительные происшествия? Жизнь Бориса Житкова, так недавно сказочно расцветшая, — преисполнилась безумия и уныния.

Дело в конце концов было прекращено.

Борис поселился у нас в надстройке, в квартире из одной комнаты и кухни. В новом своем обиталище завел он корабельную чистоту, варил настойки и наливки по особым, своим собственным рецептам и рисовал на них акварелью этикетки..

Однажды он пил у нас чай. Передавая ему сахар, Катерина Ивановна⁵ пожаловалась, что ни в одном магазине не могла найти сахарных щипцов. Утром на другой день принесли от Бориса письмо и сверток. Он писал Катерине Ивановне, что нашел в комиссионном магазине щипцы, к сожалению мельхиоровые, которые просит принять временно, пока он их не заменит серебряными.

История приближается к концу, и я испытываю и удовольствие, перечитывая ее, и вместе с тем — смущение.

Я рассказал больше, чем надеялся. И вместе с тем поневоле — меньше.

Прошлой зимой я шел с Шишмаревой по Зеленогорскому шоссе, и мы увидели возле Дома творчества художников человека, который, установив на снегу мольберт, писал маслом группу сосен и замерзшее море под ними.

И Шишмарева сказала:

— Да, в природе-то понежнее, чем на полотне.

Эти мимоходом сказанные слова занимали меня несколько дней. И сегодня, перечитывая то, что рассказано, я их вспомнил.

Художник, которого мы видели возле Дома творчества, сделал снег синим, желая показать, что заметил эту его особенность. Более того — что синий цвет настолько

поразил его, что он невольно преувеличил синеву снега. А мы подумали: «В природе-то понежнее».

Почему это свойство не поразило художника?

Конечно, все было понежнее, чем я рассказываю. Мы разрушали свои и чужие судьбы, оскорбляли, больно ранили друг друга — не выходя из рамок ежедневной жизни. Очень нежно. Вполне непринужденно. Роковые ошибки выглядели не более значительно, чем простой телефонный разговор.

Силу Житкова чувствовали мы всегда, но любая личная неприятность или удача ощущалась нами живее, чем, скажем, его рассказы за столом. Тем более что он был человек и Божественная сила проявлялась в нем не каждый раз. Рядом с Пушкиным, рядом с Чеховым друзья огорчались и радовались своим делам, жили. И ничего тут не поделаешь.

Так вот и мы жили, так и шагал своей дорожкой Борис, отчаянно улыбаясь, всё нарываясь на драку, маленький, но каменный, сбитый, и мы шагали рядом, иногда понимая, а иногда непростительно, по-соседски не понимая его.

Но вот однажды пришел Борис Степанович к Бианки, бледный и мрачный, с бутылкой коньяку. Не отвечая на вопросы, осушил он эту бутылку один. И уже уходя, признался: «Черта видел. Получил повестку с того света».

Что это значило? Станный этот разговор немедленно разнесся среди друзей. Мне о нем рассказал Олейников без обычного недоброжелательства, глядя на меня внимательно.

Я этим летом проверял у Бианки, так ли это было? Да, так. Слово в слово. Бианки пытался расспросить Бориса, что это значит, но он только отмахивался.

Вскоре Борис Степанович слег. И тут никому он не пожелал признаться, чем болен. Раз только сказал полуху: «Вам скажешь, сволочи, а вы будете смеяться».

Придется, к сожалению вскользь, рассказать о разных способах, которыми начинали мы новую жизнь, чувствуя, что старая у нас что-то не ладится, заносся неведомо куда. Способы в большинстве были характера несколько механического. Дыхание. Жевание. И наконец, голодание. Мастером по открытию способов очищения и возрождения жизни был Олейников. Неведомо откуда добывал он брошюры, где, например, о жевании восторженно отзывался Гладстон, который прожевывал каждый кусок не менее семидесяти раз. Голодание по способу доктора Таннера восхвалял в тоненькой книжечке Эптон Синклер. Голодание исцеляло все болезни, человек как бы второй раз появлялся на свет, полный радости и желания работать.

Борис, заболев, лечился голодом, хотя он сам сказал однажды, что от его болезни таннеровский метод не помогает. Врачей к себе решительно не допускал.

К этому времени был он женат на черненькой худенькой, очень интеллигентной своей родственнице, она за ним и ходила, поскольку он по превратности характера это допускал.

Лежал он на своей узенькой койке осунувшийся, побледневший, но неуступчивый. Иногда только мелькало на таком знакомом его лице непривычное выражение виноватости. Никогда он до сих пор не болел и стыдился своей слабости.

Жена увезла Бориса в Москву, к сестрам. Оттуда приходили невеселые вести. Рассказывали, что Борису становится все хуже, что он очень ослабел. Предполагали, что у него рак легкого.

Я слышал от отца, что установить рак легкого непросто, что правильный диагноз часто ставится только при вскрытии.

И этого мне было довольно, чтобы упорно верить в благополучный конец.

Осенью тридцать восьмого года мы уехали в Гагру.

И там я узнал, что Житков умер.

Мертвый в гробу меняется, лицо светлеет, принимает спокойное выражение, молодеет, хорошеет. И я, прочитав в газете о смерти Бориса, увидел его таким, как в первый год знакомства, когда жизнь его чудесно преобразилась. Ожоги от серной кислоты исчезли. Туманные, морские, а не мутные глаза глядели на меня доброжелательно. Здравствуй, Борис Степанович, и прощай.

Хоронили Житкова как и подобает хоронить большого человека, смерть его всколыхнула, вывела из равновесия гораздо больше людей, чем ждали. А Шкловский плакал на похоронах горькими слезами. Его ссора с Борисом оказалась обратимой, neroковой, они сблизились за последние годы, научились уважать друг друга.

И скоро все мы почувствовали, что на свете без Житкова стало потише, поглаже и потемней.

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

Году в двадцать седьмом, когда работа в Детском отделении Госиздата вошла в колею¹, мы часто ездили в типографию «Печатный двор»², на верстку журнала или очередной книжки. В те дни я был особенно озабочен, обижен близкими друзьями, домашней своей жизнью, но эти поездки вспоминаются как бы светящимися, словно картонажики со свечкой внутри. Они сияют своим воображаемым игрушечным счастьем. В дни таких поездок я наслаждался игрушечной, непрочной и несомненной свободой.

По роковой, словно наговоренной бездеятельности моей я с неохотой пускался даже в этот легкий путь. Откладывал поездку на самый последний срок. И у Геслеровского переулка, среди плохо знакомых улиц Петроградской стороны, меня вдруг поражало чувство освобождения от домашней и редакционной упряжи, не Бог весть какой тяжелой, но все же натирающей плечи. И я не мог понять — зачем я скрывался, прятался от праздника.

Я шагаю по переулку, напоминающему — не хочу угадывать что. Так свободнее. Как будто Екатеринодар в самом раннем моем детстве. Не вглядываюсь. Вот и кирпичный забор, и кирпичные стены «Печатного двора». И любимое с донбассовских времен, со «Всесоюзной кочегарки» обаяние типографии, работы осязаемой, видимой, охватывает меня. Сдав материал в верстку, поговорив с метранпажем и наборщиками, я отправился бродить

по всему зданию «Печатного двора», подчиняясь все тому же чувству свободы.

Только что привезенный из Германии офсет, его начинают осваивать, он на ходу. Смотрю и смотрю, и не могу поймать повторяемости, машинности движений его многочисленных рычагов. И вдруг в блеске никелированных частей, в мостиках и лестницах, я сильно, но коротко, всего на миг, вспоминаю нечто праздничное, давно пережитое. Что? Так я смотрел в ясный день, чувствуя, как дрожит палуба, в застекленный сверкающий люк машинного отделения на пароходе и...

И страх охватывает меня. Мне страшно спугнуть полное радости воспоминание, страшно утратить чувство свободы. Я не смею восстановить, разглядеть, что пережил когда-то, откладываю. Потом, потом! И убегаю.

При входе в литографию оглушительно гремит машина, моет литографские камни. Тяжелое квадратное корыто трясется и трясется, катает по камням стеклянные шарики. Я захожу в светлые и просторные комнаты литографии. Здесь в свои наезды встречаю я непременно кого-нибудь из гвардии Владимира Васильевича Лебедева. Он заведовал в те дни художественным отделом Детгиза. И держал молодых художников строго. Они обязаны были сами делать рисунки на литографских камнях, следить за печатанием своих книг.

В те дни Владимир Васильевич Лебедев считался лучшим советским графиком. Один художник сказал: «Лебедев настолько опередил остальных, оторвался, что трудно сказать, кто же следующий».

Он работал непременно ежедневно, не пропуская. С утра приходила к нему натурщица. Потом он трудился над иллюстрациями книг. Потом шел в редакцию, где пристально, внимательно, строго разбирал иллюстрации учеников.

И боксом занимался он столь же пристально, рассудительно. Он даже был до революции чемпионом в каком-то весе. И в двадцатые годы на состязаниях занимал он

места у самого ринга, вместе с судьями. А дома возле кровати висел у него мешок с песком для тренировки. И он тренировался так же истово, как иные молятся.

Но, несмотря на ладную свою фигуру, он не казался человеком тренированным, спортсменом в форме. Вероятно, больше всего мешала лысина во всю голову и несколько обрюзгшее лицо с дрябловатой кожей. Брови густые, щеткой, густые волосы вокруг лысины увеличивали ощущение беспорядка. Неприбранности. Неспортивности.

И одевался он старательно, сознательно, уверенно, но беспокоил взгляд, а не радовал, как человек хорошо одетый. И тут чувствовалось что-то не вполне ладное, как в лице его. Матерчатый клетчатый картуз с козырьком вроде французского солдатского кепи, клетчатое полупальто, какие-то невиданные полувоенные длинные до колен ботинки со шнуровкой — нет, глаз на нем не отдыхал, а уставал.

Талант Лебедева не вызывал сомнений, ведь дух Божий веет, где хочет, даже в душах демонических, дьявольских. Но в данном случае об этом не могло быть и речи. Душа Лебедева была свободна и от Бога и от дьявола. Дух Божий веял в душе сноба, который всякую веру нашел бы постыдной. Кроме одной.

Как Шкловский, как Маяковский, он веровал, что время всегда право. А это является иной раз, кроме всего прочего, еще и признаком денди, сноба. Он одевался по времени..

Лебедев веровал в сегодняшний день, любил то, что в этом дне сильно, и презирал, как нечто непринятое в хорошем обществе, всякую слабость и неудачу. То, что сильно, и людей, олицетворяющих эту силу, любил он искренне, любовался ими, как хорошим боксером на ринге. И узнавал их и распределял по рангам с такой безошибочностью, как будто они обладали соответственными дипломами или титулами. Больше подобных людей любил он только одно — вещи.

У него была страсть ко всяким вещам. Особенно к кожаным. Целый строй ботинок, туфель, сапог стоял у него под кроватью. Собирал он и кожаные пояса. Портупеи. Обширная его мастерская совсем не походила на комнату коллекционера. Как можно! Но в отличных шкафах скрывались отличные вещи. И в Кирове во время войны Лебедев потряс меня заявлением, что ему жалко вещей, гибнущих в блокадном Ленинграде, больше, чем людей. Вещи — лучшее, что может сделать человек. И он завел альбом, в котором рисовал оставшиеся в ленинградской квартире сокровища. Какой-то замечательный половник. Кастрюли. Башмаки. Шкаф в прихожей. Шкаф кухонный. Все эти вещи уцелели его молитвами, бомба не попала в его квартиру. Как ясна и чиста от угрызений совести, похмелья, греха должна была быть подобная душа! Как спокойно, с каким цельным, полным наслаждением должен был бы обладать Лебедев натурой, сапогами, чемоданами, половниками, старинными лубками, женщинами, шкафами! А между тем близкие люди жаловались на его женственность, капризный характер. Это случается с мужественными, сильными людьми его вида. Они любят желания свои не меньше, чем собственные вещи. И избаловывают сами себя. Слишком прислушиваются к собственным капризам, устают, надрываются.

В те дни Лебедев говорил часто: «У меня есть такое свойство». Говорил почтительно, даже как бы религиозно, удивляясь себе, словно чуду. «У меня есть такое свойство — я ненавижу винегрет». «У меня есть такое свойство — я не ем селёдки». Но ученики его ужасно смеялись над этим. Фраза эта одно время употреблялась как пословица. «У меня есть такое свойство...» Да, да, несмотря на его снобическую замкнутость, умение соблюдать дистанцию, ученики знали его насквозь и любили поговорить о недостатках, о смешных сторонах учителя. Достоинства его не обсуждались. Да, Лебедев был великолепным художником, но это было так давно известно всем. О чем же тут говорить? А вот лебедевская скуповатость обсуж-

далась неутомимо. И костюмы его. И романы его. И характер его. А если речь заходила о нем как о художнике, то предпочитали говорить о неудачах. Например, о том, что станковая живопись ему не удастся. Петр Иванович Соколов отнюдь, впрочем, не ученик Лебедева — осуждал и его рисунки.

— Карандашом можно передать мягкость пуха и такую грубость, перед которой грубость дерева, грубость камня ничего не стоят. А Лебедев знает, что мягкость пуха приятнее, и только ею и пользуется.

Знал Лебедев или не знал, что говорят о нем его ученики. Конечно, и не предполагал, как это обычно бывает. Но и он говорил о близких своих под сердитую руку, а то и просто ни с того ни с сего, с беспощадной злобой. Хуже завистника. Люди раздражали его самим фактом своего существования, стесняли, как сожители по комнате.

Так вот он и шел, великолепный художник, свободный от веры и неверия, шагал своей дорогой, уважая силу и ее носителей, вдумчиво и почтительно слушаясь самого себя, капризная и дуря.

Итак, в литографии я встречал непременно графиков из гвардии Владимира Васильевича Лебедева,

Это был золотой век книжки-картинки. Фамилия художника не скрывалась среди выходных данных наряду с фамилией технического редактора, а красовалась на обложке, рядом с фамилией писателя.

Как это часто бывает расцвет лебедевский группы сопровождался нетерпимостью, резким отрицанием предыдущей школы. Самым обидным, уничтожающим ругательством было «миriskусничество». Бакст вызывал гримасу отвращения, он просто не умел рисовать. Сомов — презрительную усмешку. Головин был «украшатель», как и все, впрочем, театральные художники. Замирайло не понимал форму, и так далее, и так далее. Все они были эпигоны, стилизаторы, литераторы.

Литературность — это было самое серьезное обвинение для художника. Он обязан был высказываться средствами

своего искусства. Лебедев был особенно строг к нарушителям этого закона. Даже за пределами изобразительных искусств. Он не мог простить Чарушину, что тот еще и пишет рассказы. Значит, он недостаточно одарен в своей области, если его тянет в соседнюю.

Я понимал, что это требование здоровое. Литературность — губительна для художника. Но иной раз мне Казалось, что для людей, иллюстрирующих книги, некоторая доля литературности обязательна. К авторскому тексту художники относились иной раз надменно. Например, Лебедев, иллюстрируя строки Маршака, говорящие, что там, где жили рыбы, человек взрывает глыбы, — уклонился от литературной сюжетной стороны этих строк, изобразил не взрыв, а двух-трех спокойно и безотносительно к тексту плавающих рыб.

Вторым строгим требованием, которое предъявлял Лебедев к ученикам, было знание материала. Точно было известно, кто знает и может рисовать лошадей, кто море, кто детей. Тома Сойера выпустили со старыми американскими иллюстрациями. Лебедев сказал, что они плоховаты, но в них есть настоящее знание материала, среды, времени.

И третьим требованием было понимание технической стороны дела. Какое клише будут делать с твоего рисунка — тоновое или штриховое? На сколько красок рассчитана твоя книжка-картинка? И перенесите свой рисунок на литографский камень сами. Должна чувствоваться авторская рука.

Итак, я шагаю по литографии, здороваюсь с художниками и с завистью смотрю на их осязательный, видимый, отчетливый труд.

Вот Курдов, потомок курда, попавшего в плен во время турецкой войны и сосланного на Север, не то в Вятку, не то в Пермь. Он охотно отрывается от работы и хохочет, черный, широкогрудый, с чубом на лбу, с разбойничьими лапищами. Вот Васнецов, наивный, краснолицый, с выпущенными светлыми глазищами. Кажется, он вспылал, да

так и остался. Вот и Чарушин, ладный и складный, и уж до того открытый, словно показывает тебе горло, говоря «а-а-а»... Ну весь, весь нараспашку — и вместе с тем самая темная душа из всех. Вот Пахомов Алексей Федорович, самый взрослый, определившийся и талантливый из лебедевских учеников. На работу смотрит он спокойно, по-крестьянски, как на урожай, который, несомненно, удастся собрать и продать, если будешь вести себя осторожно. И это удастся ему. Вот Тамби, знаток моря, тихий, молчаливый, заикающийся, румяный, в те годы худенький. Вот и многие другие, которых я не знаю по фамилии, но здороваюсь с ними по-братски. Все мы, как когда-то в реальном училище, знакомы.

И я с завистью смотрю на их осязательный, видимый труд, но что-то беспокоит меня. Мешает завидовать до конца. Я не хочу думать, что именно. Потом, потом. И потом, много уже лет спустя, понял я, что почувствовал почти во всех молодых художниках, несмотря на разные характеры их, и дарования, и судьбы.

Я не хотел бы быть на их месте. Да, они делали свое дело, делали отчетливо, понимая, что такое мастерство. Но так же отчетливо и нелитературно маршировали гвардейские части, и кавалеристы шагали по улице так же лихо, презирая штатских со всей их сложной жизнью.

Гвардейцы. Хоть и не графы, но графики. Аристократичность, причастность к высшим сферам заменялась тут причастностью к высшему, начисто лишенному литературности искусству. А обеспеченность — беспечностью.

Старшее поколение — Тырса, Лапшин, да и Лебедев, сколько бы он ни прятал это, — были людьми по-настоящему образованными. Я помню, как Тырса спорил с Тыняновым, заступаясь за Боткина, восхищаясь с настоящим пониманием литературы «Письмами из Испании». Они не щеголяли своими знаниями, как «мирискусники», но питались ими по мере надобности. А молодые плыли без всякого багажа, даже без лебедевской веры в сегодняшний день. Вера, неверие, знание — не оправдали себя.

И они не были одиноки в своей свободе от багажа. Новый опыт требовал новых знаний. Кто-то писал, что до сих пор, до революции, русские интеллигенты строили леса вокруг отсутствующих зданий. И в самом деле. Люди как бы впервые увидели смерть и жизнь, и подвиги, и предательство, а детство их и молодость ушли в историю. Ушло с историей время, когда они учились говорить. Лебедев, Лапшин, Тырса понимали, что старыми знаниями жить нельзя, но питались ими по мере надобности. А молодые писатели, художники, музыканты все посмеивались.

Нет, я не мог до конца завидовать художникам у литографских камней. Недавно я с помощью Маршака как бы выбрался на дорогу, почувствовал, во что верю, куда и зачем иду. Но почему же я так мало работаю? Почему томятся и слоняются, словно не находя себе места, и мои друзья? Потом, потом, это потом пойму, а сейчас вернусь к наборщику, верстающему «Ежа».

У него дела идут благополучно. И у нас завязывается разговор о верстке вообще. В те дни в Москве лефовцы и их многочисленные ученики освободились от всех типографских традиций в этой области, что глубоко раздражало пожилого моего, знающего себе цену собеседника.

— С каких это пор московские наборщики указывают питерским? Московский наборщик зимой набирает, а летом уходит на свое хозяйство, столярничает, огородничает. Раньше говорились, что у московского наборщика на поясе верстка, а за поясом топорик. А у питерского на ногах опорки, а на голове котелок. Он о своем хозяйстве не заботится!

И собеседник мой рассказывает о легендарных подвигах наборщика по имени Афиноген Максимович, а по прозвищу Фатаген Керосинович. Он дома не бывал неделями, уверял, что жена его голодом морит. Он сосиски покупал не на вес, а на сажени, и соответственно пил. А зато как работал. В «Новом времени» уж, кажется, было из чего выбирать. Там платили так хорошо, что

лучшие наборщики подобрались в типографии. Но все же Суворин особо ценил Афиногена Максимовича. Ему прощалось все. В день суворинского юбилея его одели в сюртук и позвали на банкет. А Фатаген Керосиных, ха-ха, вот человек, напился и всю правду сказал Суворину: «Помнишь, — говорит, — как я попросил у тебя аванс, а ты отказал?» Ха-ха! Вот человек! Но и это ему простилось, потому что мастер был! Только посмеялись.

Да и один ли Фатаген Максимович! Все умели и пить и работать. Суббота называлась у наборщиков «концерт». Пили и платили. Воскресенье — «водевиль с переодеванием». Все пропивали с себя. А понедельник — «нищие духом». Приходили в типографию — на ногах опорки, а на голове котелок. А теперь, видите ли, московская верстка пошла! Колонцифру в поле. Игра шрифтов! А кому она нужна? Иду и вижу, выставлена книжка в окне: «Сто лет малому». Что такое? Какому малому сто лет? Оказывается, Малому театру. До чего дошла игра шрифтов, что слово «театру» не видишь. Игра шрифтов! Не умеют работать и стараются придумать почуднее. Доигрались! Показали бы им прежде!

И он рассказывает, как строг был Афиноген Максимович, когда учил его типографскому делу. Как заставил угостить себя на всю первую получку. Как утром после выпивки, по дороге в типографию, увидел ученик своего учителя в дверях трактира, вполне нищего духом. «Афиноген Максимович! Поднесите опохмелиться!» А он отвечает: «Я с оборванцами не разговариваю». Ха-ха! А я был одет вполне прилично, в тройке. Ха-ха! Вот был человек.

А вдруг в этом и есть секрет, думаю я, отправляясь в цинкографию, где задерживают клише. Работа и полная свобода. Неделями он дома не бывал. Я занимаюсь гимнастикой, бросил курить, обливаюсь холодной водой, а чтобы работать, может быть нужна эта артистическая свобода от обязанностей, когда только одни законы и признаются — законы мастерства. Из Майкопа вынес

я интеллигентски-аскетический дух, уважение к естественности, сдержанность. А что, если в порочности — истина? Порочный человек правдив в одной области, и это многое определяет и во всей его жизни. Не есть ли моя сдержанность — просто робость, холодность, отсутствие темперамента? Но мысли эти нарушают сегодняшнюю игрушечную свободу. Потом, потом! И я вхожу в цинкографию.

Здесь царствует тишина. В ванне с кислотой доспевают клише. Острый химический запах мешает дышать. Работа здесь идет невидимо для глаз, придет время — процесс завершится. Может быть, и с нами так, мечтаю я, спускаясь по лестнице и разглядывая готовые клише, которые несусь на верстку. Может быть, придет день и исчезнет отвращение к письменному столу? И вернется тот поток, который так радовал меня в ранней молодости, когда писал я свои безобразные, похожие на ископаемых чудищ стихи? Конечно, он вернется. И я вижу, переживаю с массой подробностей себя в новом качестве. Я неутомимый работник! Я живу без вечного ужаса перед своей уродливостью! Я больше не глухонемой! Я слышу и говорю! У меня есть точка зрения, не навязанная, а найденная, органическая.

Мы идем к ручному станку делать оттиски первых сверстанных полос журнала. Возле машин мастера, строгие, сосредоточенные. Словно врачи на консилиуме, занимаются приправкой клише. И я уже не завидую их осязаемой, видимой работе, — я так ясно вижу и себя работающим. Так ясно, что, проходя через брошюровочный цех, с необыкновенной легкостью представляю себе, что это мои книжки горой высятся у столов. И это наполняет меня самым картонажным игрушечным счастьем, которое не могу я забыть до наших дней.

Домой я возвращаюсь пешком, чтобы подольше пожить в моем картонном мире. Я опьянен, и добр, и счастлив. Я вспоминаю о Лебедеве — и обвиняю себя в излишней требовательности. Скаковая лошадь прекрасна, когда

бежит, — ну и смотри на нее с трибун. А если ты позовешь ее обедать, то, несомненно, разочаруешься. Лебедев-учитель и Лебедев-художник — великолепны. Что же ты тащишь его за стол и отрицаешь его право не принимать винегрет и не есть селедки.

И почему я так уж строг к себе? О какой, собственно говоря, работе мечтаю? Почему я так сильно позавидовал графикам и наборщикам? Таковую работу и я делаю. Подумаешь, подвиг — иллюстрировать чужой текст, иной раз неприятный тебе, а потом переносить свою, так сказать, вышивку на камень. А наборщики чем лучше? Да, они лихо набирают и верстают чужие слова. Не о такой работе мечтаем мы. Мы хотим рассказать нечто такое, что, по любимому нашему тогдашнему определению, «соответствует действительности».

У одних знакомых был попугай, который знал два слова: «Радость моя!» Он повторял эти единственные свои слова и с горя и с голоду. Кошка подползает к нему, перья встали дыбом от ужаса, а он вопит одно: «Радость моя!» — слова его ничем не соответствуют действительности. Не уподобляться же этому несчастному.

Все это так. Но и не работать во всю силу постыдно. И страшно. Лучше плохая работа, чем полное бесплодие.

А не начать ли работать сегодня же? Просто записать сегодняшний день?

Но едва я начинаю перебирать то, что пережито с утра, как все впечатления, словно испугавшись, убегают, расплываются, перемешиваются. Попытки их передать — робкие и осторожные — кажутся в картонном мире непристойными, грубыми. «Потом, потом!» — приказываю я себе.

После дня, проведенного в типографии, я начинаю уставать. Мысли теряют стройность и утешительность. Все чаще и чаще мысль обрывается, и я не думаю ни о чем, я повторяю обрывки стихов, столь же нестройных и бессмысленных, как душевное состояние, в которое я постепенно погружаюсь.

Путь мой лежит мимо маленького тесного рынка с вывеской: «Дерябкинский рынок открыт целый день».

От сотни дробинок укрылся я в тень,
Дерябкинский рынок открыт целый день, —

бормочу я полусознательно-полусонно.

По сотням картинок ведет меня лень,
Дерябкинский рынок открыт целый день.

Уже темнеет, день кончается, скоро рынок закроют.
Хозяйки входят в решетчатые ворота.

От скрипа корзинок у теток мигрень, Дерябкинский рынок открыт целый день.

И среди этого потока неподвижно и надменно, опираясь на забор или усевшись на земле, устроились инвалиды Гражданской или германской войны. Совесть их чиста. Все обязанности сняты судьбой. К вечеру так или иначе, но всем удалось опьянеть. Иные философствуют страстно, иные поют, никто не слушает друг друга, и все они в горести своей сейчас к вечеру наслаждаются жизнью, имеют точку зрения, понимают все.

Повыше ботинок из жести голень,
Дерябкинский рынок открыт целый день.

Инвалиды счастливы. А женщины с корзинками и не мечтают о счастье, и не замечают отекавших счастливцев. Какое там счастье! Они отвечают за детей, за стариков, оставшихся дома. За мужей. Они кажутся мне тут единственными взрослыми, несмотря на свою суетливость.

И мне становится страшно. Я трезвею. Я не хочу походить на поэтоподобных распухших чудовищ, как это ни соблазнительно. Но и со взрослыми мне не по пути.

И я сажусь в трамвай с тем, чтобы сегодня же непременно начать работу. Начать писать. Впрочем, сегодня я устал. Начну с понедельника. Нет, понедельник тяжелый день. Но с первого непременно, непременно, во что бы то ни стало, я начну новую жизнь. И скажу все.

Приложение

ПИСЬМА

М. Ф. ШВАРЦ (открытка с видом университета
им. Шанявского)

Москва, 8.11.13¹

Дорогая мама!

Может быть тебе будет интересно посмотреть на здание нашего университета. Аудитории наши в центре здания. Здесь в этом корпусе помещаются в углу — как видно по надписи — педагогические курсы, а в остальных помещениях аудитории и т. д., и т. д. Часть университета с научно-популярным отделением снимает дома в средней части города. Недавно... в конце октября...²

В. В. СОЛОВЬЕВОЙ (Майкоп)

Краткое и энергичное воззвание³ не могло не подействовать на лучшие свойства моей души. Письмо твое заставило действовать. Девочки пишут и снабжают марками и запоздавшими майкопскими новостями. Послал им свою карточку (в новом костюме снят). Если хочешь, пришлю и тебе. У меня черт-те сколько. Слышал я два раза «Кармен», раз в Большом театре и раз у Зимина, причем в роли дона Хозе выступал Дамаев. Фигурой, грацией он отдаленно, но напоминал знаменитого Костаньяна. Слышал Дамаева в «Пиковой даме». Томский был плохой и мою арию про графа Сан или Сен-Жермена исполнил отвратительно. Видел моцартовского «Дон Жуана». Вообще таскаюсь по театрам охотно. Маруся Зайченко переехала на квартиру с роялем, и иной раз 34-й оркус улаживает мой слух, напоминая Майкоп. Надеюсь, что мой репертуар не забыла? Ведь очень возможно, что

я приеду на Рождество. Произведу строгую ревизию. Духи у меня еще не все вышли. Я их расходую крайне экономно. Шоколад, который ты мне подарила тогда, мы с малюткой Жоржем слопали по дороге на вокзал. Москва хороша шоколадом. Простой шоколад, свежий, только потому, что его поломали при упаковке, продается по 35 копеек фунт. Я, как тебе известно, обучаюсь в университете имени генерала Шанявского. Дела у меня много, развлечений порядочно, даже слишком порядочно, но временами скучновато. Не привык я один пока. <...> Теперь, Варя, позволь мне извиниться. Ужасно извиняюсь. Дело в том — прямо сказать страшно. Скажу с разбегу. Борода у меня опять выросла и в три раза больше прежней. Извини, пожалуйста. Борода — предмет неодушевленный и потому не поддающийся логическим убеждениям. Пиши о Майкопе как можно больше. Я свинья действительно, что не писал раньше, теперь буду отвечать аккуратно, ежели ты меня помилуешь. Да что там я спрашивал — слать карточку! Шлю. Не понравится, отправляй обратно!

Не сердись за молчание и пиши сейчас же. Как Матюшка и Костя? Что вообще нового? От друга своего Жоржика не имею известий. Напиши все, что знаешь о нем. Подрос ли он? Как попрыгивает Чижик-Петруша⁴? Какая погода и есть ли новые постройки? Как в гимназии Надежда Александровна⁵? Кланяйся ей от меня. Кто теперь в библиотеке? Кланяйся Вере Константиновне и Василию Федоровичу, Матюшке, Косте, Павлу и всем прочим чадам и домочадцам. Чтобы не утомиться, можешь кланяться не очень низко. А то голова заболит. Между прочим. В Москве хорошие гравюры удивительно дешевы. Я купил гравюру — Генрих Гейне (никогда не видал такого портрета — особенный) за двадцать копеек. Гравюры в длину около 11/2 моих четверти. А моя «четверть» хватает на две ноты больше октавы. Лорды Noel Вугон'ы здесь во всех и во всяких видах. Если бы взять две гравюры, обе изображающие лорда Вугон'a, и,

показав на одну, сказать — Lord Byron, а на другую — его брат, то несведущий человек нашел бы, что братья вовсе не похожи друг на друга. Ну так вот — ежели понадобится, я могу привезти в Майкоп любого композитора, или писателя, или ученого, затратив на каждого не более тридцати копеек. Письмо твое очень рассердило мою хозяйку — почтальон пришел рано и разбудил ее звонками. Она его выругала чертом.

Жду писем. Где ты выцарапала мой адрес? Не знаю, как дошло письмо. Пришло с опозданием. Нужно писать 1-я Брестская — их целых 3.

Е. Шварц

[Ноябрь 1913]

Уважаемая Варвара Васильевна.

Напрасно вы приняли выражение «выцарапывать» в смысле «отыскивать, искать». Сей вопрос, вопрос о выцарапывании был задан во избежание дальнейших ошибок в адресе на конвертах посылаемых мне писем и из любви к несчастным, усталым почтальонам. Жоржик мне прислал одно письмо (за это время), которое было получено мною много спустя после отправления моего послания к тебе. Так что я не врал, и Жоржик не врал, а просто произошла ошибка во времени.

Я недавно отличился — послал Юрию Васильевичу письмо, не указав улицы. Написал только «Петербургская сторона». И письмо пришло, запоздав на четыре дня, все покрытое штемпелями и справками. Юрий Васильевич рассказывает, что почтальоны с нетерпением ждут моего появления в Петербурге, чтобы совершить надо мною жестокое убийство с целью мести. Если хочешь порадовать меня, старика, то пришли ты мне свою карточку. Но очень прошу наклеить марок, сколько нужно, ибо я сижу в стесненных обстоятельствах, и средства рассчитаны до копейки. Пришли, пожалуйста, свою карточку, и (если вышли) те, которые сняла за Белой Нина Косякина. Жду

с нетерпением подробного письма о Майкопе, его жителях, и о Жоржике в частности, на которого, если увидишь, воздействуй в смысле написания мне письма.

Что за новая шестиклассница у вас появилась? Молю Бога, чтобы родители взяли меня в Майкоп. Девочки зовут в Петербург, соблазняя посылками из Майкопа, конфетами и шоколадом. Есть ли у тебя духи? Здесь тепло, снегу нет, недавно шел дождь, грязь отчаянная. Проклятые театры дразнятся и зовут, а денег лишних нет. Когда приеду в Майкоп, вернее, если приеду, научи меня петь Лазаря.

Москва — город прекрасный, жизнь моя поинтересней жизни моей в Майкопе, но тянет хоть ненадолго домой. Посещаю я лекции, слушаю известных профессоров, посещаю театры, наслаждаюсь игрой величайших артистов земли русской. Недавно видел «Вишневый сад» в Художественном театре и не знаю наверное, пришел ли в себя теперь или нет. <...>

Когда пишу, слышу отчаянные звонки трамваев и свистки городских. Может быть, раздавили кого-нибудь, а может быть, скандал. Нигде нет такого скандального города. Нет случая, чтобы прошел день без того, чтобы не изувечил кого-нибудь трамвай. Не было случая, чтобы, возвращаясь домой в праздник, под праздник, откуда-нибудь вечером, я не натыкался на скандал, драку, ограбление. Обязательно где-нибудь толпа народу, и городской свистит. А пьяных тут! «Господин, послушайте», тебя бы здесь вогнали в гроб.

Пиши о майкопской погоде. <...> Что и как Драстомат? Не погиб ли он у вас в саду? Кланяйся Зайченко и Тусе Зайченко. Как она поживает и что делает? Пиши о вечерах. Устраивала ли Мария Гавриловна еще музыкально-мучительные утра?

Пожалуйста, пиши, Варя, побольше и подробнее. Мне почти никто не пишет, и каждому письму я очень рад. Одеколон твой послужит решающим толчком. Знаешь, в таких колебаниях самое незначительное воздей-

ствие бывает решающим. Цитирую Лелино мнение о поездке: «Знаешь, нас тянут домой. Мама очень скучает, право, не знаю, что и делать, поедем ли, нет ли, неизвестно». Во всяком случае, Леля не очень протестует.

Потом я взывал к сестриным чувствам. «Посмотрите, — рыдал я, — как выглядит Варя без вас! Она вдвое пополнела и поправилась! Возвращайтесь, если не хотите, чтобы она совершенно растолстела!» Надеюсь, хоть это их проберет. Я неточно цитирую свои слова, это верно.

На твоей карточке похоже, что зверь Лабунский разбудил тебя чуть свет, не дал даже причесаться как следует и злобно защелкал фотографическим аппаратом. Удивительно у тебя сонный и встрепанный вид. Или ты снималась до обеда? Однако ты поправилась! Хотя, может быть, карточка врет? Или действительно, отсутствие трио так благотворно на тебя повлияло? Маруся Петрожицкая в феврале дает здесь концерт. Петя Петрожицкий в Майкопе? <...> Послал я сегодня Зайченко младшим открытки, а Леле письмо. Открытки недурные. Правда, хорошая открытка, что я тебе послал? Это теперь модные в Москве «английские головки». Нет ни одной витрины книжного магазина в Москве, где бы их не было черт-те сколько. Что ты в каждом письме обещаешь писать подробно, и обрываешь их все посередине. Письмо твоим почерком в три листа — это моим в один. Кстати, делаю тебе обещанный выговор. Ты за фразу, вторую сначала, начинающуюся со слов: «Могу тебя обрадовать» и т. д. и т. д., нуждаешься⁶ в выговоре. Не могу найти сейчас подходящего выговора и выражений; ничего, выругаю при свидании. Сейчас только показываю тебе мысленно кулак.

Переснимись у Лабунского по возможности до обеда.

Твое послание помогло мне ясно представить вашу новую шестиклассницу.

Воображаю, как суетится теперь Анна Петровна⁷ по случаю эпидемии. Не дай бог.

Слушай, сделай Малютке выговор, если увидишь его. Этот Жорж за все время писал мне только раз.

Слушай, любезная, что за необразованность в твои годы? «Петь Лазаря» — это значит милостыни просить. Невежество! Выеду я, вероятно, числа двадцатого. Не раньше 18-го.

Надеюсь, на этот раз ты ответишь аккуратнее, т. е. не через сто лет, как в прошлый раз. Как Костино здоровье⁸? Где Нерсик?

Поклонись Василию Федоровичу и Вере Константиновне. Жду письма.

Е. Шварц

Нравится тебе моя почтовая бумага⁹?

[Январь 1914]

Признаться, я предпочел бы заплатить еще раз за прошлогоднюю свинью с четырьмя восклицательными знаками и ходить весь день из-за этого без обеда, чем получить это оплаченное, оглушительное краткое письмо. Помимо всего прочего, адрес неверен! Я только 23-го в 7 часов вечера вернулся из Петербурга и доподлинно знаю, что девочкам надо писать — 12 линия, д. 31 б, а не просто 31 — ибо там существуют дома 31 а, 31 б и 31 в.

Письмо дойдет и по твоему адресу, но с некоторой задержкой, а лично присутствуя в Петербурге, будешь метаться напрасно между а, б и в и проклинать давших такой подлый адрес. К счастью, я поехал просто к Юрке, а он меня свел к девочкам. Спасибо, что не прислала адреса раньше!

Теперь перейдем к краткости и лаконичности. Чем провинился? Если даже преступление мое так ужасно, то неужели оно так невыносимо, тяжело и черно, что твоя клетчатая почтовая бумага разорвется и истлеет от опи-

сания его? В Англии раньше вешали охотно, но всем разрешалось перед повешением произнести защитительную речь, как бы гнусно он ни наподличал. И был (правда, один за все время) случай, когда преступник произнес такую основательную и справедливо-горячую речь, что его оправдали на глазах у разомлевшей и мрачно разочарованной виселицы.

Мне, честному, ни в чем не признающему себя виновным студенту юридического факультета, не дают и этой слабой возможности, которую даже кровожадное английское правительство старых времен считало необходимой. Моя честность и невинность сослужили в данном случае мне скверную штуку, ибо я не имею никакой, даже маленькой черточки, пятнышка, которое могло бы сойти за преступление и дать основание оправдательной речи. Ради бога — в чем меня обвиняют? — как сказал один воробей, обвиненный в краже 3 фунтов мяса из мясной лавки. — Будем надеяться, что обвиняют меня столь же основательно, сколь и вышеупомянутого злосчастного воробья. Жду ответа, перемигиваясь с виселицей на досуге.

Описал бы Петербург, где прожил дней 10—11, да ты вот чего-то ругаешься. Во всяком случае передаю поклон от Лели и сообщение от нее же, что она пока писать не намерена. «Не знаю, когда напишу», — вот ее точные слова. Остаюсь, с тревогой ожидая ответа, невинный преступник, кровожадный воробей.

Е. Шварц

P.S. У меня больше оснований ругаться, ибо это второе письмо тебе, а ты мрачно молчишь или ограничиваешься 5 словами.

[Весна 1914]

Надоело мне торчать в Москве до смерти. Погода хорошая, а пойти некуда, всюду наперлись москвичи и гуляют, и скандалят, и поют. На Воробьевых горах на

каждое дерево приходится по три туриста. А на бульварах деревья кажутся перепуганными и заблудившимися в гнусной толпе. Первый раз в жизни я провожу весну в большом городе, и прескверно провожу. Что же касается до экзаменов, то их не проведешь. Раньше я был уверен, что сдам один. Теперь я ни в чем не уверен. В общем, чувствуешь себя так гнусно, что выть хочется. Тем более что не сдать экзаменов — это потерять свободу летом. В довершение всех благ деньги объявили мне бойкот. Покинули и не думают вернуться. Жалуются на небрежное обращение. Знакомые утверждают, что я сам виноват. Слишком распустил их, дал власть им. Что нового в Майкопе? Кто остался на второй год, кто вылетел, кто переходит? Есть ли надежда у кого-нибудь на золотую медаль? О полете Пахомова я слышал. Будем надеяться, что Бидерман, по вашему выражению, достаточно «разочаровалась в нем», и они не поженятся.

Вчера Левке Оськину прислали майкопские газеты, и я проливал слезы умиления над описанием «феерического блеска городского сада при электричестве» и историей мадам Никулиной и Линского¹⁰. Стихи же, где проносятся «городская такса», над которой торговцы смеются, «как с Линдера Макса¹¹», меня убили совсем. Хороший город. Где теперь Драстомат! Что Василий Федорович? Что Наташа?

[Екатеринодар, август 1914]

Уважаемая Вавра* Васильевна!

Как вам холилось в горах и дышалось под небесами? Какими оказались ваши спутники и какой спутницей оказались вы сами? Как выглядит Майкоп без нас и какова жизнь среди опустевших стен? Каков адрес девочек? Студент (вероятно) Шварц получит эти сведения, если вы соблагovolите направить их студенту (вероятно)

* Перепутал все буквы от разгульной жизни и пьянства. — *Примеч. Е. Шварца.*

1-го курса юридического факультета Московского Императорского университета (т. е. в университет). Теперь о том, как выглядим мы (Шварцы) без Майкопа. Папа обменял штатский костюм на мундир ординарного врача Екатеринодарской войсковой больницы¹²; Валя обменял форму реалиста на форму гимназиста 2-го класса 1-й Екатеринодарской гимназии; мама осталась без перемен, той, какой была в Майкопе.

Я веду безумно разгульную жизнь. Бываю почти каждый день в оперетке (Шварцы имеют 3 места в 5 ряду) (жаль, что не наоборот, т. е. 5 в 3). Знаю наизусть каскадную песенку: «Серафи-и-и-ма, вот она какая»*, курю трубку, которую подарил мне двоюродный брат Тоня, пью вино, ужинаю во Н-м общественном собрании, и безумно увлекаюсь тремя девицами, из коих одна примадонна Глория, а другие неизвестны (ни с одной из них я не знаком). От такой жизни мой красивый лоб побледнел, а красивый нос покраснел еще больше. Буквы путаются, а предметы дwoятся, дwoятся. Ничего, в Москве поправлюсь. (В Москву едет масса народу — не знаю, как доберусь). Познакомился я здесь с одним юношей, который влюблен в Шопена и прекрасно его передает. Он сыграл мне массу его вещей и, между прочим, прелюд ехге (который играет Наташа) и поразительно. Прямо сбил меня с ног. Я разобрал здесь сам «Грустную песенку» Калининкова¹³ и половину уже выучил наизусть. Узнай, сколько я должен Марии Гавриловне и напиши папе (угол Борзиковской и Дмитриевской, д[ом] Садилло). Пришли мне адреса всех уехавших майкопцев, которые знаешь. Пиши.

Гогенцоллерн¹⁴.

Привет всем вашим!

^{**}Всю цитировать нельзя — помилуйте — *Примеч. Е. Шварца.*

[Москва, ноябрь 1915]

Неуважающая старших!

Ты, которая прислала только одну открытку и задаешься! Выслушай мои искренние советы и попытайся поступать сообразно им. Во-первых, на Рождество во всей Москве не останется ни одного знакомого, все едут домой (все тоскуют и проклинаят остаток дней, уменьшающийся, но отделяющий время до 5—10 декабря, когда начнут выдавать отпуска). Во-вторых, все театры забиты желающими попасть в них на Рождество. Билеты начнут продавать числа 15-го, к этому времени в Москве будет столько же майкопцев, сколько в Париже. На Пасху все мы будем здесь. На Пасху сюда приедет музыкальная драма. На Пасху Шаляпин будет в Москве и прочее и прочее. Мы (майкопцы) настойчиво просим тебя приехать на Пасху. Заутреня в Кремле — это сюжет, достойный кисти Шильниковского. Я (между прочим) очень, как никогда (если не считать предыдущего, т. е. пред-пред-предыдущего, самого первого приезда сюда) тоскую и, главное, о, тоска, о, слезы (которые при сем прилагаются), тоскую по Майкопе. Я надеялся, если кто-нибудь меня пригласит (это вовсе даже не намек), побывать и в Майкопе. Этак на неделю. Ну, не надо.

Я, кажется, хорошо себя вел летом? Я не помню, чтобы мы ссорились особенно. А если ссорились, то выругай меня, только поскорей, и, ругаясь, опиши майкопскую жизнь вообще. (Кстати, пришли мне бандеролью несколько номеров «Майкопского эха» с отделом «Местная жизнь». Очень прошу.) За Майкоп я бы сейчас отдал полцарства, все царство. Брехаловку только себе. Ужасно хочется видеть вас, Соловьевых, и провести время в зале, у рояля, даже с риском быть придавленным подушкой и защекоченным насмерть. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Всегда особенно хочется в Майкоп, когда нельзя, а когда в Майкопе, хочется уехать. Впрочем, на счет последнего вру.

Ты знаешь, конечно, от Лели, что Матвей Поспеев живет теперь со мной и Левкой. Живем дружно, пока не ссорились еще. Хозяйка у нас ангел. Льстива до слез. Увидела у меня на подбородке прыщик и говорит: «Как вам идет эта родинка, Евгений Львович». Я сделал вид, что ло действительно родинка и убежал смеяться к себе в комнату. Она все добивалась узнать, не еврей ли я, и, узнав истину, останавливает дочку, когда она громит жидов басом. Дочке около тридцати. Вес неприличный. Ходит дочка целый день в капотике, с открытой шейкой. Капотик коротенький, и поэтому мы наверное знаем, что у дочки голубые чулки и одна подвязка безнадежно потеряна, ибо на правой ноге чулок регулярно болтается весь в морщинах у самого башмака. Башмаки серые от жажды ваксы и расстегнуты. Дочка кричит всегда басом и всегда сердится. Сейчас, я слышу, она орет матери: «Я не отрицаю, что самоеды не моются». Вообще она талант. Когда я достигну такого же веса, то всякий сможет сказать, глядя на меня: «Вот зарабатывает, должно быть, обжора». На днях она влетела в комнату, и у нас произошел такой диалог.

— Простите, я по делу влетела. У вас есть отец и мать?
Т. е. есть конечно. Я хотела сказать — живы?

— Да.

— Так живы? А то один идиот говорит, что у кого там, если мать умерла или отец, так какой-то дурак купец дешево комнату сдает. Живы, значит?

— Живы, живы.

— Очень жалко, до свидания.

Я ужасно испугался.

У нас есть еще мопс — Мурочка. Характер у него хороший, но каждый день хозяйка причитает: «Бедный мой деточка, никогда с ним такого не было и чего это он скушал?» Подробности и комментарии недопустимы.

В университете я бываю (именно бываю), но до Рождества экзаменов сдавать не буду. То-то и оно. <...>

Слушай. Я кончаю письмо, ибо пора идти обедать. Я только в том случае буду сохранять дружеские отношения с тобой, уважаемая держава, если ты немедленно ответишь мне на это письмо. Вспомни, как аккуратно я отвечал тебе первый год своей жизни здесь. Вспомни — и учись. Ты даже не поздравила меня с днем рождения! А я послал тебе коробку конфет. Немедленно поздравь (лучше поздно, чем никогда) и напиши, хороши ли конфеты. Вообще пиши, пожалуйста. Леле напишу, сейчас тянут обедать. Мой адрес просто Филипповский переулок. Без «Арбат». Это лишнее. Ну, au revoir.

Е. Шварц

Москва, Филипповский пер., д. 9, кв. 3.

[Москва, конец ноября — нач. декабря 1915]

Девочки!

Спасибо за ответ и за приглашение. Еще одна просьба повторить это приглашение числа так 20—23 декабря, когда я буду в Екатеринодаре. Это нужно для родителей. Поблагодарите Веру Константиновну за приглашение.

Напишите самым откровенным образом — не будет ли мой приезд неловким.

5—6—7 декабря я уезжаю из Москвы. В Майкоп поеду (если поеду) числа 27—28 декабря. Мне хочется встретить Новый год в Майкопе. Не знаю — улажу ли с родителями и будет ли настроение.

В денежном отношении я обеспечен. Камразе взял у меня 15 рублей займа и обещал не отдавать до Рождества. Но вы не беспокойтесь, больше 4—5—6—7 дней я во всяком случае не пробуду.

Еще, самая главная просьба, кто бы ни спрашивал, никому не говорите, что я думаю приехать. Наоборот, отрицайте всю. Пусть знают только вы, девочки и Вера Константиновна, чтобы для нее мой приезд не был уж слишком неожиданен.

Я вас еще раз прошу, девочки, серьезно и правдиво написать, удобно ли мне приехать, и не из любезности ли — так просто, неловко отказать, зовет меня Вера Константиновна. Я не сомневаюсь, что она относится ко мне хорошо, но я могу, несмотря на это, и стеснить и все такое, и все такое прочее. Гораздо лучше не приехать, чем приехать и чувствовать себя не на месте, мешающим, непрошеным. То-то и оно. Посему — разъясните. Окончательно, конечно, сообщу только из Екатеринодара. Кстати, на всякий случай, вот мой екатеринодарский адрес, чтоб не забыть: угол Дмитриевской и Борзиковской, д. Садила, мне. Без всяких эпитетов. А то хозяйская дочь, описанная в предыдущем письме, долго и басисто хохотала над титулом «Жирный мальчик»¹⁵, а потом спросила: «Вы, должно быть, сотрудничаете в газете, и это ваш псевдоним?» Пришлось согласиться. Пожалуйста, не делай этого больше. Теперь я сообщу нечто, только не презирайте меня. Вчера был именинник один из моих здешних приятелей. У него собралась компания в 22 человека, курсисток и студентов. Был коньяк и портвейн. Все поголовно (гости то есть) были с Кавказа. Пели и пили, пили и пели. Когда опомнились, было 7 часов утра и ходили трамваи. Вот! Так что я спал всего 2 часа. Лег в 7, разбудили меня в 9, сейчас 2 ¹/₂. Скажите Фрею, что я ему кланяюсь. А я попытаюсь заснуть еще. Желаю всех благ.

Е. Шварц.

[Москва, конец марта 1916 г.]

Черт знает что такое! В прошлом году в это время здесь солнце было, и все такое. А теперь — дождик, сыро, холодновато и уныло. Всякое упоминание о весне в Майкопе — острый нож в сердце. Пришли фиалку в письме, предварительно ее расплющив — иначе не дойдет. Кстати, напоминаю, что № квартиры моей теперь 1. Я переехал этажом ниже.

Вчера, сделав точный подсчет, я вычислил, что для экзаменов каждый день нужно читать 90 страниц. Первый экзамен 17 апреля. В начале мая я свободен, как птица, следовательно. Не дай бог, провалюсь! Изнывай тогда все лето. Помолись за меня.

Встретил на днях Костю¹⁶. Он шел в баню. Застать его дома — это попасть на Шалапина. Где он только пропадает? Должно быть, роман крутит. Все майкопцы стали серьезными, и в разговорах появились книжные обороты — много читают к экзаменам. Тяжелое время — погода и экзамены.

Юрий Васильевич¹⁷ <...> ответил на приглашение полусогласием, а потом умолк. Я ему послал вчера крайне неприличное письмо — ругаюсь и нелестно характеризую всякими словами. Если он и после этого будет молчать, дело безнадежно. Не раскачаешь его.

Представь себе, несмотря на погоду и зловещие угрозы висящих над головой экзаменов, настроение у меня игривое и бодрое. Должно быть, потому, что отъезд сравнительно близок, и все-таки чуть-чуть попахивает весной — идет дождь, а не снег. Надоела весна, как Колокола Бородина.

В Майкопе должен на днях (а может быть, и появился уже) взойти и засиять полным светом прапорщик инженерных войск Иван Васильевич Гостинцев¹⁸. Опиши. Я часто вспоминал его, присутствуя на заседаниях литературно-художественного кружка при филологическом факультете. Он там поговорил бы.

Тоскливый кружок. Все боятся, но говорить хотят. Выходят, теряются и медленно умирают. Не боятся только заправилы, но и те говорят глупости, уже от развязности. Я хожу слушать и слушаю молча. Завтра там вечер поэтов. Иду критиковать, опять-таки молча. Я боюсь сильнее, чем хочу говорить, и посему воздерживаюсь, дабы не быть осмеянным.

Видела ли Левку Оськина? Опиши. Что у тебя за принцип исписывать только два листа. Сама говоришь,

что много новостей, и умолкаешь. Жду продолжения. Привет Вере Константиновне, Вартану¹⁹ и Леле.

Пока. Плюю на красный бант.

Е. Шварц

[Анапа, лето 1916]

Многоуважаемая!

Так давно не касалась рука моя бумаги, что я с некоторой радостью и радушием гляжу на буквы. Старые знакомые, несколько искаженные моей дерзкой рукой.

Я не вполне уверен, что письмо мое захватит тебя дома, а не явится во время твоего путешествия в горы. Ежели оно захватит тебя, ты мужественно побори лень и отвечай сразу — меня со дня на день могут угнать за тридевять земель, в запасной полк. Я свинья. Я никому почти не писал, заматавшись в курортной жизни. Ты можешь гордиться мной, если вздумается, — я не стал типичным студентом-курсовым, который каждый вечер в курзале, и в перчатках, и с дамами. В саду не бываю, купаюсь и даже (можешь себе представить!) самостоятельно организовал экскурсию за двадцать, правда, только верст, на остров Сукно. Я набрал компанию в 8 человек мальчишек (включая меня) и прожил дикой жизнью двое суток. В отличие от неробкого десятка, экскурсанты были названы дикой восьмеркой. Пели песни, разводили костры, и я чувствовал себя молодым и экскурсионным. Среди них я был самым опытным и самолично, не без трепета варил кондер. Представь — вышел хорошо. Я же жарил яичницу. Хвалили. Они по неопытности сидора называли охотничьими мешками, но ныне бросили это заблуждение. <...> Собирались пройти еще и в Новороссийск, но я жду призыва и сижу на месте.

Я мечтал, дорогой сюда, ездить и много ездить на лодках, но увы, не удалось. Во-первых, лодочники обнаглели до того, что берут рубль в час, а во-вторых, запрещено лодкам выезжать за линию пристани и бака, и вообще показываться в море после захода солнца. <...>

Вообще здешней жизнью я почти доволен. Вечера прохладные, берег красивый, и есть место — вроде майкопской за Белой — Лысая гора. Вид оттуда до того хороший, что даже неловко делается. Особенно в нордост, когда море чистое и далеко видно дно.

Компания славная. Виолончелист, в этом году кончивший гимназию и подающий в консерваторию, очень напоминает (временами даже лицом) Юрку Соколова. С ним я дружу и поругиваюсь, как подобает в компании. Шляюсь.

У нас стоит пианино, на редкость приятное по звуку. Я его бью. Поговаривали о квартетах, но результата нет пока и, кажется, не будет.

Но вот, понимаешь, скандал. Последние дни, несмотря на гладкое житье, на меня напала тоска по родине, которая усугубляется полной невозможностью приехать. Меня вот-вот заберут, и на день страшно уехать — а смертельно тянет. Я и ругался, и выл, и писем ждал, наконец, сам сел за письмо, чтобы хоть этим, если удастся, — вырвать ответ.

Анапа вечерами местами до странности напоминает Майкоп. Даже в нашей квартире точно такое же расположение комнат, как у Капустина. До того похоже, что я совершенно машинально иду умываться в кабинет, как у Капустина, хотя здесь у нас умывальник в столовой.

С печалью и скуля думаю о городском саде, обрыве и всех мелочах улиц, которые так надоедают в Майкопе. Например, «Дума, управа и сиротский суд», где «м» в слове «дума» похожа на «ш». Тысячу раз совершенно машинально я думал об этом по дороге из реального дома и не предполагал, что буду когда-то вспоминать и тосковать даже по этой вывеске. Часто во сне еду на извозчике с вокзала, смотрю на трехэтажную мельницу на лазарет, на пыль и думаю: слава богу, я в Майкопе! Черта с два. Просыпаюсь каждый день в Анапе.

Но у меня есть надежда, правда, очень маленькая. Меня, должно быть, назначат куда-нибудь на Кавказ.

Ехать придется, наверное, через Армавир. Обычно на дорогу дают лишний день-два, и я хоть на это время приеду. <...> Ты, по слухам, в Москву не едешь? Едет ли Леля? Едет ли армянин Варган? По-прежнему ли течет майкопская жизнь? Разразись ты хоть трехэтажным письмом. Пиши его несколько дней, по нескольку часов, так, чтобы в нем было все майкопское и масса интересного. Ты человек ленивый и упрямый, и я мало надеюсь. Привет Леле. Свиньи вы. Я вас всех люблю, а вы задаетесь. Тут я сконфузился.

III.

Фрей тоже свинья. Я ему больше не писал.

Н. К. ЧУКОВСКОМУ (Петроград)
[БАХМУТ]²⁰

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ

Так близко масло, простокваша,
Яичница и молоко,
Сметана, гречневая каша,
А ты, Чуковский, далеко.
Прославленные шевриеры
Пасутся скромно под окном.
Котенок деревенский серый
Играет с медленным котом.
Цыплята говорят о зернах,
Слонимский говорит о снах —
И крошки на его позорных
Давно невыбритых устах.
Мы утопаем в изобильном,
Густом и медленном быту,
На солнце щуримся бессильно
И тихо хвалим теплоту.
И каждый палец, каждый волос
Доволен, благодарен, тих,
Как наливающийся колос

Среди товарищей своих.
Да, уважаемый Радищев,
Веселый, изобильный край
Вернул с теплом, с забытой пищей
Знакомый, величавый рай.
И стали снова многоплодны
Мои досуги. И опять
Стал М. Слонимский благородный
Сюжеты разные рождать.
Пиши. Мы радостно ответим.
Пусть осенью, в родном чаду
Послания о веселом лете
С улыбкой вялою найду.

*Июнь 1923. Числа здесь никто не знает.
Величка (местность).*

Дорогой Коля!

1. Ответ немедленно по адресу: станция Деконская, Донецкой губернии. Рудник Либкнехта. Мне.
2. Передай Корнею Ивановичу мой привет. Если бы не почерк и не скромность — я написал бы ему лично.
3. Передай Марии Борисовне²¹, что я и Миша Слонимский низко ей кланяемся и часто вспоминаем.
4. Скажи сестре своей Лиде, что она не любит лето оттого, что никогда не была здесь. Скажи, что письма наши адресованы в такой же мере как и тебе — ей.
5. Живем как во сне.

Шварц

[Сентябрь 1923]

Николай Чуковский!

На такой бумаге пишут в редакциях. Как только придет Слонимский, выясню дела с твоим гонораром. Если он не выслан вчера почтой, передам сегодня Лиде.

С ней также постараюсь передать тебе папирос.

Жара. Пыль. Очень похоже на июль. Говорят, что такая погода продержится до января.

Если бы ты написал письмо бескорыстно! Если бы ты вдруг описал точно, какой сейчас в Петербурге воздух, и прочее о нем, колыхающееся и так далее, и вообще. Взгляд и нечто!

Но ты так корыстолюбив. Ты жаден. Я уверен, что до следующей задержки гонорара — писем от тебя не будет. И поэтому, если ты пришлешь стихи еще, я гонорар задержу.

Привет сестре твоей Лиде, которая тебя умнее и которая симпатичнее. Империалистические страны Европы в своем безумии дошли до абсурда. Возможен катаклизм.

Передай привет Лене Мессу. Передай ему, что я не острою больше. Ни-ког-да. Некогда. Пусть он не жалеет японских гейш. У них маленькие ноги. Они не мону-ментальны.

Если пошлю тебе папирос — не откажи в любезности угостить Леню Месса.

Без точного знания тарификации невозможен никакой учет неквалифицированной рабочей силы. Тарификация — необходима.

Я был бы очень рад увидеть Месса, Арнштама и близких вам. Миша вчера сравнил себя с Брет-Гартом в Калифорнии. Брет-Гарт редактировал там журнал. Мне не с кем сравнить себя. Я не знаю, кто был секретарем у Брет-Гарта. Слонимский утешается сравнением. Я грущу.

Пиши бескорыстно.

Е. Шварц, секретарь Брет-Гарта

P.S. Женись на Марине.

P.P.S. С гонораром выяснил. Его привезет Миша.

Л. И. ЛУНЦУ (Германия)
[Ленинград, начало февраля 1924]

Левушка, милый!

Только по подлости я не написал тебе до сих пор длинно. Твой рассказ произвел впечатление бомбы, начиненной свежей... как бы это сказать — атмосферой, допустим. Короче — частью ржали, частью задумывались. Напишу тебе длинно. Пока — полон почтения твоей уважаемой голове.

Почтительный

Шварц

Е. И. ЗИЛЬБЕР (Шварц)
[Ленинград, 1928]

Милый мой Катарин Иванович, мой песик, мой курносенький. Мне больше всего на свете хочется, чтобы ты была счастливой. Очень счастливой. Хорошо?

Я всю жизнь плыл по течению. Меня тащило от худого к хорошему, от несчастья к счастью. Я уже думал, что больше ничего интересного мне на этом свете не увидеть. И вот я встретился с тобой. Это очень хорошо.

Что будет дальше — не знаю и знать не хочу. До самой смерти мне будет тепло, когда я вспомню, что ты мне говоришь, твою рубашечку, тебя в рубашечке. Я тебя буду любить всегда. Я всегда буду с тобой.

Когда я на тебя смотрю, ты начинаешь жмуриться, прятаться, сгонять мой взгляд глазами, губами. Ты у меня чужак.

Екатерина Ивановна!

Из девяти писем одно было сердитое. И сейчас тоже одно письмо я напишу тебе сердитое.

Во-первых — ты не обедаешь! Это безобразие! Если я еще раз услышу, что ты не обедала — я тебя ударю по руке!

Во-вторых — не смей мне изменять.

В-третьих — запомни. Мрачные мысли запрещены. Запрещены навсегда и на всю жизнь. Если ты вздумаешь хоть что-нибудь, так я тебе... Я в следующую же секунду. Понимаешь?

В-четвертых — зачем ты ешь спички?

В-пятых — я тебя люблю.

Е. III.

4 января 1929

I

Служу я в Госиздате,
А думаю я о Кате.
Думаю целый день —
И как это мне не лень?
Обдумаю каждое слово,
Отдохну — и думаю снова.

II

Барышне нашей Кате
Идет ее новое платье.
Барышне нашей хорошей
Хорошо бы купить калоши.
Надо бы бедному Котику
На каждую ножку по ботику.
И надо бы теплые...
Эти... —
Ведь холодно нынче на свете!
На свете зима-зимище,
Ветер на улице свищет.

III

Холодно нынче на свете,
Но тепло и светло в буфете.
Люди сидят и едят
Шницель, филе и салат.

Лакеи, вьются, стараются,
Между столиками пробираются.
А я говорю: «Катюша,
Послушай меня, послушай.
Послушай меня, родимая,
Родимая, необходимая!»
Катюша и слышит, и нет,
Шумит, мешает буфет.
Лотерея кружит, как волчок,
Скрипач подымает смычок —
И ах! — музыканты в слезы,
Приняв музыкальные позы.

IV

Извозчик бежит домой,
А моя Катюша со мной.
А на улице ночь и зима,
И пьяные сходят с ума,
И сердито свистят мильтоны,
И несутся пустые вагоны.
И вдруг, далеко, на Садовой —
Трамвай появляется новый.
На нем футляр из огня,
Просверкал он, гремя и звеня.
А я говорю: «Катюша,
Послушай меня, послушай,
Не ссорься со мной, говорю,
Ты мой родной, говорю».

V

Я прощаюсь потише, потише,
Чтобы не было слышно Ирише.
Я шагаю один, одинокий
Дворник дремлет овчинный, широкий.
Посмотрел Катюше в окно —
А Катюше-то скучно одной.

Занавески, радио, свет —
А Катюша-то — смотрит вслед!

VI

До свидания, маленький мой.
Когда мы пойдем домой?
На улице ветер, ветер,
Холодно нынче на свете.
А дома тепло, темно,
Соседи уснули давно,
А я с тобою, курносый,
Даю тебе папиросы,
Пою вишневой водой,
Удивляюсь, что ты не худой.
Я тебя укрываю любя,
Я любя обнимаю тебя.
Катюша, Катюша, Катюша,
Послушай меня, послушай!

10 января 1929

Пожалуйста, не сердись на меня, Катюша. Я сегодня целый день один, а я от этого отвык. Поэтому я и пишу.

Отчего у тебя по телефону такой сердитый голос? Отчего ты обо мне не вспоминала ни разу за весь день? Отчего я дурак?

Я ездил сегодня в Детское Село. Это, Катюша, отвратительно. В вагоне пахло карболкой, молочницы ругали евреев, за окошками снег. Думал я все время о тебе. Обдумал тебя до последней пуговицы. Меня теперь ничем не удивить. Я мог бы написать пятьсот вариаций на тему — Екатерина Ивановна.

Я тебя люблю.

В Детском Селе все знакомо и враждебно с давних пор. А теперь враждебно особенно.

Катюша, по телефону ты меня всегда ненавидишь. Почему так трудно говорить по телефону? Я тоже не умею.

Маршак живет в голубом доме на Московском шоссе. Во всех детскосельских квартирах ужасно тонкие стены. Кажется, что обои наклеены на картон или на фанеру. Живут люди там временно, кровати какие-то детские, столы какие-то кухонные.

Разговоры у нас были деловые и до крайности утомительные. Маршак очень живой и энергичный человек. Но, по непонятным причинам, живость его действует на меня усыпляюще. Его стремление расшевелить меня, заставить меня работать вызывает во мне бессознательный протест. Воображение начинает цепляться за что угодно: за фотографию на столе, за пятно на стене, за шум во дворе. Он говорит, а я пропускаю мимо ушей. Наконец он кричит:

— Женья! Женья!

Как будто будит меня. (Он знает мою способность засыпать во время дел.) Я отрываюсь от мыслей о том, как выпилена ножка стола, или о том, как хорошо на юге. И мы работаем.

Катюша, мне надоело делать не то, что хочется! Мне хочется с тобой поговорить. Писать. Пойти к Аничке. Поцеловать тебя. А беспокоиться о «Еже» я не хочу! Но Маршак будит, окликает, толкает, и я с трудом переключаюсь на «Еж».

Так проходит день.

Маршак провожает меня на вокзал. По бокам шоссе в тоненьких домах живут люди. У одних стирка — на кухне висит белье. У других еще не убрана елка. У третьих на стене картины Штука. А мы с Маршаком идем, а ветер дует, а собаки обижаются. Маршак дает мне последние наставления, а я думаю — вот если бы я в этом доме жил, что бы было, или в этом, или в том. Я слышу Маршака, как ветер или шум автомобиля, но он в темноте не замечает и не будит меня.

На поезд я едва успел. В вагонах пахнет карболкой. Молочниц нет. За окном чернота, снегу не видно. Я сажусь у окна — и начинаю обдумывать тебя, Катюша. Я тебя люблю.

Прости, что я все это пишу тебе. Но от того, что я сегодня один, меня преследуют мрачные мысли. Если нельзя поговорить с тобой, я хоть напишу. Если день пропал — то пусть хоть здесь останется от него что-то.

Сейчас очень поздно. Я не знаю, — что ты делаешь? Ты спишь? Ты читаешь? Ты разговариваешь? Катюша — ты не знаешь, что я пишу тебе письмо? А я пишу. У меня сейчас очень тихо. Еще тише, чем в Детском Селе на улице. Пока я пишу, я все время думаю о тебе, и мне, наконец, начинает казаться, что я не один.

А ты, может быть, мне изменяешь?

Со мной в трамвае ехал полный господин, в путейском пальто. Он все беспокоился. Он кричал:

— Нина? Ты две станции взяла?

— Две, две.

— А билеты у тебя?

— У меня, у меня.

— Нина! Нина! Иди сюда, стань рядом со мной.

Я смотрел и думал: вот судьба неизвестно зачем столкнула меня с неизвестным, черноглазым, полным господином, и я его запомню. Я еду и скучаю и беспокоюсь без тебя, а он едет, озирается своими сумасшедшими глазами и беспокоится вообще. И это 10 января 1929 года. И где-то образуются какие-то события. А у тебя новое платье. А я тебя люблю. Вот какие у меня глубокие мысли бывают в трамваях.

Катюша, милая, я написал длиннейшее письмо, и все о себе. Это потому, что я избаловался. Я привык говорить с тобой.

Не забывай меня, пожалуйста, никогда. Мне без тебя невозможно. Я целый день чувствовал — что ничего хорошего сегодня не будет, что тебя я не увижу, что зачем-то пропадает очень хороший четверг.

Ведь еще ничего? Еще все хорошо? Еще мы будем вместе? Это просто сейчас, пока, сегодня, десятого, в четверг — я один. А мы еще увидимся?

Целую тебя крепко, моя девочка. Мы еще увидимся.

Е. Ш.

К. И. ЧУКОВСКОМУ (Ленинград)

[Приписка к письму Л. М. Квитко²², 17 октября 1936]

Дорогой Корней Иванович!

Привет от Вашего бывшего секретаря и старого друга. Часто вспоминаю Вас вместе с Квиткою и, накажи меня господь, хвалили Вас. Я начал писать стихи по-украински. Вот они:

Квитко —

швидко,

А Шварц Женя

Лежить на берегу без усякого движения.

Целуем Вас. Низкий поклон Марии Борисовне. Квитко просит добавить, что уезжаем мы отсюда числа 31-го.

Ваш *Е. Шварц*

СТИХИ

ИДИОТ¹

Д о д я. Лида, Лидочка. Чего мы тут сидим, разговариваем. Лидочка, Лида!

Л и д и я С е р г е е в н а. Не знаю.

Д о д я. Мы их боимся? Вы боитесь идиотов?

Л и д о ч к а. Идиоты! Шепчутся. Нет, вы послушайте, почему я к ним хорошо отношусь. Осторожно отношусь. (*Читает.*)

Смотрю я и вижу —
Идет идиот.
Все ближе и ближе.
Сейчас подойдет.
Знакомая рожа —
И прыщик, и цвет,
И мышцы, и кожа,
И просто одет.
Согласно законам
Сгибает бедро,
В бедре электроны,
Их держит ядро.

Миры вереницей
По телу летят,
Огромны границы
От тела до пят.

По мерам и числам
Он гладит, он бьет,

Он гадит, он чистит,
Он песни поет.
Подобно погоде,
Подобно грозе,
Ко мне он подходит
По точной стезе.

Приятны и гнезда,
И птицы, и лес,
Понятные звезды
Сияют с небес.

Но эта конечность,
И ноздри, и зад,
Где сила и вечность
Клокочут, блестя!

Что делать? Подходит,
Серьезно глядит,
Руками поводит
И тихо гудит.
Какая-то сила
Его завела,
Волос накрутила,
Ушей наплела.

Хвалить, восхищаться?
Но он не поймет —
Ругать, защищаться?
Но он идиот.

И я притворяюсь,
Что мне ничего,
Смирненно стараюсь
Не трогать его.

[Начало 20-х годов]

Я не пишу больших полотен —
Для этого я слишком плотен,
Я не пишу больших поэм,
Когда я выпью и поем.

[20-е годы]

ЭПИГРАММА НА ШКЛОВСКОГО

Уставший и остывший,
С постылою судьбой,
Незнавший и забывший,
Как быть ему с собой.

За ним несется ветер,
Трава скользит у ног,
Сверчок свистит на вечер,
Встревоженный сверчок.

Вода журчит в канаве
Далеким ручейком,
А свет скользит в канаву
И пляшет кувырком.

А он идет унылый,
Усталый, постылый,
Сутулый и пустой,
С карманною могилой,
С фарфором за спиной
И с гамбургской луной.

[1924—1926]

СТИХИ О СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЯХ, СОЧИНЕННЫЕ В 1924 ГОДУ

Серапионовы братья —
Непорочного зачатья.
Родил их «Дом искусств»
От эстетических чувств.

Михаил Слонимский:
Рост исполинский, —
Одна нога в Госиздате
И не знает, с какой стати,
А другая в «Ленинграде»
И не знает, чего ради.
Голова на том свете,
На дальней планете,
На чужой звезде.
Прочие части неизвестно где.

Константин Федин
Красив и бледен.
Пишет всерьез
Задом наперед.

Целуется взасос.
И баритоном поет.
Зощенко Михаил
Всех дам покорил —
Скажет слово сказом,
И готово разом.

Любит радио,
Пишет в «Ленинграде» о
Разных предметах
Полонская Елизавета.

Вениамин Каверин
Был строг и неумерен.
Вне себя от гнева
Так и гнул налево.
Бил был,
Был бит.
А теперь Вениамин
Образцовый семьянин,

Вся семья Серапионова
Ныне служит у Ионова.

[15/III — 1928]

АВТОРЫ И ЛЕНОГИЗ

Все у нас идет гладко,
Только авторы ведут себя гадко.
Прямо сказать неприятно —
Не желают работать бесплатно.
Все время предъявляют претензии:
Плати им и за рукописи, и за рецензии,
И за отзывы, и за иллюстрации,
Так и тают, так и тают ассигнации.
Невольно являются думы:
Для чего им такие суммы?
Может, они пьют пиво?
Может, ведут себя игриво?
Может, занимаются азартной игрой?
Может, едят бутерброды с икрой?
Нельзя допускать разврата
Среди сотрудников Госиздата.

[1927]

ПРИЯТНО

Приятно быть поэтом
И служить в Госиздате при этом.
Служебное положение
Развивает воображение.

СЛУЧАЙ

Был случай ужасный — запомни его:
По городу шел гражданин Дурнаво.
Он всех презирал, никого не любил.
Старуху он встретил и тростью побил.
Ребенка увидел — толкнул, обругал.
Котенка заметил — лягнул, напугал.
За бабочкой бегал, грозя кулаком,
Потом воробья обозвал дураком.

Он шествовал долго, ругаясь и злясь,
Но вдруг поскользнулся и шлепнулся в грязь.
Он хочет подняться — и слышит: «Постой,
Позволь мне, товарищ, обняться с тобой,
Из ила ты вышел когда-то —
Вернись же в объятия брата.
Тебе, Дурнаво, приключился конец.
Ты был Дурнаво, а теперь ты мертвец.
Лежи, Дурнаво, не ругайся,
Лежи на земле — разлагайся.

Тут всех и полюбил Дурнаво — но увы!
Крыжовник растет из его головы,
Тюльпаны растут из его языка,
Орешник растет из его кулака.
Все это прекрасно, но страшно молчать,
Когда от любви ты желаешь кричать.

Не вымолвить доброго слова
Из вечного сна гробового!

Явление это ужасно, друзья:
Ругаться опасно, ругаться нельзя!

[Начало 30-х годов]

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ДЕЛЕГАТА

Руп
На суп,
Трешку
На картошку,
Пятерку
На тетерку,
Десятку
На куропатку*,
Сотку на водку
И тысячу рублей
На удовлетворение страстей.

* Вариант — на шоколадку (мармеладку).

ТЕТРАДЬ №1

Начата 19 июля 1928

ЖУРНАЛ

Правила:

1. Писать ежедневно.
2. Не вырывать ни одного листика.
3. Сотрудников трое.
4. Записи в журнале не подлежат оглашению.
5. Один из сотрудников может давать задания двум другим.
6. Черновики запрещаются.
7. Вычеркивать прозрачно.
8. Писать можно о чем угодно, что угодно и как угодно.
9. Все на свете интересно.

19.VII.28

Ленинград

ПО ДОРОГЕ В ПСКОВ (философский кашель)

Я ВСЕ ВИЖУ!

Когда я ездил в Псков — я поумнел. В дороге человек умнеет. Пока он сидит на месте, любой пустяк: скверный разговор, корректура, заседание — могут заслонить

от него весь мир. В дороге ты оторвался от всего — и все видишь. Я понял все: что нужно делать, как быть, как интересно стоят вагоны на рельсах, какая трава.

КАК СТОЯТ ВАГОНЫ

Если смотреть издали — ясно видишь: до чего легко стоит вагон на рельсах! Колесо касается рельсы только одной точкой.

ТРАВА

Даже на самых больших станциях между путями растет трава. А в Пскове курица привела на траву цыплят. Цыплята прыгали по рельсам и шпалам, а когда подходил паровоз, цыплята бежали во всю прыть опять на траву. Рельсы и паровоз — железные, цыплята — пуховые, но они сосуществовали вместе, и приятно было на них смотреть.

Один цыпленок попробовал напиться из лужицы нефти и закашлялся.

КАК БЫТЬ

Человек ждет событий, ясно выраженных указаний, чистого цвета и полного счастья. Начитанный, мечтательный человек!

Все в мире замечательно и великолепно *перепутано*¹. Это же форменная ткань. Это такой ковер, что хоть плачь. Но начитанный и мечтательный человек обижается, ловит мир на противоречиях, устает от сложностей и засыпает. Он плюет на этот ковер. Он себе его не так представлял. Он вообще не верит, что на свете есть вещи, достойные внимания, то есть ясно выраженные.

Но они есть, о мечтательный человек! Правда, концы и начала замечательных вещей прячутся в серединах и продолжениях других замечательных вещей.

Правда, очень легко человеку сбиться, но есть один чудесный способ не сбиваться. Я продам тебе этот способ, о мечтательный человек. На, бери его. Вот он: *смотри.*

СМОТРИ. СМОТРИ

Вот и все. Смотри — и все. Смотри, даже когда хочется щуриться. Смотри, даже когда обидно. Смотри, даже когда непохоже. Помни — мир не бывает не прав. То, что есть, то есть. Даже если ты ненавидишь нечто в мире и хочешь это нечто уничтожить — смотри. Иначе ты не уничтожишь. Вот. Понятно?

По железным рельсам бегает мягкие цыплята, один очень хороший человек вдруг повел себя как дрянь, ты всю жизнь ждал одной вещи и, получивши, обрадовался меньше, чем думал: то ты едешь к морю, и море не похоже на то, которое ждал, то слон меньше ростом, чем думал, — нет чистых красок, полного счастья, ясно выраженных указаний.

Как это хорошо! Ты окружен Америками, а Колумб ты один. Золото и драгоценные камни, колонии, леса! Обратите ваше внимание! Смотрите!

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

- 1) Все нужно делать. Человек, который делает работу плохо на том основании, что она маленькая, пропал!
- 2) Мир перепутан, но паровоз остается паровозом, а цыпленок — цыпленком. Когда подходит паровоз, цыпленок удирает в траву. Будь паровозом или цыпленком. Помни о чужих, непоборимых и враждебных стихиях.

Если ты попробуешь быть всем — ты все поймешь, перестанешь удивляться, пугаться, удирать. О чем же ты тогда будешь писать или, скажем, играть? Ну? Дурак! Пугайся! 3) Итак: оставаясь собой — таращи глаза на мир, будто видишь его первый раз. Угадывай течения и линии в великолепном мировом клубке. Записывай. И никому не верь! Есть мир, ты, бумага, перо. Только эти данные помогут тебе решить задачу. Помни — ты ничего не знаешь. Но забудь, ради бога, что ты занят величественной работой, миропониманием. Если ты будешь об этом *думать* все время, ты надорвешься, высохнешь, потеряешь всю легкость и веселость, без которых мир окончательно непонятен. Но *чувствовать* все время, что ты занят задачами мирового масштаба, нужно. Тогда (возвращаясь к пункту 1) — делай все. И во всем у тебя будут отклики великих пространств! Бесконечных времен!

Пример. Когда Чехов² играет Хлестакова, он *чувствует* задачи мирового масштаба. Когда Чехов играет Гамлета, он *думает*, что ворочает мирами, и — где легкость? смех? Нету ничего.

«ВАШИ БИЛЕТЫ!»

Все вышеизложенное есть попытка восстановить памятный мне ход мыслей по дороге в Псков. Мечтательный человек, которого я ругаю и поучаю, — это я сам, я — лентяй. «Ваши билеты!» — это говорит кондуктор. Это значит — доехали: за окнами уже пошли псковские сады, семафоры, вагоны. Собирайте вещи, выходите. Ход мыслей обрывается. Вагоны, которые легко стоят на рельсах, очень хорошие люди, которые знают, что хотят. А цыпленок, который выпил паровозной нефти и закашлялся, — это я, полезший в чужую мне стихию. Это я — философствующий.

ФАКТЫ И ДОГАДКИ

МИЛИЦИОНЕРЫ

Сегодня утром я видел, как пять милиционеров шутили, толкались и щекотали друг друга. Они, видимо, ехали с дежурства и радовались. Это было на трамвайной площадке.

Мой сосед по трамваю сказал:

— Наверное, взятку взяли, что такие веселые.

Моему соседу было сорок два года. В руках он держал газету, полную обличений, отчетов о судебных процессах, писем в редакцию.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЕЩИ

Вчера в редакцию пришла старая женщина в шляпе и в митенках. Она сказала: «Сейчас такой недостаток в подлинно революционных вещах для маленьких...»

МОЙ ДЕВИЗ

Сегодня прихрамывающий, интеллигентный, неуклюже вежливый, краснотелый, немолодой безработный человек принес четыре книжечки для детей.

Книжечки самодельные. Для печати. Одна называется «Пионерская песня "Мой девиз"» Над заглавием автор нарисовал пионера. Под заглавием. «Цена 5 коп.». По краям книжечка обклеена цветной бумагой. Стихи, например, такие:

Я малолетний пионер,
Но уж во мне живет мечта:
Встать грудью за Союз С Эс Эр,
Коль подойдет к нему беда.

На оборотной стороне написано:

Ноты для хорового пенья к песне
«Мой девиз» продаются особо
по цене 35 коп. экз.
Перепечатка воспрещается!

Другая книжка называется «Неведомый герой». Стихи, например, такие:

О жизнь! Тебя хоть люди клянут,
Но умирать все ж не хотят.
И лишь в лицо кончине взглянут,
Тебе все горести простят...

Третья книжка: «Дед Борзодум». «Книжка цифирня». Стихи такие:

1
один
(единица)
Жить не сладко бобылю,
Если даже он с деньгой.
Все же думушку свою
Разделить нельзя с другой...
И всегда, как сыч в лесу,
И в погоду и в грозу
Он один, один, один...

2
два
(двойка)
Пара — то же, что и два,
Только разные слова
Жена да муж — всего их два.
А кто меж ними голова?
Сначала языком скажи,
А после пальцем укажи.
(Вестимо, тот, кто поумней.)

Рисунок, изображающий
мужа и жену.

Вот. Человек занимал крупные должности. Большой донжуан. Красноречив. Сокращен уже год назад, и все без работы!

Четвертая книжка похожа на третью.

Потрачена на книжки масса труда. Они обклеены, изукрашены, переписаны странным узорным почерком. На каждой из них обозначена цена, издание. «Перепечатка воспрещается!»

ВИДИШЬ, МИЛКА!

Портниха рассказывает: «Муж у меня, видишь, милка, с ума сошел. Родилось у нас двое, а потом девять лет детей не было. А на десятый год — видишь, милка — я и забеременела. Так он, милка, возьми и сбесись. Ребенок, говорит, не от меня! Я в больницу легла рожать, а он детям говорит: если черненький ребенок будет, я мать с дому выгоню. Родился, видишь, милка, верно, черненький. Муж молчит, ни слова. Подошел поздравить. А я ему говорю: «Сволочь! За десять лет что я от тебя заслужила? Перед детьми срамишь? Жизнь моя перед тобой — с кем я могла ребенка прижить?» Молчит. И пошел у нас, милка, бойкот. Как он денег на обед не даст — мы его за стол не пускаем. Дети его дразнят. Я его, знаешь, милка, не ругала, но начну подругам говорить: есть, мол, такие-то и такие-то люди, а он понимает, что это я про него. Ну вот. С год так прошло, и он, видишь, милка, помешался. Тихо помешался. Сидит и плачет. Пришлось мне, милка, ходить за ним как за маленьким. Доктор говорит — расположение, почва как-то... Два года проплакал. Мне, видишь, милка, и жалко, и уж я ему смерти желала. Квартира у нас, милка, маленькая. Духота от него. Грязно. Ну, он и верно помер. Перед смертью смотрит на ребенка и плачет: «Прости, говорит, мальчик! Ты, говорит, мой, мой». А мальчик, видишь, милка, вылитый он, только черненький — в бабушку. Похоронила — поплакала. Десять лет со здоровым да два с больным прожила!

И сейчас, по старой памяти, как беда какая, я и думаю — с Васей надо посоветоваться. А потом и вспомню: что же это я, господи! Ведь он помер!»

РАЗГОВОРЫ

«Такая я была хорошенькая, а теперь смотрю в зеркало — голова прямо не моя стала!»

«Мяконькое дело — какое право! Меня же ударили, меня же и в отделение. Мяконькое дело!»

«Ж е н а. Знаете, мне даже стыдно. Скажешь ему ночью, дай воды — и он шлепает босой на кухню.

М у ж. Да, во мне этот стоицизм очень развит».

«Меня бить? Где мой наганчик?! Где мои стальные пульки!»

«Жена молодая, а он уже не так молодой. Ему бы пивную открыть, а он женился».

«Ох, какое умное лицо у этого Бетховена! Теперь нет таких гениев!»

НИЩИЙ

Нищий сидел у моста. Перед ним пустой мешочек. На пустом мешочке копейки — черные большие и желтые маленькие.

У ворот дома напротив — ломовая! лошадь, битюг. Сам ломовой куда-то отлучился.

Вдруг битюг пошел на тротуар, заржал, заноровился.

Старик нищий вскочил, подбежал к страшному битюгу, ловко цапнул его под уздцы и заорал полным голосом:

— Эт-та что? Ну-ну! Куцы!

Битюг испугался, стал на место.

Нищий выругал его нехорошим словом и пошел к своим копеечкам.

ТУАПСЕ

На перекрестке стоит бутылка в две сажени вышиной. В бутылке сидит человек и продает пиво. Тяжелые кружки то и дело ныряют в цинковый таз, потом мокрые — под пивной кран, а потом полные ледяным пивом — через окошечко на улицу.

А на улице с самого раннего утра жара, жара, пыль.

Серые деревья, мягкие дороги, на столбах можно писать пальцем, на скамейку не сядешь — пыль, пыль.

Покупатель стоит у бутылки и вытирает лицо платком. Потом кончиком платка протирает углы глаз, потом сморкается, взглядывает на платок и укоризненно качает головой — пыль, пыль.

Бутылка сделана из фанеры и покрашена в темно-зеленую краску. Из горлышка лезет пена, выпиленная из фанеры. На пене, серой от пыли, сидит живой голубь с открытым клювом. Он вертит головой вправо, влево, смотрит, где бы напиться.

Негде напиться — везде пыль, жарко.

Бутылки стоят на каждом перекрестке. Торговля в бутылках идет без перерыва. Город растет.

[Вот вывески на одном квартале:]³

Упаковываем лучший виноград для уезжающих.

Мед, воск, фрукты и вина союза кустарей.

Галантерейная торговля:

Все для Вас.

Для подарков. Местные вещи. Для подарков.

Мануфактура братьев Аскиназий.

Чуваки, пояса, кинжалы.

В парикмахерской вместо двери — разноцветные ленты. Через окно наискось — бумажный плакат: «Электрические, охлаждающие веера для всех ожидающих».

В городе беспокойно, как в квартире во время большой уборки. Клубится, не уходя, сплошным облаком пыль. Тут дом в лесах, там роют фундамент. Около Троицких казарм строят бензинный завод. У базара строят Центральный междусоюзный клуб.

Все школы полны до отказа: в классах, в коридорах, в физических кабинетах, в красных уголках — всюду экскурсанты. Школы сейчас не школы, а экскурсбазы.

Город стоит на холмах, улица то вверх, то вниз. Дома невысокие, белые. У домов серые кипарисы, серые акации, серые кусты.

Прямо перед городом прежде было море. Теперь море стоит синей узкой полосой за портом, за молами.

Порт еще строится.

От двух мысов навстречу друг другу протянулись два мола. От мола до берега — сплошь кишат землечерпалки, барки непонятной формы, моторные лодки с высокими насосами, фелюги, баркасы. Плывет широкая машина с колесами. Станный пароход — мачты сдвинуты к носу и к корме, а середина длинная, несуразная, как туловище таксы. Вода не морская — желтая, зеленая, в радужных нефтяных пятнах, несвежая.

Берег — новый. Он вдвинут в море на двадцать сажень. Землечерпалки вычерпали со дна моря ил. Новый берег слепок из ила.

Влево от старого порта новый берег уже готов, высох. По плоской долине ветер гоняет тяжелую пыль. У старого порта еще кончают постройку берега.

Здесь илистые болота. За болотами плавает большая машина. От машины на болоте идет толстейшая резиновая труба. Из трубы невысоким тяжелым фонтаном бьет ил.

По мягкому илу проложены доски. От старого берега по болотам, вытянувшись в ниточку, идут к машине столбы с электрическими проводами. На столбах фонари.

Машина шумит, свистки свистят, стучат цепи, плещет ил.

По доскам ходят люди с ведрами и собирают что-то в болотцах.

Рыбу собирают.

Рыбы ошалели от шума, мечутся, не знают, куда деваться. Иные попадают в машину и вылетают из трубы с илом, иные выбрасываются на берег сами.

У нового берега глубина будет 40 саженей. Могут приставать океанские пароходы.

В городском парке заиграла музыка. Обеденное время.

Дорожки в парке усыпаны камушками. Низкие серые кусты, редкие седые деревья. Листья от пыли кажутся железобетонными.

Столики на веранде. На столиках судки.

Порция чебуреков 45 копеек.

Порция — 8 штук.

Музыканты в белых апашах. Их четверо. Пианист, скрипач, альтист, виолончелист.

Когда они отдыхают, слышно, как отчаянно в сухой траве палят цикады.

Против парка — милиционер, худой, желтый, востроносый. [Лица нет — один профиль.] Тощая цыплячья шея торчит из широкого воротника.

Милиционер поминутно зевает. Милиционер болен малярией. Здесь все болеют малярией. Однажды два малярика бредили друг с другом ночью. Окна у них закрыты. Жужжит малярийный комар. Духота.

— Я иду по тоне. По то-не.

— Потонет?

— По тоне!

— Кто потонет?

— Тоне!

— Тоне?

— По тоне!

— Тоне?

Юг ядовит. Раньше через этот город текла речонка. Теперь вместо речонки — засохшее гноище. Коровьи ребра, кости, дохлые кошки, обрывки шерсти, банки, солома.

У вокзала режет кур веселый армянин. У армянина длинный нож, как в сказках у людоеда. Куры в деревянной низкой большой клетке. Армянин хватает курицу за ногу и на верхней перекладине клетки — раз ножом. Голова летит в клетку, в клетку к живым курам брызжет кровь, куры кудахчут, а зарезанная прыгает и летает по пыли вокруг армянина. Вот вокруг него пляшут уже пять кур, вот — десять, пыль, перья.

Армянин разошелся.

Последних кур он насаживает в клетку на кончик ножа, достает их на ноже наружу и сбивает им головы на лету. Куры уже не кудахчут, а каркают.

Вот и нет кур.

Клетка пуста. Тихо.

Иные зарезанные куры уже застыли, иные еще трепыхаются, иные летают.

Проехал конный милиционер. Лошадь испугалась — под самыми ее ноздрями пролетела пестрая курица. Вместо головы между крыльями птицы торчал кровавый пенек.

Милиционер нагнулся и хлестнул курицу кнутом.

Бац! — выстрел. Это на базаре. Взвизгнула женщина.

Бац! Бац! Посыпались стекла. Кто-то закричал: «Ма-тушки, кончился я!» Бац! Бац! Бац!

У вокзала спят, не просыпаясь, люди. Стрельба их не разбудит. Они три ночи простояли у кассы, чтобы уехать отсюда. Сейчас они отсыпаются, а вечером у кассы опять подымут драку, крик. Они и спали бы у кассы, но сейчас вокзал моют. Люди спят в серой тени под редкими деревьями.

На вокзале моют кафельный пол. Моют его черной водой с карболкой. Стоит неблагоприятный, расстроенный запах.

Буфетчик сидит, подобрав ноги, на стойке рядом с бутербродами. Он взволнованно смотрит на согнувшихся до полу босых уборщиц и пристает к ним.

Начальник станции работает в духоте. Перед ним счеты и регистратор. «Из четырнадцати семь — будет восемь», — шепчет начальник и откидывает на счетах восемь и пишет в книгу — восемь.

Стены в кабинете начальника до середины выкрашены серой клеевой краской, а выше — побелены.

— Вот если бы до верха этого серого была бы вода, — мечтает начальник. — Поплыть бы. У миллионеров есть бассейны в комнатах.

За окном — горячие паровозы, нагретые солнцем вагоны, мягкий асфальт.

ПИСЬМО

Дорогие друзья! Этот год отличается тем, что он вертит человека как игрушку. Я уже перестал понимать что к чему. Никогда я так много не был занят, никогда я так мало не работал. Самые лучшие вещи вдруг утратили все зацепки и проскальзывают через тебя как дым. Ничто не выводит тебя из состояния равновесия. Тупое равновесие!

Я ко многому отношусь сейчас как извозчикья лошадь к вывескам. Вывески яркие, с картинками, но кнут, экипаж, оглобли и хомут!

Дорогие друзья, мне необходимо несколько очнуться. Нужно принять душ. Нужно взять себя за шиворот. Дорогие друзья, я прошу вас — не ругайте меня.

Я сейчас пишу довольно много — это душ, шиворот, пробуждение. Предыдущая статья «Туапсе» — это

отрывок из романа. Может быть, я спасусь и начну понимать что-нибудь.

Я к чему это клоню — к журналу клоню.

Пишите!

Я больше не буду задерживать очередные статьи. Сейчас у нас пойдет живой обмен.

Пишите!

Мы все в суете. Жизнь летит, как камушек. Ездят извозчики. Свистят мильтоны.

Пишите!

ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

Особую часть творческого наследия Е. Л. Шварца составляют дневники. Писатель вел их почти с самого начала своей творческой деятельности и до конца жизни. К сожалению, покидая блокадный Ленинград в 1941 г., он сжег свои записи за 1926—1941 гг. Дневники за 1942—1958 гг. сохранились и находятся в ЦГАЛИ.

С июня 1950 г. Шварц взял за правило ежедневно заполнять по две страницы дневников. Эти большие по формату тетради сопровождали писателя везде. Он ставил перед собой в первую очередь две задачи: научиться писать прозой и «поймать миг за хвост» — то есть передать свои мысли наиболее верно и точно. Писатель не разрешал себе делать исправления и перегруппировывать события.

Дневники Евгения Шварца разнообразны по своему составу, сложны по структуре и представляют собой что-то среднее между мемуарами, дневником и записной книжкой. Среди записей встречаются заметки о мимолетных впечатлениях и наброски идей для будущих пьес, воспоминания и описания текущего дня. Подчас записи не связаны хронологически. Автор легко перескакивает от события к событию, от одного воспоминания к другому. Но несмотря на это в дневниках выстраивается полная автобиография писателя., перед читателем оживают места и люди, его окружавшие.

ИЗ ДНЕВНИКОВ 1950—1953 ГГ.

В этом разделе книги отобраны страницы из дневников 1950—1953 гг., относящиеся к детским, отроческим и юно-

шеским воспоминаниям Евгения Шварца. Читатель узнает о первых впечатлениях Шварца и его жизни в Майкопе. В этом городе он увидел первые спектакли на сцене Пушкинского народного дома, в которых в качестве артистов-любителей выступали его родители. Здесь прошла его учеба в реальном училище, наступила первая любовь и здесь же он написал первые стихи и принял решение стать писателем. Также читатель узнает о годах учебы писателя в Московском университете, о его работе в Театральной мастерской в Ростове-на-Дону и о приезде в составе труппы этой мастерской в Петербург в 1921 г. и знакомстве с «Серапионовыми братьями».

Опущенные фрагменты внутри каждодневных записей обозначены отточием в угловых скобках. В случаях, когда запись или ряд записей пропущены целиком, ориентиром в объеме пропущенного фрагмента служат даты. Восстановленные в тексте пропуски или сокращения приводятся в квадратных скобках.

1950

¹ В соответствии с сохранившимися в Госархиве Краснодарского края документами, Лев Шварц, состоя студентом Казанского университета, в 1898 г. «был заподозрен в преступной пропаганде среди рабочих Алафузовских фабрик в гор. Казани... ввиду чего подвергнут был обыску и аресту и привлечен при Казанском губернском жандармском управлении к дознанию в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 251, 252, и 318 ст. Улож. наказ., каковое дознание, как уведомил департамент полиции, разрешено было по отношению к Шварцу в административном порядке, согласно высочайшего повеления 5 июля 1900 г., подчинению его гласному надзору полиции в избранном им месте жительства, но вне столиц, столичных губерний, университетских городов и тех местностей фабричного района, в коих пребывание его будет признано Министерством внутренних дел нежелательным — на три года». В 1907 г. он был выдворен из пределов Майкопа и Кубанской области на все время действия в ней военного положения. В Кубанском областном жандармском управлении признали противоправительственную деятельность Льва

Шварца «весьма вредною для общественного порядка и спокойствия и опасною по своим последствиям в политическом отношении» и постановили выслать его из пределов Кубанской области на два года.

² *Шелков Николай Федорович* — акцизный чиновник, скульптор-любитель.

³ *Водевиль И. Ермолова «Волшебная флейта, или Танцовщики поневоле».*

⁴ *Родичев* — домовладелец, у которого Шварцы сняли первую квартиру в Майкопе.

⁵ *Соловьев Василий Федорович* (1863—1952) — врач, член социал-демократической группы в Майкопе. Режиссер и участник спектаклей любительской драматической труппы Пушкинского народного дома.

⁶ *Соловьева Вера Константиновна* (1869—1964) — жена В. Ф. Соловьева.

⁷ *Островская Беатриса Яковлевна* — сестра врача г. Я. Островского, приятельница М. Ф. Шварца.

⁸ *Добриков Владимир Алексеевич* — сосед Шварцев.

⁹ *Крачковские:* Варвара Михайловна — мать А. П. и Л. П. Крачковских; Александра Поликарповна (Гоня) — сестра Л. П. Крачковской и Людмила Поликарповна (Милочка) (1897—1986) — первая детская-юношеская любовь Шварца (впоследствии известный селекционер).

¹⁰ *Шелков Гавриил Федорович* — юрист, акцизный чиновник.

¹¹ *Проходцовы Ваня и Лида* — двоюродные брат и сестра Шварца.

¹² *Шелкова Зинаида Федоровна* — тетка Шварца.

¹³ *Шварц Исаак Борисович* — врач, отец Антона Шварца.

¹⁴ *Шварц Борис* — дед Е. Л. Шварца, владелец мебельного магазина в Екатеринодаре.

¹⁵ *Шварц Антон Исаакович* (1896—1954) — актер-чтец, двоюродный брат Е. Л. Шварца.

¹⁶ *Шварц Александр Борисович* — адвокат, артист-любитель, антрепренер.

¹⁷ Дочь владельца дома в Майкопе, у которого Шварцы снимали квартиру.

¹ *Жулковский Андрей Андреевич* (1853—1917) — революционер-большевик, руководитель социал-демократической группы в Майкопе.

² *Соловьева Анна Александровна* — жена врача Алексея Федоровича Соловьева, крестная мать Вали Шварца.

³ Жена врача г. Я. Островского.

⁴ «*Фра-Дьяволо*» — опера Д. Ф. Обера на либретто Э. Скриба.

⁵ «*Благо народа*» — пьеса Ф. Герцля.

⁶ Инженер-химик, владелец поташного завода в Майкопе.

⁷ *Селивановский К. А.* — секретарь правления майкопского артистического кружка.

⁸ «*Суета*» — пьеса И. К. Карпенко-Карого.

⁹ *Харламов Михаил Александрович* — инспектор реального училища в Майкопе, преподаватель русского языка.

¹⁰ *Поспеев Матвей* — товарищ Шварца, живший в то время в семье Шварцев.

¹¹ Книга Д. Ф. Вейланда о первобытном человеке.

¹² *Соколов Сергей Васильевич* — брат Юрия Васильевича Соколова, друга Шварца, изучал астрономию.

¹³ Имеются в виду военно-фашистский мятеж в Испании 1936—1939 гг. и оккупация Парижа немецко-фашистскими войсками в 1940 г.

¹⁴ Очевидно, Шварц говорит о книге «Воздухоплавание в его прошлом и настоящем» (составитель Г. З. Барш. Спб., 1906).

¹⁵ *Истаманов Георгий* — соученик Шварца по реальному училищу, сын директора училища.

¹⁶ *Коробьина Софья Сергеевна* — жена майкопского адвоката Льва Александровича Коробьина.

¹⁷ *Коробьин Юрий Александрович* — брат майкопского адвоката.

¹⁸ «*Товарищ*» — календарь-справочник и записная книжка для учащихся.

¹⁹ А. А. Яблоновский в книге «Очерки гимназической жизни» (Спб., 1907) писал о реакции гимназистов на статью Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский».

¹ *Надежда Максимовна* — жена Самсона Борисовича Шварца; *Лидия Максимовна* — ее сестра.

² «Сказки Гофмана» — опера Ж. Оффенбаха.

³ *Капустин Степан Иванович* — владелец дома, в котором снимали квартиру Шварцы.

⁴ *Соколов Юра* — сын преподавателя математики в реальном училище Соколова Василия Алексеевича; *Фрей Евгений* — соученик Шварца по реальному училищу.

⁵ Жена директора реального училища В. С. Истаманова.

⁶ Шварц читал стихотворение П. И. Кичеева *Er pur si muove!* («А все-таки вертится!»).

⁷ Романс В. Р. Бакалейникова «Пожалей» на его же слова.

⁸ Строка из монолога Пьеро в пьесе А. А. Блока «Балаганчик».

⁹ Вот текст одного из них:

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Черные волны, горы живые,
Плавно, мерно, спокойно идут,
Мирные словно, ласкаются словно.
Обломки и трупы, качая, несут.

В колокол старый в церкви звонят —
Мертвая зыбь мертвых несет.
Слышно ли, что говорит патер?
Слышно ли, что причетник поет?

Волны рыданий. Буря рыданий.
Даже статуи словно дрожат.
Бледные лица. Боли гримасы.
Словно собрался и молит ад.

Молит брат о брате сурово.
Требует сына у Бога отец.
Мать умоляет — или вернуть,
Или и ей ниспослать конец.

Тут, обезумев, одна хохочет,
Голосом хриплым проклятья крича,
Смотрит вперед безнадежно другая,
Шепча без мысли молитвы слова.

Петь перестал причетник дрожащий
И у распятия в страхе поник.
Патер не служит.
В угол прижался —
Давит дикий безумный крик.

А черные волны, страшные волны
Плавно, мерно, спокойно идут,
Мирные словно, ласкаются словно,
Тихо качая, трупы несут.

1914

¹⁰ Семья владельца мельницы в Майкопе.

¹¹ Имеются в виду репрессии министра народного просвещения Л. А. Кассо против революционного студенчества. В 1911 г. по его указанию из Московского университета было исключено несколько тысяч студентов. В знак протеста университет покинула большая группа профессоров (131 человек), среди них К. А. Тимирязев, Н. Д. Зелинский, С. А. Чаплыгин и др.

¹² *Витберговский проект* — проект А. Л. Витберга, по которому храм Христа Спасителя предполагали построить в честь победы над французами 1812 г. на Воробьевых горах.

¹³ *Вейсман Борис Григорьевич* (1868—1940) — служащий Азовско-Донского банка в Майкопе, выступал в любительской драматической труппе Пушкинского народного дома. В 1910-х гг. работал в Московском отделении Петроградского международного коммерческого банка.

¹⁴ *Шварц Изabella Антоновна* (ум. 1953) — жена И. Б. Шварца, мать А. И. Шварца.

¹⁵ Строка из стихотворения Ф. К. Сологуба.

¹⁶ *Третьяков* — юнкер, сын воинского начальника, казачьего полковника, знакомого Крачковских по Майкопу.

¹⁷ Ф. И. Шаляпин снимался в кинофильме «Царь Иван Васильевич Грозный» («Дочь Пскова») по драме Л. А. Мея в 1916 г.

¹⁸ С 1919 по 1922 г. Шварц выступал как актер в театре, основанном группой молодежи в 1918 г. в Ростове-на-Дону и названном Театральная мастерская. В 1921 г. Театральная мастерская переехала в Петроград.

¹⁹ Шварц был женат на артистке Театральной мастерской Халайджиевой Гаянэ Николаевне (1899—1983).

1953

¹ Передвижной театр работал в Петербурге с 1905 по 1928 гг.

² «Свободный театр» создан К. А. Марджановым в Москве (1913—1914).

³ Премьера спектакля «Зеленое кольцо» по пьесе З. Н. Гиппиус состоялась во Второй студии МХТ 24 ноября 1916 г. Пьеса была посвящена молодежи, организовавшей общество «Зеленое кольцо» и вступившей в конфликт с «отцами». Спектакль имел большой успех и входил в репертуар студии до ее закрытия.

⁴ *Халайджиева Гаянэ Николаевна* (1899—1983) (творч. псевд. Холодова) — артистка. Первая жена Е. Л. Шварца.

⁵ *Костомолоцкий Александр Иосифович* (1897—1971) — артист Театральной мастерской в Ростове-на-Дону, затем Театра им. Вс. Мейерхольда, театральный художник.

⁶ Очевидно, имеется в виду отрывок из работы В. В. Хлебникова «Доски судьбы» (1922), в которой автор, по его мнению, открывал путь к овладению числовыми «законами времени».

⁷ *Ничевоки* — литературная группа, существовала с 1920 по 1923 г. Выдвинула следующие лозунги: «Ничего не пишите! Ничего не читайте! Ничего не говорите!»

⁸ Один из братьев Литваков Анатолий (псевд. Натолин) (1902—1974) стал позднее известным американским кинорежиссером.

⁹ Вечер в «Стойле Пегаса» на Тверской, посвященный памяти А. А. Блока, назывался «Чистосердечно о Блоке».

¹⁰ *Пумпянский Лев Васильевич* (1894—1940) — литературовед.

¹¹ Театр новой драмы работал в Петрограде в 1922—1923 гг. Там Е. Шварц подрабатывал после закрытия театральной мастерской.

В 1925 г. вышла в свет книжка для детей Е. Л. Шварца «Рассказы старой Балалайки» (Госиздат). В том же году издательством «Радуга» были выпущены книжки с рисунками «Вороненок» и «Война Петрушки и Степки-Растрепки» с рисунками Шварца.

СТАТЬИ, ЗАПИСКИ

ИЗ ЗАПИСОК 1952 Г. О «СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЯХ»

Записи отобраны составителем из дневников Е. Л. Шварца за 1952 г. Заголовок дан составителем.

¹ «*Серapiионовы братья*» — литературная группа, основанная 1 февраля 1921 г. в Петрограде при Доме искусств. В нее входили И. А. Груздев, М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, Н. Н. Никитин, Е. г. Полонская, М. Л. Слонимский, Н. С. Тихонов, К. А. Федин.

² Е. Л. Шварц ошибся: статья «Прекрасная отвага» принадлежала М. А. Кузмину, статья М. С. Шагинян называлась «Театральная мастерская». В ней был дан анализ трех первых спектаклей.

³ *Холодова* (наст. имя *Халайджиева Гаянэ Николаевна*) — артистка. Первая жена Е. Л. Шварца.

⁴ *Шкловский Виктор Борисович* (1893—1984) — писатель, литературовед, критик.

⁵ *Алонкина М. С.* — секретарь Дома искусств в Петрограде.

⁶ Имеется в виду Познер Владимир (1905—1992), ставший впоследствии известным французским писателем.

⁷ В 1923—1924 гг. Шварц несколько раз приезжал в Бахмут (с 1924 г. Артемовск), работал в журнале «Забой» и газете «Всесоюзная кочегарка». Он заказывал художникам карикатуры и делал к ним подписи. В эти годы там печатались его фе-

льетоны и стихи за подписью Щур. К этому времени он уже отдал С. Я. Маршаку для издания свою первую большую рукопись в стихах «Рассказ старой балалайки».

⁸ Юрий Тынянов не входил в группу «Серапионовых братьев», но часто бывал на их собраниях и каждую годовщину общества отмечал новой одой.

БЕЛЫЙ ВОЛК

Статья основана на дневниковых записях Е. Л. Шварца за 1953 г.

¹ Вот как Шварц описывает это время в своем дневнике от 14 июня 1952 г.: «Когда Театральная мастерская распалась, я брался за все. Грузил в порту со студенческими артелями уголь, работал с ними же в депо на Варшавской железной дороге, играл в “Загородном театре” и пел в хоре тети Моти. Первый куплет был такой: “С семейством тетя Мотя / Приехала сюда. / Певцов всех озаботя / Своим фасоном, да”. Кроме того, я выступал конферансье. Я был наивный конферансье. Я по своей идиотской беспечности и не думал, что люди как-то готовятся к выступлениям. Я выходил да импровизировал, почему и провалился однажды с шумом на одном из вечеров-кабаре в Театре новой драмы. (Там устраивались эти вечера, чтобы собрать хоть немного денег на зарплату актерам.)»

² Шварц был секретарем у К. И. Чуковского с 1922 г. до весны 1923 г.

³ *Давыдов Владимир* (1849—1925) — актер Александринского (ныне им. А. С. Пушкина) Академического театра.

⁴ «*Квисисана*» — популярное кафе. Просуществовало до конца 1940-х гг.

⁵ *Радаков Алексей Александрович* (1879—1942) — художник-карикатурист, один из основателей журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон».

⁶ «*Чукоккала*» — знаменитый рукописный альманах Чуковского. Был издан, хотя и в сильно отцензурированном виде, в издательстве «Искусство» в 1979 г.

⁷ Евгений Шварц отправился в Донбасс с другом Михаилом Слонимским. Там они работали в газете «Всесоюзная кочегарка».

ИЗ ЗАПИСОК О МАРШАКЕ

¹ См. примеч. 7 к «Из записок 1952 г. о «Серapiионовых братьях»».

² *Олейников Николай Макарович* (1898—1942) — поэт, писатель, редактор детских журналов «Еж», «Чиж», «Сверчок». Был ответственным секретарем «Всесоюзной кочегарки». Незаконно репрессирован, погиб в заключении.

³ В 1931 г. вышла книга О. Д. Форш «Сумасшедший корабль», посвященная жизни Дома искусств в Петрограде.

⁴ *ЛЕФ* (Левый фронт искусств) — литературно-художественное объединение. Создано в Москве в конце 1922 г. Во главе стоял В. В. Маяковский. Лефовцы выдвинули теорию «социального заказа», когда художник является только «мастером», выполняющим задания своего класса. Отрицали вымысел в литературе.

ПРЕВРАТНОСТИ ХАРАКТЕРА

Статья основана на дневниковых записях Е. Л. Шварца за 1952 г.

¹ *Горняшки* — Пренебрежительное от «горничные».

² Олейников, Николай Макарович — см. примеч. 2 «Из записок о Маршаке».

³ ...очень влиятельная педагогическая деятельница... шла по улице с очень большим человеком. — Речь идет, скорее всего, о Н. К. Крупской и В. И. Ленине.

⁴ *Елена Яковлевна Данько* (1898—1942) — детская писательница, актриса кукольного театра и художник по фарфору.

⁵ Катерина Ивановна — вторая жена Е. Л. Шварца. Через несколько лет после смерти писателя покончила жизнь самоубийством.

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР

Статья основана на дневниковых записях Е. Л. Шварца за 1953 г.

¹ В детском отделе Госиздата Шварц работал с 23 октября 1925 г. по 1931 г., с 1925 по 1928 г. работал также редактором издательства «Радуга», а с 1928 по 1931 г. — редактором детского журнала «Еж».

² «Печатный двор» — старейшее полиграфическое предприятие Ленинграда. Значительную часть его продукции составляют детские книги и журналы. «Печатный двор» занимает целый квартал позади Петропавловской крепости.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПИСЬМА

¹ Дата определена по почтовому штемпелю.

² Далее неразборчиво.

³ Е. Шварц, получил от В. В. Соловьевой письмо, состоящее из одного слова: «Свинья».

⁴ *Петр Николаевич Колотинский* — преподаватель литературы РУ, был маленького роста.

⁵ Н. А. Соколова, мать братьев Юрия и Алексея Соколовых, заведовала городской библиотекой, потом перешла на преподавательскую работу в женскую гимназию.

⁶ Подчеркнуто автором.

⁷ Преподаватель математики женской гимназии.

⁸ Катаясь на велосипеде, Константин Соловьев разбил колесо.

⁹ Письмо написано на голубой лощеной бумаге.

¹⁰ Или Ленского? (*Примеч. Е. Шварца.*)

¹¹ *Линдер Макс* (Габриэль Максимиллиан Левельё) (1883—1925) — популярный в то время французский комический актер.

¹² Т. к. семейство Шварцев было «приписано» к Екатеринудару, то Льва Борисовича призвали в армию там и назначили в войсковую больницу. Вскоре в Екатеринодар переехала и Мария Федоровна с сыновьями.

¹³ *Калинников Василий Сергеевич* (1866—1900) — русский композитор, талантливый продолжатель традиций П. Чайковского и «могучей кучки». «Грустная песенка» пользовалась большой популярностью.

¹⁴ *Гогенцоллерны* — династия прусских королей и германских императоров. В данном случае шутка Е. Шварца, связанная, очевидно, с началом войны с Германией.

¹⁵ «Жирному мальчику Е. Л. Шварцу» — значилось на конверте из Майкопа.

¹⁶ *Константин Соловьев* — в ту пору тоже студент юридического факультета.

¹⁷ Соколов.

¹⁸ *Гостинцев И. В.*, бывший ученик реального училища.

¹⁹ *Вартануша Мнацаканова* — подруга В. Соловьевой по гимназии.

²⁰ Бахмут — название Артемовска до 1924 г.

²¹ *Мария Борисовна Чуковская* (1878—1955) — жена К. И. Чуковского.

²² *Квитко Лев Моисеевич* (1890—1952) — советский поэт.

СТИХИ

¹ Стихотворение написано экспромтом, на одном из тех веселых соревнований в остроумии, которые чуть ли не каждый день проходили в детском отделе Госиздата.

ТЕТРАДЬ №1

Для своих дневников Евгений Львович Шварц выбирал толстые и большие тетради. Когда его спрашивали, что подарить ему на день рождения, он отвечал: амбарную книгу.

«Тетрадь № 1» имеет формат обычной тетради, но переплетено в ней около 500 листов. Если бы Шварц сразу стал писать ежедневно, как решил позднее, в 1950 г., тетради хватило бы ненадолго. Но в 1928 г. он делал записи нерегулярно. И сейчас тетрадь более чем наполовину пуста. Шварцу же принадлежит там только 18 листов.

¹ То, что выделено здесь, выделено и в подлиннике.

² Речь идет об актере Михаиле Чехове.

³ Заключенное в квадратные скобки прозрачно вычеркнуто автором в соответствии с седьмым пунктом правил.

Е. Сапуникова

СОДЕРЖАНИЕ

СКАЗКИ

Рассказ старой балалайки	7
Петька-Петух, деревенский пастух	16
Два друга: Хомут и Подпруга	19
Война Петрушки и Степки-Растрепки	22
Новые приключения Кота в сапогах	28
Сказка о потерянном времени	41
Два брата	50
Рассеянный волшебник	67

ПЬЕСЫ ДЛЯ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Кукольный город	73
Сказка о потерянном времени	114

ПОВЕСТИ

Приключения Шуры и Маруси	143
Чужая девочка	155

ВОСПОМИНАНИЯ

Из дневников 1950—1953 гг.	165
Статьи, записки	
Из записок 1952 г. о «Серапионовых братьях»	386
Белый волк	402
Из записок о Маршаке	419
Превратности характера	426
Печатный двор	453

ПРИЛОЖЕНИЯ

Письма	467
Стихи	493

Тетрадь № 1	500
Примечания	514

ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ ШВАРЦ

Собрание сочинений в пяти томах
ТОМ ТРЕТИЙ

Редактор *Е. Сапуникова*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректор *М. Сергеева*
Компьютерная верстка *И. Яскульская*

Подписано в печать 15.01.10 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага офсетная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 27,72. Уч.-изд. л. 24,34.
Заказ № 0918300.

Книжный Клуб Книговек
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su



Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-904656-56-0



9 785904 656560

